

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

I

Н Ъ Ю - Й О Р К

1942

Printed by
GRENIH PRINTING CORP.
151 W. 25th St., N. Y.



О Г Л А В Л Е Н І Е

От Редакціонной Группы	5
И. А. Бунин. — Руся. В Парижѣ.	8
А. Л. Толстая. — Предразсвѣтный туман.	28
В. В. Набоков-Сирин. — Ultima Thule.	49
М. А. Осоргин. — Времена.	78
Н. С. Калашников. — Не мир, но меч.	94
М. О. Цетлин. — Балакирев.	107
М. А. Алданов. — Фельдмаршал. Грета и Танк.	130
СТИХИ — Т. О. Остроумовой, С. Ю. Прегель, М. А. Толстой, К. П. Франкфурт, М. О. Цетлина.	170
Н. В. Кодрянская. — Земля русская.	177
РОССІЯ В ВОЙНѢ:	
А. Ф. Керенскій. — Передышка.	183
Н. Д. Авксентьев. — Россія в войнѣ.	203
Г. Я. Аронсон. — Отраженія войны.	214
В. Ф. Мансвѣтов. — О совѣтской художественной прозѣ.	222
ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА:	
Б. И. Николаевскій. — Внѣшняя политика Москвы.	230
Д. Ю. Далин. — Коминтерн в войнѣ.	247
М. В. Вишняк. — Россія, Европа и мѣр послѣ войны.	260

ВОПРОСЫ ДНЯ:

- Г. П. Федотов.** — Новое на старую тему (к современной постановкѣ еврейскаго вопроса). 275
- С. Л. Поляков-Литовцев.** — Дѣйствительность и перспективы (отвѣт Г. П. Федотову). 287
- Ст. Иванович.** — Кризис социалистическаго сознанія. 297
- С. М. Соловейчик.** — О сепаратистах. 313

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

- В. М. Зензинов.** — Трифоно-Печенгскій Монастырь. 324
- М. А. Алданов.** — Убійство Троцкаго. 328
- Ред.** — Памяти ушедших. 367
- Д. Н. Шуб.** — Европа и германскій вопрос. 383
- БИБЛИОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ.** 390

ОТ РЕДАКЦИОННОЙ ГРУППЫ

Наше издание, начинающееся в небывалое, катастрофическое время, — единственный русский «толстый» журнал во всем мире вне пределов советской России (нам неизвестно, выходят ли журналы сейчас в СССР). Это увеличивает нашу ответственность и возлагает на нас обязанность, которой не имѣли прежние журналы: мы считаем своим долгом открыть страницы «Новаго Журнала» писателям разных направлений — разумеется, в известных пределах: люди, сочувствующие национал-социалистам или большевикам, у нас писать не могут.

Надо ли говорить, что в той страшной борьбе, которую на жизнь или смерть ведет теперь наша родина с Гитлером, все наши мысли — с ней. Кто бы ни руководил русской армией в ее героической борьбе, мы всей душой желаем России полной победы. Каждое ее поражение, каждую ее неудачу мы воспринимаем как большое несчастье, каждую победу как великую радость.

Однако, как увидит читатель, мы отнюдь не считаем себя обязанными замалчивать преступления и ошибки советской власти в прошлом и в настоящем. Мы не можем забыть того, что теперь на свете только десятки русских публицистов, живущих в Соединенных Штатах, имеют возможность говорить правду свободно. Они говорят ее и должны. — «Но критика власти в военное время недопустима!» — с негодованием восклицают некоторые патриоты, не всегда проявлявшие такой патриотизм в прежние времена (зато всецело его проявлял в 1915-6 гг. в Государственной Думе, в частности в своих напаках на Прогрессивный Блок, Марков II). Этот старый, пустой и надоевший довод давно опровергнут историей. Из сотни возможных примеров напомним пример Клемансо, — его трудно было бы обвинить в недостатке патриотизма. В пору прошлой войны он не просто критиковал, а громил «слабых или неспособных людей», которых все-же

было бы странно сравнивать с нынешними правителями СССР. — «Во время войны, такой войны, говорить в свободной стране правду, всю правду, о тех, кто Францией руководит, и о том, как ею руководят, — не право, а обязанность свободного человека», — писал он тогда. Среди нас нет людей, обладающих его авторитетом и красноречием. Но, в отличие от него, нам, к несчастью, приходится писать не о Пуанкаре, Брианте, Пэнлевэ и Жоффре, а о Сталине, Молотове, Берия, Ворошилове и Буденном.

Мы никак не призываем к насильственному свержению советской власти, зная, что такое во время войны перемена государственного строя. Но мы считаем своим печальным долгом говорить о том, о чем не могут сказать слова русские граждане, оставшиеся в России, во Франции, в Бельгии, в Югославии, и о чем, по своим соображениям, старается молчать почти вся (однако не вся) иностранная печать. Нам неизвестно, хранят ли об этом молчание иностранные государственные люди, имеющие возможность непосредственно сноситься со Сталиным и влиять на него. Есть основания думать, что «амнистия полякам» (в чем «амнистия»?) дана была Кремлем не без воздействия президента Рузвельта и Уинстона Черчилля. Как бы то ни было, независимо от нашего безсилia, нам было бы впоследствии стыдно смотреть в глаза миллионам русских людей, находящихся в советских тюрьмах и концентрационных лагерях, если бы первого нашего слова мы не сказали об «амнистии» им.

Эмиграцию же мы можем призывать лишь к единению в целях помощи России. Форма и характер этой помощи будут определяться событиями. Но единение в возможно более широких пределах представляется нам настоящей и важной задачей. Мы знаем, как она трудна сама по себе. К сожалению, она натывается и на такие, партийные, личные, исторические препятствия, которые в переживаемое нами время должны были бы отпасть. Теперь можно и должно забыть о расхождениях 1917 года и последовавшей за ним, отошедшей в прошлое, эпохи. Не мешает иногда вспоминать жестокие

слова Герцена о международной эмиграции его времени: «Ни шагу вперед. Они, как придворные версальские часы, показывают один час, — час, в который умер король. Их, как версальские часы, забыли перевести со времени смерти Людовика XV. Они показывают одно событие, одну кончину какого-нибудь события, об нем говорят, об нем думают, к нему возвращаются. Встрѣчая тѣх же людей, тѣ же группы мѣсяцев через 5-6, года через 2-3, становится страшно: тѣ же споры продолжаются, тѣ же личности и упреки, только морщин, порѣзанных нищетою, лишениями, больше, сюртуки, пальто вытерлись, больше сѣдых волос, и всѣ вмѣстѣ старѣе, костлявѣе, сумрачнѣе... А рѣчи все тѣ же и тѣ же».

В сильном нам масштабѣ мы хотим осуществлять идею единения и в подборѣ сотрудников «Новаго Журнала». По случайности, в публицистическом отдѣлѣ первой книги преобладают люди лѣваго лагеря. Во второй книгѣ будут и статьи публицистов иного направленія, столь же враждебно относящихся к гитлеризму. Разумѣется, при нынѣшних обстоятельствах, при намѣченном характерѣ журнала, идейная связь между сотрудниками и редакционной группой, идейная связь сотрудников между собой, общая порука и отвѣтственность, не могут и не должны выходить из предѣлов, указанных в началѣ этой замѣтки.

Быть может, читатели простят нам, что во втором отдѣлѣ настоящей книги политика, «рок наших дней», частью вытѣсняет другое. «Современныя Записки», «Рус. Записки» и тѣ старые русскіе журналы, традиціям которых мы хотим слѣдовать, издавались в мирное время и могли естественно удѣлять больше мѣста общекультурным, философским, научным вопросам. Мы однако надѣемся, что нам удастся в дальнѣйшем исправить этот большой недостаток первой книги.

**
*

Настоящая книга была уже отпечатана, когда пришло извѣстіе о кончинѣ Д. С. Мережковскаго. В слѣдующей книгѣ мы дадим статью об этом писателѣ, заслуженно пользовавшемся мировой извѣстностью.

РУСЯ *)

В одиннадцатом часу вечера скорый поѣзд Москва-Севастополь остановился на маленькой станціи за Подольском, гдѣ ему остановки не полагалось, и чего-то ждал на втором пути. В поѣздѣ к опущенному окну вагона первого класса подошли господни и дама. Через рельсы переходил кондуктор с красным фонарем в висящей рукѣ, и дама спросила:

— Послушайте. Почему мы стоим?

Кондуктор отвѣтил, что опаздывает встрѣчный курьерский.

На станціи было темно и печально. Давно наступили сумерки, но на западѣ, за станціей, за чернѣющими лѣсистыми полями, все еще мертвенно свѣтнела долгая, лѣтняя московская заря. В окно сыро пахло болотом. В тишинѣ слышен был откуда-то равномерный и как-будто тоже сырой скрип дергача.

Он облокотился на окно, она на его плечо.

— Однажды я жил в этой мѣстности на каникулах, — сказал он. — Был репетитором в одной дачной усадьбѣ, верстах в пяти отсюда. Скучная мѣстность. Мелкій лѣс, сороки, комары и стрекозы. Вида нигдѣ никакого. В усадьбѣ любоваться горизонтом можно было только с мезонина. Дом, конечно, в русском дачном стилѣ и очень запущенный, —

*) В Америкѣ оказался рукописный экземпляр новой книги И. А. Бунина «Темная Аллея», еще не появившейся ни на русском, ни на иностранных языках. Не имѣя возможности снестись с знаменитым писателем, находящимся в настоящее время в Европѣ, мы все-же рѣшаемся помѣстить в «Новом Журналѣ» отдѣльные рассказы из этой его книги. Р е д .

хозяева были люди обѣднѣвшіе, — за домом нѣкоторое подобіе сада, за садом не то озеро, не то болото, заросшее кугой и кувшинками, и неизбѣжная плоскодонка возлѣ топкаго берега.

— И, конечно, скучающая дачная дѣвица, которую ты катал по этому болоту.

— Да, все, как полагается. Катал я ее все больше по ночам, и выходило даже довольно поэтично. Небо на западѣ всю ночь зеленоватое, прозрачное, и там на горизонтѣ, вот как сейчас, все что-то тлѣет и тлѣет... Весло нашлось только одно и то вродѣ лопаты, и я греб им, как дикарь, — то направо, то налево. На противоположном берегу было темно от мелкаго лѣса, но за ним всю ночь стоял этот странный полусвѣтъ. И вездѣ невообразимая тишина — только комары ноют и стрекозы летают. Никогда не думал, что онѣ летают по ночам, — оказалось, что зачѣм-то летают. Прямо страшно.

Зашумѣл наконец встрѣчный поѣзд, налетѣл с грохотом и вѣтром, слившись в одну золотую полосу освѣщенных окон, и пронесся мимо. Вагон тотчас тронулся. Проводник вошел в купѣ, освѣтил его и стал готовить постели.

— Ну и что же у вас с этой дѣвицей было? Настоящій роман? Ты почему-то никогда не рассказывал мнѣ о ней. Какая она была?

— Худая, высокая. Носила желтый, ситцевый сарафан и крестьянскія чунки на босу ногу, плетенныя из какой-то разноцвѣтной шерсти.

— Тоже значит, в русском стилѣ?

— Думаю, что больше всего в стилѣ бѣдности. Не во что одѣться, ну и сарафан. Кромѣ того она была художница, училась в Строгановском училищѣ, — значит, имѣла склонность к живописному. Да она и сама была живописна, даже иконописна. Длинная, черная коса на спинѣ, смуглое лицо с маленькими темными родинками, узкій правильный нос, черные глаза, черныя брови... Волосы сухіе и жесткіе, слегка курчавятся. Все это, при желтом сарафанѣ и бѣлых кисейных рукавах сорочки, выдѣлялось очень красиво. Лодыжки и

начало ступни в чуньках — все сухое, с выступающими под тонкой смуглой кожей костями.

— Я знаю этот тип. У меня на курсах такая подруга была. Истеричка, должно быть.

— Возможно. Тѣм болѣе, что лицом была похожа на мать, а мать, родом какая-то княжна с восточной кровью, страдала чѣм-то вродѣ черной меланхолии. Выходила только к столу. Выйдет, сядет и молчит, покашливает, не поднимая глаз, и все перекладывает то нож, то вилку. Если же вдруг заговорит, то так неожиданно и громко, что вздрогнешь.

— А отец?

— Тоже молчаливый и сухой, отставной военный. Прост и мил был только их мальчик, котораго я репетировал.

Проводник вышел из купэ, сказал, что постели готовы, и пожелал покойной ночи.

— А как ее звали?

— Руся.

Это что-же за имя?

Очень простое — Маруся.

Ну и что-же, ты был очень влюблен в нее?

Конечно, казалось, что ужасно.

А она?

Он помолчал и сухо отвѣтил:

— Вѣроятно, и ей так казалось. Но пойдѣм-ка спать. Я ужасно устал за день.

— Очень мило! Только даром заинтересовал. Ну, расскажи хоть в двух словах, чѣм и как ваш роман кончился.

Да ничѣм. Уѣхал и дѣлу конец.

Почему-ж ты не женился на ней?

Очевидно, предчувствовал, что встрѣчу тебя.

Нѣт, серьезно?

Ну, потому, что я застрѣлился, а она закололась кинжалом...

И, умывшись и почистив зубы, они затворились в образовавшейся тѣснотѣ купэ, раздѣлись и с дорожной отрадой

легли под свѣжее глянцевитое полотно простыни и на такія-же подушки, все скользившія с приподнятаго изголовья.

Синелиловый глазок над дверью тихо глядѣл в темноту. Она скоро заснула, он не спал, лежал, курил и мысленно смотрѣл в то лѣто... На тѣлѣ у нея тоже было много маленьких темных родинок — эта особенность была прелестна. Оттого что она ходила в мягкой обуви без каблуков, все тѣло ея волновалось под желтым сарафаном. Сарафан был широкій, легкій и в нем так свободно было ея долгому дѣвичьему тѣлу... Однажды она промочила в дождь ноги, вбѣжала из сада в гостиную, и он кинулся разувать и цѣловать ея мокрая узкія ступни — подобнаго счастья не было во всей его жизни. Свѣжій, пахучій дождь шумѣл все быстрѣе и гуще за открытыми на балкон дверями, всѣ спали послѣ обѣда — и как страшно испугал их какой-то черный с металлически-зеленым отливом пѣтух в большой огненной коронѣ, вдруг вскочившій из сада со стуком коготков по полу в ту самую горячую минуту, когда они забыли всякую осторожность. Увидав, как они вскочили, он торопливо и согнувшись, точно из деликатности, бѣжал назад под дождь с опущенным блестящим хвостом...

Первое время она все приглядывалась к нему; когда он заговаривал с ней, темно краснѣла и отвѣчала насмѣшливым бормотаніем; за столом часто задѣвала его, громко обращаясь к отцу:

— Не угощайте его, папа, напрасно. Он вареников не любит. Впрочем, он и крошки не любит, и лапши не любит, и простоквашу презирает, и творог ненавидит...

По утрам он был занят с мальчиком, она по хозяйству — весь дом был на ней. Обѣдали в час, и послѣ обѣда она уходила к себѣ в мезонин или, если не было дождя, в сад, гдѣ стоял под березой ея мольберт, и, отмахиваясь от комаров, писала с натуры. Потом стала выходить на балкон, гдѣ он послѣ обѣда сидѣл с книгой в косом камышовом креслѣ, стояла, заложив руки за спину, и посматривала на него с неопредѣленной усмѣшкой:

— Можно узнать, какія премудрости вы изволите штудировать?

— Исторію французской революціи.

— Ах, Бог мой! Я и не знала, что у нас дома оказался революціонер!

— А что ж вы свою живопись забросили?

— Вот-вот и совѣм заброшу. Убѣдилась в своей бездарности.

А вы покажите мнѣ что-нибудь из ваших писаній.

А вы думаете, что вы что-нибудь смыслите в живописи?

Вы страшно самолюбивы.

Есть тот грѣх...

Наконец предложила ему однажды покататься по озеру, вдруг рѣшительно сказала:

— Кажется, дождливый період наших тропических мѣст кончился. Давайте развлекаться. Душегубка наша, правда, довольно гнилая и с дырчатым дном, но мы с Петей всѣ дыры забили кугой...

День был жаркій, парило, прибрежныя травы, испещренныя желтыми цвѣточками куриной слѣпоты, были душно нагрѣты влажным теплом, и над ними низко вились несмѣтные блѣдно-голубые мотыльки.

Он усвоил себѣ ея постоянный ироническій тон и, подходя к лодкѣ, насмѣшливо сказал:

— Наконец-то вы снизошли до меня!

— Наконец-то вы собрались с мыслями отвѣтить мнѣ!
— крикнула она и прыгнула на нос лодки, распугав лягушек, со всѣх сторон зашлепавших в воду, но вдруг дико взвизгнула и подхватила сарафан до самых колѣн, топя ногами:

— Уж! Уж!

Он мельком увидал блестящую смуглость ея голых ног, схватил с носа весло, стукнул им извивавшагося по дну лодки ужа и, поддѣвъ его, далеко отбросил в воду.

Она была блѣдна какой-то индусской блѣдностью, родинки на ея лицѣ стали темнѣе, чернота волос и глаз как будто еще чернѣй. Она облегченно передохнула:

— Ох, какая гадость! Недаром слово ужас происходит от ужа. Они у нас тут повсюду, и в саду, и под домом... И Петя, представьте, берет их в руки!

В первый раз заговорила она с ним просто, и они в первый раз взглянули друг другу в глаза прямо.

— Но какой вы молодец! Как вы его здорово стукнули!

Она совсьм пришла в себя, улыбнулась и, перебѣжав с носа на корму, весело съла. В своем испугѣ она поразила его красотой, сейчас он с нѣжностью подумал: да она совсьм еще дѣвченка! Но, сдѣлав равнодушный вид, озабоченно перешагнул в лодку, и, упирая веслом в студенистое дно, повернул ее вперед носом и потянул по спутанной гущѣ подводных трав на зеленыя щетки куги и цвѣтушія кувшинки, все спереди покрывавшія сплошным слоем своей толстой, круглой листвы, вывел ее на воду и съл на лавочку посрединѣ, гребя направо и налѣво.

— Правда, хорошо? — крикнула она.

— Очень! — отвѣтил он, снимая картуз, и обернулся к ней, стараясь быть сдержанным: — Будьте добры кинуть возлѣ себя, а то я смахну его в это корыто, которое, извините, все таки протекает.

Она положила картуз к себѣ на колѣни.

— Да не безпокойтесь, киньте куда попало.

Она прижала картуз к груди:

— Нѣт, я его буду беречь.

У него опять нѣжно дрогнуло сердце, но он опять отвернулся и стал усиленно запускать весло в блестящую среди куги и кувшинок воду.

К лицу и рукам липли комары, кругом все слѣпило теплым серебром: парный воздух, зыбкій солнечный свѣт, курчавая бѣлизна облаков, мягко сіявших в небѣ и в прогалинах воды среди островов из куги и кувшинок: вездѣ было так мелко, что видно было дно с подводными травами, но оно как-то не мѣшало той бездонной глубинѣ, в которой отражалось небо. Вдруг она опять взвизгнула и лодка повалилась на бок: она сунула с кормы руку в воду и, поймав

стебель кувшинки, так рванула его к себѣ, что завалилась вмѣстѣ с лодкой — он едва успѣлъ вскочить и поймать ее под мышки. Она захохотала и, упав на корму спиной, брызнула с мокрой руки прямо ему в глаза. Тогда он опять схватил ее и, не понимая, что дѣлает, поцѣловал в хохочущія губы. Она быстро схватила его за шею и неловко поцѣловала в щеку.

С тѣх пор они стали плавать по ночам. На другой день она вызвала его послѣ обѣда в сад и спросила:

— Ты меня любишь?

Он горячо отвѣтил, помня вчерашніе поцѣлуи в лодкѣ:

— С перваго дня нашей встрѣчи!

— И я, — сказала она. — Нѣтъ, сначала ненавидѣла — мнѣ казалось, что ты совсѣм не замѣчаешь меня. Но, слава Богу, все это уже прошлое. Нынче, как все улягутся, ступай опять туда и жди меня. Только выйди из дому как можно осторожнѣе, мама за каждым шагом моим слѣдит, ревнива до безумія.

Ночью она пришла на берег с пледом на рукѣ. От радости он встрѣтил ее растерянно, только спросил:

— А плед зачѣм?

— Какой глупый. Нам же будет холодно. Ну скорѣй, садись и гребь к тому берегу...

Всю дорогу они молчали. Когда подошли к лѣсу на той сторонѣ, она сказала:

— Ну вот. Теперь иди ко мнѣ. Гдѣ плед? Ах, он подо мной. Прикрой меня, я прозябла, и садись. Вот так... Нѣтъ, погоди, вчера мы цѣловались как-то безтолково, теперь я сперва поцѣлую тебя, только тихо, тихо. А ты обними меня... вездѣ...

Под сарафаном у нея была только сорочка. Она нѣжно, едва касаясь, цѣловала его в края губ, потом отчаянно обняла его...

Полежав в изнеможеніи, она приподнялась и с улыбкой счастливой усталости сказала:

— Теперь мы муж с женой. Мама говорит, что она не

переживет моего замужества, но я сейчас не хочу об этом думать... Знаешь, я хочу искупаться, страшно люблю по ночам...

Через голову она раздѣлась, неясно забѣлѣла вѣсь своим долгим тѣлом и стала завязывать голову косой, подняв руки, показывая темныя мышки и поднявшіяся груди. Завязав, она быстро вскочила на ноги, и плашмя упав в воду, закинула голову назад и шумно заколотила ногами.

Потом он, спѣша, помог ей одѣться и закутаться в плед. В сумракъ сказочно были видны ея черныя глаза и черныя волосы, обвязанные косой. Он больше не смѣл касаться ея, только цѣловал ея руки и молчал от тупого, нестерпимаго счастья. Все казалось, что кто-то есть в темнотѣ прибрежнаго лѣса, молча тлѣющаго кое-гдѣ свѣтляками, — стоит и слушает. Иногда там что-то осторожно шуршало. Она поднимала голову:

— Постой, что это?

— Не бойся, это вѣрно лягушка выползает на берег. Или еж в лѣсу...

— А если козерог?

— Какой козерог?

— Я не знаю. Но ты только подумай: выходит из лѣсу какой-то козерог, стоит и смотрит... Мнѣ так хорошо, мнѣ хочется болтать страшныя глупости!

И он опять прижимал к губам ея руки, иногда, как что-то священное, цѣловал холодную грудь. Каким совѣм новым существом стала она для него! И стоял и не гас за чернотой низкаго лѣса зеленоватый полусвѣтъ, слабо отражавшійся в плоско бѣлѣющей волѣ вдали, рѣзко, сельдереем, пахли росистыя прибрежныя растенія, таинственно, проситель-но ныли комары — и летали, летали над лодкой и дальше, над этой по ночному свѣтящейся водой, страшныя, безсонныя стрекозы. И все гдѣ-то что-то шуршало, ползло, пробиралось...

Через недѣлю он был безобразно, с позором, ошеломленный ужасом совершенно внезапной разлуки, выгнан из дому.

Как-то послѣ обѣда они сидѣли в гостиной и, касаясь головами, смотрѣли картинки в старых номерах «Нивы».

— Ты меня еще не разлюбила? — тихо спрашивал он, дѣлая вид, что внимательно смотрит.

— Глупый. Ужасно глупый! — шептала она.

Вдруг в столовой послышались мягко бѣгушіе шаги, — и на порогѣ встала в черном шелковом истрепанном халатѣ и истертых сафьяновых туфлях ея полоумная мать. Черные глаза ея трагически сверкали. Она вбѣжала как на сцену и крикнула:

— Я все поняла! Я чувствовала, я слѣдила! Негодяй, ей не быть твоею!

И, вскинув руку в длинном рукавѣ, оглушительно выстрѣлила из стариннаго пистолета, из котораго Петя пугал воробьев, заряжая его только порохом. Он бросился к ней, схватил ея цѣпкую руку. Она вырвалась, ударила его пистолетом в лоб, в кровь разсѣкла ему бровь, швырнула им в него и, слыша, что по дому бѣгут на крик и выстрѣл, стала кричать, с пѣной на сизых губах, еще театральнѣе:

— Только через мой труп перешагнет она к тебѣ! Если сбѣжит с тобой, я в тот же день повѣшусь, брошусь с крыши! Негодяй, вон из моего дома! Марья Викторовна, выбирайте: мать или он!

Она прошептала:

— Вы, вы, мама...

За Курском, в вагонѣ ресторанѣ, когда послѣ завтрака он пил кофе и коньяк, жена сказала ему:

— Что это ты столько пьешь? Это уже, кажется, пятая рюмка. Все еще грустишь, вспоминаешь свою дачную дѣвицу с костлявыми ступнями?

— Грущу, грущу, — отвѣтил он, неприятно усмѣхаясь.

Дачная дѣвица... *Amata nobis quantum amabitur nulla!*

Это по латыни? Что это значит?

— Это тебѣ не нужно знать.

— Как ты груб, — сказала она, небрежно вздохнув, и стала смотрѣть в солнечное окно.

В ПАРИЖЪ

Когда он был в шляпѣ, — шел по улицѣ или стоял в вагонѣ метро, — и не видно было, что его коротко стриженные красноватые волосы остро серебрятся сѣдиной, по свѣжести его худого бритого лица, по прямой выправкѣ худой, высокой фигуры в длинном непромокаемом пальто, в котором он ходил и лѣто и зиму, ему можно было дать не больше сорока лѣт. Только свѣтлые глаза его смотрѣли с сухой грустью и говорил и держался он как человек много испытавшій в жизни и привыкшій к одиночеству. Одно время он арендовал ферму в Провансѣ, наслышался ѣдких провансальских шуток и в Парижѣ любил иногда вставлять их с усмѣшкой в свою всегда отрывистую рѣчь. Многие знали, что еще в Константинополѣ его бросила жена и что живет он с тѣх пор с постоянной раной в душѣ. Он никогда и никому не открывал тайны этой раны, но иногда невольно намекал на нее, — небрежно шутил, если разговор касался женщин:

— Rien n'est plus difficile que de reconnaître un bon melon et une femme de bien.

Однажды, в сырой парижскій вечер поздней осенью, он зашел пообѣдать в небольшую русскую столовую в одном из темных переулков возлѣ улицы Пасси. При столовой было нѣчто вродѣ гастрономическаго магазина — он безсознательно остановился перед его большим окном, за которым были видны на подоконникѣ розовыя бутылки конусом с рябиновой и желтыя кубастыя с зубровкой, блюдо с засохшими жареными пирожками, блюдо с рублеными котлетами, коробка халвы, коробка шпротов, дальше стойка, тоже уставленная закусками, за стойкой — хозяйка с непріязненным русским

лицом. В магазинъ было свѣтло, и его потянуло на этот свѣтъ из темнаго переулка с холодной и точно сальной мостовой. Он вошел, поклонился хозяйкѣ и по трем ступенькам поднялся в слабо освѣщенную комнату, прилегавшую к магазину, — там бѣлѣли накрытые бумагой к обѣду столики. В комнатѣ было пусто. Он не спѣша повѣсил сѣрую шляпу и свое длинное пальто на рога стоячей вѣшалки у входа, пошел к столику в самом дальнем углу, разсѣянно сѣл и, потирая худыя руки с рыжими волосатыми кистями, стал разсѣянно читать безконечное перечисленіе закусок и кушаній, частью напечатанное, частью написанное расплывшимися лиловыми чернилами на просаленном листѣ. Вдруг его угол освѣтился, и он увидал безучастно-вѣжливо подходящую женщину лѣтъ тридцати, красивую, крупную, с черными волосами на прямой пробор и черными глазами, в бѣлом передникѣ с прошивками и в черном платьѣ.

— *Воп soir, monsieur,* — сказала она пріятным русским голосом.

Она показалась ему так хороша, что он смутился и неловко отвѣтил:

Воп soir... Но вы вѣдь русская?

— Русская. Извините, образовалась привычка говорить с гостями по французски.

— Да развѣ у вас много бывает французов?

— Довольно много и все спрашивают непременно зубровку, блины, даже борщ. Вы что-нибудь уже выбрали?

— Нѣтъ, тут столько всего... Вы уж сами посовѣтуйте мнѣ что-нибудь.

Она стала перечислять заученным тоном:

— Нынче у нас ши флотскія, битки по казацки... можно имѣть отбивную телячью котлетку или, если желаете, шашлык по-карски...

— Прекрасно. Будьте добры дать ши и битки.

Она подняла висѣвшій у нея на поясѣ блокнот и записала на нем кусочком карандаша. Руки у нея были очень бѣлыя

и благородной формы, платье поношенное, но, видно, из хорошаго дома.

Водочки желаете?

Охотно. Сырость на дворѣ ужасная.

Закусить что прикажете? Есть чудная дунайская сельдь, красная икра недавней получки, каркуновскіе огурчики малосольные...

Он опять взглянул на нее: очень красив бѣлый передник с прошивками на черном платьѣ, красиво выдаются под ним груди сильной и здоровой молодой женщины... полная губы не накрашены, но свѣжи, на головѣ просто свернутая черная коса, но кожа на бѣлой рукѣ холеная, ногти блестящіе и чуть розовые, — виден маникюр...

— Что я прикажу закусить? — сказал он, улыбаясь. Если позволите, только селедку с горячим картофелем.

— А вино какое прикажете?

— Красное. Обыкновенное, — какое у вас всегда дают к столу.

Она отмѣтила на блокнотѣ и переставила с сосѣдняго стола на его стол графин с водой. Он закачал головой:

— Нѣтъ, мерси, ни воды, ни вина с водой никогда не пью. *L'eau gâte le vin comme la charrette le chemin et la femme — l'âme.*

— Хорошаго же вы мнѣнія о нас! — безразлично отвѣтила она и пошла за водкой и селедкой. Он посмотрѣлъ ей вслѣд — на то, как ровно она держалась, как колебалось на ходу ея черное платье... Да, вѣжливость и безразличіе, всѣ повадки и движенія скромной и достойной служащей. Но дорогія изящныя туфли. Откуда? Есть, вѣроятно, пожилой, состоятельный ami... Он давно не был так оживлен, как в этот вечер, благодаря ей, и послѣдняя мысль возбудила в нем нѣкоторое раздраженіе. Да, из году в год, изо дня в день ждешь только одного — чего никто и не подозревает в нем, — любви, счастливой любовной встрѣчи, живешь в сущности только надеждой на эту встрѣчу — и все напрасно...

На другой день он опять пришел и сѣл за свой столик. Она была сперва занята, принимала заказ двух французов, по виду мелких служащих, и вслух повторяла, отмѣчая на блокнотѣ:

— Caviar rouge, salade russe... Deux chachlyks...

Потом вышла, вернулась и пошла к нему с легкой улыбкой, уже как к знакомому:

— Добрый вечер. Пріятно, что вам у нас понравилось.

Он весело приподнялся:

— Добраго здоровья. Очень понравилось. Как вас величать прикажете?

— Ольга Александровна. А вас, позвольте узнать?

— Николай Платонович.

Они пожали друг другу руки, и она подняла блокнот:

— Нынче у нас чудный разсолъник. Повар у нас замѣчательный, на яхтѣ у великаго князя Александра Михайловича служил.

— Прекрасно, разсолъник так разсолъник... А вы давно тут работаете?

Третій мѣсяц.

А раньше гдѣ?

Раньше была продавщицей в Printemps.

Вѣрно из-за сокращеній лишились мѣста?

Да, по доброй волѣ не ушла бы.

Он с удовольствіем подумал: «Значит, дѣло не в аті», и спросил:

Вы замужня?

Да.

А муж ваш что дѣлает?

Работает в Югославіи. Бывшій участник бѣлаго движенія. Вы, вѣроятно, тоже?

— И бѣлаго и всякаго.

— Это сразу видно. И, вѣроятно, генерал, — сказала она, улыбаясь.

Бывшій. Теперь пишу исторіи этих войн по заказам разных иностранных издательств... Как же это вы одна?

— Так вот и одна...

На третій вечер он спросил:

— Вы любите синема?

Она отвѣтила, ставя на стол мисочку с борщем:

— Иногда бывает интересно.

— Вот теперь идет в синема подлѣ Etoile какой-то, говорят, замѣчательный фильм. Хотите пойдѣм посмотрим. У вас есть, конечно, выходные дни?

Мерси. Я свободна по понедѣльникам.

— Ну вот, и пойдѣм в понедѣльник. Нынче что? Суббота? Значит, послѣзавтра. Идет?

Она сдержанно улыбнулась:

— Идет. Завтра вы, очевидно, не придете?

— Нѣт, ѣду за город, к знакомым. А почему вы спрашиваете?

— Не знаю... Это странно, но я уж как-то привыкла к вам.

Он благодарно взглянул на нее и покраснѣл:

— И я к вам. Знаете, на свѣтѣ так мало счастливых встрѣч...

И поспѣшил перемѣнить разговор:

— Итак, послѣзавтра. Гдѣ же нам встрѣтиться? Вы гдѣ живете?

— Возлѣ метро Motte Picquet.

— Видите, как удобно, — прямой путь до Etoile. Я буду вас ждать при выходѣ из метро ровно в восемь с половиной.

— Мерси.

Он шутливо поклонился.

— C'est moi qui vous remercie. Уложите дѣтей, — улыбаясь, сказал он, чтобы узнать, нѣт ли у нея ребенка, — и приѣзжайте.

— Слава Богу, этого добра у меня нѣт, отвѣтила она и плавно понесла от него тарелки.

Он был и растроган и хмурился, идя домой. «Я уже привыкла к вам...» Да, может быть, это и есть долгожданная счастливая встрѣча. Только поздно, поздно.»

“Le bon Dieu envoie toujours des culottes à ceux qui n'ont pas de derrière”.

Вечером в понедѣльник шел дождь, мглистое небо над Парижем мутно краснѣло. Надѣясь поужинать с ней на Монпарнасѣ, он не обѣдал, зашел в кафэ на Chaussée de la Muette. с'ѣл сандвич с ветчиной, выпил кружку пива и, закурив, сѣл в такси. У входа в метро Etoile остановил шоффера и вышел под дождь на тротуар — толстый, с багровыми щеками шоффер довѣрчиво стал ждать его. Из метро несло вѣтром, густо и черно поднимался по лѣстницам народ, раскрывая на ходу зонтики, газетчик рѣзко выкрикивал возлѣ него низким утиным кряканьем названія вечерних выпусков. Внезапно в поднимавшейся толпѣ показалась она. Он радостно двинулся к ней навстрѣчу:

— Ольга Александровна...

Нарядная, модно одѣтая, она свободно, не так, как в столовой, подняла на него черно подведенные глаза, дамским движеніем подала руку, на которой висѣл зонтик, позахватив другой подол длиннаго вечерняго платья, — он обрадовался еще больше: «вечернее платье, значит тоже думала, что послѣ синема поѣдем куда-нибудь», и отвернул край ея перчатки, поцѣловал кисть бѣлой руки.

— Бѣдный, вы долго меня ждали?

— Нѣт, я только что пріѣхал. Идем скорѣй в такси...

И с давно неиспытанным волненіем он вошел за ней в полутемную, пахнущую сырым сукном карету. На поворотѣ карету сильно качнуло, внутренность ея на мгновение освѣтил фонарь, — он невольно поддержал ее за талию, почувствовал запах пудры от ея щеки, увидел крупныя колѣни под вечерним черным платьем, блеск чернаго глаза и полная, в красной помадѣ, губы: совсѣм другая женщина сидѣла теперь возлѣ него.

В темном залѣ, глядя на бѣлизну экрана, по которой косо летали и падали в облаках гулко жужжашіе распластанные аэропланы, они тихо переговаривались:

— Вы одна или с какойнибудь подругой живете?

— Одна. В сущности ужасно. Отельчик чистый, теплый, но, знаете, из тѣх, куда можно зайти на ночь или на часы с дѣвицей... Шестой этаж, лифта, конечно, нѣтъ, на четвертом этажѣ красный коврик на лѣстницѣ кончается... Ночью, в дождь страшная тоска. Раскроешь окно — ни души нигдѣ, совѣм мертвый город, Бог знает гдѣ-то внизу один фонарь под дождем... А вы, конечно, холостой и тоже в отелѣ живете?

— У меня небольшая квартирка в Пасси. Живу тоже совѣм один. Давній парижанин. Одно время жил в Провансѣ, снял ферму, хотѣл удалиться от всѣх и ото всего, жить трудами рук своих — и не вынес этих трудов. Взял в помощники одного казачка, — оказался пьяница, мрачный, страшный во хмелю человек, завел кур, кроликов — дохнут, мул однажды чуть не загрыз меня, — очень злое и умное животное... И, главное, полное одиночество. Жена меня еще в Константинополѣ бросила.

— Вы шутите?

— Ничуть. Исторія очень обыкновенная. *Qui se marie par amour a bonnes nuits et mauvais jours.* А у меня и того и другого было очень мало. Бросила на второй год замужества.

— Гдѣ же она теперь?

— Не знаю...

Она долго молчала. По экрану дурачки бѣгал на раскинутых ступнях, в нелѣпо огромных, разбитых башмаках и в котелкѣ на бок какой-то подражатель Чаплина.

— Да, вам, вѣрно, очень одиноко, — сказала она.

— Да. Но что ж, надо терпѣть. *Patience — médecine des pauvres.*

— Очень грустная *médecine.*

— Да, невеселая. И уж очень однообразная: вѣчное одиночество.

Развѣ у вас мало знакомых?

Не мало, конечно. Но знакомства плохая утѣха.

Кто же ваше хозяйство ведет?

Хозяйство у меня скромное. Кофе варю себѣ сам,

завтрак готовлю тоже сам. К вечеру приходит *femme de ménage*.

— Бѣдный! — сказала она, сжав его руку.

И они долго сидѣли так, рука с рукой, соединенные сумраком и близостью мѣст, дѣлая вид, что смотрят на экран, к которому дымной синевато-мѣловой полосой шел над их головами свѣт из кабинки на задней стѣнѣ. Подражатель Чаплина, у котораго от ужаса отдѣлился от головы проломленный котелок, бѣшено летѣл на телеграфный столб в обломках допотопнаго автомобиля с дымящейся самоварной трубой. Громкоговоритель музыкально ревел на всѣ голоса, снизу, из провала дымнаго от папирос зала, — они сидѣли на балконѣ, — гремѣл вмѣстѣ с рукоплесканіями отчаянно-радостный хохот. Он наклонился к ней:

— Знаете что? Поѣдьте куда-нибудь, на Монпарнас, напримѣр, тут ужасно скучно и дышать нечѣм...

Она кивнула головой и стала надѣвать перчатки.

Снова сѣв в полутемную карету и глядя на искристыя от дождя стекла, то и дѣло загоравшіяся разноцвѣтными алмазами от фонарных огней и переливающимися в черной вышинѣ то кровью, то ртутью реклам, он опять отвернул край ея перчатки и продолжительно поцѣловал ей руку. Она посмотрѣла на него тоже странно искрящимися глазами с угольно крупными рѣсницами и любовно-грустно потянулась к нему лицом, полными, с сладким помадным вкусом, губами.

В кафэ “*Courole*” они начали с устриц и анжу, потом заказали куропаток и краснаго бордо. За кофе с желтым шартрезом оба слегка охмелѣли. Он среди разговора смотрѣл на ея разгорѣвшееся лицо и думал, что она красавица.

— Но скажите правду, -- говорила она, — вѣдь были же у вас встрѣчи за эти годы?

— Были. Но, вы догадываетесь, какого рода. Ночные отели... А у вас?

Она помолчала:

— Была одна долгая и очень тяжелая исторія... Нѣт,

я не хочу говорить об этом. Мальчишка, сутенер, в сущности... Но как вы разошлись с женой?

— Постыдно. Тоже из-за мальчишки. Красавец греченок, чрезвычайно богатый. И в мѣсяц, в два не осталось и слѣда от чистой, трогательной дѣвочки, которая просто молилась на бѣлую армію, на всѣх на нас. Стала ужинать с ним в самом дорогом кабаѣ на Пера, получать от него гигантскія корзины цвѣтов... «Не понимаю, неужели ты можешь ревновать меня к нему? Ты весь день занят, мнѣ с ним весело, он для меня просто милый мальчик и больше ничего...» Милый мальчик! А самой двадцать лѣтъ... Нелегко было забыть ее, прежнюю, екатеринодарскую!

Когда подали счет, она внимательно просмотрѣла его и не велѣла ему прибавлять больше десяти процентов на прислугу. Послѣ этого им обоим показалось еще страннѣе разстаться через полчаса.

— Поѣдемте ко мнѣ, — сказал он печально. — Посидим, поговорим еще...

— Да, да, — отвѣтила она, вставая, беря его под руку и прижимая ее к себѣ.

Ночной шоффер, русскій, привез их в одинокій переулок, к под'ѣзду высокаго дома, возлѣ котораго, в металлическом свѣтѣ газоваго фонаря, сыпался дождь на жестяной чан с отбросами. Вошли в освѣтившійся вестибюль, потом в тѣсный лифт и медленно потянулись вверх, обнявшись и тихо цѣлуясь. Он успѣл попасть ключем в замок своей двери, пока не погасло электричество, и ввел ее в очень теплый корридор, потом в маленькую столовую, гдѣ в люстрѣ скучно зажглась только одна лампочка. Лица у них были уже усталыя.

— Нѣтъ, дорогой мой, — сказала она, — ни кофе, ни вина я больше пить не могу.

Он стал просить:

— Выпьем только по бокалу бѣлаго вина, у меня стоит за окном отличное пун. А?

— Пейте, милый, а я пойду раздѣнусь и помоюсь. И спать, спать. Мы не дѣти, вы, я думаю, отлично знали, что

раз я согласилась ѣхать к вам... И, вообще, зачѣм нам разставаться?

Он от волненія не мог отвѣтить, молча провел ее в спальню, освѣтил ее и ванную комнату, дверь в которую была из спальни открыта. Тут лампочки горѣли ярко, всюду шло тепло от топок, меж тѣм как по крышѣ бѣгло и мѣрно стучал дождь. Она тотчас стала снимать через голову длинное платье.

Он вышел, выпил подряд два бокала ледяного горькаго вина и не мог удержать себя, опять пошел в спальню. В большем зеркалѣ на стѣнѣ напротив ярко отражалась освѣщенная ванная комната. Она стояла спиной к нему, вся голая, бѣлая, наклонившись над умывальником, моя шею и груди, — это было тѣло женщины во всем расцвѣтѣ сил и крѣпости, особенно поразившее его именно тѣм, о чем он больше всего мечтал по ночам, — своей семейственностью.

— Нельзя сюда! — сказала она и, накинув купальный халат, вошла в спальню. — Нетерпѣлив как мальчик...

И, показывая полно налитыя груди, бѣлый сильный живот и бѣлыя тугія бедра, подошла и как жена обняла его. И как жену обнял и он ее, цѣлуя ее еще влажную грудь, пахнущую туалетным мылом, глаза и губы, с которых она уже вытерла краску, прижимая к себѣ все ее прохладное, голое тѣло, точно какую-то наяду. Так прижимал и всю ночь во снѣ, упиваясь тѣм, чего так давно был лишен, — близостью женских плечей, женской спины, женских ног.

Через день она переѣхала к нему.

Однажды зимой он уговорил ее взять на свое имя сейф в Лионском Кредитѣ и положить туда все, что им было заработано за послѣдніе годы.

— Предосторожность никогда не мѣшает, — говорил он, смѣясь. — *L'amour fait danser les âmes*, и я чувствую себя так, точно мнѣ двадцать лѣтъ. Но мало ли что может быть...

В этот день она долго плакала за плитой в кухнѣ.

На третій день Пасхи он умер в вагонѣ метро, — читая

газету, вдруг откинул к спинкѣ сидѣнья голову, завел глаза...

Когда она, в траурѣ, возвращалась с кладбища, был теплый солнечный день, кое-гдѣ плыли в мягком парижском небѣ весеннія облака, и все говорило о жизни юной, вѣчной — и о ея, конченной.

Дома она стала убирать квартиру. В корридорѣ, в плакарѣ, увидала его давнюю, давнюю шинель, легкую, сѣрую, на красной подкладкѣ. Она сняла ее с вѣшалки, прижала к лицу и, прижимая, сѣла на пол, вся дергаясь от рыданій и вскрикивая, моля кого-то о пощадѣ.

Ив. Бунин.

26.X.40.

ПРЕДРАЗСВѢТНЫЙ ТУМАН

«Жизнь — сон

Смерть — пробужденіе».

Л е в Т о л с т о й.

Круг чтенія. 7 ноября.

«I love you, yes I do!»

Зельфія швырнула книги на диван в гостиной, на ходу сдернула перчатки, бросила их на стул и в шляпѣ и пальто прошла в кухню.

— Миссис Офро, бананы есть? — и, не дожидаясь отвѣта, открыла ледник.

— Скоро обѣдать, Зельфія, мама не любит, когда вы портите себѣ аппетит.

— Мой аппетит трудно испортить, Миссис Офро, это во первых, во вторых, я очень рада, если я его испорчу и буду меньше ѣсть, я стала ужасно толстѣть, — Зельфія осмотрѣла свою угловатую острую фигуру, — а в третьих, на завтрак я ѣла одно мороженое. Я голодна как волк! Что это? Кѣз? К обѣду?

Оставьте, оставьте...

— Я отщипну только немножечко, незамѣтно будет...

— Зельфія, вы же не маленькая, — и Анна отставила кѣз на другой стол. Зельфія отвернула почернѣвшую полосками шкурку банана и большіе, немного выдающіеся вперед зубы мягко вонзились в проглицеринное тѣло банана. Она рѣзко перевернулась на высоких каблуках:

*) Всѣ дѣйствующія лица романа «Предразсвѣтный туман» — вымышлены. А в т о р .

— Мама гдѣ?

— Бридж лонч у нея сегодня. Она дома не завтракала.

С сожалѣніем выкусив послѣднее мясо банана из бессильно болтающейся звѣздой шкурки, Зельфія подумала, бросила кожу в раковину и вышла, раскачиваясь боками.

— Зачѣм же в раковину? — крикнула ей вдогонку Анна, но она уже не слышала.

«I love you, yes I do!»

«Надо бы убрать книги, перчатки, ну ничего, потом,» — и сняв шляпу и пальто, бросила тут же в гостиной. «Чѣм бы заняться?» Зеркало, папирсы, радіо и чтеніе всегда пріятно заполняли время. Она подошла к зеркалу. «Сегодня на ночь волосы завить. Ах, брови хороши!» Недаром она потратила на них столько времени и терпѣнія. Больно было. Особенно сначала, потом легче. Она улыбнулась, вспомнила как подруга выщипывала их два дня, кончала одну, и вдруг неожиданно пришел Боб, позвал в кино и они пошли. Одна бровь выщипанная, воспаленная, а другая обыкновенная. Хороши брови! Особенно этот верхній изгиб. Прелесть! Она представила себѣ фотографіи кино-звѣзд с точно такими же бровями... А вот как это рѣсницы подклеивают? Надо научиться. Зельфія подняла брови. Онѣ изогнулись, в лицѣ недоумѣніе, вопрос... Очень хорошо! Совсѣм как у Дороти! Рот великоват, нос тоже и эта горбинка совсѣм некстати... Ну в общем совсѣм ничего, пятнадцати лѣтъ никто не даст, восемнадцать по крайней мѣрѣ...»

Она вдруг вспомнила, что ее ждет что-то исключительно интересное и пріятное. И уже не думая ни о чем другом, а только предвкушая наслажденіе, она выбрала самое мягкое кресло, утонула в нем, сдернула со стола книгу в бумажной обложкѣ (вчера за обѣдом родители возмущались ея грязным содержаніем), лѣвой рукой потянула коробочку с папирсами, не глядя чиркнула спичку, закурила и погрузилась в волны пріятной чувственности, возбуждаемой папирсами и чтеніем.

Пріѣхала Миссис Леви и удовольствіе было нарушено.

Зельфія отложила книгу и принялась за газету. Жадными глазами она отыскивала на первой страницѣ сенсаціонныя извѣстія и, перескакивая через политическія новости, иностранный отдѣл, искала продолженія. Исчерпав все самое интересное, с невольным осознанным сожалѣніем, что слишком мало извѣстій об убійствах, грабежах, изнасилованіи и автомобильных катастрофах, она перешла к отдѣлу зрѣлищ.

— Уроки сдѣлала?

Каждый день Миссис Леви задавала один и тот же вопрос, и Зельфія всегда отвѣчала одно и то же: «Конечно, мама, еще в школѣ», и переходила на болѣе интересныя темы:

— Знаешь, мама, — она чиркала спичку, зажигая свѣжую папиросу, — опять в Бруклинѣ изнасиловали восьмилѣтнюю дѣвочку. Интересно, поймают или нѣтъ? Кака ты думаешь? Кто? Негр?

— Почему я знаю, Зельфія! Ты бы хоть перед обѣдом не курила, и убери свои вещи, опять все разбросано.

— Я сегодня в школѣ совѣм не курила. А сейчас мнѣ вѣсть хочется, я не могу не курить.

— Ты слишком много куришь, это вредно.

— Не думаю. Всѣ курят. Вот Эльзѣ родители запрещают, а она курит больше меня и скрывает. Лучше уже я буду курить открыто, чѣм тайно, за вашей спиной, как это дѣлают другія дѣвочки.

Это были слова, которыя всегда говорил ей отец.

— Вот Вѣрочка, она на цѣлый год старше тебя, а вѣдь она совѣм не курит, и какой у нея здоровый цвѣтушій вид!

— Да, но я не желала бы имѣть такую фигуру. Ей и в школѣ сказали, что она вѣсит гораздо больше, чѣм полагается. По ея росту ей надо вѣсить 115, а она вѣсит 130. Она тоже рѣшила худѣть. Ну и вообще не ставь мнѣ ее в примѣр, пожалуйста. Сисси! Мама, а правда, что мать ея настоящая русская княгиня?

— Ах, не знаю, Зельфія! Мнѣ право все равно! Если послушать, всѣ русскіе — аристократы! Ты вот лучше помоги

мнѣ надписать конверты, если тебѣ нечего дѣлать. У меня будет парти через недѣлю во вторник.

— Да? Кто же? Твои клубныя дамы? Ну это неинтересно! Нѣтъ, мама, я сегодня ужасно устала в школѣ... Знаешь, мнѣ хотѣлось бы познакомиться с настоящим русским князем! У них, говорят, были замѣчательные мундиры, шитые золотом. Но не с таким, как Вѣрочкин папа, Вѣрочка показывала мнѣ его портрет, совсѣм неинтересный, некрасивый и с бородой, — а с молодым, красивым, с небольшими усиками. Ты знаешь, мама, Вѣрочкин папа женился на другой женщинѣ и они живут в Филадельфiи. Та красивая, молодая, совсѣм не такая, как Миссис Офро, и Вѣрочка е терпѣть не мо...

— Ты мнѣ мѣшаешь, Зельфія!

— Ну вот, никогда нельзя с тобой поговорить.

Папирота была докурена и Зельфія, осторожно, чтобы не обжечь пальцы, потушила ее.

— Знаешь, мама, ту женщину, которая убила мужа, осудили на тридцать лѣтъ, вот ужас! Если бы я была судьей, я бы ее оправдала, у нея такое чудное лицо, очень привлекательна.

— Не говори глупости! Лучше займись чѣм-нибудь, я уже третій конверт порчу из за твоей болтовни!

— Какая же ты скучная! Сколько раз ты мнѣ сама говорила, чтобы я дѣлилась с тобой своими мыслями. Я лучше пойду к себѣ.

— Самое лучшее.

Зельфія незамѣтно подхватила запрещенную книгу, вещи и, волоча по полу рукав пальто, пошла наверх.

II

Вѣрочка пришла из школы поздно.

— Скоро обѣдать?

— Нѣтъ еще, мистер Леви не пришел и Джо, кажется, еще нѣтъ.

— Дай кусочек хлѣба.

— С'ѣшь яблоко. Почему ты так поздно?

— Я в библиотеку зашла и к Салли.

У Вѣрочки был неестественный голос и мать подняла на нее глаза:

— ... Вѣрочка, может быть можно без этого?

— Что, мамочка? — Она густо покраснѣла и опустила глаза. Она знала ч т о . С той минуты, как Салли провела липстиком по ея губам и едва тронула ружем ея щеки, Вѣрочка почувствовала себя неловко. Она старалась не облизывать губы и неестественно держала полузакрытым рот. Ей казалось, что у нея повзрослѣло лицо и что всѣ это замѣчают. Было неловко, но с другой стороны было весело, что наконец она на это рѣшилась. Мамочка? Но вѣдь она возражала, когда Вѣрочка перестала заплетать свои тяжелыя косы и заложила их наверх. Остричь волосы, правда, она ей так и не позволила... Ну ничего, может быть привыкнет...

— Ты замѣтнула? Я, мамочка, чуть-чуть, ты подумай, вѣдь я уже взрослая, на будущій год я буду в колледжѣ, и вѣдь всѣ в школѣ так, мнѣ неловко!

Анна молчала.

Начинается. А что еще дальше будет? Запах липстника, пудры... точно загрязнили это свѣжее, дѣтское еще, чистое лицо.

— Ты теперь не сможешь даже поцѣловать меня, Вѣрочка!

— Тебѣ не нравится?

Анна не могла не улыбнуться. Как наивно звучало это выражение: «Не нравится».

— Нѣт, не нравится.

— Но вѣдь всѣ так...

— Всѣ, кто эти «всѣ»?

— Ну, всѣ ученицы в школѣ, всѣ дѣвочки, мои подружки.

— А ты хочешь быть как всѣ?

— А как же иначе? Знаешь, мама, чувствуешь себя точно неодѣтой...

— Брось, Вѣрочка, это не твое... Я всегда надѣялась,

что ты сможешь быть не как «всѣ». Неужели ты не понимаешь, что всѣ — толпа, это ничтожество, это пошлость, это...

Анна замолчала, она знала, что говорить того, что было у нея на душѣ, не слѣдовало.

— Ну говори же, мама...

— Кто они эти «всѣ»? Тѣ, которыя курят, развратничают, красятся, безсодержательныя, большей частью не вѣрующія, безличныя, слабыя, стадо, без всякаго разумнаго руководства. Я думала, что я сумѣю тебѣ дать что-то свое, твое, Вѣрочкино...

— Ты думаешь, что это так плохо?

— Не плохо, не умѣю тебѣ сказать, но это недостойно тебя. И зачѣм? Вѣдь у тебя такой цвѣт лица, которому позавидовала бы всякая дѣвченка, розовыя щеки, здоровый вид!

— Но, мамочка, они все смѣются, что я толстая, что я не..

— Так вот в этом то и дѣло, надо быть выше этого, ты посмотри на себя, посмотри, какія же краски могут сравниться с цвѣтом твоего лица? А твоими красками, пудрой, недоѣланием ты все испортишь, разовьется малокровіе, ты будешь блѣдная, изможденная, неужели тебѣ это нравится? Впрочем, как хочешь, Вѣра. Я бы на твоем мѣстѣ не стала портить себя, но лицо твое принадлежит тебѣ. Хочешь портить — порти, а как я к этому отношусь, ты знаешь. Больше я говорить не буду. Который час?

— Шесть.

— Помоги мнѣ накрыть на стол. Впрочем, нѣтъ, я лучше сама, вымой салат и нарѣжь томаты.

И Анна стала привычным движеніем доставать посуду, стараясь вспомнить все то, что надо было поставить на стол в столовой. «Синіе стаканы», соображала она. «и синіе фужеры». А мысли, неотвязныя и все одни и тѣ же, преслѣдовали, нельзя было их выбить из привычнаго, не дающаго выхода русла. Дальше так жить невозможно. Но что дѣлать? Двѣсти долларов, которыя она скопила с таким трудом, это

так мало, что сдѣлаешь на эти деньги? Снять дом? Сдавать квартиры? Сколько раз она об этом думала! Снять квартиру и сдавать комнаты. А если не будет жильцов? Уйдут послѣднія деньги и вдруг заболѣет Вѣрочка, Гриша? Нѣтъ, рано еще... надо скопить хоть четыреста, пятьсот долларов. С горечью она подумала, что муж ея Дмитрій Михайлович почти перестал посылать ей деньги на образование дѣтей. А должен бы... Зарабатывает же он, живет, содержит жену, купил землю. А та еще молодая, гораздо моложе Анны, могла бы зарабатывать... Тарелочки для салата... Четыре. Уроками? Не зарабатываешь, она уже пробовала. Ученики хорошо посѣщали уроки недѣлю, двѣ, мѣсяц, а потом постепенно пропускали и не платили. А главное Вѣрочка. Как уберечь, как сохранить ее, как выработать в ней сопротивляемость всѣм этим разлагающим теченіям современной жизни? — Она вспомнила свою молодость, строгаго отца, не позволявшаго сестрам до 18 лѣтъ ходить в гости без матери или гувернантки, вспомнила балы, выѣзды, Большой Театр, имѣніе с 100 десятинами вѣкового парка, конным заводом, верховыми лошадьми. А что видѣли ея дѣти? Кино? Даже в русскую оперу Анна не могла свести Вѣру.

— Обѣд готов? М-р Леви уже пріѣхал. Синій сервиз сегодня? А как вам нравится новый с цвѣточками?

— Вери найс.

Миссис Леви никак не могла понять, почему Анна так равнодушна к сервизу из «файв энд тэн», почему она не восхищалась новым с аляповатыми, яркими цвѣтами платьем Миссис Леви или кружевными занавѣсами.

— Мнѣ очень нравится, — с полным равнодушіем говорила Анна.

А Миссис Леви сердилась и жаловалась мужу: «Эти русскіе никогда ничего не цѣнят. Ничего у нея нѣтъ, ходит всегда в поношенных платьях, и как будто ей все равно, ничего не цѣнит. И всегда мрачная, никогда не улыбается, нѣ смѣется. Странные все таки эти русскіе!

— Что вы такая унылая сегодня? — спросила она Анну,

— надо быть жизнерадостной, умѣть цѣнить вещи, восхищаться красотой жизни. — Она попробовала потрепать Анну по щеку рукой с узловатыми пальцами, униженными кольцами, но Анна рѣзко уклонилась:

— Простите, Миссис Леви, я не привыкла к фамильярностям.

Анна еще раз прошла в столовую, посмотрѣла, все ли на мѣстѣ: тарелочки для хлѣба, супа, жаркого, салата, сладкого, стаканы для воды, вина, джинжер эль, вилки большія, поменьше, ложки большія, ложки чайныя.

За обѣдом сидѣли часа полтора. Анна ждала, когда она сможет вымыть посуду и уйти к себѣ наверх. Кончили в десятом часу. Анна убрала, вымыла все, перетерла и прошла наверх. Вѣрочка дремала над алгебраической задачей. Увидав мать, она встала, закинула руки с тонкими кистями и ямочками на локтях за голову и потянулась:

— Мамочка, если тебѣ не нравится, я не буду больше мазаться, может быть иногда, очень рѣдко, когда ѣхать куда-нибудь, чуть чуть губы липстиком. Хорошо?

— Как хочешь, дѣточка.

III

— Виэрочка, Виэрочка! — кричала Зельфія под лѣстницей. — Ты здѣсь?

— Сейчас! — Вѣрочка одним духом скатилась вниз.

— Виэрочка, мама позволнла взять автомобиль, Is'nt it lovely! — захлебывалась Зельфія, — Боб здѣсь и сейчас мы всѣ идем в парк! Джо уже пошел в гараж за машиной, он очень хочет, чтобы ты ѣхала. Завтра в школу не итти. Как ты думаешь, мама тебя пустит?

— Сейчас спрощу. — И Вѣрочка уже летѣла обратно наверх.

— Мамочка, пожалуйста! Всѣ идут, и Зельфія, и Джо, и... мнѣ так хочется в парк! Сегодня пятница.

— Ах, Господи, но Вѣрочка, я так всегда...

— Мама, Джо великолѣпно правит, бояться совершенно нечего, мамочка, душенька, вѣдь я так рѣдко ѣзжу на автомобиль...

Пустить? Не пустить? Как мучительно! Но у Вѣрочки так мало удовольствій. А между тѣм этот прыщавый Джо с его длинными черными рѣсницами и блестящими темными, нахальными глазами, и Боб, и куренье, и вообще она так мало их всѣх знает... И самое ужасное: тысячи, тысячи машин, и всѣ онѣ летят как с'умасшедшія.

— Спроси их, когда они вернутся?

— В одиннадцать, Зельфія обѣщала своей мамѣ. Так можно?

Новые башмаки на высоких каблуках, нѣсколько ударов щетки по прошлогоднему весеннему пальто, три, четыре легких движенія пуховкой по лицу. «Липстик по дорогѣ вниз, чтобы не огорчать мамочку».

— Лишнюю пудру с носа сотри, — крикнула Анна.

— Идешь? — крикнула сняя Зельфія.

— Минуточку! Мамочка, не волнуйся! Поцѣлуй не попал по назначенію, чмокнулся в воздухѣ. Вѣрочка чуть не сбила улыбающагося, спокойно натягивающаго лайковыя перчатки Боба — сына богатаго фабриканта. Он отодвинулся, улыбнулся: «Халло, Визра!» Зельфія тоже была готова, подмазана, в новой шубкѣ и бархатной шапочкѣ. «Ах как плохо я одѣта!» подумала Вѣрочка. Болтая и смѣясь, они вышли на улицу.

— Ты с Джо, а я с Бобом, — сказала Зельфія, и, подбирая под себя пальто и поджимаясь, близко подѣла к Бобу, оставляя справа пустое мѣсто.

— Правда, что у вас есть boy friend, Визра? — спросил Джо как только они отѣхали.

— Нѣтъ, кто вам сказал?

— Зельфія, он русский?

— Нѣтъ, т. е. он, конечно, мой друг, но совѣм не то, что вы называете boy friend. Он очень образованный, много читает. Мы часто с ним говорим о литературѣ, особенно о русской.

— Вы его очень любите?

— Да, он очень хороший и мы с ним дружны с самого дѣтства.

— А почему Зельфія называет вас сисси?

— Не знаю, мнѣ все равно, пусть называет.

— Вы не обижаетесь?

— Нисколько.

— Почему?

— Почему? Да потому, что это неправда. Какая я сисси! Сисси это тѣ, что всего боятся, изнѣженные, робкіе...

— А вы ничего не боитесь, Виэрочка?

Он выѣхал на широкую улицу и понесся с страшной быстротой, лавируя между автомобилями, пугая прохожих, срѣзая носы машин. Он явно рисовался перед Виэрочкой, правил правой рукой, лѣвой стряхивая пепел в окно.

— Ничего не боитесь, да? — повторил он и улыбка застыла у него на губах. Но отвѣта он не слышал, они опять попали в середину большого движенія, и Джо, продолжая держать руль одной правой рукой, устоялся вперед, ища момент, когда бы он мог проскользнуть влѣво. Наконец, прямо перед носом машины он вывернулся, и они помчались по направленію к парку.

— Конечно, сисси! — крикнула Зельфія: — Виэра! Папиросу хочешь?

— Нѣтъ!

— Мама боишься?

— Все не мамы! — Вѣрѣ было неприятно, что Зельфія упомянула ея мать. — Мнѣ самой не нравится курить, вот и все! Во рту тошно, горько.

— Ха, ха, ха! Какая смѣшная! Так вѣдь надо же привыкнуть, тогда будет пріятно... Джо, поѣзжай тише! Я хочу наслаждаться чистым воздухом! — Зельфія сказала это точь в точь как ея мать, когда они по воскресеньям ѣздили в парк, но никто этого не замѣтил.

— Виэра! Садитесь ко мнѣ поближе, я покажу вам, как управлять машиной!

— Нѣтъ, не надо, я не хочу.

— Почему вы от меня сторонитесь? Я знаю, это все из-за русскаго мальчика... Как его зовут?

— Константин, я зову его Котик.

— Смѣшное имя... Ну пододвиньтесь поближе, я покажу вам что надо дѣлать.

— Сейчас темно, лучше днем как-нибудь!

— Пустяки! Вы вѣдь на велосипедѣ умѣете ѣздить? Ну так это то-же самое. Если надо вправо, то и руль поворачивайте вправо, если влево... Ну come on, Вы будете управлять рулем, а я буду дѣлать все остальное. Подождите, мы свернем с главной дороги.

Джо выѣхал на боковую улицу и перевел машину на первую скорость.

— Ну подвиньтесь же ближе сюда. — Он обхватил ее правой рукой, прижал к себѣ, она почувствовала его жесткую, упругую ногу. Машинально она положила руки на руль, и автомобиль, не мѣняя хода, пошел медленно и прямо. Но вдруг Джо что-то нажал, перевел, и машина, точно освободившись от груза, пошла легче, скорѣе.

— Ой, ой, что вы дѣлаете! Остановите ее! — закричала Вѣрочка, — Держите руль сами.

— Ничего, ничего! Лѣвѣе, нѣтъ слишком, поверните руль вправо.

— Нѣтъ, я не могу, не могу, Джо! Возьмите руль скорѣй! Я боюсь! Слышите, скорѣй, ну берите же!

Машина, уклонившись вправо, зашелестѣла резиной о край дороги.

— А говорите еще, что ничего не боитесь! Джо смѣялся. — А вы что там притихли, Зельфія? Живы еще?

— И очень даже, — захихикал Боб.

— Поѣзжайте, поѣзжайте! — точно ее шекотали, капризно пищала Зельфія.

— Не отодвигайтесь, Вѣрочка! Посмотрите, как я управляю машиной, это очень просто, два, три раза и вы уже поѣдете! Зельфія уже умѣет, и когда ей будет шестнадцать,

она легко сдаст экзамен и получит лиценс. Здѣсь цилиндр, дайте вашу ногу, вот сюда, не дотянетесь? Пойдите, я отодвинусь. — И Джо взял ногу Вѣрочки и поставил на педаль. Вѣрочка сидѣла уже почти на колѣнях у Джо. — Это тормаз. — И он взял ногу Вѣрочки и поставил ее на другую педаль и точно нечаянно рука его скользнула выше, до колѣна, еще выше. — Когда вы нажимаете педаль, надо одновременно...

— В другой раз, Джо, сейчас темно и мнѣ неудобно, вообще...

Она рѣзко отодвинулась. Голос ея дрожал. «Сказать ему что-нибудь, выпрыгнуть из автомобиля. Но почему же? Развѣ он...?»

— Почему вы стоите на мѣстѣ? Я хочу ѣхать! — раздался опять капризный голос Зельфія.

— Ѣхать? Ол райт, куда? Дальше в парк?

— Мнѣ все равно, — протянула Зельфія, — а тебѣ, Боб?

— Совершенно!

Опять машина выѣхала на широкую дорогу парка, Джо нажал газ и помчался.

— Тише, Джо!

— Отстань! Пусть обратно правит твой Боб!

Гдѣ-то около пруда вылѣзли, пошли по дорожкѣ. Было сыро, холодно. Хотѣли пройти к водѣ, но Зельфія сейчас же промочила тоненькія туфли и пищала, а Боб курил, улыбался и молчал. Вѣра сидѣла на скамейкѣ и смотрѣла на далекіе огни Нью-Йорка, на отблеск фонаря в пруду и старалась понять, почему ей всегда так легко и пріятно с Котиком и так неловко и несвободно с Джо. А Джо курил и рассказывал ей, как ему хочется писать пьесы для кинематографа и путешествовать.

Когда поѣхали назад, за руль сѣл Боб, к нему прилѣпилась Зельфія, а в глубокое темное сидѣніе позади сѣли Вѣра и Джо. Джо хотѣл укутать ноги Вѣры пледом.

— Мнѣ не холодно, — сказала она и забилась в угол, поджав под себя правую ногу. Хотѣлось так сидѣть спокойно

и тихо, но она смутно чувствовала, что этого не будет, и ждала чего-то с любопытством и страхом.

— До чего вы старомодная и наивная! — сказал Джо, как только они от'ехали. — Ну кто же так їздит? Вы только посмотрите! Ну видѣли ли вы, чтобы молодые люди сидѣли в разных углах автомобиля, точно они заклятые враги или поссорилнсь. Ну чего вы, такая храбрая, боитесь? Ну пододвиньтесь же сюда! Вот так, еще ближе! — Он обнял ее и прижал к себѣ. — Так лучше? Вѣдь да, Вѣрочка? Вы ужасно милая и я хочу, чтобы вы были моим другом, только, правда, не стоит быть такой.

— Джо, не надо...

— Что «не надо?» Я же вас не трогаю... Боб что такое? Почему вы остановились?

— Я хочу править.

Яркій свѣтъ фонарей освѣтил высокую фигуру Боба, блестящую, без шапки, волнистую голову с ровным пробором. Он обходил машину.

— Смотри, Зельфія! Меньше газа и осторожниѣ, пожалуйста, не больше тридцати миль, особенно по городу.

— Я знаю!

Неестественно громко зарывчав, машина дернулась и пошла.

— Я же ничего худого вам не сдѣлаю, — говорил Джо, снова наклоняясь к Вѣрочкѣ, — ничего, вы увидите, ну, просто немножко fun, и никто никогда не узнает! Ну, come on, один поцѣлуй только!

Ослабѣли ноги, но она оттолкнула его.

— Ах, какая вы... Ну так я буду умный мальчик и лягу спать!

Он свернулся, подвернув длинныя ноги, и закрыл глаза. Машина шла не совсѣм твердо. Боб учил Зельфію, она сердилась. Голова Джо медленно сползла с суконной сѣрой спинки автомобиля на плечо, на грудь Вѣрочки, она отпихнула ее, но голова упала к ней на колѣни. Вѣра отстранилась.

— Не надо, Виэра, — сказал он сонным, и, как ей пока-

залось, ужасно нѣжным и ласковым голосом, — пожалуйста не надо, мнѣ так хорошо.

«Что, он правда хочет спать или нарочно?» — но в тот же момент она почувствовала, что голова прижимается к ея колѣням.

— Меня укачало, Виэра. А вы не хотите спать? — вдруг спросил он ее странным, глухим голосом. — Хотите, да?

— Нѣт, нѣт!

— Ну давайте, я устрою вас, вам хорошо, тепло будет...

Она не понимала, что он хочет, но ей вдруг сдѣлалось страшно.

Он схватил ее на руки и, громко сопя, не обращая вниманія на ея сопротивление, посадил к себѣ на колѣни и губами стал шарить ее губы.

— Ничего, ничего, вам будет хорошо, очень хорошо, вы увидите, я ничего плохого не сдѣлаю...

— Тормаз! — вдруг во все горло заорал Боб. Машина, нервно оборвав ход, остановилась. Джо грубо отшвырнул Вѣру. Одна за другой хлопнули задняя и передняя дверцы и растерзанный, взлохмоченный Джо, грубо столкнув Зельфию, сидѣл уже у руля.

— Что случилось?

Правый фонарь трепетавшаго еще автомобиля отвѣтил прежде, чѣм увидали, осознали люди, и когда увидали, то смутно еще надѣялись, что что-то не так. То, в чем убѣждали глаза, было слишком безысходно ужасно. Сѣрая, бесформенная масса еще двигалась. Вѣра нащупала глазами грязныя, бѣлыя теннисныя туфли, онѣ почти равномерно, точно на шарнирах, вытягивались, сокращались. И Вѣра не могла оторваться от этих дергающихся ног.

«Подержать бы их», подумала она, «и почему теннисныя туфли? А может быть, ничего?» И сейчас же поняла, что не ничего. Она вдруг разглядѣла голову с рѣдкими сѣдыми волосами, из под головы на сѣром, гладком, освѣщенном фонарями асфальтѣ растекалось густое, темное пятно шире, шире..., а ноги все дергались, пока люди не заслонили и ноги, и голову.

Стало легче, казалось, что толпа и главное полицейский взяли на себя часть ответственности. Высокий, упитанный полицейский, властно расталкивая людей, подошел к автомобилю.

— Вы правили?

— Да.

— Ваш лиценс.

Джо молча полѣз в боковой карман. Закрыв лицо руками Зельфія плакала. «Джо, Джо, я правда, я...

— Молчи! Shut up you...

IV

В половину десятого Анна управилась с посудой и ей захотѣлось спать. Одѣтая, она прилегла на кровать с маленьким красненьким томиком «Домби и Сын» в руках, и задремала. Проснулась она ровно в одиннадцать часов и сразу забеспокоилась. «Моя мать никогда не пустила бы меня с такими, как Джо и Боб. У Джо на лбу и на подбородкѣ прыщи с зелеными головками, красныя, как сырой бифштекс, губы, нахальные глаза. А Зельфія? Курит, перемигивается с чужими мальчишками на улицѣ. Но что же дѣлать? Не пускать? Нельзя же ее совсѣм изолировать от молодежи. Подруги из школы не могли ходить к Вѣрочкѣ, неудобно, да и болшнство, узнав, что Вѣрочкина мать прислуга в домѣ, перестали с ней общаться. Русскій кружок? Но они рѣдко собирались, а Вѣрочкѣ так хочется быть с молодыми. А как она любит ѣздить на автомобилѣ! И вдруг Анна представила себѣ темносинюю машину, несущуюся среди безчисленных огней: одно неосторожное движеніе Джо, какая-нибудь случайность и конец! Сердце падало. Перед глазами выросли столбы, деревья, встрѣчныя машины, всѣ онѣ летѣли на темносинюю машину. Лучше не думать. Она подобрала свалившійся на пол красненькій томик Диккенса и стала читать. На время отвлеклась, но не надолго. Двѣнадцатый час. Обѣщанія своего не исполнили, может быть к двѣнадцати вернутся. Но пробило двѣнадцать, половина первого, их еще не было. Значит, что

нибудь случилось. Хоть бы Миссис и М-р Леви пріѣхали поскорѣй! Но обычно они по такимъ пустякамъ никогда не волновались, к чему заранѣе портить себѣ кровь? Они правы, конечно. Зашуршалъ ключъ в двери, зарычала, отъѣзжая от крыльца, машина и тотчасъ же раздался голосъ миссисъ Леви из передней:

— Дѣти не вернулись еще? Ну я так и знала! — Она зашла в гостиную, захватила с собой Readers Digest и пошла наверхъ. Весело насвистывая, мистеръ Леви прошелъ в кухню. С возвращеніемъ хозяевъ Аннѣ стало легче и всѣ ея страхи показались вдругъ вздорными, необоснованными.

— Какъ будто у насъ былъ гдѣ-то джиджеръ эль, Маріонъ, умираю, пить хочу!

— В фриджерѣ! — крикнула Миссисъ Леви сверху. Какъ всегда, когда Леви поздно пріѣзжали, они не стѣснялись перекрикиваться черезъ всѣ комнаты, стучали посудой, хлопали дверями, какъ будто никого, кромѣ нихъ, не было в домѣ. Обычно они будили Анну и это всегда болѣзненно раздражало ее, но сегодня она была имъ рада.

— Сэмъ, — кричала Миссисъ Леви мужу, когда тотъ уже поднимался по лѣстницѣ, — ты завтра серьезно поговори с дѣтьми, это просто недопустимо. Они дали мнѣ слово, что вернутся к одиннадцати. Ты ихъ совершенно распустил. Который теперь часъ?

— Около часа, ничего, навѣрное прекрасно проводятъ время, пусть погуляютъ... — Мистеръ Леви зѣвнулъ. — Надѣюсь, они не разбудятъ насъ, когда вернутся. У меня былъ трудный день сегодня на службѣ.

— У ничего не могу с ними подѣлать, а тебѣ какъ будто все равно, ты никогда даже замѣчанія имъ не можешь сдѣлать!

— Завтра, завтра поговоримъ. Я очень устал.

— Что это, Сэмъ? Телефон! Ты пойдешь?

— А... Мистеръ Леви выругался совѣмъ не по джентльменски.

— Ошибка какаянибудь, я не пойду!

— Что ты, с'ума сошел! А если это телеграмма?

— Десять минут второго. Кто же может звонить? Ни днем, ни ночью нѣтъ покоя! — И не переставая ворчать, Мистер Леви, не торопясь, сошел вниз.

— Халло! — прозвучал его голос вопросительно сердито. — Что? Что такое? Какая полиція? Джо, ты? Что случилось?... Задержали?

— М-р Леви, что? Что случилось? Дѣти?

Прижав руку к груди, блѣдная, трепещущая, Анна стояла рядом с М-ром Леви у телефона. Но М-р Леви только сердито от нея отмахнулся:

— Подождите... Что? Жив еще? Отвезли в больницу? Ну а вы все? Благополучно? Ах, какіе идіоты! — И М-р Леви быстро зашагал наверх.

— М-р Леви, скажите же мнѣ, в чем дѣло? — задыхаясь, Анна поднималась за ним.

— Человѣка сшибли.

В черном с голубыми отворотами атласном халатѣ, с волосами, прижатыми желѣзками, тяжело хлопаясь на каждой ступенькѣ тучным тѣлом, Миссис Леви спускалась им навстрѣчу.

— Сэм, что случилось? Ну говори же, почему ты молчишь?

— Старика задавили.

— Как? Гдѣ? Кто этот старик? Почему задавили? Серьезно?

— Боже мой! Да почему я знаю? При в'ѣздѣ в город, повидимому серьезно... Дай мнѣ галстух! Женщины всегда задают бессмысленные вопросы, я ж там не был...

Он быстро завязал галстух, надѣл пиджак, привычным движеніем забросил на шею кашнэ, вдвинул руки в рукава пальто, и, застегиваясь на ходу, вышел, хлопнув наружной дверью.

— Вы думаете, что с дѣтьми ничего не случилось? — спросила Анна.

— Конечно нѣтъ, вы же слышали, что сказал М-р Леви.

— Вы думаете?

— Ну конечно, если бы случилось, дали бы знать. Но как все таки это ужасно! Не понимаю, как это вышло? Джо превосходный драйвер. — И взглянув на осунувшееся, измученное лицо Анны, пожалѣла ее по своему:

— Не дѣлайте из всего такой трагедіи, Миссис Офро! Все будет хорошо! И я надѣюсь, что раненія этого старика несерьезны!

И опять медленно поползло время. Миссис Леви плескалась в ваннѣ, на площадкѣ, под лѣстницей тикали громадные, с золотой инкрустаціей часы, с силой екнула, чавкнула в послѣдній раз в ваннѣ вода, сплющились, заскрипѣли, распредѣляясь под тяжестью Миссис Леви, пружины на матрацѣ, запахло табаком, Миссис Леви от волненія закурила.

Все существо Анны напряглось, натянулись нервы, мускулы, точно все ея спасеніе было в этом искусственном, страшном напряженіи: не пропустить ни звука, ни шорохн, ни одного движенія в домѣ и на улицѣ. Одѣтая, она опять прилегла на кровать, но отдыхать не могла.

«Надо как Миссис Леви», подумала она, «take it easy. Вѣдь ничего не случилось, Вѣра не пострадала и во всяком случаѣ она ни в чем не виновата.» На минуту напряженность ослабѣла: «только бы поправился этот старичок... Почему же я так волнуюсь? Миссис Леви права, когда говорит, что мы, русскіе, сразу. Никогда мы не бываем спокойны, никогда не можем хладнокровно относиться к событіям, сами себя дергаем, мучаем. Вот она, приняла ванну, раздѣлась, легла и через нѣсколько минут, вѣроятно, заснет, отдохнет, релакс. Как перевести слово релакс? Полное отдохновеніе? Как индусы учат? Распустить всѣ мускулы, полное бездѣйствіе, отдохновеніе всего тѣла. Вот так.» Анна сдѣлала какое-то внутреннее усиліе, опустила плечи, вытянула руки, выпустила мускулы ожирѣвшаго живота, колѣн и только тогда поняла, в каком страшном напряженіи находилось все ея тѣло. Но мысли об индусах навели ее на мысли о «той», ради которой Дмитрій бросил ее, «она» увлекалась каким-то ин-

дусом или персом. Анна не замѣтила, как снова все существо ея напряглось, заболѣла грудь, заныло внутри: «Если бы он не бросил меня ради «той», насколько легко мнѣ было бы с Вѣрой, и Гриша, может быть, жил бы с нами...» Ей показалось, что машина остановилась у под'ѣзда, она насторожилась. Мимо, мимо. Одна машина за другой проѣзжали по улицѣ, безличныя, чужія, ненужныя. И вдруг одна из них замедлила ход и, вдруг ожив, стала единственной.

Против обыкновенія, Зельфія и Джо вошли очень тихо. Мистер Леви сердито хлопал дверями.

— Подите сюда! Джо! Зельфія! — крикнула из спальни Миссис Леви.

Вѣрочка скользнула в комнату и Анна даже не успѣла как всегда это дѣлала, прошупать ее глазами. Повернувшись к матери спиной, она сняла пальто, повѣсила в шкаф и стала быстро стаскивать с себя платье.

— Вѣра, этот старик серьезно ранен?

— Не знаю.

У Вѣры был необычный голос, чужой. Она быстро раздѣлась, и, не простившись с матерью, улеглась в постель лицом к стѣнѣ.

— Вѣра, почему ты так странно отвѣчаешь, расскажи же мнѣ как... почему вы наѣхали на этого старика? Джо правил?

— Завтра, мама...

— Но почему? Что с тобой? — И вдруг Анна увидела, что все тѣло Вѣрочки сотрясается от рыданій.

— Вѣрочка, что с тобой? Ты так разстроилась? — Огрубѣвшія от работы, красныя руки гладили ея голову, цепляя, задѣвая шелковистые, нѣжные волосы.

— Мамочка, милая, оставь меня...

— Господи Боже мой! Ну, Бог даст, он выздоровѣет. Что ты так разстраиваешься?

— Мамочка, не мучай, пожалуйста...

— Но вѣдь ты не виновата. — И Анна, как всегда, пере-

крестила и поцѣловала ее, но Вѣрочка не двинулась, не отвѣтила.

«Какая она впечатлительная», подумала Анна, «как все это на нее подѣйствовало!» Анна легла, но сна не было. Ломило поясницу, ноги, во рту сохло. Вѣрочка изрѣдка тихо всхлипывала. Чтобы не чувствовать боли, Анна прижимала ноги одну к другой, во всем тѣлѣ опять была напряженность, постель казалась мучительно, жарко мягкой, подушка — каменной. «Ну все-таки лежа отдыхаешь», подумала она, «релакс». Но на самом дѣлѣ релакса никакого не было, она все прислушивалась к всхлипываніям Вѣрочки, к ея дыханію. Прошло еще с полчаса. Вѣрочка еще раз протяжно всхлинула, вздохнула и успокоилась. «Мало времени осталось спать», подумала Анна и почувствовала, что забывается, но вдруг услышала, что Вѣрочка говорит что-то по англійски.

— Что ты, Вѣра?

— Оставьте, слышите, Джо. Я не хочу этого! Пустите!

Анна уже не спала. Перегнувшись на кровати, она слушала.

— Не надо, Джо, я боюсь, боюсь. Не надо меня трогать, пожалуйста.

Анна вскочила с постели и зажгла свѣт. Губы со слѣдами липстика быстро шевелились, точно жевали. Как хорошо Анна знала эту привычку Вѣрочки чмокать во снѣ губами. «Совѣм как Дмитрій», подумала она. Она положила руку Вѣрочкѣ на лоб, пощупала шею, но Вѣра отпихнула ее.

— Уйдите, не смѣйте меня трогать!

— Вѣрочка! Это я, что с тобой? — Сперло, точно клещами сжало грудь, молотом стучало в висках.

— Убили? Нѣт, дергаются... Держите их, держите! ...! Зачѣм это нужно?... Мамочка... Мамочка! Ты??

И руки вдруг обвились вокруг шеи и Анна почувствовала запах табака и дѣтскія еще, упругія груди прижались к ея тѣлу, и шея Анны стала мокрой.

— Дѣтка моя, птичка...

— Мамочка...

Господи, эта милая родинка, бѣлые, точно выгорѣвшіе коротенькіе волосы над лбом.

— Ну успокойся, маленькая, что было? Как? Он цѣловал тебя?

— Да, хотѣл... но...

— Но он не обидѣл тебя, нѣтъ? Ты понимаешь как?

— Нѣтъ... Не надо, мама... — Но дальше Анна уже не слушала. Тиски в груди сжали так сильно, что на минуту затуманилось все, и надо было закрыть глаза, пока не прошло это тошнотное ощущение пустоты и безсилія. — «Ты слушаешь, мама?... ужасно худыя, как палки, в бѣлых, грязных туфлях. Мама, почему онѣ дергались так?

— Он был жив, когда его отвезли в больницу?

— Да... И голова, лысина и сѣдые волосы, как пух, и много, много крови... Мамочка, я никогда, никогда этого не забуду...

И обѣ плакали пока Вѣрочка не заснула.

Утром Анна не будила дочь, пусть поспит подольше. Разбитая, едва волоча ноги, она пошла готовить завтрак хозяевам: апельсиновый сок, овсяную кашу, жареную грудинку, тост и кофе.

(Продолженіе слѣдует)

Александра Толстая.

Ultima Thule

Помнишь, мы там как то завтракали (принимали пищу) года за два до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного убора. Кстатическая мысль: вообразим новѣйшій письменник. К безрукому: крѣпко жму вашу (многоточіе). К покойнику: призрачно ваш. Но оставим эти виноватя виньетки. Если ты не помнишь, то я за тебя помню: память о тебѣ может сойти, хотя бы грамматически, за твою память; и ради крашеного слова вполне могу допустить, что если послѣ твоей смерти я и мір еще существуем, то лишь благодаря тому, что ты мір и меня вспоминаешь. Сейчас обращаюсь к тебѣ вот по какому поводу. Сейчас обращаюсь к тебѣ вот по какому случаю. Сейчас обращаюсь к тебѣ только затѣм, чтобы поговорить с тобой о Фальтерѣ. Вот судьба! Вот тайна! Вот почерк! Когда мнѣ надоѣдает увѣрять себя, что он полоумный или квак (как на англійскій лад ты звала шарлатанов), я вижу в нем человекѣ, который... который... потому что его не убила бомба истины, разорвавшаяся в нем... вышел в боги! — и как же ничтожны перед ним всѣ прозорливцы прошлаго: пыль, оставляемая стадом на вечерней зарѣ, сон во снѣ (когда снится, что проснулся), первые ученики в нашем герметически закрытом учебном заведеніи: он то внѣ нас, в яви, — вот раздутое голубиное горло змѣи, чарующей меня. Помнишь, мы как то завтракали в ему принадлежавшей гостиницѣ, на роскошной, многоярусной границѣ Италіи, гдѣ асфальт без конца умножается на глициниі, и воздух пахнет резиной и раем? Адам Фальтер тогда был еще наш, и если ничто в нем не предвѣщало — как это сказать? — скажу, прозрѣнія, — зато весь его сильный склад (не хрящи, а подшипники, карамбольная связность тѣлодвиженій, полировка, точность, орлиный холод)

теперь, задним числом, объясняет то, что он выжил: было из чего вычитать.

О, моя милая, как улыбнулось тобой с того лукоморья, — и никогда больше, и кусаю себѣ руки, чтобы не затрястись, и вот не могу, с'ѣзжаю, плачу на тормозах, на б и на у, и все это такая унижительная физическая чушь: горячее миганіе, чувство удушья, грязный платок, судорожная, попережку со слезами, зѣвота, — ах не могу без тебя... и высморкавшись, переглотнув, вот опять начинаю доказывать стулу, хватая его, столу, стуча по нему, что без тебя не бобу. Слышишь ли меня? Банальная анкета, на которую не откликаются духи, — но как охотно за них отвѣчают односмертники наши: я знаю! (пальцем в небо) вот позвольте я вам скажу... Милая твоя голова, ручеек виска, незабудочная сѣрость косящего на поцѣлуй глаза, тихое выраженіе ушей, когда поднимала волосы, — как мнѣ примириться с исчезновеніем, с этой дырой в жизни, куда все теперь осыпается, скользит, вся моя жизнь, мокрый гравій, предметы, привычки... и какая могильная ограда может помѣшать мнѣ тихо и сытно повалиться в эту пропасть. Душекруженіе. Помнишь, как тотчас послѣ твоей смерти я выбѣжал из санаторіи и не шел, а как то притоптывал и даже пританцовывал (прищемив не палец, а жизнь), один на той витой дорогѣ между чрезвычайно чешуйчатых сосен и колючих щитов агав, в зеленом бронированном мірѣ, тихонько подтягивавшем ноги, чтобы от меня не заразиться. О да, все кругом опасно и внимательно молчало, и только когда я смотрѣл на что-нибудь, это что-нибудь, спохватившись, принималось дѣлanno двигаться или шелестѣть или жужжать, словно не замѣчая меня. «Равнодушная природа» — какой вздор! Сплошное чураніе, вот это вѣрнѣе.

Жалко же. Такая была дорогая. И держась снутри за тебя, за пуговку, наш ребенок за тобой послѣдовал. Но, мой бѣдный господин, не дѣлают женщинѣ брюха, когда у нея горловая чахотка. Невольный перевод с французскаго на адскій. Умерла ты на шестом своем мѣсяцѣ и унесла осталь-

ные, как бы не погасив полностью долга. А как мнѣ хотѣлось, сообщил красноносый вдовец стѣнам, имѣть от нея ребенка.

Ты мнѣ еще ни разу с тѣх пор не приснилась. Цензура, что-ли, не пропускает, или сама уклоняешься от этих тюремных со мной свиданій. Первое время я суевѣрно, униЗИтельно, подлый невѣжда, боялся тѣх мелких тресков, которые всегда издает комната по ночам, но которые теперь страшной вспышкой отражались во мнѣ, ускоряя бѣг кудахтающаго низкокрылаго сердца. Но еще хуже были ночныя ожиданія, когда я лежал и старался не думать, что ты вдруг можешь мнѣ отвѣтить стуком, если об этом подумаю, но это значило только усложнять скобки, фигурныя послѣ простых (думал о том, что стараюсь не думать), и страх в серединѣ рос да рос. Ах, как был ужасен этот сухонькій стук ноготка внутри столешницы, и как непохож конечно на интонацію твоей души, твоей жизни. Вульгарный дух с повадками дятла, или безплотный шалун, призрак-пошляк, который пользуется моим голым горем. Днем же, напротив, я был смѣл, я вызывал тебя на любое проявленіе отзывчивости, пока сидѣл на камушках пляжа, гдѣ когда то вытягивались твои золотыя ноги — и как тогда волна прибѣгала, запыхавшись, но так как ей нечего было сообщить, рассыпалась в извиненіях. Камни, как кукушкины яйца, кусок черепицы в видѣ пистолетной обоймы, осколок топазоваго стекла, что-то вродѣ мочального хвоста, совершенно сухое, мои слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из под папирос, с желтобородым матросом в серединѣ спасательнаго круга, камень, похожій на ступню помпеянца, чья то косточка или шпатель, жестянка из под керосина, осколок стекла гранатоваго, орѣховая скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, и гдѣ-то вѣдь непремѣнно должны были быть остальные, дополнительные к нему, части, и я воображал вѣчную муку, каторжное заданіе, которое служило бы лучшим наказаніем таким как я, при жизни слишком далеко забѣгавшим мыслью, а именно: найти и собрать всѣ эти части, чтобы составить опять

тот соусник, ту супницу, — горбатыя блужданія по дико туманным побережьям, а вѣдь если страшно повезет то можно в первое же, а не триллионное, утро цѣликом возстановить посудину — и вот он, этот наимучительнѣйшій вопрос в е - з е н і я , лотерейнаго счастья, — того самаго билета, без котораго может быть не дается благополучія в вѣчности.

В эти ранніе весенніе дни узенькая полоса гальки проста и пуста, но по набережной надо мной проходили гуляющіе, и кто-нибудь я думаю говорил, глядя на мои лопатки; вот художник Синеусов, на днях потерявшій жену. И вѣроятно, я бы так просидѣл вѣчно, ковыряя сухой морской брак, глядя на спотыкавшуюся пѣну, на фальшивую нѣжность длинных серійных облачков вдоль горизонта, и на темно-лиловыя тепловыя подточины в студеной синезелени моря, если бы дѣйствительно кто-то с панели меня не узнал.

Но (путаясь в рваных шелках слога) возвращаюсь к Фальтеру. Как ты теперъ вспомнила, мы однажды отправились туда, ползя в этот жарчайшій день как два муравья по лентѣ цвѣточной корзины, потому что мнѣ было любопытно взглянуть на бывшаго моего репетитора, уроки котораго сводились к остроумной полемикѣ с Краевичем, а сам был упругій и опрятный, с большим бѣлым носом и лаковым пробором, по этой прямой дорожкѣ он потом и пошел к коммерческому счастью, а отец его, Илья Фальтер, был всего лишь старшим поваром у Менара, повар ваш Илья на боку. Ангел мой, ангел мой, может быть и все наше земное нынѣ кажется тебѣ каламбуром, вродѣ «ветчины и вѣчности» (помнишь?), а настоящій смысл сушаго, этой пронзительной фразы, очищенной от странных, сонных, маскарадных толкованій, теперъ звучит так чисто и сладко, что тебѣ, ангел, смѣшно, как это мы могли сон принимать всерьез (мы то впрочем с тобой догадывались почему все разсыпается от прикосновенія исподтишка: слова, житейскія правила, системы, личности, — так что, знаешь, я думаю, что смѣх это какая-то потерянная в мірѣ случайная обезьянка истины).

И вот я увидѣл его опять послѣ двадцатилѣтняго что-ли

Перерыва, и оказалось, что я правильно дѣлал, когда приближаясь к гостиницѣ, трактовал всѣ ея классическія прикрасы, — кедр, эвкалипт, банан, терракотовый теннис, автомобильный загон за газоном, — как церемоніал счастливой судьбы, как символы тѣх поправок, которых требует теперь прошлый образ Фальтера. За годы разлуки со мной вполне нечувствительной для обоих, он из бѣднаго жилистаго студента с живыми как ночь глазами и красивым крѣпким налѣво накрепнутым почерком, превратился в осанистаго довольно полного господина, сохранив при этом и живость взгляда, и красоту крупных рук, но только я бы никогда не узнал его со спины, т. к. вмѣсто толстых гладких, в скобку остриженных волос, виднѣлась посреди чернаго пуха коричневая от загара плѣшь почти іезуитской формы. В шелковой, цвѣта пареной рѣпы рубашкѣ с клѣтчатым галстуком, в широких грипелловых панталонах и пѣгнх туфлях он показался мнѣ ряженым, но большой нос был все тот же, и им то он безошибочно почуял тонкій запах прошлаго, когда подождая я хлопнул его по мускулистуму плечу и задал ему мою загадку. Ты стояла чуть поодаль, сдвинув голыя лодыжки на кубовых каблуках и сдержанно, с лукавым интересом, оглядывая обстановку громаднаго пустого в этот час холя, гиппопотамовую кожу кресел, строгаго стиля бар, англійскіе журналы на стеклянном столѣ, нарочито простыя фрески, изображающія жидкогрудых бронзоватых дѣв на золотом фонѣ, одна из которых, с параллельными прядями стилизованных волос, спадающих вдоль щеки, почему то стояла на одном колѣнѣ. Могли ли мы думать, что хозяин всей этой красоты когда нибудь перестанет ее видѣть? Ангел мой... Пока что, приняв мои руки в свои, сжимая их, морща переносицу и глядяваясь в меня темными прищуренными глазами, он выдерживал ту паузу, прерывающую жизнь, которую выдерживает собирающійся чихнуть, несовсѣм еще зная, удастся ли это, — но вот удалось, вспыхнуло прошлое, и он громко назвал меня по имени. Он поцѣловал твою ручку, не наклоняя головы, и благожелательно засуетясь, явно наслаждаясь тѣм, что я, бывший

человѣкъ, теперь застал его в полном блескѣ той жизни, которую он сам создал силою своей ваятельской волн, усадил нас на террасѣ, заказал коктейли и завтрак, познакомил нас со своим зятем, интеллигентным человѣком в темном партикулярном платьѣ, странно отличавшемся от экзотическаго франтовства самого Фальтера. Мы попили, поѣли, поговорили о прошлом, как о тяжело больном, мнѣ удалось сбалансировать нож на спинкѣ вилки, ты приласкала чудную нервную собаку, явно боявшаюся хозяина, — и послѣ минуты молчанія, среди котораго Фальтер вдруг отчетливо сказал «Да», словно кончая консилиум, разстались, пообщав друг другу то, что ни он ни я не собирались сдержать.

Ты ничего не нашла замѣчательнаго в нем, неправда-ли? И точно, ух как заѣзжен этот тип, в сѣрой молодости содержавшій спившагося отца при помощи уроков, а затѣм медленно, упрямо и бодро добившійся благосостоянія, ибо кромѣ очень доходной гостиницы у него были виноторговья дѣла, шедшія весьма успѣшно. Но как я потом понял, ты была неправа, когда говорила, что это скучновато, что от таких энергичных удачников всегда несет потом. Нѣтъ, теперь я безумно завидую основной чертѣ бывшаго Фальтера, точности и крѣпости его «волевой субстанціи», как помнишь, совсѣм по другому поводу выражался бѣдный Адольф. Сидѣл ли он в окопѣ или в канцеляріи, спѣшил ли на поѣзд, вставал ли в темное утро в нетопленной комнатѣ, налаживал ли дѣловыя связи, преслѣдовал ли кого нибудь дружбой или враждой, он не только всегда владѣл всѣми своими способностями, не только всегда жил со взведенным курком, но всегда был увѣрен, что сегодняшней и завтрашней, и всей череды постепенных своих цѣлей он добьется непременно, и притом работал экономно, ибо мѣтил невысоко и точно знал границу своих возможностей. Его главная заслуга перед собой та, что он сознательно обходил собственные таланты, дѣлая ставку на дюжинное, общепринятое, а вѣдь он был одарен странными, чѣм то обаятельными способностями, которыя другой бы, менѣе осмотрительный постарался практически примѣнить.

Пожалуй только еще в самой молодости он не всегда умѣл сдержаться и мѣшал казенное натаскиваніе гимназиста по казенному предмету с необыкновенно изящными проявленіями математической мысли, оставлявшими в моей классной какой-то холодок поэзіи, когда он, спѣша, уходил. Я с завистью думаю, что обладай я крѣпостью его нервов, упругостью души, сгущенностью воли, он бы теперь мнѣ передал сущность нечеловѣческаго открытія сдѣланнаго недавно им, т. е. не боялся бы, что его сообщеніе меня раздавит; я же со своей стороны был бы достаточно упорен, чтобы заставить его все сказать до конца.

С набережной сипловато и деликатно кто-то меня окликнул, но так как со дня нашего завтрака с Фальтером прошло больше года, я несразу узнал в человѣкѣ, бросившем на мои камни тѣнь, его смиреннаго зятя. Из машинальной вѣжливости я поднялся к нему на панель, и он выразил мнѣ свое болѣзненное, соболиное: случайно-де заглянул в мой пансіон, гдѣ добрые люди не только сообщили ему о твоей смерти, но издали указали ему на мою Фигуру среди пустого пляжа — Фигуру ставшую нѣкотораго рода достопримѣчательностью (мнѣ на минуту стало стыдно, что горб моего горя виден со всѣх террас). «Мы познакомились у Адама Ильича», — сказал он, показывая корешки рѣзцов и занимая свое мѣсто в моем вялом сознаніи. Я должно быть что-то спросил про Фальтера. «Как, вы развѣ не знаете?» — удивился болтун, и тогда то я узнал всю исторію.

Как то прошлой осенью Фальтер отправился по дѣлу в винограднѣйшій из приморских городов, и, как обыкновенно, остановился в тихом, маленьком отелѣ, хозяин котораго был его давним должником. Надо себѣ представить этот отель, расположенный под перистой мышкой холма, поросшаго мимозником, и неполностью застроенную улочку с полдюжиной каменных дачек, гдѣ пѣли радіолы в небольшом человѣческом пространствѣ между млечным путем и олеандровой дремой, и пустыри, гдѣ вырабатывали свой ночной цинк кузнечики, и растворенное окно Фальтера в третьем этажѣ.

Проведя гигиенический вечер в небольшом женском общежитии на бульварѣ Взаимности, он в отличном настроеніи, с ясной головой и легкими чреслами, вернулся около одиннадцати в отельчик, и сразу поднялся к себѣ. Пепельное от звѣзд чело ночи, тихо безумное ея выраженіе, роеніе огней в старом городѣ, забавная математическая задача, по поводу которой он в прошлом году переписывался со шведским ученым, сухой и сладкій запах, как бы сндящій без мысли и дѣла там и сям в ямах мрака, метафизическій вкус удачно купленного и перепроданного вина, на днях полученное из далекаго, мало сооблазнительнаго государства извѣстіе о смерти единоутробной сестры, образ которой давно увял в памяти, — все это, мнѣ так представляется, плыло в сознаниіи у Фальтера, пока он шел по улицѣ и потом поднимался к себѣ, и хотя в отдѣльности эти мысли и впечатлѣнія ничуть не были какими либо новыми или особенными для этого крѣпконосаго, несовѣстнаго, но поверхностнаго человѣка (ибо по своей человѣческой сути мы дѣлимся на профессионалов и любителей, — Фальтер, как и я, был любитель) они в своей совокупности образовали быть может наиболѣе благоприятную среду для вспышки, для катастрофической, как главный выигрыш, чудовишно случайной, никак не предсказанной обиходом его разсудка, сверхжизненной молніи, поразившей его в ту ночь, в том отелѣ.

Минуло около полчаса со времени его возвращенія, когда собранный сон небольшого бѣлаго дома, едва зыблнвшійся антикомариным крепом да ползучим цвѣтком, был внезапно — нѣтъ, не нарушен, а раз'ят, расколот, взорван звуками, оставшимися незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные звуки. То были не свиные вопли нѣженки, торопливыми злодѣями убиваемаго в канавѣ, и не рев раненаго солдата, котораго озвѣрѣлый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье Раоп, hôtelier, то пожалуй они скорѣе всего напоминали захлебывающіеся, почти ликующіе крики бесконечно тяжело рожающей жен-

щины, но женщины с мужским голосом и с великаном во чревѣ. Трудно было разобрать какая главенствовала нота среди этой бури разрывавшей человѣческую гортань — боль, или страх, или труба безумія, или же, и, послѣднее вѣриѣ всего, выраженія чувства невѣдомаго, и оно то надѣляло вой, вырвавшійся из комнаты Фальтера чѣм то, что возбуждало в слушателях паническое желаніе немедленно это прервать. Молодожены в ближайшей постели остановились, параллельно скосив глаза и затаив дыханіе, голландец, жившій внизу, выкатился в сад, гдѣ уже находилась экономка и восемнадцать бѣлѣвшихся горничных (всего двѣ, размноженныя перебѣжками). Хозяин, сохранившій по его словам полное присутствіе духа, кинулся наверх и удостовѣрился, что дверь, за которой продолжался ураган криков, столь мощный, что против него было трудно итти, снутри заперта и не открывается ни на стук ни на слово. Орушіи Фальтер (поскольку може было догадываться, что орет именно он, (его отворенное окно было темно, а невыносимые звуки, исходившіе оттуда не носили печати чьей-либо личности), распространялся далеко за предѣлы дома, и в окрестной чернотѣ набирались сосѣди, у одного негодяя было пять карт в рукѣ, все козыри. Теперь уже совсѣм нельзя было постигнуть как могли чьи бы то ни было связки выдержать... по одним свѣдѣніям, Фальтер кричал около четверти часа, по другим, пожалуй болѣе достовѣрным, минут пять подряд. Вдруг (покамест хозяин рѣшал вопрос, взломать ли общими усиліями дверь, приставить ли лѣстницу извнѣ, или вызвать полицію) крики, достигнув послѣдняго предѣла муки, ужаса, изумленія и того, что никак нельзя было опредѣлить, превратились в какое-то мѣсиво стонов и оборвались. Настала такая тишина, что в первую минуту присутствующіе переговаривались шопотом.

На всякій случай хозяин опять постучал в дверь, из нея донеслись вздохи, невѣрные шаги, потом стало слышно как кто-то теребит замок, словно не умѣя отпереть. Слабый, мягкій кулак зашмякал изнутри. Тогда хозяин сдѣлал то, что собственно говоря мог бы сдѣлать гораздо раньше: нашел

другой подходящій ключ и отпер.

«Свѣта бы» — тихо сказал Фальтер в темнотѣ. Мельком подумав, что он во время припадка разбил лампу, хозяин машинально провѣрил выключатель... но послушно отверзся свѣт, и Фальтер, мигая, с болѣзненным удивленіем перебѣжал глазами от руки давшей свѣт к налившейся стеклянной грушѣ, точно впервые видѣл как это дѣлается.

Странная, противная переменна произошла во всей его внѣшности: казалось, из него вынули костяк. Потное и теперь как бы обрюзгшее лицо с отвисшей губой и розовыми глазами выражало не только тупую усталость, но еще облегченіе, животное облегченіе послѣ чудовишных родов. По пояс обнаженный, в одних пижамных штанах, он стоял, опустив лицо, и тер ладонью одной руки тыльную сторону другой. На естественные вопросы хозяина и жильцов он ничего не отвѣтил, только надул щеки, отстранил подошедших и, выйдя из комнаты, стал обильно мочиться прямо на ступени лѣстницы. Затѣм лег на постель и заснул.

Утром хозяин предупредил по телефону его сестру, что Фальтер помѣшался, и полусонный, вялый, он был увезен во-свояси. Врач, обычно лѣчившій у них, предположил наличие ударчика, и прописал соответствующее лѣченіе. Но Фальтер не поправился. Правда, он через нѣкоторое время начал свободно двигаться, и даже иногда посвистывать, и громко говорить оскорбительныя вещи, и хватать ѣду, запрещенную врачом. Переменна однако осталась. Это был человек как бы потерявшій все: уваженіе к жизни, всякій интерес к деньгам и дѣлам, общепринятая или освященная традиціи чувства, житейскіе навыки, манеры, рѣшительно все. Его было небезопасно отпускать куда-либо одного, ибо с совершенно поверхностным, быстро забываемым, но обидным для других любопытством он заговаривал со случайными прохожими, спрашивая о происхожденіи шрама на чужом лицѣ или о точном смыслѣ слов, подслушанных в разговорѣ, не обращенном к нему. Мимоходом он брал с лотка апельсин и ѣл его с кожей, равнодушной полуулыбкой отвѣчая на скоро-

говорку его догнавшей торговки. Утомясь или заскучав, он присаживался по турецки на панель и старался от нечего дѣлать поймать в кулак женскій каблук как муху. Однажды он присвоил себѣ нѣсколько шляп, пять фетровых и двѣ панамы, которыя старательно собирал по кафэ, — и были неприятности с полиціей.

Его состояніем заинтересовался какой-то извѣстный итальянскій психіатр, навѣщавшій кого-то в фальтеровой гостиницѣ. Это был нестарый еще господин, изучавшій, как он сам охотно толковал, «динамику душ» и в печатных работах, весьма популярных не в одних научных кругах, доказывавшій, что всѣ психическія заболѣванія объяснимы подсознательной памятью о несчастьях предков пациента, и что если больной страдает, скажем, мегаломаніей, то для полного его излѣченія стоит лишь установить, кто из его прадѣдов был властолюбивым неудачником, и правнуку объяснить, что пращур умер, навсегда успокоившись, хотя в сложных случаях приходилось прибѣгать чуть ли не к театральному, в костюмах эпохи дѣйствию, изображающему опредѣленный род смерти предка, роль котораго давалась пациенту. Эти живыя картины так вошли в моду, что профессору пришлось печатно объяснять публикѣ опасность их постановки внѣ его непосредственнаго контроля.

Поразспросив сестру Фальтера, итальянец выяснил, что предков своих Фальтеры не знают, их отец, правда, был не прочь напиться пьяным, но так как по теоріи «болѣзнь отражает лишь давно прошедшее», как, скажем, народный эпос сублимирует лишь давнія дѣла, подробности о Фальтерѣ-рѣге были ему ненужны. Все же он предложил, что попробует заняться больным, надѣясь путем остроумных разспросов добиться от него самого объясненія его состоянія, послѣ чего предки выведутся из суммы сами; что такое объясненіе существовало подтверждалось тѣм, что когда удавалось близким проникнуть в молчаніе Фальтера, он кратко и отстранительно намекал на нѣчто из ряда вон выходящее, испытанное им в ту непонятную ночь.

Однажды итальянец уединился с Фальтером в комнатѣ послѣдняго и так как был сердцевѣд опытный, в роговых очках и с платочком в грудном карманчикѣ, повидному добился от него исчерпывающаго отвѣта о причинѣ его ночных воплей. Вѣроятно дѣло не обошлось без гипнотизма, так как Фальтер потом увѣрял слѣдователя, что проговорился против воли, и что ему было не по себѣ. Впрочем он добавил, что все равно рано или поздно произвел бы этот опыт, но что уж навѣрное никогда его не повторит. Как бы то ни было, бѣдный автор «Геронки Безумія» оказался жертвой Фальтеровой медузы. Так как задушевное свиданіе между врачом и пациентом неестественно затянулось, сестра Фальтера, вязавшая сѣрый шарф на террасѣ и уж давно не слышавшая разымчиваго, молодецкаго или фальшиво-вкрадчиваго тенорка, невнятно доносившагося вначалѣ из полуоткрытаго окошка, поднялась к брату, котораго нашла разсматривающим со скучным любопытством рекламную брошюрку с горно-санаторскими видами, вѣроятно принесенную врачом, между тѣм как сам врач, наполовину сѣхавшій с кресла на ковер, с интервалом бѣлья между жилетом и панталонами, лежал, растопырив маленькія ноги и откинув блѣдно-кофейное лицо, сраженный, как потом выяснилось, разрывом сердца. Дѣловито вмѣшавшимся полицейским властям Фальтер отвѣчал разсѣянно и кратко; когда же наконец эти приставанія ему надоѣли, он объяснил, что случайно разгадав «загадку міра» он поддался изошренным увѣщеваніям и повѣдал ее любознательному собесѣднику, который от удивленія и помер. Газеты подхватили эту исторію, соотвѣтственно ее изукрасив, и личность Фальтера переодѣтая тибетским мудрецом впродолженіе нѣскольких дней подкармливала непривередливую хронику.

Но как ты знаешь я в тѣ дни газет не читал, ты тогда умирала. Теперь же, выслушав подробный рассказ о Фальтерѣ, я испытал нѣкое весьма сильное и слегка как бы стыдное желаніе.

Ты конечно понимаешь. В том состояніи, в котором я был, люди без воображенія, т.е. лишеныя его поддержки и

изысканій, обращаются к рекламным волшебникам, к хиромантам в маскарадных тюрбанах, промысляющим промеж магических дѣл крысиным ядом или розовой резиной, к жирным смуглым гадалкам, — но особенно к спиритам, поддѣлывающим неизвѣстную еще энергію под млечныя черты призраков и глупо предметныя их выступленія. Но я воображеніем надѣлен, и потому у меня были двѣ возможности: первая из них была моя работа, мое искусство, утѣшеніе моего искусства; вторая заключалась в том, чтобы вдруг взять да поутѣрить, что довольно в сущности обыкновенный, несмотря на пти же бывалаго ума, и даже чуть вульгарный, человекъ вроде Фальтера дѣйствительно и окончательно узнал то, до чего ни один пророк, ни один волшебник никогда никогда не мог додуматься.

Искусство мое? Ты помнишь, неправда-ли, этого страннаго шведа или датчанина, или исландца, чорт его знает, словом, этого длиннаго, оранжево загорѣлаго блондина с рѣсницами старой лошади, который рекомендовался мнѣ «извѣстным писателем» и заказал мнѣ за гонорар, обрадовавший тебя (ты уже не вставала с постели и не могла говорить, но писала мнѣ цвѣтным мѣлком на грифельной дощечкѣ смѣшныя вещи вроде того, что больше всего в жизни ты любишь «стихи, полевые цвѣты и иностранныя деньги»), заказал мнѣ, говорю я, серію иллюстрацій к поэмѣ *Ultima Thule*, которую он на своем языкѣ только что написал. О том же, чтобы мнѣ подробно ознакомиться с его манускриптом не могло быть конечно рѣчи, так как французскій язык, на котором мы мучительно переговаривались, был ему знаком больше по наслышкѣ, и перевести мнѣ свои символы он не мог. Мнѣ удалось понять только, что его герой какой-то сѣверный король, несчастный и нелюдимый, что в его государствѣ, в туманѣ моря, на грустном и далеком островѣ, развиваются какія-то политическія интриги, убійства, мятежи, сѣрая лошадь потерявъ всадника летит в туманѣ по вереску... Моим первым *blanc et noir* он остался доволен, и мы условились о темах остальных рисунков. Так как он не явился через недѣлю,

как обѣщал, я к нему позвонил в гостиницу и узнал, что он отбыл в Америку.

Я от тебя тогда скрыл исчезновение работодателя, но рисунков не продолжал, да и ты уже была так больна, что не хотѣлось мнѣ думать о моем золотом перѣ и кружевной туши. Но когда ты умерла, когда раннія утра и поздніе вечера стали особенно невыносимы, я с жалкой болѣзненной охотой, сознаніе которой вызывало у меня самого слезы, продолжал работу, за которой я знал никто не придет, но именно потому она мнѣ казалась кстати, — ея призрачная безпредметная природа, отсутствіе цѣли и вознагражденія, уводила меня в родственную область с той, в которой для меня пребываешь ты, моя призрачная цѣль, мое милое, мое такое милое земное твореніе, за которым никто никуда никогда не придет, а так как все отвлекало меня, подсовывая мнѣ краску временности взаменъ графическаго узора вѣчности, муча меня твоими слѣдами на пляжѣ, камнями на пляжѣ, твоей синей тѣнью на ужасном солнечном пляжѣ, я рѣшил вернуться в Париж, чтобы по-настоящему засѣсть за работу. Ultima Thule. остров родившійся в пустынном и тусклом морѣ моей тоски по тебѣ, меня теперь привлекал, как нѣкое отечество моих наименѣе выразимых мыслей.

Однако прежде чѣм оставить юг я должен был непременно повидать Фальтера. Это была вторая помощь, которую я придумал себѣ. Мнѣ удалось себя убѣдить, что он все-таки не просто сумасшедшій, что он не только вѣрит в открытіе сдѣланное им, но что именно это открытіе источник его сумасшествія, а не наоборот. Я узнал, что на осень он переѣхал в наши мѣста. Я узнал также, что его здоровье слабо, что пылъ жизни, угасшій в нем, оставил его тѣло без присмотра и поощренія; что вѣроятно он скоро умрет. Я узнал наконец, и это мнѣ было особенно важно, что послѣднее время несмотря на упадок сил, он стал необыкновенно разговорчив и цѣлыми днями угощает посѣтителей — а к нему, увы, проникали другого рода любопытные, чѣм я, — придиричивыми к механикѣ человѣческой мысли, странно извилистыми,

ничего не раскрывающими, но по ритму и шипам почти сократовскими разговорами. Я предложил, что поѣѣшу его, но его зять мнѣ отвѣтил, что бѣднягѣ пріятно всякое развлеченіе, и что он достаточно силен, чтобы добраться до моего дома.

И вот они явились, т.е. этот самый зять в своем неизмѣнном черном костюмчикѣ, его жена (рослая, молчаливая женщина, крѣпостью и отчетливостью тѣлосложенія напоминавшая прежній облик брата и теперь как бы служившая ему житейским укором, смежной нравоучительной картинкой) и сам Фальтер... вид котораго меня поразил, несмотря на то, что я был к переменѣмъ подготовлен. Как бы это выразить? Зять говорил, что из Фальтера словно извлекли скелет; мнѣ же показалось иначе, что вынули душу, но зато удесятирили в нем дух. Я хочу этим сказать, что одного взгляда на Фальтера было довольно, чтобы понять, что никаких человѣческих чувств, практикуемых в земном быту, от него не дождешься, что любить кого-нибудь, жалѣть, любить и жалѣть даже только самого себя, благоволить к чужой душѣ и ей сострадать при случаѣ, посылно и привычно служить добру, хотя бы собственной пробы, — всему этому Фальтер совершенно разучился, как разучился здороваться или пользоваться платком. А вмѣстѣ с тѣм он не производил впечатлѣнія умалишеннаго — о нѣтъ, совсѣм напротив — в его странно разсырѣвших чертах, в непріятном сытом взглядѣ, даже в плоских ногах обутых уже не в модные башмаки, а в дешевыя провансальскія туфли на веревочных подошвах, чуялась какая то сосредоточенная сила, и этой силѣ не было никакого дѣла до дряблости и явной тлѣнности тѣла, которым она брезгливо руководила.

В личном отношеніи ко мнѣ он был теперь не таков, как во время послѣдней короткой нашей встрѣчи, а таков, каким я его помнил по нашим урокам в юности. Не сомнѣваюсь, что он отлично сознавал, что в календарном смыслѣ с тѣх пор прошло почти четверть вѣка, а все же, как бы вмѣстѣ с душой потеряв чувство времени (без котораго душа не может жить), он не столько на словах, а в разсужденіи всей

манеры, явно относился ко мнѣ так, как если бы все это было вчера — и вмѣстѣ с тѣм ни малѣйшей симпатіи ко мнѣ, никакого тепла, ничего, ни пылинки.

Его усадили в кресло, и он странно развалился в нем, как разсаживается шимпанзе, котораго сторож заставляет пародировать сибарита. Его сестра занялась вязаніем и во все время разговора ни разу не приподняла сѣдой стриженной головы. . Ея муж вынул из кармана двѣ газеты, мѣстную и марсельскую, и тоже онѣмѣл. Только когда Фальтер, замѣтя твою большую фотографію, случайно стоявшую как раз на линіи его взгляда, спросил, гдѣ же ты, зять, не отрываясь от газеты, неестественно громко, как говорят с глухими, проговорил: «Вы же отлично знаете, что она умерла». «Ах да? — замѣтил Фальтер с нечеловѣческой безпечностью, и, обратившись ко мнѣ, добавил: — «что же, царствіе ей небесное, — так кажется полагается в обществѣ говорить?» Затѣм началась слѣдующая между нами бесѣда, я записал ее по памяти, но кажется вѣрно:

— Мнѣ хотѣлось вас повидать, Фальтер, — сказал я (называя его на самом дѣлѣ по имени-отчеству, но, при переносѣ, его внѣвременный образ не терпит этого прикрѣпленія челоуѣка к определенной странѣ и кровному прошлому) — мнѣ хотѣлось вас повидать, чтоб поговорить с вами откровенно. Если бы вы сочли возможным попросить ваших родственников нас оставить вдвоем...

— Они не в счет, — отрывисто замѣтил Фальтер.

— Под откровенностью, — продолжал я, — мной подразумѣвается взаимная возможность задавать любые вопросы и готовность отвѣчать на них. Но так как вопросы буду ставить я а отвѣтов ожидаю от вас, то все зависит от того, даете ли вы миѣ гарантію вашей прямоты; моя вам не требуется.

— На прямой вопрос отвѣчу прямо, — сказал Фальтер.

— В таком случаѣ позвольте бить в лоб. Мы попросим

ваших родственников ни минуточку выйти, и вы скажете мнѣ дословно то, что вы сказали итальянскому врачу.

— Вот тебѣ раз, — проговорил Фальтер.

— Вы не можете мнѣ отказать в этом. Во-первых я от вашего сообщенія не умру, — ручаюсь; вы не смотрите, что у меня усталый невзрачный вид, сил найдется достаточно. Во-вторых, я общаю вашу тайну держать при себѣ и даже, если хотите, застрѣлиться тотчас послѣ вашего сообщенія. Видите, я допускаю, что моя болтливость вам может быть еще неприятнѣе чѣм моя смерть. Ну так как же, согласны?

— Рѣшительно отказываюсь, — отвѣтил Фальтер и скинул со стоящаго рядом с ним столика мѣшавшую ему облокотиться книгу.

— Ради того, чтобы как нибудь завязать разговор, я временно примирюсь с вашим отказом. Начнем же с яйца. Итак, Фальтер, вам открылась сущность вещей.

— Послѣ чего точка, — вставил Фальтер.

— Согласен: вы мнѣ ея не скажете; все же я дѣлаю два важных вывода: у вещей есть сущность, и эта сущность может открыться уму.

Фальтер улыбнулся:

— Только не называйте это выводами, синьор. Это так — полустанки. Логическія разсужденія очень удобны при небольших разстояніях, как пути мысленнаго сообщенія, но круглота земли, увы, отражена и в логикѣ: при идеально послѣдовательном продвиженіи мысли вы вернетесь к отправной точкѣ... с сознанием гениальной простоты, с пріятнѣйшим чувством, что обняли истину, между тѣм как обняли лишь самага себя. Зачѣм же пускаться в путь? Ограничьтесь этим положеніем — открылась сущность вещей, — в котором, впрочем, уже допущена вами ошибка; я объясню ее вам не могу, так как малѣйшій намек на объясненіе уже был бы проблеском. При неподвижности положенія ошибка незамѣтна. Но все, что вы зовете выводом, уже вскрывает порок: развитіе роковым образом становится свитком.

— Хорошо, удовлетворюсь покамест этим. Теперь позвольте мнѣ вопрос. Гипотезу, пришедшую на ум ученому, он провѣряет выкладкой и испытаніем, т.е. мимикріей правды и ея пантомимой. Ея правдоподобіе заражает других, и гипотеза почитается истинным объясненіем даннаго явления, покуда кто-нибудь не найдет в ней погрѣшности. Если не ошибаюсь, вся наука состоит из таких опальных, или отставных мыслей: а вѣдь каждая когда то ходила в чинах; осталась слава или пенсія. В вашем же случаѣ, Фальтер, я подозреваю, что у вас оказался какой-то другой метод нахождения и провѣрки. Можно ли назвать его — откровеніем?

— Нельзя, — сказал Фальтер.

— Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытія, сколько ваша увѣренность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ провѣрить находку, либо сознание истины заложено в ней.

— Видите ли, — отвѣчал Фальтер — в Индокитаѣ, при розыгрышѣ лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в странѣ честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавшій; но никто не знал, что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность кому-то дѣлала его невидимым для всѣх. Я случайно в него сѣл. Но может быть проще всего будет, если скажу, что в минуту игривости, не непременно математической игривости, математика, предупреждаю вас, лишь вѣчная чехарда через собственныя плечи при собственном своем размноженіи — я комбинировал различныя мысли — ну и вот скомбинировал и взорвался, как Бертольд Шварц. Я выжил; может быть выжил бы и другой на моем мѣстѣ. Но послѣ случая с моим п р е л э с т н ы м врачом у меня нѣт ни малѣйшей охоты возиться опять с полиціей.

— Вы разогрѣваетесь, Фальтер. Но вернемся к главному: что именно вам говорит, что это есть истина? Обезьяна чужда жребію.

— Истин, тѣней истин, — сказал Фальтер, — на свѣтѣ так мало, — в смыслѣ видов, а не особей, разумѣтся, — а тѣ, что на лицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы сказать... о т д а ч а при распознаваніи истины, мгновенный отзыв всего существа — явленіе мало знакомое, мало изученное. Ну еще там у дѣтей... когда ребенок просыпается или приходит в себя послѣ скарлатины... электрической разряд дѣйствительности, сравнительной конечно дѣйствительности, другой у вас нѣт. Возьмите любой трупизм, т.е. труп сравнительной истины. Разберитесь теперь в физическом ощущеніи, которое у вас вызывают слова: черное темнѣе коричневаго или лед холоден. Мысль ваша лѣнится даже привстать, как если бы все тот же учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса. Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящій замок калитки. Оставим в сторонѣ физическую боль или гордость собственнаго открытія, ежели оно из пріятных, — не это есть настоящая реакція на истину. Видите, так мало извѣстно это чувство, что нельзя даже подыскать точнаго слова... Всѣ нервы разом отвѣчают «да» — так, что ли. Откинем удивленіе, как лишь непривычность усвоенія п р е д м е т а истины, не ея самой. Если вы мнѣ скажете, что такой-то — вор, то я, немедленно соображая в умѣ всѣ тѣ вдруг освѣтившіяся мелочи, которыя сам наблюдал, все же успѣваю удивиться тому, что человек, казавшійся столь порядочным, на самом дѣлѣ мошенник, но истина уже мною незамѣтно впитана, так что самое мое удивленіе тотчас принимает обратный образ (как это такого явнаго мошенника можно было считать честным); другими словами, чувствительная точка истины лежит как раз на полпути между первым удивленіем и вторым.

— Так. Это все довольно ясно.

— Удивленіе же, доведенное до потрясающих, невообразимых размѣров, — продолжал Фальтер, — может подѣйствовать крайне болѣзненно, и все же оно ничто в сравненіи с самим ударом истины. И этого уже не «впитаешь». Она меня

не убила случайно — столь же случайно как грянула в меня. Сомнѣваюсь, что при такой силѣ ошущенія можно было бы думать о его провѣркѣ. Но пост-фактум такая провѣрка может быть осуществлена, хотя в ея механикѣ я лично не нуждаюсь. Представьте себѣ любую проходную правду, скажем, что два угла, равные третьему, равны между собой; заключено ли в этом утвержденіи то, что лед горяч, или что в Канадѣ есть камни? Иначе говоря, данная истинка никаких других родовых истиннок не содержит, а тѣм менѣе таких, которыя принадлежали бы к другим породам и плоскостям знанія или мышленія. Что же вы скажете об истинѣ, которая заключает в себѣ об'ясненіе и доказательство всѣх возможных мысленных утвержденій? Можно вѣрить в поэзію полевого цвѣтка или в силу денег, но ни то ни другое не предопредѣляет вѣры в гомеопатію или в необходимость истреблять антилоп на всѣх островах Викторіи Ньянджи; но узнав то, что я узнал — если можно это назвать узнаваніем — я получил ключ рѣшительно ко всѣм дверям и шкапулкам в мірѣ, только незначѣм мнѣ употреблять его, раз всякая мысль об его прикладном значеніи у ж е сама по себѣ переходит во всю серію откидываемых крышек. Я могу сомнѣваться в моей физической способности представить себѣ до конца всѣ послѣдствія моего открытія, т.е. в какой мѣрѣ я еще не сошел с ума или напротив как далеко оставил за собой все, что понимается под помѣшательством, — но сомнѣваться никак не могу в том, что мнѣ, как вы выразились, «открылась суть». Воды, пожалуйста.

— Вот вам вода. Но позвольте, Фальтер, правильно ли я понял вас? Неужели вы отнынѣ кандидат всепознанія? Извините, не чувствую этого. Допускаю, что вы знаете что-то главное, но в ваших словах нѣтъ конкретных признаков абсолютной мудрости.

— Берегу силы, — сказал Фальтер. — Да я и не утверждал, что теперь я знаю все — напрімѣр, арабскій язык, или сколько раз вы в жизни брились, или кто набирал строки вон в той газетѣ, которую читает мой дурак-зять. Я только

говарю, что знаю все, что мог бы узнать. То же может сказать всякій, просмотрѣвъ энциклопедію, неправда-ли, но только энциклопедія, точное заглавіе которой я узнал (вот, кстати, даю вам болѣе изящный термин: я знаю заглавіе вещей), дѣйствительно всеобъемлющая — и вот в этом разнища между мною и самым свѣдущим человѣком. Видите ли я узнал — и тут я вас подвожу к самому краю итальянской пропасти, дамы не смотрите, — я узнал одну весьма простую вещь относительно міра. Она сама по себѣ так ясна, так забавно ясна, что только моя несчастная человѣческая природа может счесть ее чудовишной. Когда я сейчас скажу «соотвѣтствует», я под соотвѣтствіем буду разумѣть нѣчто безконечно далекое от всѣх соотвѣтствій вам извѣстных, точно также как самая природа моего открытія ничего не имѣет общаго с природой физических или философских домыслов: итак, то главное во мнѣ, что соотвѣтствует главному в мірѣ, не подлежит тѣлесному трепету, который меня так разбил. вмѣстѣ с тѣм возможное знаніе всѣх вещей, вытекающее из знанія главной, не располагает во мнѣ достаточно прочным аппаратом. Я усиліем воли приучаю себя не выходить из клѣтки, держаться правил вашего мышленія как будто ничего не случилось, т.е. поступаю, как бѣднякъ, получившій милліон, а продолжающій жить в подвалѣ, ибо он знает, что малѣйшей уступкой роскоши он загубит свою печень.

— Но сокровище есть у вас, Фальтер, — вот что мучительно. Оставим же разсужденія о ваших к нему поворотах и потолкуем о нем самом. Повторяю, ваш отказ дать мнѣ взглянуть на вашу медузу принят мною к свѣдѣнію, а кромѣ того я готов не дѣлать даже самых очевидных заключеній, потому что, как вы намекаете, всякое логическое заключеніе есть заключеніе мысли в себѣ. Я вам предлагаю другой метод вопросов и отвѣтов: я вас не стану спрашивать о составѣ вашего сокровища, но вѣдь вы не выдадите его тайны, если скажете мнѣ, лежит ли оно на востокѣ, или есть ли в нем хоть один топаз, или прошел ли хоть один человѣкъ в содѣлствѣ от него. При этом если вы отвѣтите на любой из моих

вопросов утвердительно или отрицательно, я не только обязуюсь не избирать данного пути для дальнѣйшаго продвиженія однородных вопросов, но обязуюсь и вообще прекратить разговор.

— Теоретически вы завлекаете меня в грубую ловушку, — сказал Фальтер, слегка затрясаясь как если б смѣлся. — На практикѣ же это есть ловушка лишь поскольку вы способны задать мнѣ хоть один вопрос, на который я мог бы отвѣтить простым да или нѣт. Таких шансов весьма мало. Посему, если вам нравится пустая забава, — пожалуйста, валяйте.

Я подумал и сказал:

— Позвольте мнѣ, Фальтер, начать так, как начинает традиціонный турист, с осмотра старинной церкви, извѣстной ему по снимкам. Позвольте мнѣ спросить вас: существует ли Бог?

— Холодно, — сказал Фальтер.

Я не понял и переспросил.

— Бросьте, — огрызнулся Фальтер. — Я сказал «холодно», как говорится в игрѣ, когда требуется найти запряванный предмет. Если вы ищете под стулом или под тѣнью стула, и предмета там быть не может, потому что он просто в другом мѣстѣ, то вопрос существованія стула или тѣни стула не имѣет ни малѣйшаго отношенія к игрѣ. Сказать же, что может быть стул то существует, но предмет не там, то же, что сказать, что может быть предмет то там, но стула не существует, т.е. вы опять попадаете в излюбленный человѣческой мыслью круг.

— Но согласитесь, Фальтер, если вы говорите, что искомое не находится ни в каком сосѣдствѣ с понятіем Бога, а искомое это есть по вашей терминологіи «заглавное», то слѣдовательно понятіе о Богѣ не есть заглавное, а если так, то нѣт заглавной необходимости в этом понятіи, и раз нѣт нужды в Богѣ, то и Бога нѣт.

— Значит, вы не поняли моих слов о соотношеніи между возможным мѣстом и невозможностью в нем нахождения пред-

мета. Хорошо, скажу вам яснѣе. Тѣм, что вы упомянули о данномъ понятіи, вы себя самага поставили в положеніе тайны, какъ если бы ищущій спрятался самъ. Тѣмъ же, что вы упорствуете в своемъ вопросѣ, вы не только сами прячетесь, но еще вѣрите, что, раздѣляя с искомымъ предметомъ свойство «спрятанности», вы его приближаете къ себѣ. Какъ я могу вамъ отвѣтить, есть ли Богъ, когда рѣчь можетъ быть идетъ о сладкомъ горошкѣ или футбольныхъ флажкахъ? Вы не тамъ и не такъ ищите, шеръ мосье, вотъ все, что могу вамъ отвѣтить. А если вамъ кажется, что изъ этого отвѣта можно сдѣлать малѣйшій выводъ о ненужности или нужности Бога, то такъ получается именно потому, что вы не тамъ и не такъ ищите. А не вы ли общались, что не будете мыслить логически?

— Сейчасъ поймаю и васъ, Фальтеръ. Посмотримъ, какъ вамъ удастся избѣжать прямого утвержденія. Итакъ, нельзя искать заглавія міра в іероглифахъ божества?

— Простите, — отвѣтилъ Фальтеръ, — посредствомъ цвѣтистости слога и грамматическаго трюка вы просто гримируете ожидаемое вами отрицаніе подъ ожидаемое да. Я сейчасъ только отрицаю. Я отрицаю цѣлесообразность исканія истины в области общепринятой теологіи, — а во избѣжаніе лишней работы со стороны вашей мысли спѣшу добавить, что употребленный мною эпитетъ — тупикъ. Не сворачивайте туда. Я прекращу разговоръ за неимѣніемъ собесѣдника, если вы воскликнете «Ага, есть другая» — ибо это будетъ значить, что вы такъ хорошо себя запрятали, что потеряли себя.

— Хорошо. Повѣрю вамъ. Допустимъ, что теологія засоряетъ вопросъ. Такъ, Фальтеръ?

— Барыня прислала сто рублей, — сказалъ Фальтеръ.

— Ладно, оставимъ и этотъ неправильный путь. Хотя, вѣроятно, вы могли бы мнѣ обяснить, почему именно онъ неправиленъ (ибо тутъ есть что-то странное, неуловимое, заставляющее васъ сердиться), и тогда мнѣ было бы ясно ваше нежеланіе отвѣчать?

— Могъ бы, — сказалъ Фальтеръ, — но это было бы равно-

сильно раскрытію сути, т.е. как раз тому, чего вы от меня не добьетесь.

— Вы повторяетесь, Фальтер. Неужели вы будете так же изворачиваться, если я, скажем, спрошу, можно ли рассчитывать на загробную жизнь.

— Вам это очень интересно?

— Так же как и вам, Фальтер. Что бы вы ни знали о смерти, мы оба смертны.

— Во первых, — сказал Фальтер, — обратите вниманіе на слѣдующій любопытный подвох: всякій человек смертен; вы (или я) — человек; значит, вы может быть и не смертны. Почему? Да потому, что выбранный человек тѣм самым уже перестает быть всяким. Вмѣстѣ с тѣм мы с вами все-таки смертны, но я смертен иначе чѣм вы.

— Не шпыняйте мою бѣдную логику, а отвѣьте мнѣ просто: есть ли хоть подобіе существованія личности за гробом, или все кончается идеальной тьмой?

— Вон, — сказал Фальтер по привычкѣ русских во Франціи. Вы хотите знать, вѣчно ли господин Синеусов будет пребывать в уютѣ господина Синеусова, или же все вдруг исчезнет? Тут есть двѣ мысли, неправда-ли? Перманентное освѣщеніе и черная чепуха. Мало того, несмотря на разность метафизической масти, онѣ чрезвычайно друг на друга похожи. При этом онѣ движутся параллельно. Онѣ движутся. Онѣ движутся даже весьма быстро. Да здравствует тотализатор! У-тю-тю, смотрите в бинокль, онѣ у вас бѣгут наперегонки, и вы очень хотѣли бы знать какая прибѣжит первая к столбу истины, но тѣм, что вы требуете от меня отвѣта, да или нѣт, на любую из них, вы хотите, чтобы я одну на всем бѣгу поймал за шиворот — а шиворот у бѣсенят скользкій — но если бы я для вас одну из них и перехватил, то просто прервал бы состязаніе, или добѣжала бы другая, не схваченная мной, в чем не было бы никакого прока в виду прекращенія соперничества. Если же вы спросите, какая из двух бѣжит скорѣе, то отвѣчу вам вопросом же: что скорѣе бѣжит — сильное желаніе или сильная боязнь?

— Думаю, что одинаково.

— То-то и оно. Вѣдь как же получается в разсужденіи человѣчки, — либо никак нельзя выразить то, что ожидает вас, т.е. нас, за смертью, и тогда полное безпамятство исключается — вѣдь оно-то вполне доступно нашему воображенію — каждый из нас испытал полную тьму крѣпкого сна; либо наоборот — представить себѣ смерть можно, и тогда естественно выбирает разсудок не вѣчную жизнь, т.е. нѣчто само по себѣ невѣдомое, ни с чѣм земным несообразное, а именно наиболѣе вѣроятное — знакомую тьму. Ибо как же в самом дѣлѣ может человек, довѣряющій своему разсудку допустить, что скажем нѣкто мертвецки пьяный, умершій в крѣпком снѣ от случайной внѣшней причины, т.е. случайно лишившійся того, чѣм в сущности он уже не обладал, как же он пріобрѣтает способность снова мыслить и чувствовать благодаря лишь продленію, утвержденію и усовершенствованію его неудачнаго состоянія? Поэтому, если бы вы у меня спросили даже только одно — извѣстно ли мнѣ по человѣчески то, что находится за смертью, т.е. попытались бы предотвратить явно обреченное на нелѣпость состязаніе двух противоположных, но в сущности одинаковых представленій, из моего отрицанія вы бы логически должны были вывести, что ваша жизнь небытіем не может кончиться, а из моего утвержденія вывели бы заключеніе обратное. И в том и в другом случаѣ, как видите, вы бы остались точно в таком же положеніи как были всегда, ибо сухое нѣт доказало бы вам, что я не болѣе вас знаю о данном предметѣ, а влажное да предложило бы вам принять существованіе международных небес, в котором ваш разсудок не может не сомнѣваться.

— Вы просто увильваете от прямого отвѣта, но позвольте мнѣ все-таки замѣтить, что в разговорѣ о смерти вы не отвѣчаете мнѣ: холодно.

— Вот вы опять, — вздохнул Фальтер. — Но я же вам только что об'яснял, что всякій вывод слѣдует кривизнѣ мышленія. Он по земному правилен, покуда вы остаетесь в области земных величин, но когда вы пытаетесь забраться

дальше, то ошибка растет по мѣрѣ пути. Мало того, ваш разум воспримет всякій мой отвѣтъ исключительно с прикладной точки, ибо иначе чѣм в образѣ собственнаго креста вы смерть мыслить не можете, а это в свою очередь так извратит смысл моего отвѣта, что он тѣм самым станет ложью. Будем же соблюдать пристойность и в трансцендентальном. Яснѣе выразиться не могу — и скажите мнѣ спасибо за увиливаніе. Вы догадываетесь. я полагаю, что тут есть одна загвоздка в самой постановкѣ вопроса, загвоздка, которая кстати сказать страшнѣе самаго страха смерти. Он у вас повидимому особенно силен, не так ли?

— Да, Фальтер. Ужас, который я испытываю при мысли о своем будущем безпамятствѣ, равен только отвращенію перед умозрительным тлѣном моего тѣла.

— Хорошо сказано. Вѣроятно налицо и прочіе симптомы этой подлунной болѣзни? Тупой укол в сердце, вдруг среди ночи, как мельканіе дикой твари промеж домашних чувств и ручных мыслей: вѣдь я когда-нибудь... Правда, это бывает у вас? Ненависть к міру, который будет очень бодро продолжаться без вас... Коренное ощущение, что все в мірѣ пустяки и призраки по сравненію с вашей предсмертной мукой, а значит и с вашей жизнью, ибо, говорите вы себѣ, жизнь и есть предсмертная мука... Да-да, я вполне себѣ представляю болѣзнь, которой вы всѣ страдаете в той или другой мѣрѣ, и одно могу сказать: не понимаю, как люди могут жить при таких условіях.

— Ну вот, Фальтер, мы кажется договорились. Выходит так, что если я признался бы в том, что в минуты счастья, восхищенія, обнаженія души я вдруг чувствую, что небытія за гробом нѣтъ; что рядом, в запертой комнатѣ, из под двери которой дует стужей, готовится как в дѣтствѣ многоочитое сияніе, пирамида утѣх; что живопись, родина, весна, звук ключевой воды или милаго голоса. — все только путаное предисловіе, а главное впереди; выходит, что если я так чувствую, Фальтер, можно жить, можно жить, — скажите мнѣ, что можно, и я больше у вас ничего не спрошу.

— В таком случаѣ, — сказал Фальтер, опять затрясаясь — я еще менѣе понимаю. Перескочите предисловіе, — и дѣло в шляпѣ!

— Un bon mouvement, Фальтер, откройте мнѣ все.

— Это что же, хотите взять враспloh? Какой вы. Нѣтъ, об этом не может быть рѣчи. В первое время... Да, в первое время мнѣ казалось, что можно попробовать... подѣлиться. Взрослый человек, если только он не такой бык как я, не выдерживает, допустим; но, думалось мнѣ, нельзя ли воспитать новое поколѣніе з н а ю щ и х , т. е. не обратиться ли к дѣтям. Как видите, я не сразу справился с заразой мѣстной діалектики. Но на дѣлѣ что же бы получилось? Во-первых едва ли мыслимо связать ребят порукой жреческаго молчанія, так чтобы ни один из них мечтательным словом не совершил убійства. Во-вторых, как только ребенок разовѣется, сообщенное ему когда-то, принятое на вѣру и заснувшее на задворках сознанія, дрогнет и проснется с трагическими послѣдствіями. Если тайна моя может и не убить матерого сапьянса, то никакого юноши она конечно не пощадит. Ибо кому незнакомо то время жизни, когда всякая всячина — звѣздное небо в Эссентуках, книга, прочитанная в клозетѣ, собственныя догадки о мірѣ, сладкій ужас солипсизма — итак доводит молодую человѣческую особь до изступленія всѣх чувств. В палачи мнѣ итти незачѣм; вражеских полков истреблять через мегафон не собираюсь... словом, довѣряться мнѣ некому.

— Я задал вам два вопроса, Фальтер, и вы дважды доказали мнѣ невозможность отвѣта. Мнѣ кажется, было бы бесполезно спрашивать вас о чем либо еще — скажем о предѣлах мірозданія или о происхожденіи жизни. Вы мнѣ предложили бы вѣроятно удовлетвориться пестрой минутой на второсортной планетѣ, обслуживаемой второсортным солнцем, или опять все свели бы к загадкѣ: гетерологично ли самое слово «гетерологично».

— Вѣроятно, — подтвердил Фальтер и протяжно зѣвнул.

Его зять тихонько зачерпнул из жилета часы и переглянулся с супругой.

— Но вот что странно, Фальтер. Как совмѣщается в вас сверхчеловѣческое знаніе сути с ловкостью площадного софиста, незнающаго ничего? Признайтесь, всѣ ваши вздорные отводы лишь изощренное зубоскальство?

— Что же, это моя единственная защита, — сказал Фальтер, косясь на сестру, которая проворно вытягивала длинный сѣрый шерстяной шарф из рукава пальто, уже подаваемого ему зятем. — Иначе, знаете, вы бы добились... Впрочем, — добавил он, не той, потом той, рукой влѣзая в рукав и одновременно отодвигаясь от вспомогательных толчков помощников, — впрочем, если я немножко и покуражился над вами, то могу вас утѣшить: среди всякаго вранья я нечаянно проговорился, — всего два-три слова, но в них промелькнул краешек истины, — да вы по счастью не обратили вниманія.

Его увели, и тѣм окончился наш довольно таки дьявольскій діалог. Фальтер не только ничего мнѣ не сказал, но даже не дал мнѣ подступиться, и вѣроятно его послѣднее слово было такой же издѣвкой, как и всѣ предыдущія. На другой день скучный голос его зятя сообщил мнѣ по телефону, что за визит Фальтер берет сто франков; я спросил, почему собственно меня не предупредили об этом, и он тотчас отвѣтил, что в случаѣ повторенія сеанса два разговора мнѣ обойдутся всего в полтораста. Покупка истины, даже со скидкой, меня не прельщала, и отослав ему свой непредвидѣнный долг, я заставил себя не думать больше о Фальтерѣ. Но вчера... да, вчера, я получил от него самага записку — из госпиталя: четко пишет, что во вторник умрет, и что на прощаніе рѣшается мнѣ сообщить, что — тут слѣдуют двѣ строчки, старательно и как бы иронически вымаранные. Я отвѣтил, что благодарю за вниманіе и желаю ему интересных загробных впечатлѣній и пріятнаго препровожденія вѣчности.

Но все это не приближает меня к тебѣ, мой ангел. На всякій случай держу всѣ окна и двери жизни настеж откры-

тыми хотя чувствую, что ты не снизойдешь до старинных приемов привидѣній. Страшнѣ всего мысль, что поскольку ты отнынѣ сіяешь во мнѣ, я должен беречь свою жизнь. Мой бранный состав единственный быть может залог твоего идеальнаго бытія: когда я скончаюсь, оно кончится тоже. Увы, я обречен с нищей страстью пользоваться земной природой, чтобы себѣ самому договорить тебя и затѣм положиться на свое же многоточіе...

В. Набоков-Сирин.

ВРЕМЕНА

Страсть превращать чистый лист бумаги в суету скользящих строк с зачеркнутыми словами и надстрочными добавками, вечно вязать нескончаемое кружево мысли и слов, эта неизжитая страсть, перешедшая в привычку, побуждает меня продолжить записки о жизни. Но если дѣтство и юность, всегда овѣянная поэзіей, вспоминались с легкостью, и для них находились избранныя слова, то зрѣлые годы — это уж не картинки, не туманная акварель, вольная игра кистей и красок; и это не написанная и отложенная в сторону книга. Их не отдѣлишь с простотой и полным спокойствіем от дня сегодняшняго, который просится в послѣднюю графу человѣческих сроков, в рубрику подкравшейся старости, — что ни говори, как ни старайся преувеличеніем недугов вызвать возраженіе зеркала: «вы удивительно сохранились, это только случайная слабость, которая пройдет». На жизни поперечныя трещины, она давно распалась на части, и не все в ней кажется дѣйствительным и своим. Есть такое насѣкомое, медвѣдка, маленькій жестокій вредитель-корнеѣд; огородники увѣряют, что разрубленная пополам острой мотыкой, медвѣдка, прожорливость которой знаменита, иногда с'ѣдает отдѣлившуюся часть своего туловища. Со мной постоянно происходит подобное: отрѣзок отдаленнаго прошлого перестает быть своим, он кажется выдумкой, литературным матеріалом, и если исключить его из жизни, я не почувствую ни боли, ни сожалѣнія. Миѣ кажется забавным этот бѣлобрысый московскій адвокатик, отравившій для солидности бородку и носившій много длинных званій, почтенных и неудобопроизносимых: «помощник присяжнаго повѣреннаго округа московской судебной палаты», «присяжный стряпчій коммерческаго суда», «опекун суда сиротскаго», «юрискон-

сульт общества купеческих приказчиков», «член общества попечительства о бѣдных» и многое еще. В возрастѣ двадцати пяти лѣтъ мы были и считались взрослыми. Я говорю это нынѣшним тридцатилѣтним, сорокалѣтним мальчикам, все еще безответственным и неустроенным в жизни, говорю не в укор и не в поученье. Жизнь осложнилась, непомерно удлиняется и период к ней подготовки. Сорок лѣтъ казались нам предѣлом молодости и живой силы. В этом возрастѣ люди уже успокаиваются и хотят, чтобы все кругом было устойчиво и неколебимо, а мы жаждали движенія и бунта. Свои профессіи мы считали общественным служеніем и не хотѣли замыкаться в технической узости, были непремѣнно романтиками и, конечно, революціонерами. Позже, в эмигрантскіе годы, живя в Италіи послѣ крушенія революціи пятого года, я попросил однажды пріятеля, итальянскаго адвоката: «укажи мнѣ хорошій курс итальянской литературы». — Он удивленно отвѣтил: «я не филолог, я юрист». — «Мнѣ не нужно книг спеціальных, укажи обычный хорошій учебник». — Он повторил: «да вѣдь я же адвокат, откуда мнѣ знать?» — И я понял, как мы отличались от европейцев своим отрицаніем спеціальности, своей жаждой знаній общих. Я навѣрное мог указать ему лучшій курс хирургіи, физики, философіи, даже руководства по столярничеству и рыбной ловлѣ. Но и в своей профессиональной области мы не искали непремѣнно карьеры и заработка. Я нѣсколько побавивался больших выступленій и очень любил кропотливыя дѣлишки в мировых судах, гдѣ была так очевидна помощь юриста бѣдному тяжebníку, не разбиравшемся в статьях закона, гдѣ было можно героически обрушиться на подпольнаго ходатая по дѣлам, тянувшаго с кліента деньги, невѣжественнаго и полнаго самоувѣренности, пока он не сталкивался с подлинным, хоть и молодым юристом. Я с горячностью и волненіем защищал прощальгу, поклявшагося мнѣ, что он не крал пальто с вѣшалки и что он — жертва навѣта. Судья, довѣрившись моей искренней убѣжденности, оправдывал моего кліента, который потом приносил мнѣ скромный гонорар: серебряную ложку, очевидно тоже им украденную, а

впрочем она оказывалась фальшиваго серебра. Я смѣялся, но продолжал и впредь вѣрить. Случайно, по указанію какой-нибудь кухарки, видѣвшей на двери мою адвокатскую дощечку, вваливались ко мнѣ владимірскіе мужики, стронтельные рабочіе, бородатые, тяжелоногіе, и я вел дѣло их артели, обиженной подрядчиком, и чувствовал себя защитником прав трудового народа. Я не брал с них денег и даже тратил от своей скудости, считая честью быть их покровителем и ходатаем; и выиграв дѣло, взыскав с нечестнаго подрядчика недоплаченные им гроши, я сіял радостью и провожал их до дверей, похлопывая по плечу со всей моей молодой солидностью. Я не хвастаюсь добродѣтелью, — я был точно такой, как всѣ не дурные люди моего времени, из средних общественных классов, — прежде всего — «служители правды и справедливости»; это придавало жизни особый вкус и нисколько не мѣшало нам к сорока годам обрастать болѣе жесткой кожей и переходить в стан удовлетворенных, умѣренных, растивших брюшко, но все еще считавших себя и жертвами, и врагами «режима». Все же были и такіе, которые до старости оставались поэтами, будем к ним справедливы. Еще и сейчас встрѣчаю людей моего прошлого; они помнят слова студенческих пѣсен, они пьют водку настоенную на перцѣ, вздыхают и куда-то рвутся, хотя жизнь давно приколола их кнопками к семьѣ, к дѣлу, к безконечно катящейся по проторенной дорогѣ жизненной телѣжкѣ. Безцѣнные товарищи, просчитавшіеся мечтатели, кавалеры осмѣяннаго ордена русских интеллигентов чудаков! Полный к ним нѣжности, я горжусь своим с ними кровным родством, хотя событія личной жизни рано выбили меня из их рядов и вообще из русской жизни и унесли наблюдать жизнь чужую, — только наблюдать, сердцем в ней не участвуя.

Я вспомнил о своем кратком, трехлѣтнем адвокатствѣ. так как с чего-то нужно начать рассказ о зрѣлых годах. У меня была приемная, был кабинет, были телефон, пишущая машинка, копировальный пресс, портфель, фрак со значком, настольная библіотека юридических справочников, дѣловыя обложки с моей фамиліей, мѣдная дощечка на виѣшной двери, эмалиро-

ванная на улицѣ. Я защищал, взыскивал по безнадежным векселям, писал великолѣпно составленныя письма «с совершенным почтеніем». В швейцарской «зданія судебных установлений» был у меня свой крюк на вѣшалкѣ, с наклеенной над ним моей фамиліей, которую швейцар иногда помнил, на вѣшалку не глядя. Я работал самостоятельно, независимо от патрона, ведшего лишь большія дѣла и не имѣвшего для меня маленьких. Я выѣзжал иногда в фабричныя городки, гдѣ рабочіе протягивали мнѣ культипки рук, искалѣченных текстильной машиной, давал купеческим приказчикам совѣты по коммерческим дѣлам, которыя они знали гораздо лучше меня, мирил наслѣдников, полюбовно подѣливших доходные дома, но поссорившихся из за произвольно зарѣзанной свиньи и кучи стараго желѣза, опекал сирот, бродил по камерам участковых судей и квартирам судебных приставов. У меня была недорогая, но солидная шуба и боты, шаркавшіе по снѣжной московской мостовой, и об одном проведенном мною дѣлѣ была газетная замѣтка. Но очень скоро на диванѣ в моей пріемной стали спать по ночам подозрительные люди, бѣжавшіе с политической каторги, на машинкѣ отстукиваться тексты пылких и буйных прокламацій, которыми затѣм набивался мой адвокатскій портфель, квартира стала служить для явок и сборищ, мое званіе — для прикрытія общенія с самыми разнообразными молодыми людьми, мало похожими на кліентов.

Был 1904 год. Наступил и 1905 год — год московскаго вооруженнаго возстанія. Не будет послѣдовательности в моей жизненной повѣсти. Нѣтъ, я не буду рассказывать о революціи. Вообще не буду рассказывать, — мнѣ хочется рождать образы прошлаго, дав им полную свободу. Мы живем в послѣдовательности дней, мѣсяцев и годов; но, оглядываясь на прошлое, мы видим путаницу событій, толпу людей, нагроможденіе сроков и дат. В бывшем есть реальное и есть кажущееся, прежде важное стало ничтожным, маленькій случай вырос в Гималаи, легкій мотивчик пѣсни запомнился в укор стершейся в памяти симфоніи. В воображеніи я ищу друга тѣх времен, молодого

и полного надежд, и он, потирая старческую поясницу, досадливо кивает мнѣ издали на друзей позднѣйших, давно его замѣнивших; я ишу женщин, но их карточки выцвѣли, с'ѣденныя солнцем и временем, и даже от прежних икон остались только потухшія лампадки с плавающими в деревянном маслѣ мухами. Есть счастливыя, прожившіе весь свой вѣк в одном домѣ, в одной квартирѣ, все в тѣх же комнатах, стѣны которых дышат их дыханіем и привычно отражают звуки их слов; их письменные столы, регистраторы, ящики из комодов, кладовыя наполнены прекрасной рухлядью вещественных доказательств их быта. Другим удастся по всему свѣту таскать за собой огромный, по углам лоснящійся кожаный чемодан с наклейками гостиниц, таможен, с царапинами сотни вагонных полок и багажных складов, — чемодан, вмѣщающій самое цѣнное, ветхое и новое; трогательную собственность, внѣшній оттиск внутренних переживаній, воплощенье жестов и дум, суету и кутерьму остывших страстишек, сокровенную ненаписанную исторію. У меня ничего этого нѣтъ, хотя я очень люблю вещи и вещицы. Все, что меня окружает, до неприличія молодо, ему не больше года. В грудѣ писем только недавнія даты, и эта единственная рукопись только сегодня начата. Так бывало не всегда, но время от времени так случалось: спасшись при очередном кораблекрушеніи, я подплывал к незнакомому берегу и из вѣток незнакомаго дерева строил очередной шалаш. Затѣм, осмотрѣвшись, Робинзон вырубает хижину, находит и сѣет сѣмена хлѣбных злаков, приручает козу, знакомится с Пятницей. Но с Робинзоном Даніэля Дефо это случилось только раз, — как прочны были раньше общественные устои, как была несложна человѣческая жизнь! Затѣм он вернулся на родину и пустил в мякоть кресла прочные корни. Он пил настоящее вино, или эль, или сидр, и мозолил ближним уши разказами о своем необычайном приключеніи, пока Пятница неистово врал о том же в кругу знакомой сосѣдской прислуги. Вариант — Дон Кихот и Санхо Панса; романы должны кончаться хорошо. В дѣйствительности люди богатой жизни нерѣдко умирают на промежуточной станціи или под забором,

— но не стоит говорить чувствительно. У меня много времени, и, если вы столь же свободны слушать, я расскажу случай, до котораго в порядкѣ послѣдовательности вряд ли добрался бы, так как он заимствуется из исторіи самой свѣжей катастрофы, впечатлѣнія которой не изгладились. Но для начала рассказа я должен откатиться лѣтъ на восемьдесят назад, къ шестидесятым годам прошлаго вѣка. Мой отец, молодой юрист, провинціал, увидал в театрѣ, в ложѣ уфимскаго губернатора Аксакова, красивую дѣвушку, только что пріѣхавшую в город. В тот же вечер он перегнул пополам длинные листы писчей бумаги и начал писать дневник, обращенный къ этой незнакомкѣ, — дневник любовных страданій. Он владѣлъ пером лучше, чѣм чувствами, и повѣсть о его любви сохранилась среди его бумаг и перешла по наслѣдству ко мнѣ, тѣм болѣе, что предметом его любви, казавшейся столь же страстной, сколь и безнадежной, была его будущая жена — моя мать. Тетрадь пожелтѣла, сохранив все благоуханіе юности; она озаглавлена «Мои бредни», и нить романа обрывается в ней на первых встрѣчах и первом ощущеніи полной безнадежности. Случай спас эту тетрадь при трех моих жизненных крушеніях, — всякій раз она неожиданно выплывала из небытія и снова оказывалась в завѣтном ящикѣ моего стола. Убѣгая из Парижа, которому грозило униженіе, я был вынужден оставить там все, что было мнѣ дорого. Полчища Аттилы захватили город, и мои рукописи, мои книги, привлекли их вниманіе; за полторы тысячи лѣтъ гунны не измѣнили своих привычек и своего вкуса къ грабегам. Когда моим друзьям удалось проникнуть в ограбленную квартиру, они не нашли в ней ничего, кромѣ лежавшей на полу, среди мусора, старой тетрадки, которую подобрали, чтобы передать мнѣ, когда мы увидимся — если увидимся. Это был дневник моего отца, единственная, чудом сохранившаяся семейная реликвія. Вы видите, как судьба, порывая крѣпчайшія связи, не стѣсняясь никакими кощунствами, заботливо или насмѣшливо сохраняет нам щелочку для дыханія, предлагая в личной жизни продлить историческое бытіе. Со мной нѣтъ этой тетрадки, но она меня ждет и не

позволяет мнѣ сказать, что прошлаго не было и что жизнь зародилась в этом крестьянском домицѣ, в окна котораго настойчиво заглядывает французское солнце. Я подчиняюсь и продолжаю писать повѣсть долгих лѣтъ.

Если гдѣ-нибудь уцѣлѣла хоть часть моего жизненнаго барахла — в каких-нибудь важных учрежденіях политическаго сыска, да будут они всѣ прокляты вмѣстѣ с их изобрѣтателями, — то среди вещей, вещиц и бумаг могла бы оказаться фотографія молодого человѣка, худого, долговолосаго, в платѣ с чужого плеча. Он сидит в саду, в плетеном креслѣ, и направленный на него об'ектив аппарата нипочем не уловит его душевнаго состоянія. Это я, вышедшій только что из московской Таганской тюрьмы и скрывшійся на дачѣ у знакомых — лишь на два дня. Меня выпустил под залог слѣдователь, свидѣтели котораго отказались меня признать, но узнать о моей свободѣ могут жандармы, уже приговорившіе меня к ссылкѣ в Сибирь. Русскія учрежденія по подавленію личности были сложны и работали не всегда дружно; вѣроятно сейчас эта часть поставлена болѣе образцово в новом царствѣ свободы. Во всяком случаѣ завтра я пушусь в дорогу, остриженный и выбритый, и мой путь, с кратким перерывом, продолжится сорок лѣтъ.

Только тот знает, что такое свобода, кто знает также, что такое тюрьма, что такое полметра кирпичной стѣны, отдѣляющей от вольнаго воздуха. Хлопанье тяжелой, обитой желѣзом дубовой двери и поворот ключа. Равнодушіе выдавшего вилы тюремнаго сторожа. Ломкость ногтей, царапающих стѣну. Безсиліе ненависти, — а вѣдь мы проповѣдовали любовь всѣх ко всѣм! Керосиновая лампа в клѣткѣ под потолком, сестра-узница. Мука бездѣйствія. Прислушиваясь — слышишь тишину, кажущуюся стоном. А может все это только кажется? Закрыв глаза — ждешь чудеснаго прозрѣнія, открыв — видишь тѣ же стѣны с небрежно забѣленными известью надписями предшественников. Но одна ускользнула от вниманія — на оборотѣ деревяннаго табурета: «На волѣ я друзья очень был мало, жизнь проклятая заѣла». Писал, должно быть, вор-рецидивист.

В высокое окно заглядывает голубизна отнятого неба; в продланную в двери дырочку, откинув вѣшную заслонку, смотрит глаз надзирателя — не повѣсился ли заключенный. В список проклятій молодой юрист вносит: закон — произвол — суд — право — насиліе — государство, все в одну рубрику, без раздѣлов и оттѣнков. Сумасшедшіе люди, во что превратили вы жизнь, такую радость, такое благо! Сжати виски, чтобы самому не сойти с ума. Вот так звѣри в зоологическом саду мѣряют шагами пол клѣтки, механически заносят ногу при поворотах, всякій раз ступая на свой прежній слѣд. Это мои братья — и вор-рецидивист, и пантера, и мартышка, и канарейка. Отчего же сюда не приводят дѣтей — показатим их будущее? Как то я увидал в парижской газетѣ фотографію слона, убившаго сторожа звѣринца; я вырѣзал его портрет и хранил с любовью, хотя в то время уже много лѣтъ прожил без рѣшетки. За яд, который вы влили в мою кровь, — и уже нельзя ее очистить, я всю жизнь старался это слѣлать! — за этот яд я высѣкаю на камнѣ, выжигаю на дубовой доскѣ, отливаю в свинцовыя буквы свой список проклятій, с тѣх дней до предѣлов маленькой человѣческой вѣчности. У меня нѣтъ слов, или, наоборот, я боюсь ими захлебнуться. И если бы моего палача посадили под замок, — я сорвал бы замок и с его двери.

Безсильны мои строки, мои выкрики. Старый писатель, я отлично знаю, что лишь спокойными, взвѣшенными, можетъ быть разсчетливо злыми и ядовитыми словами можно передать свои негодующія мысли; крик раинт только дѣтей и женщин. Но я пишу не произведение — я пишу жизнь. И мнѣ трудно обойтись без отступленій. Насколько легче писать о других, шить платья на марионеток, ниточками которых нграют пальцы!

Дальше — только пятна памяти. Я в сѣром пальто и сѣрой, на лоб надвинутой кепкѣ, в своем тщательном маскарадѣ больше всего похожій на человѣка, который своим таинственным видом хочет привлечь вниманіе, то есть хочет того, чего меньше всего хотѣл бы. В Петербургѣ с вокзала прямо на

финляндскій пароход. Со мной нѣтъ никакихъ вещей; впрочемъ у меня вообще ничего нѣтъ, потому что мое прошлое зачеркнуто, а за время моего пребыванія въ тюремѣ все, что не было украдено полиціей, украдено дочиста, до послѣдней нитки, другими профессиональными ворами. И на этихъ послѣднихъ я не обиженъ: они — мои братья по тюремѣ, и отъ нихъ я отличался только гражданской одеждой и одиночной камерой. Я родился въ серединѣ великаго пути, который проложенъ черезъ всю Россію въ восточную Сибирь; служилъ раньше, служитъ и по сейчасъ. Черезъ мой родной городъ гнали пѣшкомъ арестантовъ, доставленныхъ по рѣкѣ на баркахъ. Такъ и говорилось: «гнали»; говорятъ такъ про скотъ и про людей необычной, бунтующей волн. Арестантскія пѣсни были у насъ въ почетѣ. Вообще мы, русскіе, странные люди. Когда на европейской улицѣ ловятъ преступника, обыватели въ этомъ помогаютъ; у насъ радовались и помогали любому побѣгу. Наши сибирскіе крестьяне называли арестантовъ «несчастненькими», купцы и богомольныя старушки посылали въ тюрьму чай, сахаръ и калачи. Въ Парижѣ я долго жилъ близъ тюрьмы Сантэ, и никогда, проходя мимо нея, не упустилъ подумать: какъ было бы хорошо взорвать эту высокую ограду и посмотреть, какъ во всѣ стороны разбѣгутся заключенные! Среди нихъ не мало негодяевъ, хотя, конечно, не больше, чѣмъ среди тѣхъ, кто ихъ лишили свободы. Я охотно спряталъ бы у себя бѣжавшаго изъ тюрьмы бандита. Послѣ онъ, вѣроятно, обобралъ бы меня, можетъ быть прирѣзалъ; но, конечно, не это можетъ меня остановить. Вамъ такія слова покажутся назойливо-дерзкими, такія мысли парадоксальными; но отъ васъ, защитниковъ принципа свободы личности, я отличаюсь только послѣдовательностью и откровенностью.

На пароходѣ я притворился иностранцемъ, вѣрнѣе — нѣмымъ. Перегонъ былъ не великъ, и въ Гельсингфорсѣ я былъ по настоящему свободенъ. Еще просыпался ночью при малѣйшемъ шорохѣ: мнѣ казалось, что сейчасъ загремитъ ключъ въ замкѣ тяжелой двери, или дежурный уголовный арестантъ откинетъ въ этой двери форточку и весело крикнетъ «кипятокъ». Но утромъ гулялъ по Эспланадѣ и любовался румянцемъ и сытымъ

видом финнов и шведов. В порту пахло рыбой и іодом. Если бы не застѣнчивость, я вспрыгнулъ бы на уличную тумбу и, взметнув руками, закричал: «сейчас улечу — я свободен!» Я был почти в Европѣ; и Европа казалась мнѣ... я еще совѣм не знал Европы. Я только что родился. Финляндія — прекрасная дѣвушка, у которой двуглавый орел хочет вырвать книгу ея законов; эта картина висѣла в моем адвокатском кабинетѣ. И вот я в Финляндіи.

У меня нѣтъ при себѣ не только любимых старых вещей, книг, материнскаго портрета и дешеваго, стоимостью в одно су, купленнаго на базарѣ колечка, которым мы, шутя и серьезно, обручились с моей будущей женой, — у меня не осталось даже образов жизни, не использованных вразброс по моим книгам и очеркам. Все, что я сейчас пишу, мнѣ кажется уже рассказанным когда-то, по какому то случайному поводу, — мы так неразсчетливы, бѣдные трудовые писатели. Какойнибудь придуманный человек на страницах моей книги навѣрное смотрѣлся в спокойную воду у берегов финскаго залива, жил на островкѣ финляндских шхер, дышал воздухом, напоенным хвоей и, торопливо раздѣвшнсь, бросался вниз головой с вылизаннаго временем и волной камня в полусоленую воду, чтобы побыть нѣкоторое время в славном обществѣ щук, карасей, корюшек и салакушек. Не без удивленія он спрашивал почтенную хозяйку, для чего она привѣшнвает свѣтлую шерстинку к всячей люстрѣ и почему так часто ее мѣняет, — и проникался уваженіем к чистоплотности отмѣннаго народа, узнав, что это — скромная уборная для мух, любящих садиться снизу на всячіе предметы. Может быть, я даже рассказал гдѣнибудь, как по улицам финской столицы бродили русскіе сыщики, принюхиваясь, не пахнет ли в какомнибудь под'ѣздѣ дома динамитом, который в спальных подушечках или под корсетом провозили в Петербург революціонныя дѣвушки, одѣтыя свѣтскими дамами, заставляя дрожать министров и обитателей Зимняго дворца. Мы жили в Финляндіи не долго, меньше года, и я не успѣлъ обростн

вещами, — помѣшала бѣдность и мечта о скором возвратѣ в коренную Россію. Но вышло иначе, и однажды пришлось торопливо собраться и погрузиться на пароход, отплывавшій к берегам срединной Европы; Финляндія лишь в слабой степени пользовалась автономіей управленія, и положеніе русских политических бѣглецов не было в ней прочным.

Европа именуется великой страной, но для нас, привыкших к пространствам, она лишь маленькій мірок, правда — тѣсно заселенный и насыщенный историческими словечками. Она суетлива, буржуазна, домовита и считает минуты за время, — мы швыряемся часами и днями, не придавая им цѣнности. Она утонула в предметах собственности, которыми каждый в ней дорожит почти так же, как жизнью, — нам, голым героям, это казалось смѣшным. Но она, тогдашняя (уже давно нѣтъ той Европы) очаровывала нас свободой, какой мы никогда не знали, ненужностью паспортов, возможностью громко высказывать свои мысли и, неперекрестясь, перешагивать границы. Мелькнула Данія, затормозился поѣзд на франкфуртском вокзалѣ — и вот бѣлым корабликом заколебался лебедь на женевском озерѣ. В калейдоскопѣ прыгали и пересыпались разноцвѣтныя стеклышки. Это и есть Монблан? Какое нагроможденіе прекрасных бездѣлушек на нашем пути! Еще так недавно я проводил по пять суток в вагонѣ, чтобы навѣстить свою мать в дни университетских каникул; здѣсь в сутки мы пересѣкали нѣсколько государств. Мы обращали на себя вниманіе и внѣшним видом и громким говором; это так естественно: возвышать голос в Кіевѣ, чтобы слышно было в Москвѣ и чтобы откликнулись в Иркутскѣ и Владивостокѣ. Мы не привыкли к миниатюрам. Я живу в Европѣ тридцать лѣтъ, ея масштабы давно мнѣ знакомы, — но до сих пор иногда ощущаю себя слоном в игрушечной лавкѣ. Франція, напримѣр, очень почтенная страна, но все же она меньше губерніи, в которой я родился. Я пишу это, конечно, не без гордости. Я не дружу с правительством нынѣшней Россіи, как не дружил с правителями царской, как не свел бы дружбы и с «временным», если бы оно обратилось в постоянное. Но на

карту Евразіи я очень любил смотрѣть, вымѣряя пальцами какую нибудь горделивую страну, и пытаюсь впихнуть ее в уѣзд пермской губерніи, который на лошадях, дважды в год, об'ѣзжал мой отец по своим судейским дѣлам, прихватив служащаго и мѣшок с мороженными пельменями. Что скрывать, — російское «мы-ста» во мнѣ живет прочно. Вот добраться бы хоть сейчас до границы, да кувырком через голову прокатиться «от финских хладных скал до пламенной Колхиды», легонько зашибив свой хребет об Уральскій. Громадна наша страна, и я понимаю тѣх европейцев, которые называют Сибирь русской колоніей: им завидно; а Сибирь самая подлинная Россія, ее не оторвешь. И мы — люди большого роста, крѣпкіе и здоровые, равно привыкшіе к жарѣ и морозу. Если бы Россія не была из вѣка в вѣк деревянной и горючей, она задавила бы мір архитектурой и исторіей, как давит и смущает литературой и музыкой. Но ея настоящая исторія вся впереди, и старым я хвастаю только так, для сведенія счетов с мурашками, называющими нас «нежелательными иностранцами»; я не сержусь на этих мурашей, зная, что они все равно мнѣ поклонятся, а я, по природному нашему великодушію, протяну им не два пальца, а всю пятерню, — мы народ отходчивый.

Я люблю в Европѣ сѣверян. Мы родня. Возможно, что есть во мнѣ и татарин, но во всяком случаѣ есть варяг. Мы пропахли смолой, мы одинаково молимся и лѣшему и водяному. Князья и викинги, мы равно землепашцы, охотники, рыболовы, люди простые, без дурацких феодальных замашек, без киченья голубыми кровями, без поклоненія гербам — природные демократы. Только мы знаем, что такое весна; и журченьем ручьев, стрекотом мушьях и жучьих крылышек озвучена и наша, и скандинавская литература. Из сердец наших — ударь кинжалом — брызнет кровь, а не нѣмецкое пиво, не французскій сидр, и не патока с примѣсью курортных вод. Думаю, что на этом можно и закончить восторженное бахвальство.

Оно нѣсколько отвлекло меня от картины бѣгушей ленты

кинематографа. Снѣга Савойи. Сэн-готарскій тунель. Поѣзд вылетает на вольный воздух и катится под гору, прямо от зимы на лѣто. Теплая ночь в отелѣ, — от мельканья чужих пейзажей и усталости голова плохо соображает. Но на утро в распахнутое окно врывается столько солнца, сколько может его умѣститься в сознаниі, и я впервые в жизни вижу апельсин не в магазинном ящикѣ, а на вѣткѣ. Это — Нерви, итальянскій прибрежный городок, позже мнѣ отошнѣвшій. В полдень мѣстный поѣзд увозит нас в другое мѣстечко на той же Ривьерѣ, гдѣ уже снята вилла для небольшой компаніи русских бѣглецов.

Я не Бедекер, чтобы отмѣчать звѣздочками мѣста, гдѣ жил и был, да и звѣздочек, пожалуй, не хватит на моем закатном небѣ. Италиі, роману моей молодости, я посвятил и книги, и осколки книг, все это укатилось в прошлое, и Италиа теперь не та, даже имя ея звучит по иному. Черноглазая дѣвушка захотѣла стать синьорой, а я любил именно черноглазую дѣвушки, любовью сѣверяннина, пригрѣтаго чужим солнцем. Спасибо, дорогая, за десять лѣт ласковой дружбы. Я понимаю, что нельзя вѣчно оставаться цвѣточницей на Испанской лѣстницѣ или плясать тарантеллу. Та дѣвушка с затибрской стороны Рима, работница табачной фабрики, получившая приз за красоту — за дѣйствительную, непобѣдимую, всепокоряющую красоту, — тоже впоследствии вышла замуж за европейскаго комнссіонера, представителя фирмы моторов. Все это меня мало касается, и моя любовь была платонической, может быть даже простой благодарностью. В ватиканском музеѣ есть жертвенник рождающейся Венеры, — я его называю по своему, — и руки прислужниц помогают богинѣ покинуть морскую пѣну. Выйдя, она надѣнет современный костюм и будет принимать в своем салонѣ дипломатов и изобрѣтателей патентованных государственных систем. Мнѣ то что за дѣло! Я видал таких людей сотнями; они продаются в лавочках всемірной исторіи. Но Венеру, с живого мрамора которой нѣжной тканью сбѣгает вода, я не общал забыть, — о, gioventù, primavera della vita! Среди двух-

рядных перлов блеснул золотой зуб... Раскланиваюсь издали и отхожу, потому что у нас есть свой собственный истукан и, по совѣсти говоря, азіаты умѣют чище оттяпывать головы тѣм, кто им не по вкусу.

Не мало горечи в моих словах. *Amor che a nullo amato amar perdona...* Но времена поэзіи прошли. Три этажа дантовской поэмы уже соединены под'емной машиной, и мальчик, одѣтый в черную рубашку с галстуком, выкрикивает: *Il purgatorio, avanti chi scende!* Я выхожу, не дожидаясь обѣщаннаго рая, куда уже поднялось достаточно европейских народов.

Уклоняюсь от соблазна писать исторію виллы «Марія» на средиземном побережьи, чтобы не обратить моей повѣсти в усердную хронику. Но в памяти жив скат к морю обширнаго сада, запущеннаго, разросшагося, в котором пестрѣли цвѣты и наливались плоды без ухода, по волѣ; часть сада нависла над отверстием желѣзнодорожнаго туннеля, откуда с внезапным грохотом и лязгом вырывались поѣзда и снова проваливались в тишину. Сад кончался голыми скалами, по которым шла вниз тропинка к небольшому заливу, нашему собственному, отовсюду закрытому. Пляжа не было — в голубую воду глядѣлись глыбы сѣраго, остраго плитняка, онѣ же снѣли под водой и жались к берегу. В бурю заливчик обращался в кипящую кастрюлю, вода выбрасывалась на большую высоту, и соленая пыль через весь сад залетала в наши окна. Лѣтом мы купались трижды в день, были среди нас охотники и до зимняго купанья. Всѣ мы были работниками, писали статьи и книги для російских издательств, жили скромной коммуной, дивили итальянцев количеством выкуриваемых папирос и получаемых и отправляемых писем. В десяти комнатах смѣнялись проѣзжіе гости, преимущественно бѣглецы, иногда из сибирской каторги. У меня было особое пристанище, заброшенная домашняя капелла с каменной Мадонной на престолѣ, служившем мнѣ складом книг и рукописей. В раковинѣ при входѣ, в водѣ не благословенной,

зеленѣли «волосы Венеры», кудрявая травка, обильно росшая в нишѣ подземнаго ручейка, вытекавшаго из сада. Здѣсь я проводил лѣтом ночи за работой до утреннего общаго купанья, здѣсь же в полутьмѣ и прохладѣ отсыпался днем. У каждого были свои привычки и свой образ жизни, но полуночниками мы были всѣ, и нерѣдко, под утро, собирались в нашей обширной кухнѣ и устраивали «макаронаты» с фьяской краснаго вина. Общей болѣзнью была ностальгія, но мы старались быть бодрыми и щедрыми на шутки. Коммуну возглавлял старшій из нас по возрасту, извѣстный экономист, заботливо находившій нам работу, человекъ одинокій и большой труженик, подобно нам — выброшенный за борт русской жизни. Из Россіи получались невеселыя письма, убивавшія в нас надежду на скорый возврат. Это было время «огарков», когда русская молодежь, отойдя от революціи, бросилась прожигать жизнь в пьяном наркотическом угарѣ, в половых опытах, в кружках самоубійц; эта жизнь отражалась и в литературѣ. Когда вѣсти были слишком безнадежными, можно было выйти ночью в сад, лечь навзничь на ступенях или на доскѣ садоваго стола и смотрѣть на чужое звѣздное небо. В день жаркій я выбирал в саду разросшееся фиговое дерево, устраивался удобно и покойно среди его вѣтвей, ѣл накаленные солнцем, сочившіяся сахаром фиги и дремал. На высоком обрывѣ через мою голову пролетѣл вниз человекъ; я вскрикнул и увидал, как он уцѣпился руками за выступ площадки и, смѣясь, повернул ко мнѣ скуластое лицо; он хотѣл испугать меня, но не рассчитал прыжка; он был отцом двоих дѣтей и видным литературным и партійным работником. Другой спустился к заливу в сильный прибой и рѣшил выкупаться в пѣнѣ; волна прокатила его по острым камням, окрасилась его кровью и выбросила его на уступ, гдѣ в спокойные дни выпаривалась соль из стоялой морской воды; недѣли через три он снова мог купаться. Мнѣ захотѣлось подняться в сад от самаго моря по крутому отвѣсу метров в тридцать высоты. Было жутко, но занятно попытать судьбу. На серединѣ подлѣма посыпались камни и мои ноги повисли в воздухѣ; одна

рука еще цѣплялась крѣпко за камень, другая искала опоры выше. Если испугаться, то погибнешь. Затѣм камень, за который я держался, стал уступать и медленно отдѣляться от земли; в то же время нога нащупала новую опору. Я не велѣл ногам дрожать, потому что тогда хотѣл жить. Я спасся и наверху долго лежал на травѣ. Мы шутили с морем, со скалами, с жизнью. У одного из наших гостей пришлось отобрать револьвер, но ему вернули, когда он обѣщал не порочить нашей мирной виллы. Было ясно, что дальше так жить нельзя, что нас не спасет работа, и мы рѣшили раз'ѣхаться, часть в недалнее мѣстечко, часть в Париж, часть тайно в Россію. Молодой астроном, долго жившій с нами, талантливый человек, нѣжный поэт, полиглот и красавец, простился первым. Через Париж он уѣхал в Петербург с паспортом итальянца. Он выдержал стиль, и я получил от него письмо, написанное накануне казни, лишь в одну строчку: «Saluti dall'altrove!»

В какой то день я взбирался по крутой лѣстницѣ на пятый этаж дома, населеннаго мелкими чиновниками и рабочими в Римѣ, против ватиканской стѣны. Синьора Эрнеста и синьор Карло, у которых я снял комнату, оказались привѣтливыми хозяевами, их слуга и друг Серафино стал моим другом и слугой. Из окон комнаты еще были видны пустыри Prati di Castello, теперь давно уже застроенные. Я был к тому времени одинок в Римѣ и в мірѣ. На мнѣ был легкомысленный сѣрый лѣтній костюмчик, купленный в Генуѣ на базарѣ за шесть франков, — была зима. Багаж состоял из чемодана с бѣльем и пишушей машинки, сохранившейся с адвокатских времен. Для моих хозяев я был «sog avvocato», для самага себя — писателем, не написавшим ничего путнаго, но готовым начать карьеру. Пока я жил газетными статьями, которыя посылал в Москву. На моем литературном счету было нѣсколько изданных книженок, не стоящих памяти, и влечение к перу, сказавшееся еще на гимназической скамьѣ. Мнѣ было ровно тридцать лѣт: еще вполне мыслимое начало новой жизни.

И новая жизнь началась.

М. А. Осоргин.

(Продолженіе слѣдует)

НЕ МИР, НО МЕЧ! *)

Послѣднія пополненія 1916 года в нашем сибирском полку состояли из сорокалѣтних людей. Большинство из них были степенные, бородатые крестьяне, недавно мобилизованные, с очень слабой военной тренировкой. Они ходили развалистой походкой, честь отдавали смѣшно, закидывая назад головы и выставяя вперед животы. В них с особенной силой проявлялась дѣтская довѣрчивость ко всему, что они видѣли или слышали от фронтовых солдат. В первые дни, входя в окопы, они с испуганным видом снимали папахи и крестились, но быстро оставляли эти старыя привычки, видя, что фронтовики этого не дѣлают. Старые фронтовые солдаты были не менѣе их религіозны, но их обращеніе к Богу было менѣе показным. За то во время богослуженія, когда полковой священник, отец Марк, выходил с крестом на походный амвон, всѣ — новички и фронтовики — опускались на колѣни, крестились и клали земные поклоны.

В массовом колѣнопреклоненіи, в глазах, обращенных к кресту, меня поражала общая внутренняя мольба, робкая просьба о пощадѣ, о прошеніи...

На фронтѣ мнѣ рѣдко приходилось встрѣчать солдат, которые были бы не религіозны. Были скорѣе равнодушные к церковным обрядам, но атеистами их назвать было нельзя.

Образцом глубокой внутренней религіозности был для меня солдат Мирон. Он молился утром и вечером и не пропускал ни одного богослуженія отца Марка, когда мы возвращались в резерв. Я не знал, о чем он молился, о чем просил Бога, но замѣчал в его глазах и лицѣ особое спокойствіе, мягкость и удовлетворенность, послѣ молитвы.

*) Отрывок из книги «They that take the sword». По русски печатается впервые.

Мирон был близок мнѣ по его преданности, дружбѣ, и мнѣ импонировали его природный ум и честность.

Однажды я спросил его:

— Хорошо быть вѣрующим в Бога, Мирон? Правда?

— Хорошо, Ваше Благородіе. Помолишься Богу и на душѣ дѣлается легче, — просто и серьезно отвѣтил он.

— Неужели всѣ солдаты, как и ты, вѣрующіе?

Мирон на момент задумался, но потом убѣжденно отвѣтил:

— Доподлинно этого знать не могу, но думаю, что всѣ. Если есть отчаянные, которые говорят, что не вѣрят ни в Бога ни в черта — так это больше от озорства и со страха. Мнѣ думается, в бѣдѣ народу не на кого надѣяться, кромѣ Бога.

Допускаю, что Мирон ошибался в своем утвержденіи, что всѣ солдаты вѣрующіе, но я не встрѣчал на фронтѣ богохульников. А может быть это было потому, что наш полк был в исключительном положеніи. Мы имѣли священника необыкновенных нравственных качеств, к которому солдаты шли со всякой просьбой, котораго любили, которым гордились, как гордятся люди чѣм нибудь особенно хорошим.

Солдаты называли его не просто, как обычно зовут в народѣ «батюшка», но «наш батюшка».

Отец Марк до войны был протоіереем в одной из церквей в предмѣстьѣ города Томска. В первый же год войны он стал хлопотать, чтобы ему позволили перевестись в армию и раздѣлить вмѣстѣ с ней военную страду. Я много раз встрѣчал его в окопах, утѣшающим раненых, или на колѣнях читающим отходныя молитвы над убитыми. И то, что он не обращал никакого вниманія на опасность — вызывало в солдатах чувство восхищенія и преклоненія перед ним. Скажу без преувеличенія, что он был гордостью нашего полка. Я часто, при встрѣчѣ с ним, с любопытством присматривался к этому человеку в черном подрясникѣ, но у меня не было ни времени, ни желанія узнать его поближе. Долгое пребываніе в революціонных кругах, в которых духовныя лица отождествлялись с властью имущими, создало во мнѣ чувство отчужденія от

них и от церкви. Благодаря религиозному воспитанию, полученному в дѣтствѣ от матери, я сохранил религиозную терпимость и уваженіе к отдѣльным представителям церкви, но и не больше. К духовенству, как классу, я относился недоброжелательно еще и потому, что обвинял его в отлученіи от церкви одного из лучших христіан, любимаго мною писателя — Льва Николаевича Толстого. В какой-то степени эту вину я переносил и на отца Марка.

Только постоянные рассказы Мирона о добром батюшкѣ, любовь к нему солдат, почтительные отзывы о нем всѣх, кто его знал, настраивали меня в его пользу — и ломали лед. По обязанности, я должен был присутствовать на нѣкоторых богослуженіях со своими солдатами и, к моему удивленію, нисколько этим не тяготился. Мнѣ нравилась в отцѣ Маркѣ его наружность аскета и голос. Сѣдой, высокаго роста, нѣсколько сутуловатый, он во время богослуженія преображался — становился выше, глаза загорались вдохновенным, ласковым свѣтом и голос трогательно повторял общую просьбу — «Еще молимся о мирѣ всего міра». Мы всѣ при этом опускались на колѣни. Его голос был особенно хорош — мягкій, за душу хватающій тенор. В его пѣніи молитвы звучали глубокой вѣрой, часто вырывались из груди, как стон, слова казались мудрыми и очищающими душу от злых помыслов и грѣхов.

Невыразимо хорош бывал отец Марк во время служб о поминовеніи усопших, павших на полѣ брани. Слова о мертвых дышали скорбной теплотой и сплетались с робкой просьбой утѣшенія для нас, оставшихся в живых. Я всегда любил грустное пѣніе похоронных молитв, но никогда онѣ не потрясали меня так, как на фронтѣ, когда отец Марк, один, без хора, вдохновенно пѣл — Упокой, Господи, души усопших рабов твоих...» И в его голосѣ и в словах звучала тоска, признаніе нашего ничтожества, смиреніе и просьба к Тому, кто непостижим для нас смертных. В эти моменты меня не удивляла задумчивость и напряженность молитвенных настроеній на лицах солдат, когда они, широко крестясь, опускались на

колѣни при пѣніи — «О послѣднем надгробном рыданіи, о том мірѣ, гдѣ нѣтъ болѣзней, печали, въздыханія, но жизнь безконечная» — и как апофеоз всего — «Вѣчная память! Вѣчная память!». Я поддавался общему настроенію, но об'яснял это красотой церковной мистеріи и артистическим выполненіем ея — отцом Марком. Сознаюсь, восхищаясь священником, я не искалъ с ним не только дружбы, как с другими сослуживцами по полку, но даже близкаго знакомства. Этому мѣшало ложное сознаніе моего духовнаго превосходства перед «попом», хотя бы и хорошим, и непоколебимое убѣжденіе, что всѣ, кто учит смиренію и кротости — воспитывают рабов, готовых все простить и всему покориться. В моей душѣ того времени глубоко и прочно сидѣлъ революціонный лозунг — «В борьбѣ обрѣтешь ты право свое».

И только печальный случай помог мнѣ оцѣнить истинно христіанскія качества отца Марка, раскрылъ передо мной простоту и величіе души этого сибирскаго священника и удостоил меня его дружбой.

Виды человѣческаго горя многообразны. Человѣкъ горюет, когда он или его близкіе болѣют, когда он гоним, раззорен или обманут. Самое же страшное горе, когда он теряет навсегда близкое ему существо и знает, что ушедшаго ему никто и никогда не замѣнит. Судьба всѣх смертных — имѣть эти потери, но не дай Боже, если они с роковой послѣдовательностью обрушиваются на одного человѣка, словно избрав его своей жертвой. Тогда, как бы крѣпок и силен духом ни был человѣкъ, горе поражает его до невыносимой физической боли и душевнаго отчаянія.

Такой жертвой был наш командир — полковник Громов.

Мы всѣ знали, что он потерялъ старшаго сына в боях в Восточной Пруссіи, средняго под Варшавой, и послѣдній, младшій, совѣм юный, только что выпушенный из кадетскаго корпуса, был тяжело ранен на Румынском фронтѣ и скончался послѣ операціи.

Удары были страшны своей неумолимой послѣдователь-

ностью и нельзя было не удивляться выдержкѣ и стойкости старика полковника. Многіе из нас знали, что послѣдніе два мѣсяца он переживал сильное безпокойство за жену; удрученная смертью послѣдняго сына, она серьезно заболѣла. Письма и телеграммы, которые он получал из Иркутска от невѣстки, жены старшаго сына, были, повидимому, неутѣшительны. В эти дни нам трудно было узнать в нем обычнаго сильнаго тѣлом и духом командира. Углубленный в свои мысли и тревоги, он часто не слышал обращенных к нему вопросов и не понимал, чего хотят от него люди. Всѣ, кто знал его душевное состояніе, старались оградить его, дать ему покой, но в стремленіи убить в себѣ душевную боль он моментами проявлял лихорадочную дѣятельность и пытался вникать в самыя мельчайшія нужды полка. Начальник штаба неоднократно старался убѣдить его взять отпуск, поѣхать домой в Иркутск и отдохнуть, но он недовольно отмахивался и сердито говорил:

— Как вы можете говорить мнѣ об отпускѣ, когда мы должны готовиться к рѣшительным боям. Я здоров. Закончим войну и тогда получу другой, безсрочный отпуск... Довольно небо коптить. Вот только молю Бога, чтобы старуха не подвела, не ушла вперед меня.

И то, чего он боялся, — случилось. Мать не могла пережить потери сыновей. Он получил телеграмму об ея кончинѣ. Извѣстіе было той соломинкой, которая, согласно преданію, перебила хребет выносливаго верблюда.

Полковник лежал у себя в землянкѣ безучастный ко всему. Обезпокоенный его состояніем начальник штаба вызвал главнаго врача Болотова, но тот, осмотрѣвъ полковника, безпомощно развел руками, и сказал: — «Против душевной подавленности лекарств нѣт. Проявите к нему вниманіе и заботу».

Затишье на фронтѣ дало возможность начальнику штаба оградить убитаго горем командира от управленія полком и перед всѣми офицерами встал вопрос — что сдѣлать, чтобы вывести его из угнетеннаго состоянія?

По их просьбѣ, я должен был пойти к нему и выразить общее сочувствіе.

С командиром у меня были на рѣдкость дружескія отношенія и мнѣ были всегда пріятны встрѣчи с ним, но теперь я жалѣл, что согласился выполнить печальное порученіе. Я не представлял, что могу сказать и как утѣшить его. С непонятной тревогой и волненіем подходил я к землянкѣ командира, гдѣ он жил с преданным ему денщиком Герасимом.

Был вечер. В небольшой комнатѣ землянки, освѣщенной керосиновой лампой, было душно и тихо. На столѣ в беспорядкѣ лежали книги и бумаги. На стѣнах были развѣшаны карты фронта, утыканныя булавками с синими и красными головками — красныя изображали нашу линію, а синія непріятельскую. Полковник лежал на койкѣ, закинув назад руки. В первый момент мнѣ показалось, что он спит и я робко остановился у порога, не зная что дѣлать — уйти или обождать. В нерѣшительности простояв минуту или двѣ, я слегка кашлянул. Он повернул ко мнѣ голову. Мнѣ стало жутко при видѣ его восковаго лица и страдальческаго выраженія в глазах. Всѣ слова, которыя я хотѣл сказать ему, вылетѣли у меня из головы. Растерянный и подавленный его видом, я молча смотрѣл на него, пока он сам, до неузнаваемости слабым голосом, не сказал:

— Спасибо за посѣщеніе, поручик Кусков. Я понимаю ваши чувства. Садитесь, пожалуйста, и ничего не говорите. Не надо.

В слабой рукѣ, протянутой мнѣ для рукопожатія, и словах выражалась просьба не нарушать его состоянія и горьких дум. Я молча пожал его руку, посидѣл нѣсколько минут у его койки и, когда он снова закрыл глаза, потихоньку вышел из землянки.

Все валилось у меня из рук, послѣ посѣщенія командира. Преслѣдовали тяжелыя мысли о его несчастьѣ и воображеніе рисовало картины безчисленных жертв, таких же, как он, отдавших спасенію отечества все самое дорогое, что они имѣли.

Мирон, знавшій о бѣдѣ командира полка, и видя по моему разстроенному лицу, как это волнует меня, посовѣтовал мнѣ попросить пойти к полковнику Громову отца Марка.

— Никто ему не поможет, никакой доктор или друг, а только наш батюшка. Поговорит он с ним и болѣзнь, как рукой снимет. Повѣрьте мнѣ, Ваше Благородіе! — упрасивал он меня.

Не знаю почему, но я повѣрил Мирону, пошел к начальнику штаба, рассказал ему о своем неудачном визитѣ и предложил вызвать к командиру полка отца Марка. Все это я сдѣлал больше для личнаго спокойствія, чѣм от сознанія необходимости, не имѣя особой вѣры, что священник может помочь убитому горем человѣку.

Нн слѣдующій день, послѣ суточного дежурства в окопах, я получил приглашеніе командира полка придти к нему. С меньшей тревогой в сердцѣ, чѣм в предыдущій визит, я подходил к его землянкѣ. В темнотѣ ночи привѣтливо свѣтил огонек в окнѣ землянки и были слышны голоса. Это ободрило меня. Герасим, открывшій мнѣ дверь, смотрѣл повеселѣвшим и, наклонившись к моему уху, прошептал: «У нас все, слава Богу, хорошо. Вас ждут. Там отец Марк. Они чай пьют.»

При моем появленіи полковник оживленно крикнул:

— Вот хорошо, что вы быстро пришли, поручик Кусков. Садитесь с нами пить чай. Что нѣмцы не беспокоили? Нѣтъ? Это хорошо.

Слыша его бодрый голос, я с трудом вѣрил, что это был тот самый человѣкъ, котораго сутки тому назад я видѣл безпомощно лежащим на койкѣ.

Я с удивленіем и смущеніем смотрѣл то на него, то на привѣтливо глядѣвшаго на меня священника. Полковник замѣтил мое состояніе и, указывая на отца Марка, возбужденным голосом сказал:

— Удивлены, что я бодр? Да? Скажите спасибо нашему батюшкѣ. Он пришел и помог мнѣ преодолѣть... горе.

При послѣдних словах полковника, священник застѣнчиво улыбнулся и скромно произнес: «Никакой моей заслуги в

этом нѣт. Господь — наша крѣпость и упованіе. Его воля над всѣми нами, Он не оставит нас в несчастьях наших».

В голосѣ отца Марка мнѣ послышались знакомыя нотки смиренія, слышанныя мною в дѣтствѣ от матери, с которыми я не в силах был примириться. Это противорѣчило всему складу моей мысли, но, смотря на оживленное лицо командира, я не мог не признать факта благодѣтельнаго вліянія на него этого священника.

Когда отец Марк ушел, я не в силах был сдерживать своей внутренней радости по поводу бодрого состоянія полковника и с любопытством спросил:

— Кто совершил такое чудо? Неужели священник?

Полковник задумался на момент, потом внимательно посмотрѣл на меня и, вмѣсто отвѣта, сам спросил:

— Скажите, поручик, вы религіозный человек или нѣт?

Удивленный его вопросом, я смутился, но искренно отвѣтил:

— Думаю, что да, полковник. Религіозный не в том, конечно, смыслѣ, чтобы находить утѣшеніе в хожденіи в церковь или соблюденіи церковных обрядов, но в душѣ. Религіозность во мнѣ, как глубоко нравственная сила, привита с дѣтства матерью, а позднѣе чтеніем Евангелія...

— Вот, вот, об этом я и думал спросить вас, — перебил меня полковник. — Я как раз всю жизнь был религіозно формален. Во мнѣ, как у многих из нас, было много показного, но душа была пуста. Евангеліе я слышал только в церкви, но не старался даже вслушиваться, что там читают. В церковь ходил, как повинность отбывал. В домѣ у нас хранилось Евангеліе — это своего рода семейная рѣдкость; жена заставила меня взять Евангеліе на фронт. Помню-ли из него что-нибудь? Пожалуй ничего, кромѣ Нагорной проповѣди. Теперь, послѣ двух бесѣд с отцом Марком, мнѣ кажется эта книга необыкновенной и... пророческой. Впрочем приди ко мнѣ кто-нибудь другой, не наш батюшка, я так и остался бы глухим и слѣпым к ней, но в его толкованіи все кажется иным, глубоким. Вы

не торопитесь? Посидите со мной, пожалуйста. Герасим даст нам еще чайку, поговорим.

Меня поражало возбужденное состояніе командира, трогала искренность его слов и простота в обращеніи ко мнѣ. Он и раньше оказывал мнѣ знаки своего расположенія и вниманія, но все это облекалось в нѣкоторую формальную вѣжливость. Сейчас передо мной сидѣлъ старик в разстегнутом мундирѣ, с грустным лицом и всклокоченными сѣдыми волосами. В нем не было н тѣни формализма или начальнической снисходительности.

Герасим принес чайник. Полковник сказал ему, чтобы он шел спать, сам налил мнѣ горячаго чая и, подавая, возобновил прерванный разговор.

— Буду с вами откровенен. Мнѣ было пріятно, что вы зашли ко мнѣ вчера, но не было у меня сил говорить с вами. Горе пришибло, придавило и боялся, если вы заговорите, или я, то разревусь, как старая баба. Так видно скроен человекъ, что в нѣкоторыя минуты слабости заглушают наши традиціи, воспитаніе и волю. Я вѣдь отпрыск цѣлаго ряда поколѣній военных. Военным был мой прапрадѣдушка, прадѣдушка, дѣдушка, отец и, если я не ошибаюсь, слѣды нашей семьи теряются гдѣ-то в царствованіи императора Петра Великаго. С дѣтства привык к тому, что военному важно во всѣх случаях его жизни сохранять самообладаніе. Расплакаться мнѣ казалось так же неестественным, как явиться к командиру дивизіи или другому высшему начальнику — в разстегнутом мундирѣ. Всякіе люди были в нашей семьѣ. Прадѣдушка-генерал, помѣщик, очень крутой нравом человекъ, о котором дѣдушка отзывался не очень почтительно. Главное был жесток с крестьянами. Когда о нем так отзывался родной сын, то можете представить образ самодура помѣщика былых времен. Дѣдушка, наоборот, был добряк, жуир, любил хорошо пожить, в короткій срок спустил наслѣдство на кутежи, карты и женщин, а когда пришла нужда, выхлопотал себѣ мѣсто службы в далеком Иркутскѣ, подальше от шумнаго столичнаго свѣта. В Сибирь он пріѣхал немолодым, встрѣтился там с отдаленной родствен-

ницей ссыльнаго декабриста князя Трубецкого и женился на ней. Бабушка была на рѣдкость умной и хорошей женщиной. Она имѣла большое влияние на дѣдушку и в нашей семьѣ сохранился культ героев декабристов. У них было двое сыновей. Мой отец был младшим. Обоих сыновей дѣдушка воспитывал в кадетском корпусѣ в Петербургѣ. Оба поступили на службу в гвардію и позднѣе участвовали в Турецкой компаніи. Дядя был убит под Плевной, а отец ранен. Послѣ войны отец вернулся к родителям, женился на сибирячкѣ и остался служить в Иркутскѣ. Себя я считаю коренным сибиряком по родителям, рожденію, воспитанію и службѣ. Послѣ русско-японской войны, собирался было выйти в отставку, да не представляя, что я мог бы дѣлать внѣ военной службы. Так и своих дѣтей воспитал. Бог один разберет почему и всѣ мои дѣти пошли по военной дорожкѣ! Не лишился бы я всѣх сразу... Ах, поздно теперь думать об этом! Надѣюсь, это вас не утомляет?

— Нѣтъ, полковник, пожалуйста, продолжайте. Мнѣ очень интересно вас слушать, — отвѣтил я.

— Хорошо. Рассказываю я вам свою родословную потому, чтобы вы поняли как ограничен был наш духовный міръ и как всю жизнь мы втискивали в рамки понятій службы царю и отечеству, казармы и, скажу откровенно, гордились своим военным званіем. Успѣхов по службѣ больших никто не сдѣлал. Дѣдушка дослужился до чина полковника, а отец застрял в подполковниках. Говорят, страдали за свой либерализм, привитый бабушкой. Помню дѣдушка и отец отличались вольнодумством в сужденіях не только о монархіи, но и о религіи. Большое начальство их не любило. Одна мать в семьѣ была религіозна, но и ея религіозность не выходила за предѣлы средней прихожанки. Я был единственным ребенком, воспитался в корпусѣ и гдѣ мнѣ было познать ту вѣру, которой живут такіе люди, как отец Марк! Так я прожил жизнь — ни Богу свѣчка, ни черту кочерга. Пришла великая война, убили старшаго сына, — слава Богу, хоть внуков оставил, — потом средняго, младшій скончался от раненій...

Я стал задумываться — в чем смысл всей нашей страшной жизни? Мучительное это было для меня занятіе, да и вопрос слишком сложный для меня. Поздно, видно, стал думать. Вернулся к старым догматам: присяга императору, сознание долга перед родиной. На свои несчастья пытался смотрѣть, как на естественныя, — такова моя судьба. А вот, когда получил телеграмму, что жена... — Полковник остановился, опустил голову, задумался, как будто ему было тяжело продолжать, но справившись с волнением, снова повторил послѣднюю фразу:

— Когда получил телеграмму, что жена умерла — все спуталось в головѣ. Вѣдь всего лишился: дѣтей, женщины, которую любил всю жизнь... Что я теперь? Пень обгорѣлый у большой дороги жизни. Кому нужен? Ушли всѣ... Лежал на этой койкѣ и хотѣлось мнѣ кричать от боли, проклинать и службу, и войну, и жизнь, и Бога, как вижу: входит отец Марк. В началѣ у меня чувство неприязни к нему шевельнулось. Зачѣм, подумал, эта ворона в черной рясѣ явилась, и так тяжело, а он начнет болтать. Побѣдила привычка быть вѣжливым и корректным. Взглянул я на него, хотѣл предложить ему, как и вам, сѣсть, а он просто и ласково сказал: «Не беспокойтесь, брат мой. Лежите спокойно, а я так посижу около вас. Не говорите ничего, если вам тяжело.» Не знаю, поручик, может мнѣ это показалось, но у него такой был утомленный вид и страдальческое лицо, что у меня невольно вырвалось: «Здоровы ли вы, батюшка? Вид у вас совѣм, как у больного.» Он мнѣ грустно отвѣтил: «Тѣлом здоров, но душа скорбит. Сегодня день десятилѣтія смерти моей жены. И вот одинокій, я пришел к вам, одинокому... Вдвоем легче будет горе переживать.» Расположил он меня к себѣ своими словами и я подумал: крѣпись, старик, не у одного тебя горе. В страданіи есть свой эгоизм. Когда видишь, что страдаешь не один, становится легче. Я спросил его: «Развѣ вы совѣм одиноки и у вас нѣтъ дѣтей, батюшка?» Он отвѣтил: «как нѣтъ — есть дочка, зять, внучек. Далеко они, в Олекминскѣ, Якутской Области. Был сын, кончал в

Томскѣ медицинскій факультет, но в 1905 году был убит погромщиками. Он участвовал в студенческой самооборонѣ.» Тяжело мнѣ стало от его слов. Право, забыл я о своем горѣ, жалость меня охватила. Как ни как мои дѣти погибли в борьбѣ за родину, а у него, бѣдняги, сын пал от руки погромщиков. Молчим оба. Потом я спрашиваю: А что ваша дочка и зять в Олекминскѣ дѣлают? Он посмотрѣлъ на меня внимательно и тихо отвѣтил: «в ссылкѣ, за политическія убѣжденія сосланы. Сын был такой же, как и дочка. Хорошія дѣти, не могли спокойно смотрѣть на народныя страданія.» И горе и гордость были в его словах. Приподнялся я, протянул ему руку и сказал: «Спасибо, батюшка, что пришли ко мнѣ подѣлиться своим горем. Только никак не могу понять, как это могло случиться, что у вас, священника, дѣти оказались революціонерами.» Вот тут-то и произошло то, что меня поразило. «Полковник, — спросил он, — вы Евангеліе читали?» Пришлось сознаться, что читал и не читал, слышал что-то, но помню мало, вожу Евангеліе с собой, но в свободное время читаю детективные романы. Он мнѣ ничего не сказал, взял Евангеліе, открыл и прочел: «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, но меч. Ибо Я пришел раздѣлить человѣка с отцом его, и дочь с матерью ея, и невѣстку с свекровью ея. И враги человѣку домашніе его...» Прочел он, смотрит на меня, а я в изумленіи, как бы не довѣряя ему, сам прочел это мѣсто. Подумал немного и говорю: Знаете, отец Марк, это поразительная истина. Теперь мнѣ многое становится понятным в той борьбѣ, которую ведут люди за что-то новое и лучшее. Это иногда раздѣляет самых близких людей, но в общем ходъ человеческой жизни это так же неизбѣжно, как рожденіе и смерть. Самое же странное, поручик Кусков, что с этого момента мнѣ хотѣлось не слышать утѣшенія от отца Марка, а утѣшать его... Видно настоящее горе, хотя бы оно было чужое, дѣйствует на человѣка, и забываешь о своем... Не знаю, так-ли это, но что-то открылось передо мной, помогло заглушить боль, и стало стыдно, что в наши страшные дни, когда кругом море слез и

скорби, я думаю о себѣ. Никого из моих близких я вернуть не могу и имѣю ли я право страдать за себя? Не лучше-ли никого и ничего не проклинать, а сохранить о них любовь и свѣтлое воспоминаніе. Подумал я так, и словно примирился с потерями...

Немного помолчав он взял со стола Евангеліе, подержал его в рукѣ и, осторожно кладя на стол, задумчиво сказал: «Отнынѣ я не буду одинок».

Уходя ночью от полковника, я думал об отцѣ Маркѣ не только как о священникѣ, отцѣ всѣх, кто обижен жизнью, но как о близком мнѣ человекѣ, отцѣ неизвѣстных товарищей революціонеров. Я, как и полковник, подпал под обаяніе его стойкости, любви к людям и невѣдомой нам любви к Богу. Скромный полковой священник казался мнѣ носителем высшей любви, такой, какой жила и моя мать — незлобивой и жертвенной. Я невольно стал думать, кто из нас прав: он, моя мать и миллионы смиренных людей, мечтающих побѣдить зло любовью и кротостью, или мы, вѣрящіе в силу меча? И не находил отвѣта.

Со стороны передовых линій были слышны выстрѣлы, нарушавшіе тишину ночи. Я остановился, стал прислушиваться к ним и невольно мысленно повторил евангельскія слова, поразившія полковника: «не мир, но меч».

Николай Калашников.

БАЛАКИРЕВ

(Отрывок из готовящейся к печати книги «Пятеро и Другие»)

«В нем были всеильные чары,
Была непонятная власть.»

Л е р м о н т о в .

II

Милию Алексѣевичу Балакиреву не было полных 18 лѣтъ в год его знакомства с Глинкой. По возрасту он был не очень далек от «вундеркинда», но по всему облику и явленію был уж настоящій «вундерменш», не «изумительное дитя», даже не юноша, а «изумительный муж». Как Афина, по древнему мифу, вышла во всеоружіи, в каскѣ и с копьем в рукѣ, из головы Зевса, так и он, казалось, прямо родился с карандашом, чиркающим чью-нибудь партитуру, с дирижерскою палочкой в рукѣ. На вид можно было ему дать и всѣ тридцать; окладистая борода обрамляла его лицо, черты были красивы, но нѣсколько топорны и наружность не выдавала сразу ни артистической тонкости, ни нервнаго темперамента художника. Только порой огонь загорался в его глазах, да сдержанное чувство звучало в голосѣ.

Может быть безсознательно, желая усилить это впечатлѣніе внезапной мужественности и зрѣлости, он не любил говорить о недавнем своем отрочествѣ, о вовсе недалеком дѣтствѣ... Даже близкіе мало что о нем знали. Знали, что он сын скромнаго нижегородскаго чиновника, что и отец его и мать были музыкальны; что рано умершая мать давала ему уроки на фортепiano; что десяти лѣтъ отроду он взял

нѣсколько уроков у одного из учеников знаменитаго Фильда, с которым играл Н-moll-ный концерт Гуммеля, тот самый, который играл когда то его автору Глинка. Что он учился в Казани на Математическом факультетѣ, но курса не кончил. Настоящей школой для него был дом нижегородского любителя музыки Улыбышева. Там он нашел музыкальную атмосферу, там собирались всѣ мѣстные любители. У Улыбышева была недурная нотная библиотечка и по т. п. «негеатральным дням», в четверг и субботу, играл у него оркестр нижегородскаго театра (по остальным дням и оркестр был занят, и сам Улыбышев безвыходно торчал за кулисами). С Улыбышевым, в его небольшой гостиной, Балакирев вел до поздней ночи безконечные разговоры о музыкѣ. Улыбышев поручил ему подготовительную работу с этим оркестром, в котором было около 20 музыкантов и который, худо ли хорошо ли, играл в его домѣ классическую музыку, в частности всѣ симфоніи Бетховена кромѣ Девятой (патрон изучал их для своего труда, направленнаго против великаго нѣмца). В послѣднее же время, перед от'ѣздом Балакирева в Петербург, он этим оркестром и дирижировал.

Если бы Стасов не слышал всего этого, он должен был бы счесть познанія Балакирева просто колдовством. Но и так они его изумляли. В своих сочиненіях и импровизаціях он мастерски владѣл гармоніей и контрапунктом. Он блестяще знал инструментовку. Музыкальная его память граничила с чудом, он навсегда запоминал все, что ему играли хотя бы один раз и знал наизусть чуть ли не всѣх классиков. И ко всему этому присоединялись т а к о й идеализм, такая преданность искусству, которых Стасов еще не встрѣчал. Перед т а к и м человеком должна была по праву открыться европейская дорога, о нем, как о Наполеонѣ, хотѣлось воскликнуть: « il sait tout, veut tout, peut tout » (всего хочет, все знает, все может!). На фортепіано он играл не хуже Антона Рубинштейна, без ослѣпительной техники послѣдняго, но с большей глубиной и проникновеньем. Помимо знанія оркестра, казалось, что властный магнетизм,

разлитой в его личности обѣшал в будущем одного из великих дирижеров, новаго Берліоза. Всѣ его сужденія были вѣски, обоснованы, авторитетны.

Хотя Стасов был на 14 лѣт т. е. почти вдвое старше Балакирева, но он смотрѣл на него скорѣе снизу вверх. Насколько Милій был не по лѣтам солиден и мужественен, настолько он оставался всю свою жизнь взрослым ребенком, добрым и старавшимся сойти за *enfant terrible*. Даже пиджак казался на нем матросскою курточкой. Его вспыльчивость была преходящим гнѣвом ребенка. Между ними быстро образовалась близость, глубокая и исключительная. Это была мужская дружба, ставшая событіем для них обоих. Но длянсь и углубляясь, дружба эта не становилась бытовой, житейской, как это бывает, и не только потому, что проза существованія вообще не играла большой роли в их жизни, но и потому, что эта все же неизбѣжная проза, сознательно или безсознательно, устранилась ими из области их общенія. Они дружили в высшей плоскости, гдѣ не было мелочей жизни, а только важные интересы искусства и духа. Так они даже не перешли на «ты» и какая то церемонность никогда не исчезла из их отношеній. «Бах», «Милый Бахинька» звал своего старшего друга Балакирев, как звал его порой шутливо покойный Глинка. Прозвище дано было ему за любовь к великому полифонисту, но оно укоренилось, потому, что очень подходило к Стасову, к манерѣ, с которой смѣло бросался он в споры, словно бухал в воду; к рѣшительности, с которой бахал как из митральезы быстрыя слова непререкаемых истин, и вот вот, кажется, готов был дать противнику — бах! — по физиономіи. Но в устах Балакирева имя это звучало не насмѣшливо, а нѣжно, как соло деревянных, как дес-дурная тональность, со всей нѣжностью, на которую был способен этот нервный, вѣчно вибрирующій человек. Его же Стасов звал «Милій» с самых первых дней их знакомства опуская отчество, и так же продолжал звать и тогда, когда между ними возникла дружба: имя это не терпѣло интимных сокращеній. Вообще стороной болѣе активной и любящей был Балакирев. Он жил уединенно

в тѣ годы, внѣ вихря забот и интересов, который вился вокруг Стасова. Он был бѣден, давал уроки, готовился к борьбѣ, к славѣ и дѣятельности, так серьезно и сосредоточенно, как послушник готовится к обѣтам монашества. Да развѣ бѣдность, воздержаніе, безбрачіе не были уже в его жизни? Развѣ не совѣм по монастырски жил он, как в кельѣ, в маленькой комнатѣ в квартирѣ обрусѣлой нѣмки Софьи Ивановны Эдіет и ея мужа? Шумный Стасов, его цѣнившій, в него вѣрившій, среди всего этого холодного и равнодушнаго города означал для него безконечно много. Владимір же Васильевич со своим огненным, почти итальянским темпераментом, весь уходил в бурное кипѣніе по всякому поводу и без всякаго повода. Он любил Балакирева не столько как человѣка, а как великую надежду, живое воплощеніе своей мечты о будущей національной музыкѣ. Он любил его несгибающійся идеализм, открытую, смѣлую правдивость, родственную его собственной натурѣ. Но он был душевно здоровѣе, поверхностнѣе и легкомысленнѣе своего друга.

Они много музицировали, и за фортепьяно первенствовал, понятно, Милій. Это он комментировал произведенія, когда они играли в четыре руки, порой бросая новый и неожиданный свѣтъ на давно знакомые пассажи. Стасов лучше его знал классиков, старых итальянцев и старинную церковную музыку. Милій был узок узостью свойственной творческим натурам. Не отрицая классиков, он был к ним сравнительно равнодушен. Он считал, что великіе сокровища классической музыки — это фундамент, на котором нужно строить, но который не слѣдует без нужды перерывать. Классики, это нѣчто извѣстное, само собой разумѣющееся, а Балакирев искал новых путей. И он не переставал восхищаться великолѣпной мистической риторикой Листа, иронической свѣтотѣнью лирики Шумана, ослѣпительной красочностью оркестра Берліоза. Меньше цѣнил, хотя и очень любил он Шопэна. Оба они презирали мѣщанскаго Мендельсона (Стасов не особенно убѣжденно) и терпѣть не могли напыщеннаго рекламиста Вагнера.

Но поскольку в музыкѣ Стасов подчинялся руководству

младшего друга, постольку во всякой «умственности» он играл ведущую роль. Они любили читать вслух. Читал обыкновенно Стасов, который читал мастерски. Он мог читать по целым часам, а Балакирев слушал. Иногда Милій Алексѣевич принимался ходить по комнатѣ, присаживался, даже ложился на диван, а Стасов все не прерывал чтенія. Порой, увлеченные книгой, оба друга забывали подрѣзать или закрутить фитиль на керосиновой лампѣ, лампа начинала коптить и черная копоть наполняла комнату, падала на страницы книги. Она забиралась в ноздри, в горло, друзья начинали чихать и кашлять. Приходилось звать хозяйку и открывать форточку.

III.

Это было странное время, начало шестидесятых годов. Послѣ проигрыша Крымской кампаніи новое царствованье становилось на дорогу реформ. Все обновлялось быстрѣе, чѣм при Петрѣ, сверху и не революціонно, но реформы слѣдовали за реформами. Проводилось освобожденіе крестьян, вводился гласный суд с присяжными, всеобщая воинская повинность, земство, городское самоуправленіе. Россія ждала «увѣнчанія зданія», т. е. конституціи. Волна оптимизма охватывала всѣх. А в культурных слоях, в интеллигенціи, подготавливалось то духовное движеніе, которое вскорѣ залило Россію на целых полстолѣтія. Это движеніе тогда еще не называлось народничеством, но оно было подготовительной его стадіей. Это была своеобразная религія в атеистическом одѣянніи, социальная и гуманитарная, поившая своей влагой (не всегда живительной) и болѣе чуждыя области, литературу, живопись, музыку. Вѣра в народ и в живущую в нем высшую правду и добро, стремленіе служить народу, слиться с ним, искупить свой грѣх перед ним — были главныя черты народнических настроеній. Стасов не вполнѣ раздѣлял их, но был им близок. Не потому ли русская интеллигенція, которая не любила чиновников и с подозрѣніем относилась к дѣятелям искусства, прощала ему и его виц-мундир (правда, старенькій, выцветшій и похожій на студенческую тужурку) и увлеченіе барской блажью —

живописью и музыкой — ненужными мужику. Даже тѣ, кто не признавали его и относились с ироніей к его дѣлу никогда не отказывали ему в патентѣ на «честность», что считалось высшей похвалою по отношенію к не совѣм своим.

Балакирев же был много болѣе чужд этому движенію. В нем были какіе то глубокіе корни, вѣроятно мѣщанскіе или церковные, тянувшіеся из прежней, давно исчезнувшей Руси. В нем было подлинное и исконное «русопетство», и он туго поддавался на космополитическую терпимость Стасова и нутром не любил инородцев. Для Стасова воистину не было ни эллина, ни іудея. В Балакиревѣ же были зародыши черносотенства, он недолго любил ни нѣмцев, ни евреев, ни «ясновельможной націи, кончающей на sky». Недаром был он родом из Нижняго, гдѣ еще жили воспоминанія о мѣщанинѣ, спасшем Россію от ляхов. И помимо этого, был в нем художническій индивидуализм, боязнь массы и нелюбовь к ней, чувства, тоже противоположныя народничеству. Он был романтиком-реакціонером, мизантропом и индивидуалистом. И однако же, и он под вліяніем Стасова и всего духовнаго воздуха эпохи, впитал в себя множество интеллигентских идей, чувств и предразсудков.

Чего только не читали они! Гомера и Шекспира, Гоголя и Некрасова, книги по естественной исторіи, входившія тогда в неизбѣжный реквизит ителлигентскаго чтенія. Они прочли «Космос» Гумбольдта и какое то будто бы геніальное «Земледѣліе в Азіи», герценовскій «Колокол» и некрасовскій «Современник», Бѣлинскаго и Чернышевскаго. По неисповѣдимым судьбам книг на Милія Алексѣевича особенно большое впечатлѣніе произвел тенденціозный и довольно примитивный роман послѣдняго «Что Дѣлать?». Какая-то бодрая сила излучалась, видимо, в то время с этих нехитрых страниц и по невѣдомому закону претворенія духовной энергіи роман этот навел Балакирева на мысли об... оперѣ и даже произвел в его головѣ «цѣлое просвѣтленіе»: читая его, он п о н я л к а к нужно писать оперу!... Вот бы удивился знаменитый соціалист! Впрочем, оперы, навѣянной этим просвѣтленіем

Милій так и не написал. Ни тот ни другой из друзей не отличался особой умственной тонкостью. Стасов был опытный и образованный. Но Балакирев обладал большим природным умом и болѣе непосредственной, своезаконной натурой. К тѣм немногочисленным интеллектуальным проблемам (кроме музыкальных), которыя его интересовали, он подходил по своему, без чужих шаблонов. Один вопрос дѣйствительно мучил его, тот вопрос, на который идилически розово отвѣчало народничество: что же такое русскій народ, который он любил нутром, «брюхом», бездумно, как любят свою семью? Что такое этот народ, от котораго ждут чудес, который взрастил Глинку и должен создать неслыханную, небывалую русскую школу музыки? Некрасов, Бѣлинскій, все и всё кругом, газеты и журналы, лекціи и прокламаціи учили любить его. За что? За многое. За то, что он страдал и страдает, за то что он обдѣлен судьбой, за то что в нем таятся огромныя силы. За то что он любит Бога, смѣется над попами, молится иконам, презирает их; за то что он носитель великой правды, за то что он сохранил идеал кротости и смиренія, за то что он прирожденный бунтарь, готовый воскресить времена Пугачева. За то, что он сохранил общину, за то что он смысленнѣе американцев. Словом за тысячи противорѣчивых качеств и свойств, за все таинственное, что мерещилось каждому в этом свѣтлом, мерпающем, переливающимся оттѣнками словѣ «народ». Но Балакирев хотѣл с а м , как Фома Невѣрующій, вложить персты в раны, убѣдиться во всем. И он жадно, вмѣстѣ с своим другом всматривался, вслушивался, вчитывался, чтобы узнать, подслушать, подсмотреть, что же такое этот русскій, его народ?

Увы, когда они читали историков, и особенно, моднаго Костомарова, впечатлѣнія их были мрачныя. В исторіи Россіи все было гнило, лживо и подло! Петербург был — не русская столица вполне отмеченной имперіи, противный «Перлин» какой-то, как выражался Балакирев, гдѣ царствуют нѣмецкіе «Газенфусы». Петербургскій період исторіи отвратителен. А

Москва? И та не лучше! Дрянная расползающаяся старуха-Москва, беззубая, бездарная, раболѣпная, холопка и ханжа! как говорил о ней Стасов, и даже Глинку он не щадил за то, что для своей оперы взял он сюжетом «подлую московскую легенду» об Иванѣ Сусанинѣ. И в порывѣ негодованія он восклицал: «Никто, может быть, не сдѣлал такого безчестія нашему народу, как Глинка, выставив посредством гениальной музыки на вѣчныя времена русским героем подлаго холопа Сусанина, вѣрнаго как собака, ограниченнаго как сова или глухой тетерев, и жертвующего собой для спасенія мальчишки, котораго не за что любить, котораго спасти вовсе не слѣдовало, и котораго он, кажется, и в глаза не видѣл... Это — апофеоза русской скотины московскаго типа и московской эпохи. Будет время, когда вся Россія сдѣлается тѣм, чего хотѣли когда то одни лучшіе... Тогда музыкальное пониманіе поднимется уже: с жадностью прильнет тогда Россія к Глинкѣ и отшатнется от произведенія, во время созданія котораго в талантливую натуру дружья и совѣтчики-негодяи николаевскаго времени пролили свой подлый яд. «Жизнь за Царя» словно опера с шакиром, который ее грызет и грозит носу и горлу ея смертью.» Но Балакирев не шел так далеко, он возражал своему темпераментному другу: «Вы говорите, что Сусанин не должен был спасать Михаила. Нѣтъ, он должен был спасти Михаила. Нѣтъ, его надо было спасти, лучше московское царство, чѣм польское иго. Теперь нам очень труден выход к настоящей жизни пригодной русским, особенно, при нашем незнаніи, что нам нужно, при нашей неспособности к протесту и при способности только к страданіям; Михаил был идиот, но лучше что-нибудь, чѣм ничего, фактъ его воцаренія показывает, как Москва умѣла запакоstitь в народѣ одну из очень важных сторон. — Народ наш испакошен; тѣ только стороны остались нетронутыми, коими он не соприкасался с жизнью государственной и политической вообще, как то искусство.» Так высказывал он мысли, навѣянные, вѣроятно, ученіем, предшествовавшим народничеству, ему родственным и оказавшим на него вліяніе — а именно славянофильством.

Оно было близко Милію, с той разницей, что славянофилы, противопоставляя государству народ, как носителя высшей правды, так же как народники вѣрили в него крѣпкой вѣрою, а Балакирев думал, что народ охранил от вліянія государства только немногое, и, может быть, одно лишь искусство. К тому же ненависть славянофилов сосредотачивалась на Петербургском періодѣ, а друзья наши вслѣд за Костомаровым видѣли незагрязненный кусок русской исторіи, все что лишь было в ней умнаго, талантливаго, стремящегося вперед в одном древнем Новгородѣ. Зато как радовались они, когда встрѣчали что либо великое, неиспакощенное в русской жизни. И оттого каким неожиданным и чудесным приключеніем (ибо и в области духа бывают приключенія) каким событіем в их жизни стала попавшаяся им книга Кельсіева.

Молодой русской священник, эмигрировавшій к Герцену и писавшій под именем Вадима Кельсіева, напечатал в Лондонѣ толстую книгу «Собраніе распоряженій правительства о расколѣ», со своим предисловіем. Это краткое в каких либо сорок страниц предисловіе глубоко взволновало Стасова и Балакирева. Оно было написано неумѣло, без герценовскаго огня и его художественности. Но Кельсіев представлялся им рудокопом, который разворотил неожиданно золотую жилу (и какой чистоты и богатства!) из под цѣлых гор грязи и навоза. Значит не только в глубинѣ вѣков, в полуполюгендарном Новгородѣ, можно было найти то умное, талантливое и свѣтлое что все таки должно быть в русском народѣ. Не все загрязнила Москва! До наших дней докатилась одна чистая струйка. «Мы видим в самом существованіи раскола великій залог будущаго развитія Россіи — писал Кельсіев — в расколѣ заключаются необыкновенно чистыя политическія начала. Эти начала закутаны и затерты в догматах, но все таки раскол держится на них. В русском народѣ... всегда были безотчетныя стремленія, которых мы не умѣли высказывать, но за которыя умѣли страдать... Раскол заявил при самом рожденіи своем, что и правительство и церковь должны быть народны». «Какой свѣт настает в головѣ послѣ этих строк —

восклидал Стасов — как иначе смотришь и на всю прежнюю массу народа нашего, которая лежит какою то темной, непроницаемой громадой в наших русских исторіях... Как нашему народу противно подчиненіе одному деспотическому началу в дѣлѣ вѣрованія, так в политическом дѣлѣ ему совершенно антипатично монархическое начало.» И Балакирев словно весь вибрировал от идей Кельсіева. Слова Стасова вызвали его на интимное признаніе: «Способностью страдать за неясно понимаемая идеи и неумѣніем их высказывать обладаю также и я. Но что это за несчастный народ, непонимающій что ему надо и умѣющій только страдать. Он похож на больного трехмѣсячнаго ребенка, который только канючит от боли, но не может ни сказать, что у него болит, ни рукой показать на больное мѣсто, несчастный, пассивный народ, едва ли заслуживающій симпатіи от европейца. Будь Грубинштейн — так звали они Рубинштейна — умен, он презирал бы Россію больше, чѣм теперь презирает... Любить ее можем только мы в силу того закона, по которому овцы любят баранов, а не медвѣдей.» И он совѣтовал своему старшему другу написать о русском искусствѣ такую же книгу, как Кельсіев написал о расколѣ. По этим словам Милія можно видѣть в чем был корень его отличія от Стасова и народников. Как ни бурлил в своем негодованіи Стасов, гдѣ-то в глубинѣ души он вѣрил в русскій народ. Балакирев не вѣрил в него. Это и сближало его с реакціонерами. Вѣдь даже искренніе, идейные, не просто по дворянски слѣпые реакціонеры народ презирали, в него не вѣрили. И от невѣрія хотѣли властной опеки над ним, самодержавія. Развѣ можно дать волю русскому народу? Нѣтъ, вмѣсто «солнца свободы», — Россію, чтобы не разложилась, надо п о д м о р о з и т ь .

IV

Иногда что-либо задерживало Стасова: головная боль (он был мнителен, как многіе очень здоровые люди), или спѣшная работа для Корфа, или приходили какіе нибудь зна-

комые «народы», как он выражался, и задерживали его дома. Тогда Милій начинал скучать без «милѣйшей фізіономіи» драгоцѣннаго Бахиньки, начинал беспокоиться. Правда, он выпросил у друга его фотографію, на которую любил смотрѣть и которая даже вдохновляла его «лучше писать»! Но ея было все же недостаточно. «Мнѣ хочется Вас видѣть, как беременныя женщины хотят неспѣлыхъ яблокъ, дайте взглянуть на Ваше дикое лицо». И чтобъ только повидать друга, онъ несмотря на нелюбовь къ передвиженіямъ, покидал свою комнату, и если неудобно было побесѣдовать съ нимъ в т. н. «начальническихъ комнатахъ» Библиотеки, шелъ по близости в трактиръ Балабина, гдѣ Стасовъ обѣдал. Тамъ быстро шмыгали полковые въ костюмахъ, которымъ бы полагалось быть бѣлыми, тамъ шумная машина жарила «Miserere» изъ Трубадура, но тамъ за то, перекрикивая ея и звонъ посуды, можно было поговорить обо всемъ, что накопилось за нѣсколько дней, съ тѣхъ поръ какъ они не видались. «Какъ я радъ облобызать ваши дес-дурныя щечки, Ваше дикое лицо, обнять Вашу нелѣпую фигуру» — говорилъ Милій. Дес-дуръ всегда обозначало у него ласку, онъ любилъ эту тональность, а въ слово «нелѣпый» вкладывалъ бездну нѣжности, хотя фигура у Стасова была совсѣмъ не нелѣпая, а очень высокая и стройная.

Жили они довольно далеко другъ отъ друга — Стасовъ на Моховой, Балакиревъ на Екатерининскомъ каналѣ. Извошки были недороги, но тащились медленно и въ плохую погоду ѣхать было не удовольствіемъ. Поэтому иногда вмѣсто обычнаго свиданія, друзья переписывались. Но если одинъ изъ нихъ былъ боленъ или воображалъ себя таковымъ (а это случалось нерѣдко т. к. оба они были до крайности мнительны) — то другой непременно посѣщалъ его. Едва у Стасова повышалась температура, онъ уже не спалъ ночь и ожидалъ, что къ утру объявится у него, какъ тогда говорили, «тифусъ». А Балакиревъ все жаловался на докторовъ: «здоровье мое не поправляется, ибо докторъ мой (какъ, кажется, и всѣ) въ дѣлѣ медицины просто оселъ и увѣряетъ меня, что я совершенно здоровъ». Къ счастью можно было лечь въ постель и безъ осла доктора и упорно звать

к себѣ в гости для утѣшенія и развлечения «милѣйшее существо», «драгоценнейшаго Бахиньку». Без него ему было скучно и тоскливо «болѣть». Когда же Бах приходил — он заполнял всю небольшую квартирку Эдіетов своим громким басом, шумным негодованіем, шумной бодростью, политическими новостями. Но наконец успокаивался, и они садились играть в четыре руки, или Стасов читал вслух. У Милія стоял великолѣпный Беккеровскій рояль, взятый в кредит и медленно оплачиваемый из денег, получаемых за уроки фортепiano (увы, приходилось ему нетерпѣливо, как чистокровному арабскому коню, впрягаться в хомут учителя музыки!). Балакирев много сочинял в эти годы. Вѣра в него его друга, сыграла свою роль в этой продуктивности. Когда он наоркестровал Глинкинскій «Ночной Смотр» и подарил его Баху, тот был в полном восторгѣ. Он благодарил без конца за подарок, говорил, что нѣтъ на свѣтѣ человѣка, благодарнѣе его и что самое желаніе сдѣлать ему приятное вызывает наружу в нем все, что только есть в нем добраго и мягкаго... «Гдѣ бы мнѣ ни пришлось услышать «Ночной Смотр» — я жду таинственных мистических тактов, гдѣ разверзается гроб, вдруг настает какая то волшебная атмосфера, и выходит сам Наполеон. Глинка мастер на эту волшебную атмосферу» — говорил Стасов, и прибавлял: «Я знаю еще одного человѣка, который кажется, надѣлает когда нибудь таких же чудес.»

V

Милій их дѣлал, эти чудеса, на его глазах и не без его участія. Он постоянно искал тем и сюжетов для своего друга. Ему впервые он предложил былинку о «Садко» для симфонической поэмы, но без успѣха. Зато еще до этого, по его же уговору, Милій написал музыку к «Королю Лиру». Они вѣстѣ прочли его и Милій нашел, что есть в шекспировском королѣ что-то общее с Стасовым: «у Вас такая же прямая,

высокая и дикая дѣвственная натура» — говорил он. Для «Лира» Стасов разыскал и скопировал старинныя англійскія мелодіи, мало кому извѣстныя в то время даже в самой Англии. Он с восхищеніем встрѣчал каждый новый отрывок этой музыки. Но как медленно являлись на свѣтъ эти отрывки! Увертюра, 4 Антракта, Шествіе и нѣсколько коротких интерлюдій растянулись на два с половиной года. То и дѣло Милій жаловался, что «Лир молчит». «Я всегда долго соображаю. Помните, что русскую увертюру я соображал и начал писать в ноябрь 57-го года, а кончил в іюнь. Ее писать, конечно, несравненно легче, чѣм музыку к «Лиру», ибо я там подчинен был только себѣ, а тут надобно подчиняться Шекспиру и притом выполнить задачу трудную.»

Стасов хотѣлъ устроить эту музыку для спектакля в Александринском театрѣ, но дирекція этаго «б-ого кабачка» просила дать только увертюру, а на это Милій не соглашался ни за какія деньги. Когда «Лир» был окончен, он, как Пушкин, жалѣлъ о своем долгом трудѣ, «молчаливом спутникѣ ночи», но и рад был этому окончанію. Вѣдь работал он не легко, а с тяжелым напряженіем. «У меня голова как то ослабѣла, мозг горит, ногу холодны, как лед, какая то нервическая дрожь овладѣла мной. Вчера я думал до такой степени (сочиняя Шествіе), что был момент, что мнѣ показалось, что я схожу с ума.» Как подчеркивали эти слова тот фактъ, что музыкальное творчество есть и чисто умственное усилие, что оно требует в с е г о человѣка. Так было, по крайней мѣрѣ, у Балакирева.

Но труд и усилія не пропали даром. «Лир», а в особенности Шествіе и Увертюра удались на славу. вмѣстѣ с мѣдельсоновским «Сном в Лѣтнюю Ночь» это была, вѣроятно, лучшая музыка к Шекспиру. С каким сердцебіеніем слушал впервые не на фортепіано, а в Университетском Концертѣ эти мѣдныя фанфары, эти замирающіе барабаны, эту по шекспировски величавую, строго классическую по формѣ музыку Стасов! Как гордился, что она посвящена ему!

В тѣ же годы дружбы со Стасовым написаны были Балакиревым и его три Увертюры: на русскія и на чешскія темы и та, которую он сочинил по случаю празднованья тысячелѣтія Россіи и которую впоследствии назвал «Русью». И сюда тоже он вкладывал себя цѣликом, со всѣм, что он думал и что переживал во время их сочиненія. Так, в «Тысячѣ лѣтъ» три главныя темы должны были олицетворять основные элементы русской исторіи. Это должна была быть, как он выражался, ея «инструментальная драма». Темы для своих увертюр он не создавал сам, а брал готовыя мелодіи понравившихся ему народных пѣсен, как это дѣлал Глинка. Но хотя вліяніе Глинки и Берліоза можно замѣтить в них, но все же он был в них вполне оригинален. Он, как никто, переплавляя эти готовыя темы в своем тигелѣ, дѣлал их отправной точкой безспорно его, балакиревскаго творчества и с таким огнем и блеском развивал их, что совершенно неважным становилось — свои или заимствованныя это темы. Что ему самому был не чужд очаровательный мелодическій дар — видно по написанным в эти годы замѣчательны романсам. Странно, что внѣшнее обстоятельство стало поводом к их появленію: то, что нѣкій издатель Деноткин вопреки тогдашним обычаям платил за них небольшой гонорар. В тѣ же годы писался его фортепианный концерт и «Фантазія на Восточныя Темы», названная им впоследствии «Исламей». В этой фантазіи, как это бывало с ним, свѣжесть вдохновенія первых импровизацій была ослаблена потом, во время долгой обработки вещи, и она оказалась «записанной». Начата была им и симфоническая поэма на тему Лермонтовской «Царицы Тамары», впоследствии ставшая одной из извѣстнѣйших его вещей. Лермонтов вдохновлял его, он был его любимым поэтом, тѣм с которым он чувствовал «избирательное сродство». Он сознавал, что Пушкин зрѣлѣе и совершеннѣе, но Лермонтов влек его к себѣ присушим ему магнетизмом сильной натуры. «Если бы Лермонтов жил сорокъ лѣтъ, он был бы первый поэт из наших и один из первых на свѣтѣ», говорил он.

Но Балакирев не мог удовлетвориться только творчеством,

даже тогда не бившем в нем сильною непрерывной струею. Его тянуло к дѣйствию и к воздѣйствию на других. Ему не достаточно уже было дружбы с не музыкантом Стасовым, ему нужны были послѣдователи и ученики. Вскорѣ они появились вокруг него. Он был для них царь и Бог, они смотрѣли ему в рот и клялись словами учителя. Наибольшія надежды подавал семнадцатилѣтній юноша, не сбросившій еще гимназическаго мундира, Аполлон Гуссаковскій. Балакирев и Стасов искренно полюбили его за талантливость натурю, за милый, веселый нрав, за добрый смѣх и богомное легкомысліе. Они ласково звали его «Гусачек», «Гуссиновскій», «Аполлонтій». По виду он походил не на русскаго, а скорѣе на какого то малайца: блестящіе глаза было поставлены косо, цвѣтъ лица был смугло желтый. Гусачек был одним из тѣх одаренных дилетантов, которые часто вертятся близ творческих художников, кажутся поверхностному наблюдателю равными им, но не выдерживают испытанія жизни, отстают и остаются навсегда милой, никчемной богемой. Гуссаковскаго к тому же донимала лютая бѣдность и губило слишком большое разнообразіе интересов. Он был не только музыкантом, но занимался серьезно химіей и геологіей. Он блестяще импровизировал, собирался писать музыку к «Фаусту», пробовал сочинить симфонію. Все это было многообѣщающе, и из всего этого ровно ничего не вышло. «Аполлонтій» был живчик, много говорил, ни минуты не сидѣлъ на мѣстѣ, у него была, по выраженію Стасова, «ртуть в з.....тѣ». Вѣчно он торопился и не долѣлав одного, принимался за другое. Он часто поголаживал, давал грошовые уроки, ѣздил на кондиціи в купеческія семейства, гдѣ ему не доплачивали его вознагражденіе; но несмотря на это не падал духом и шумный, легковѣсный, неунывающаяшій, прибѣгал к Стасову в Библіотеку и тотчас же, вспомнив о каком нибудь само нужнѣйшем дѣлѣ, убѣгал. Он приходил к Милію Алексѣвичу, играл ему отрывки своей сонаты или «Пѣсню Гретхен», выслушивал в общем одобрительныя замѣчанія маэстро и убѣгал на урок или на таинственное женское свиданіе. Стасов не без основанія опасался, что в музыкѣ, как и во всем, со

своей «ртутной удобоподвижностью» Гусачек останется «недопеченым». Милій Алексѣевич больше вѣрил в «Гусикиевича» и даже просил Стасова написать статью о начатой им симфоніи, чтобы его поощрить. Но Стасов твердо отказался. «Единственным поощреніем для Гусачка должно быть Ваше одобрение. Успѣет начитаться о себѣ, когда сдѣлает что либо цѣльное и путное.»

Почти одновременно с Гусачком, в салонѣ Даргомыжскаго, гдѣ собирались всякіе музыкальные «народы», «у этой старой колдуньи Александры Даргомыжской», как он выражался, познакомился Балакирев с молоденьким офицером Мусоргским. Он очень бойко играл на рояли, пробовал сочинять. Мусоргскій попросил Милія Алексѣевича давать ему уроки теоріи и композиціи, но был довольно туп и, главное, упрям. Зато как все понимал и схватывал на лету, как изящен, талантлив, умен и остер был третій их знакомец — молодой военный инженер, Цезарь Антонович Кюи. Этот тоже не много времени отдавал музыкѣ, но прошел все же нѣкоторую школу у польскаго композитора Монюшки. Кюи был французскаго происхожденія с примѣсью польской крови по матери, почему Стасов звал его «Казимір Демикотонич». Он писал оперу на сюжет Пушкинскаго «Кавказскаго Плѣнника», написал нѣсколько хороших романсов. С Балакиревым он держался почтительно, улыбался насмѣшливо, смотрѣл иронически острыми, небольшими глазками из под очков. Отзывы его были ѣдки, но он осыпал комплиментами Милія Алексѣевича и подчеркивал общность их идей и стремлений.

Нѣсколько позже познакомились они с профессором химіи, Бородиным. Высокій, красивый, с чудесными, восточными глазами, он всюду носил с собой дух бодрости и доброты, силы и талантливости. Он обнаруживал своеобразный талант композитора, но ему некогда было заниматься музыкой. Так постепенно образовывался круг музыкантов вокруг Балакирева. Для этих молодых людей, из которых Кюи и Бородин были старше его (Бородин на цѣлых два года), Милій Алек-

сѣвнич был «мэтром». Он был единственный профессионал среди этих «любителей», он подавлял их знаніями, талантами, авторитетностью, обоснованностью сужденій. Слово его было законом. Только Кюи разговаривал с ним почти как равный. Под его руководством пробовали они сочинять, он просматривал их вещи, властно мѣнял тональности (он имѣл ярко выраженное пристрастіе к одним тональностям и антипатію к другим), присочинял цѣлые куски, мѣнял все по своему вкусу и капризу. Он был прирожденным деспотом, а отношеніе окружающих в нем этот деспотизм развивало. Но деспотом он был безкорыстным и воистину мог сказать о себѣ «не нам, не нам, а Имени Твоему». Он жил «во имя» искусства, музыки, Россіи и ничего не хотѣл для себя.

Но ему уже становилось тѣсно в этом обожающем его маленьком кружкѣ. Он хотѣл болѣе широкой дѣятельности и, особенно, примѣненія своих знаній оркестра и дирижированья. В этом его поддерживал Стасов и всѣ окружающіе. Впрочем, Стасов не вѣрил в силу его стремленій. С проницательностью любящаго он чувствовал, что Балакирев человек не дѣла, а мечты о дѣлѣ. Но и дѣло закипало в тѣ годы. Добрый знакомый покойнаго Глинки, котораго Стасов хорошо знал еще по Училищу Правовѣднія, гдѣ он управлял ученическим хором, Гавриил Якимович Ломакин задумал вмѣстѣ с ним учредить Безплатную Музыкальную Школу. Дать возможность широким слоям народа учиться музыкѣ и для этого сдѣлать преподаваніе бесплатным и устроить его в такіе часы, когда и рабочій и служащій, и швея и горничная могли бы использовать вечерній или воскресный досуг — это было вполне в духѣ тогдашних настроеній... Во главѣ обученія пѣнію стал сам Ломакин, он давно уже работал над новой методой преподаванія пѣнія, т. н. «Музыкальной Азбукой». Балакирев должен был завѣдывать инструментальным классом. На сборах с будущихъ концертов должно было зиждиться все хрупкое зданіе школы. Пока же для перваго концерта в пользу школы Ломакин попросил разрѣшенія у графа Шереметева, чьим хором он уже давно и успѣшно управлял, выступить с нѣсколькими

номераи. Граф разрѣшеніе дал и концерт состоялся 11 марта 1862 года в час дня. Оркестром дирижировал Карл Шуберт. Послѣ концерта был обѣд у Ломакина с тостами, возліяніями и всѣм что полагается. Бесплатная Музыкальная Школа стала реальностью. Через недѣлю состоялся второй концерт, а с осени дирижером и завѣдующим программой Школы стал Балакирев.

Так выкристаллизовалась жизнь Милія Алексѣевича. Встрѣчи с Бахом, игра в четыре руки, импровизаціи, нѣсколько уроков для поддержанія брэннаго существованія; нѣсколько друзей, раздѣлявших его стремленія. Медленная работа над своими композиціями, концерты Бесплатной Школы.

Что было еще? Немногое. Внѣшняя жизнь была бѣдна и монотонна. Изрѣдка ее разнообразили поѣздки в Нижній на родину, на Кавказ для лѣченія, в Москву. В Москву он ѣздил с одним из молодых пріятелей Глинки и его сестры Людмилы Ивановны чиновником Министерства юстиціи и композитором-любителем Бороздиным, по прозванію «Петрой». Петра был весельчак и юморист, из тѣх, которые словечка в простотѣ не скажут и юмор которых в значительной мѣрѣ состоит в переиначиваньи имен и названій! Москву Петра звал Іерихоном, Стасова за его склонность к романам — Ромео, произнося это имя по московски «Рамеа», Московскій Большой Театр почему-то Громобоем и т. п. В «Іерихонѣ» при видѣ Кремля, Красной Площади, Соборов, вида на Замоскворѣчье и всѣх московских красот и древностей, в Миліи Алексѣевичѣ проснулся (он спал чутко и пробудить его было не трудно!) патриотизм, гордость тѣм, что он русскій. Он был увѣрен, что выразил в своих произведеніях «частицу Кремля» и даже точнѣе — Кремлевскія Башни. Ему даже захотѣлось написать Симфонію в честь Кремля. Ѣздил он нѣсколько раз и в Нижній Новгород. Здѣсь жил его старый и пренесносный отец, который не оставлял его в покоѣ, все дудил про свое, словно дождик долбил камень, пилил сына, требуя чтобы он использовал свои петербургскія связи и помог ему вновь опредѣлиться на государственную службу и дослужиться до пенсіи. Младшая сестра

подраскала, денег на ея образование не было. Милію Алексѣвичу удалось помѣстить ее на казенный счет в Институт. Он для этого хлопотал, ѣздил с визитами к губернаторшѣ, к счастью довольно культурной дамѣ — женѣ бывшего декабриста Муравьева. Должен он был также на вечерѣ у директриссы Института играть на фортепіано. Все это было тяжело и противно.

Удалось ему с'ѣздить на Кавказ, полѣчиться в Пятигорскѣ и Желѣзноводскѣ. Может быть заговорила текшая в нем татарская кровь, или просто величавая красота Кавказскаго пейзажа плѣнила его, но он, как нѣкогда Лермонтов, был потрясен и увлечен Кавказом — горами, черкесами, их нравами, даже их одеждой (лучше которой он и представить себѣ не мог). И он сшил себѣ как Лермонтов черкесскій костюм и носил его с дѣтским удовольствіем, даже сфотографировался в нем и послал карточку Баху. Гуляя по окрестностям Пятигорска, перечитывал он его стихи, читал «Героя нашего времени» и «дышал Лермонтовым».

Кромѣ же этих рѣдких перерывов, он жил в Петербургѣ, у своей «няни» Софьи Ивановны. Изрѣдка приглашала его к себѣ на дачу отдохнуть Людмила Ивановна и он жил в семьѣ сестры Глинки, играл с его племянницей Олечкой, вмѣстѣ с ней пѣл, как ее научил «Петра» Бороздин, тоже гостившій там, старинные духовные стихи «Адаме, Адаме, пр о г н а л ты Бога» (вмѣсто «прогнѣвал», — обычныя шутки «Петры»). Изрѣдка ѣздил на дачу в Парголово к Стасовым. Что было еще? Была бѣдность, было творчество, были сны наяву и сны во снѣ, живые и яркіе. Эти сны не были искаженными кусками реальности, как у большинства. Что такое была реальность для Балакирева? Только высокіе порывы, мечты, жизнь во имя идей, жизнь в мірѣ звуков, созданных им или созданных другими. Только романтика возвышенная и далекая от дѣйствительности, только жизнь духа. И сны его были о музыкѣ и музыкантах, о нотах и тональностях, сны о снах. Они пронзали его иногда так остро, что он вставал утром не отдохнувшій, а утомленный, без сил для чего либо.

Так, однажды, видѣл он во снѣ Шумана. Физиономіи его он не запомнил, помнил только, что физиономія была пріятная. Он спросил у Шумана, говорит ли он по французски? На что тот утвердительно и с пріятностью кивнул головою. Тогда Балакирев стал по французски дѣлать ему комплименты или «воспѣвать ему гимны», говоря, приблизительно слѣдующее: «*Vous voyez devant vous un musicien russe qui est votre grand adorateur*». (Вы видите перед собою русскаго музыканта, который Ваш большой поклонник). Шуман отвѣчал тоже что-то пріятное. Милій Алексѣевич, не теряя времени, захотѣл разспросить его подробно о формѣ финала его *C-dur*'-ной симфоніи. Но он улетучился (будь это не во снѣ, так уж бы не улетучился). Потом он его гдѣ то снова поймал (ну, еще бы). Шуман дал ему свою визитную карточку, только очень измятую. Милію Алексѣевичу хотѣлось бы получить на память еще и автограф, да не удалось. Потом он снова вспомнил, что надо бы поговорить о финалѣ *C-dur*'-ной симфоніи, но тут Шуман уж окончательно исчез и он проснулся.

Долго еще его нервы трепетали, долго еще он был радостно возбужден этой встрѣчей во снѣ. Но к радости примѣшивалась и досада, что он так и не узнал, почему Шуман отступил от классической формы в этом финалѣ, не соблюлъ формы рондо или сонаты.

Это тогда замѣчали немногіе, но это чувствовал Стасов с пронизательностью любви. За внѣшней силой он подозревал какую то внутреннюю слабость. Перед чужими, перед міром Владимір Васильевич твердил про изумительныя силы своего друга. «Балакирев как орел летит впереди всѣх» — говорил он. Казалось бы его натура — это негибкая сталь чистѣйшаго закала, алмаз самой свѣтлой воды; ничто не согнет, не сломит его воли. Но какая-то трещинка в закалѣ, порок в алмазѣ были, что-то говорило «нюху» Стасова: «этот человек когда нибудь не выдержит, сломится». Были в нем черты чрезвычайной, не мужской нервозности, неврастеничности. Был он до крайности суевѣрен и боязлив. Когда молодой и беззаботный, вдвоем с веселым товарищем «Петрой» Бороз-

диным, выходившим на каждой станціи, чтобы «дуть желтенькое», он ѣхал в «Іерихон»-Москву, то, пересаживаясь из вагона второго класса в предоставленный ему почтовый вагон, гдѣ было просторнѣе и удобнѣе и перенеся туда вещи Милій замѣтил, что потерял свою палку... Украсть ее, по его соображеніям, никто не мог, значит, она пропала сверхъестественным образом, значит потеря ея поведет к другим утратам и потерям. И он пришел в такое разстройство, что перестал «окачиваться» на станціях и ѣсть ботвинью, за которую с него лупили 50 копѣек. Когда он был внѣ Петербурга, мысль его работала все в одном направленіи: он никогда больше не увидит тѣх, кто ему нужнѣе всего на свѣтѣ, милаго Баха и «дорогой няни», квартирной хозяйки Софіи Ивановны. Если он долго не получал от них писем, то был совершенно увѣрен, что они умерли. А если получал письмо от мужа Софіи Ивановны, то рѣшал, что тот его подготавливает к ужасной вѣсти о смерти своей жены, зная, что он не перенесет удара без подготовки. «Берегите себя, хотя бы для меня. Если Вы умрете, что со мной будет?» — говорил он Стасову. Стасов отвѣчал ему, что и он тоже не может представить себѣ жизни без Балакирева также как без маленькой своей дочери Софіи, но, кажется, он говорил больше из вѣжливости, чтобы не остаться в долгу перед другом. Вообще же можно сказать, что если Милій Алексѣевич чувствовал себя дурно, был болен или несчастен, словом если ему было плохо — то было плохо. Но если все было хорошо, то тѣм болѣе все было плохо. Все хорошо, значит не перед добром, значит ждут какіе то невѣдомые удары судьбы.

К тому же в нем развивалась мизантропія. И, как это бывает, не вслѣдствіе каких либо разочарованій в людях или ударов судьбы, а вперед, впрок, словно эти удары накликают... Если судьба это — характер, предопредѣляющій и зовущій внѣшнія событія, то воистину характер Балакирева, склонный к мрачным предчувствіям, к ипохондріи, к мизантропіи, предсказывал необычную и тяжелую жизнь. Он был еще совѣм молодым человѣком, ему было 26 лѣтъ, когда он дѣлал Стасову

такія признанія, которыя звучали бы естественно в устах старика Шопенгауера: «Я себя и Вас считаю не людьми, если остальных называть людьми. Я жил с ними, и принужден отчасти жить и теперь и нахожу, что я похож между людей на собаку между курами — я от них отрѣшился внутренне, потом почувствовал, что надобно имѣть общество, соками котораго можно было бы питаться, и не находил его, это меня страшно раздражало, и сильно повредило всей моей дѣятельности... от этаго мнѣ необыкновенно противно дѣйствовать в нашей публикѣ, мои пальцы парализуются, когда Вы заставляете меня играть Лира, или что-нибудь, до чего собственно нѣтъ дѣла нашему обществу. Чтобы играть в публикѣ или дирижировать оркестром я должен употреблять над собой усилія, конечно не без вреда для своей натуры. Мнѣ всегда было ужасно то, что если напишешь что нибудь, то нѣтъ средства другого услышать свою вещь, как в концертѣ, это как будто рассказывать полицейским чиновникам о самых сокровенных внутренних движеньях... С людьми я кончил и иногда иду к ним по необходимости ѣсть и пить.» Стасов поддакивал этим мыслям, он как будто и сам был вполне согласен с другом. Он даже готовил книгу, которую озаглавил по французски *Le Carnage Général*, а по русски «Разгром», и которую считал своей капитальной, тузовою вещью, своей «9-ой симфоніей». В ней он доказывал, что публикѣ, широкой массѣ всегда и всюду свойственен дурной вкус, что она одобряет и выносит на поверхность только тѣ вещи и тѣх художников, в которых нѣтъ вѣчных и истинных цѣнностей. Но в душѣ своей он был человѣком любящим людей, с душою открытой им, отнюдь не мизантропом, а филантропом в лучшем значеніи этаго слова!

Он был прав и неправ, ласковый, вѣрящій в него Стасов, когда писал как то своему другу во время его болѣзни: «Ворочайтесь, и вас здѣсь починят, не так как чинят старую клячу, беззубую, на которую начинают уже издали поглядывать татары... А как чинят молодого, нетерпѣливаго, полного огня и жизни чудеснаго арабскаго жеребца самой благородной

крови, который на минуту испортил свою тысячную ногу, запнувшись о какой нибудь осколок булыжника по дорогѣ, но который вот сейчас же понесется, чудесно и неподобно, с развѣвающимся хвостом и гривой, с пылающими огнем ноздрями, и всѣ только ахнут глядя на него!» Да, конь был породистый, безцѣнный, и можно было ахнуть, глядя на него. Сам Стасов только то и дѣлал, что ахал. Но не одни случайные булыжники были виноваты в том, что так рано он стал спотыкаться, и не только то, что жизнь заставила его тащить водовозныя тяжести. Нѣтъ, конь был черезчур горяч, нервен, невыѣзжен, и жизнь, как неумѣлый жокей, должна была переломить ему хребет при первой же скачкѣ с препятствіями, систематически и умѣло брать которые он был, увы, неспособен!

Мих. Цетлин.

ПОЛИТИЧЕСКІЕ РАЗСКАЗЫ *)

ФЕЛЬДМАРШАЛ

Несмотря на изношенность рельсового пути, поѣзд фельдмаршала мчался с необыкновенной быстротой. Фельдмаршал не всегда ѣздил в экстренных поѣздах. Когда можно было, он, ради экономіи, пользовался автомобилем, или же приказывал присоединить свой вагон к обыкновенному поѣзду. Но на этот раз полученныя из Берлина вѣсти были слишком тревожны; онѣ явно требовали его немедленнаго пріѣзда. В них не было новаго, совершенно новаго, — дѣло это уже не раз обсуждалось, и его собственное мнѣніе было извѣстно тѣм, кому надлежало знать. Однако до сих пор обсуждалось дѣло лишь в предположительной формѣ. Очевидно, теперь собирались принять рѣшеніе без него. Фельдмаршал был оскорблен и еще больше взволнован, — поскольку он вообще мог волноваться: восторженные газетчики уже почти два года, точно сговорившись, твердили, что у него «железные нервы», «железная воля», «стальной характер»,

*) «Фельдмаршал» и «Грета и Танк» принадлежат к серіи рассказов нисколько не связанных между собой содержанием. Автор не чувствовал себя способным писать теперь на темы, не нмѣющія отношенія к происходящим в мірѣ событіям.

В рассказѣ «Фельдмаршал» сдѣлана попытка угадать настроеніе отдѣльных германских офицеров. Только будущее может, конечно, показать, угадано ли это настроеніе вѣрно.

В основу рассказа «Грета и Танк» положено истинное происшествіе, отмѣченное в мемуарной литературѣ.

К этой же серіи «Политических рассказов» относится «Микрофон», недавно напечатанный по англійски в «American Mercury». По русски он появится в сборникѣ «Ковчег».

— все в нем вообще было желѣзное или стальное. Недоброжелатели же, не считавшіе его военным гением и приписывавшіе его блестящіе успѣхи преимущественно усидчивости и работоспособности, говорили, что и зад у него желѣзный.

Спал фельдмаршал довольно плохо. Глубокой ночью он проснулся с тоской и тревогой, поднялся на постели и с бьющимся сердцем, с расширенными глазами прислушался: «Что такое? Что это произошло?» Было темно и тихо. Вдруг поѣзд сильно качнуло, вдали нарастающе-тоскливо занял свисток локомотива. Фельдмаршал пришел в себя и с невыразимым облегченіем убѣдился, что ничего страшнаго пока не произошло. «Да, да, «объявляю вас а р е с т о в а н н ы м »... Но до этого еще далеко. Может быть, этого и вообще не будет... Я ѣду в Берлин, гдѣ выскажу свое мнѣніе... Перед исторіей моя совѣсть будет чиста»... У него слегка стучали зубы, — их по ночам во рту было немного. Он повернулся лицом к спинкѣ дивана, подтянул сбившееся шершавое одѣяло и скоро опять заснул — уже без кошмаров и сновидѣній. По полувѣковой привычкѣ фельдмаршал проснулся без будильника — ровно в семь. “Morgenstund hat Gold im Mund”. — так говорил в корпусѣ воспитатель.

Не оставаясь ни одной лишней минуты в постели, не обращая вниманія на легкую головную боль, с утра особенно неприятную, — когда с ней просыпаешься, то уж на цѣлый день, — он встал, вынул из стакана с расплескавшейся водой фальшивую челюсть, и, брезгливо морщась, вставил ее в рот. Челюсть была сдѣлана недурно, но изрѣдка пластинка срывалась с неба (ему почему-то казалось, что это бывает с ним в минуты большого волненія). Фельдмаршал разстегнул пижаму и занялся гимнастикой. В тѣсном спальном отдѣленіи вагона, при толчках поѣзда, дѣлать гимнастику было неудобно. На третьем движеніи Сандова, которое слѣдовало повторить десять раз, он пошатнулся и, хоть успѣл схватиться крѣпкой сухой рукой за умывальник, больно стукнулся животом о выступ откидного столика. «Для моих камней это некстати!» — сердито подумал он, потирая ушибленное

мѣсто. Недавно рентгенограмма показала, что у него в лѣвой почкѣ камни: семь камешков, точно драгоценности в мѣшечкѣ, аккуратно лежали на днѣ; смотрѣть на этот необыкновенно отчетливый удачный снимок ему было чрезвычайно неприятно. «Хорошо бы, еслиб они, наконец, придумали, что ли, какую-нибудь жидкость, чтобы растворить эту дрянь. Да вѣрно и придумают — когда меня уже не будет в живых...» ● Он взглянул на себя в зеркало и поморщился. Рѣшительно ничего ж е л ѣ з н а г о не было в усталом, изрытом морщинами, не выбритом лицѣ, в невысокой фигурѣ с обозначившимися ребрами, с уже ссыхающимися мускулами, с рыжеватой, густой щетиной на груди. «Камни, фальшивые зубы. "Nur von Natur — hatte sie keine Spur..."*) — еле слышно, пропѣл он, усмѣхаясь, из какой-то оперетки, которую слышал в молодости. «Ну, да на нужное время хватит!» Хотѣл было побриться, но раздумал: в поѣздѣ трясет, можно будет дома. Надѣвая тужурку, он слегка оцарапал руку приколотым к наружному боковому карману Желѣзным Крестом. «Да, день неудачный, в такіе дни ничего не выходит...

“... Was sie hatte — War nur Watte — Falsche Zähne — und Frisur...”*)

Фельдмаршал вышел в сосѣднее отдѣленіе вагона, служившее ему кабинетом, и принялся за работу. Он внимательно читал послѣднія телефонограммы, сводки, доклады, дѣлал отмѣтки на полях и по нѣкоторым вопросам тут же принимал резолюціи. Но оттого ли что у него болѣла голова, или все из за безпричинной тревоги, работа не доставляла ему в это утро обычнаго удовлетворенія. Он даже подумал, что германская армія не погибла бы, еслиб он этих резолюцій не принимал. Это была совсѣм необычная, ш т а т с к а я мысль. Не доставила ему удовольствія и первая папироса; хороших папирос у него уже давно не было, хоть кое-что было реквизировано в дружественной Болгаріи.

*) «Ни слѣдов чего бы то ни было природнаго в ней не было. Она состояла из ваты, фальшивых зубов и накладных волос».

В восемь часов, денщик, ступая на цыпочках, как всегда глядя на него с изумлением и ужасом (фельдмаршал никогда не был с ним груб или чрезмерно строг, он просто его не замечал), принес чашку горячего — тоже плохого — кофе и какую-то еду. Фельдмаршал отпил глоток, поёзд толкнуло, кофе пролилось на стол, испачкав угол превосходно отбитого на машинкѣ доклада, — да, неудачный день: ничего хорошего сегодня ждать нельзя.

Прочитав важнѣйшія из бумаг (захвачено их в дорогу было множество), он закурил новую, уже шестую за утро, папиросу и, откинув съдую голову на борт кресла, положив ногу на ногу, стал обдумывать план предстоящего доклада фюреру. «На этот раз я скажу ему всю правду», — нерѣшительно подумал он. Вся правда заключалась в том, что военные дѣла надо предоставить военным людям. «Его дѣло — политика... Однако этот вопрос столь же политическій, сколь военный? Все равно, он обязан тут с нами считаться. С военной точки зрѣнія эта авантюра безуміе!» — сказал себѣ с силой фельдмаршал. Но он не был увѣрен, что с такой же силой скажет это вечером в докладѣ. «К несчастью, убѣдительность теряется от того, что его любимчики и лизоблюды говорят ему другое!» — сердито подумал он, разумѣя фельдмаршалов, стоявших за войну с Россіей. Эти фельдмаршалы вызывали у него сильное раздраженіе. Однако он интересовался только ими. Собственно он лишь их, да еще нѣсколько десятков высших офицеров, считал настоящими людьми. Ему и войну трудно было разсматривать иначе, как исторію разногласій и личных непріятностей между фельдмаршалами и генералами германской арміи. «Еслибы верховное командованіе проявляло больше гражданскаго мужества, еслибы оно согласилось с моей точкой зрѣнія, дѣла шли бы иначе»... Он сам себѣ отвѣтил, что дѣла все же идут недурно. «Маяр часто бывал прав. Есть люди, серьезно — не только из подхалимства — считающіе его гением»...

Эта мысль была тяжела фельдмаршалу, не только потому, что Гитлер был ему очень непріятен, просто физически не-

пріятен, своей косо закинутой вверх головой, своими усиками, своим чешско-австрійским говором, своим не-военным мундиром с открытым воротником и галстучком. Еслиб маляр оказался геніальным философом или великим физиком, фельдмаршал рѣшительно ничего против этого не имѣл бы; он, как нѣмец, этому порадовался бы. Но человекъ, не учившійся в военных школах, не получившій и общаго образованія, никак военным геніем быть не мог, — это для фельдмаршала была аксіома, отрицаніе которой означало вызов здравому смыслу и даже смыслу его собственного существованія. «Достаточно и того, что уже пришлось нам всѣм пересмотрѣть!» — подумал он, — «Шиккельгрубер полновластный владыка Германіи!»...

В час дня фельдмаршал встал и велѣл позвать к завтраку сопровождавшаго его офицера. Фельдмаршала сопровождал в Берлин подполковник его штаба, носившій титулованную, сложную, со сквозняками, фамнлю, перемежавшуюся частицами «фон» и «цу». Это был не первой молодости офицер, служившій в прошлую войну в кавалеріи, не очень много знавшій в новѣйшей военной технике и не очень желавшій ее знать: для него н а с т о я щ а я война кончилась вмѣстѣ с кавалеріей, как н а с т о я щ а я жизнь кончилась с прошлой войною. Подполковник почти не принимал всерьез новый государственный строй. Послѣ паденія монархіи он двадцать лѣт прожил в своем имѣніи, занимаясь сельским хозяйством и собираніем матеріалов для исторіи своего рода. В его округѣ подполковника называли за глаза просто “Der Graf” или “Herr Graf”, без упоминанія фамилии. Когда он пріѣзжал из имѣнія в сосѣдній городок, на улицѣ прохожіе и лавочники почтительно кланялись, за исключеніем от’явленных социалистов, которые лишь приподнимали шляпу. В свой штаб фельдмаршал пригласил подполковника без восторга, по старому знакомству с его отцом; знал, что толка от него мало, но относился к нему благодушно. Теперь подполковник, с утра, лежа в своем купѣ, читал англійскій

уголовный роман: ему в дорогѣ дѣлать было рѣшительно нечего.

Они позавтракали во втором вагонѣ поѣзда. Завтрак был не очень обильный, — война требовала уступок народным лишениям, спартанским нравам и тому общеизвѣстному важному факту, что фюрер не ѣст жаркого и не пьет вина, — однако недурной, благодаря мясу, реквизированному в Югославии, маслу, реквизированному в Дании, овощам и фруктам, реквизированным в Греции, и особенно благодаря вину, реквизированному во Франції. Подполковник допустил вольность: сдѣлал вопросительное предложенье о бутылкѣ шампанскаго. Хотя головная боль у фельдмаршала не прошла и хотя врачи запретили ему алкоголь, он кивнул головой: вдруг именно от вина пройдет? Немного поколебавшись в вопросѣ о марках (выбор был немалый), подполковник остановился на Редерерѣ.

— Бисмарк говорил, что пиво хорошо для фельдфебелей, красное вино для дам, а шампанское для порядочных людей, — сказал подполковник, повеселѣвшій при видѣ ведерка со льдом. Никого не называя, он добавил что-то непочтительное о людях, пьющих воду и питающихся вегетарианской дрянью.

Фельдмаршал посмотрѣл на него и усмѣхнулся. Он знал, что его собесѣдник тоже терпѣть не может фюрера. Но, хотя они совершенно довѣряли друг другу, называть вещи своими именами не полагалось и между ними. Разумѣется, — подобно всѣм людям міра в счастливом 1941 году, — они иногда обмѣнивались мнѣніями о не пьющем ничего, кромѣ воды, малярѣ; все-же полагалось соблюдать мѣру: к а к н и к а к , у этого человѣка огромныя заслуги перед Германіей.

Несмотря на давнее соглашеніе: за столом войны не касаться, — они всегда невольны на войну сбивались, ибо с нею было теперь связано рѣшительно все, вплоть до их личных интимных дѣл. Подполковник с увлеченіем рассказывал содержаніе англійскаго романа, — kolorygamida!

старый баронет найден с пулей в затылкѣ за письменным столом своего кабинета, в тот момент, когда он передѣлывал завѣщаніе; подозрѣнія падают на одного из наслѣдников, но в дѣйствительности... Фельдмаршал, почти не слушая, смотрѣл на него благодушно и думал, что у подполковника типично-п о р о д и с т о е лицо, — «разумѣется, это очень условно: что такое породистая наружность?», — что в традиціонных украшеніях этого лица, шрамах от мензур и моноклѣ, есть нѣчто наивное и ложно-самоувѣренное и что говорит он так, как в Потсдамѣ, при послѣднем императорѣ, говорили уже лишь немногіе. Все это было и забавно, и пріятно фельдмаршалу. «Да, он не орел, однако в его стилѣ есть что-то милое и жалкое, как в старинных гравюрах. С ним можно быть откровенным, но незачѣм: какая от них польза? Впрочем, если ни с кѣм не говорить, то и сдѣлать дѣло нельзя»...

Он тотчас почувствовал легкій холодок в сердцѣ, как всегда при мысли о дѣлѣ. Мысль была пока несерьезная, далекая, теоретическая: не мысль, а т а к : что если?... «Разумѣется, это пока не в порядкѣ дня, это зависит от тысячи обстоятельств, и говорить об этом было бы нелѣпо или во всяком случаѣ преждевременно. Однако между «преждевременно» и «поздно» тут нѣтъ середины... Да, от этого и от таких, как он, пользы ни малѣйшей. Редерер, Amorsäle, Adlon, — прежде двор и парады, — это они знают, больше ничего. В лучшем случаѣ они могут быть декоративными ад'ютантами при Наполеонѣ. С их допотопными взглядами сам Наполеон умер бы подполковником арміи Конде. К народу, даже к арміи, с э т и м и дти нельзя... Но в нем пріятно джентльменство, порядочность, то, что он презирает Гестапо и дружинников, просто не считает их людьми»... Подполковник от стараго баронета перешел к англичанам вообще.

— ..В сущности, они послѣдняя н а с т о я щ а я нація: нація, которая понимает и цѣнит традиціи.

— Schon gut, schon gut,*) — сказал, смѣясь, фельдмаршал. — Вам надо было, дорогой мой, родиться в 17-ом или в 15-ом столѣтїи.

Разговор перешел на войну. Они говорили о ней спокойно и безпристрастно, почти без хвастовства: вранье можно предоставить «Дейтше Нахрихтен Бюро». Прямой смысл их мнѣній был: дѣла идут хорошо, но далеко не все еще ясно. Подразумѣвавшійся же смысл сводился к тому, что было бы гораздо лучше, еслиб... Однако даже за бутылкой шампанскаго между вполне вѣрящими друг другу людьми невозможно было докончить: «еслиб верховный главнокомандующій, бывший маляр по профессїи и ефрейтор по службѣ, оставался по прежнему ефрейтором и маляром».

— В странѣ, гдѣ цѣнят традиціи, — сказал подполковник, — всѣ знают свое мѣсто. Очень забавно то, что в «послѣдней европейской демократїи» (слово «демократїя» подполковник произнес так, точно проглотил что-то очень невкусное), в «послѣдней демократїи» в рѣшительную минуту на рѣшающем мѣстѣ оказался правнук герцога Мальборо, тогда как кое-гдѣ правят сын кузнеца, сын сапожника и еще чорт знает кто! — Выраженіе «чорт знает кто» могло включать и маляров, но это сказано не было. — Не выпить ли еще бутылку?

Фельдмаршал отрицательно мотнул головой и встал. В больших количествах взгляды подполковника его утомляли. Он вернулся в свой вагон, но сѣл не за письменный стол, а у окна, лицом к локомотиву. Поѣзд теперь качало меньше. «Да, это ненужная авантюра. Без нея война п о ч т и выиграна. Московскїе разбойники будут и дальше поставлять нам хлѣб, сырье, нефть, марганец, все что нам нужно. Напасть на нас они никогда не посмѣют. Зачѣм же эта новая война? Разумѣется, будут побѣды, блестящїя побѣды, но дѣло не в побѣдах», — не вполне убѣжденно подумал фельдмаршал: побѣды, блестящїя побѣды, это и само по себѣ было очень недурно; он в частности имѣл в виду побѣды,

*) «Ладно, ладно.»

одержанныя им, а не другими фельдмаршалами. — «Дѣло в том, чтобы выиграть войну и заставить Англiю принять мир. Вѣдь всякій мир теперь будет полным нашим торжеством. А для этой цѣли мой план — единственный, отвѣчающій нашим интересам». Его план заключался в одновременном ударѣ на Гибралтар через Испанiю и на Ближній Восток и Африку через Турцию. «Тогда еще нѣсколько мѣсяцев и мир был бы заключен, тогда как эта новая авантюра ставит на карту в с е ! Конечно, она не безнадежна, она имѣет свои преимущества, — странно: в с е имѣет свои преимущества, — но как можно идти на столь страшный риск? Он азартный игрок!» В душѣ фельдмаршал сочувствовал азартным игрокам: «Наполеон говорил, что его генералы порой проигрывают сраженiя потому, что думают, будто войну можно вести без риска... Однако...»

«Однако» не уложилось в опредѣленные мысли. Он просто чувствовал, что война начинает его утомлять, — головная боль усиливала это чувство. «Величiе Германiи? Слава? Да, но всего этого у нас уже есть болѣе, чѣм достаточно. Что такое дѣла старика Мольтке в сравненiи с нашими! Послѣ т а к о г о мира с Англiей мы могли бы почить на лаврах, не ожидая вмѣшательства проклятых американцев... Что же тогда? Маляр был бы одним из величайших людей в исторiи. Я»... Он уже получил всѣ награды, — фельдмаршалом его сдѣлал именно маляр, и ему трудно было поэтому отдѣлаться от чувства, что он не совсѣм настоящiй фельдмаршал: не такой, какими были Мольтке или Гинденбург или Блюхер. «В прежнiя времена я стал бы графом»... Эту мысль он тотчас от себя отогнал, признав ее недостойной. «Весь вопрос в том, что нужно Германiи».

На полях работали военноплѣнные. Фельдмаршал смотрѣл на них с неприятным чувством. «Работа как работа. Рабскiй труд? Ну, что-ж, не мы первые это выдумали. Конечно, в этом есть нѣчто тягостное»... Почему-то он вспомнил свой послѣднiй обход лазаретов на фронтѣ и поморщился, — раненiя, особенно ожоги, были ужасны; таких в ту войну не

было. «Не довольно ли?» — спросил он себя и еще раз удивился штатскому характеру своих мыслей. «Вѣрно то, что нами — пусть под его руководством — сдѣланы гигантскія дѣла, память о которых не умрет никогда. Но если все кончится катастрофой? Да, все дѣло в надлежащем выборѣ момента; не слишком рано и не слишком поздно. И едва ли это кончится без нас!».

Мысль его опять вернулась к тому, о чем говорить было невозможно, п р е ж д е в р е м е н н о , о чем и думать было страшно. Кто же мы? Два-три человека — и обчелся: другіе не годятся и не пойдут. Но и с двумя-тремя поговорить об этом нельзя, по крайней мѣрѣ сейчас. А нужны десятки людей! Всякій заговор предполагает сговор. А всякій сговор предполагает предательство... Да, конечно, пока это т а к ... Он опять вспомнил о Наполеонѣ и усмѣхнулся. «В пору Наполеона не было Гестапо. Забавно, что о роли Наполеона я мечтал и в двадцать лѣт, когда у нас для этого не было рѣшительно никакой почвы. Но развѣ не сбылось многое из того, о чем я мечтал в двадцать лѣт?»

Фельдмаршал вздохнул, оторвался от окна и развернул купленную денщиком на станціи газету. Он сначала просмотрѣлъ ее н а ч е р н о , — кажется, ничего важнаго. Не было как будто нигдѣ и его имени. Прочел военный обзор, написанный штатским журналистом и потому совершенно не интересныи. Его имя дѣйствительно в обзорѣ на этот раз упомянуто не было, хотя штатскій журналист вообще ему покровительствовал. «Удивительно, что эти господа лучше нас знают положеніе на фронтах и так ясно во всем разбираются»... Прочел телеграммы, — ничего сенсаціоннаго как будто нѣт, но он понял, что первое его впечатлѣніе от газеты было ошибочным: есть важное, есть новое, — оно почти неуловимо чувствовалось и в телеграммах. Это была самая освѣдомленная и вліятельная газета, порою пользовавшаяся собственной информацией. Фельдмаршал с все росшим тревожным чувством прочел передовую статью по внѣшней политикѣ. В ней тоже как будто не было сенсацій, но ему,

как посвященному человѣку, были ясны отдѣльные отдаленные намеки, п о ч т и ничего не означающіе и вмѣстѣ с тѣм очень значительные. «Да, повидимому, у них дѣло уже рѣшено!» Он сердито швырнул газету на диван, чуть было ее не с к о м к а л , — очень неестественное движеніе, — придавил о пепельницу недокуренную папиросу и прилег.

«Однако мы теперь с ним связаны круговой порукой: если он полетит, то полетим и мы. Конечно, строй не выдержит пораженія. А в случаѣ пораженія Германію не пощадят. Версальскій мир ничто по сравненію с тѣм, который был бы нам навязан»... Мысль о том, что в этом случаѣ пришлось бы возложить надежды на чужое состраданіе, на чужой здравый смысл, на человѣчность, на всякія такія несуществующія и ни с чѣм несообразныя вещи, была невыносима. Он злобно перебрал в памяти прошлое. «1919-ый год, Эберты, Шейдеманы, Мюллеры... Версальскій договор, — «пусть отсохнет рука, которая его подпишет!»... А затѣм подпись под этим договором того комми-вожера по клозетам: вѣроятно, подпись с таким элегантным комми-вожерским росчерком... Комиссія по разоруженію, доносы иностранным комиссіям нѣмцев на нѣмцев... Спартаковцы, Барматы, парламентское большинство в три голоса, занятіе Рура... И тут же: «Свобода, равенство, братство». И тут же: «Какая радость: Германію удостоили приѣма в Лигу Націй!»... От всего этого нас избавил о н . Но это не резон, чтобы Германіи с ним погибать, если все-таки он сумасшедшій? Заговор во время, пока мы не разбиты. Какова же техника заговоров? Есть разные способы. Втереться к нему в довѣріе? Стидно? Нѣтъ, вздор, ничего не стыдно послѣ всего того, что было, послѣ того, что мы продѣлали или проглотили. В наши дни (может быть, и во всякіе? но особенно в наши) люди, прожившіе свой вѣкъ джентльменами или даже рыцарями, должны понимать, что по счастливой случайности, жизнь не поставила их в такія условія, при которых им нельзя было бы, никак нельзя, оставаться джентльменами и рыцарями. Это убавило бы в них брезгливости», — сказал себѣ он, вспо-

миная кое-что в собственной карьѣ. — «Заговор? Если на фронтах все будет идти хорошо, то, разумѣется, в нем не будет необходимости», — почти с сожалѣніем подумал фельдмаршал.

Мысль о заговорѣ в послѣднее время была одной из самых частых и самых страшных его мыслей именно вслѣдствіе полной новизны; такой мысли не было и не могло быть у его предков. «Развѣ лѣтъ триста тому назад?» Фельдмаршал открыл взятое в дорогу карманное нѣмецкое изданіе Плутарха (на войнѣ он считал нужным читать возвышающія душу книги, да еще легкіе романы из военной жизни: Омптеду, Самарова). Но теперь ему не хотѣлось возвышать душу. «Если говорить правду» (в этот день он все хотѣл говорить правду), «классики очень раздуты. Меня они всегда утомляли, хоть я и старался восхищаться ими»... Опять развернул газету, попалась какая-то научно-популярная статья о пауках и мухах. «Итак, паутина по военной технике верх совершенства, а паук великій полководец. Его цѣль подвергнуть муху медленной страшной смерти... Отлично... Любопытно, как это совмѣщается с мыслью о благостном Творцѣ, так хорошо все это создавшем. Быть может, у пауков есть свое представленіе о Богѣ, — о паучьем Богѣ»... Он опять удивился своим не-военным — и вдобавок нечестивым мыслям. Прежде такія мысли никогда ему не приходили в голову. «Вѣрно, общая моральная расшатанность сказалась и на мнѣ. В молодости мы об этом не думали. Была настоящая Германія, был настоящій император, был настоящій Бог, все было настоящее, надежное, прочное, вот как валюта того времени. Мы всего этого и не обсуждали, мы даже не говорили и не думали об этом, как не говорили и не думали о валютѣ (прежде мнѣ не пришло бы в голову и такое сравненіе)... По службѣ от нас не требовалось ни пресмыкательства, ни подлостей, ни убійств... Чего же я хочу? Возврата к прежнему? Он все-таки невозможен. Величія Германіи? Но это само собой, это выносится за общія скобки». Он не мог себя обманывать: ему эта война была нужна преиму-

шественно для побѣд, для того, чтобы смыть позор прошлаго поражения. Рынки, контрнбуцін, завоеванія, — это все было тоже лишь «само собой». — «Какое именно величіе и какой именно Германін? Величіе Шиккельгрубера и его шайки меня не интересует! Что еще? Конечно, слава... Хотя слава в эту войну дѣлится между слишком большим числом людей, не так, как во времена Цезаря или Ганнибала... И г л а в - н а я с л а в а вѣдь достанется Шнккельгруберу... В наших именах публика уже разбирается плохо: три нѣмца из четырех навѣрное и не помнят, кто из нас на каком фронтѣ командует... Так что же?» — с досадой спросил себя он, чувствуя, что запутывается в мыслях. «Да, прежде все было ясно: надо исполнять приказы Его Величества. Теперь я т а к чувствовать не могу. Теперь я, пожалуй, не мог бы так чувствовать, даже еслиб был император. Я потерял способность быть колесом в машинѣ», — нашел было он опредѣленіе и поморщился: в этом опредѣленіи тоже было нѣчто штатское и потому глупое и непривлекательное. Он закрыл глаза и скоро задремал,

Когда он проснулся, поѣзд уже подходил к Берлину. Подполковник почтительно освѣдомился, какія будут приказанія. «Что бы ему приказать? Он мнѣ рѣшительно ни для чего не нужен». Фельдмаршалу не слишком хотѣлось показываться т а м в обществѣ этого офицера, взгляды и чувства котораго сказывались во всем, от фамиліи до монокля. — «Мы, пожалуй, могли бы встрѣтиться вечером», начал он и не докончил, замѣтив разочарованіе, скользнувшее на лицѣ подполковника. — «Хотя нѣт, я буду занят. Вы можете, дорогой мой, провести вечер как вам будет угодно, и я надѣюсь, что вы проведете его пріятно», — сказал он, улыбаясь.

На перронѣ экстренный поѣзд встрѣтили только власти вокзала. Пріѣзд фельдмаршала держался в секретѣ, однако люди, составлявшіе то, что в газетах загадочно называлось «освѣдомленными кругами», конечно, о нем знали. «Кое-кто

мог бы побезпокоиться»... В сопровожденіи начальника станціи и денщика с вещами, фельдмаршал направился к выходу. На вокзалѣ было немало солдат, они вытягивались и глядѣли на него выпученными глазами. Узнали его и в публикѣ. Фотографіи фельдмаршала часто печатались в газетах, но люди, не помнившіе фотографій и не разбиравшіеся в погонах, тотчас замѣчали его по тому, как вытягивались солдаты. «Фельдмаршал фон...» — донесся до него шопот. На перронѣ люди поспѣшно уступали ему дорогу и даже пятились к краю, точно было тѣсно, — начальник станціи грозно обводил глазами встрѣчных людей. У выходной двери перед фельдмаршалом сам собой разрѣзался проход. Все это еще доставляло ему удовольствіе, но уже не доставляло прежняго удовольствія. Он шел быстро, зорко глядя по сторонам. Вокзал был еще чист, но не так чист, как в обычное время. У солдат вид был еще хорошій, но не столь хорошій, как в началѣ войны. И общая картина вокзала еще свидѣтельствовала о порядкѣ, но это был не прежній образцовый германскій порядок. «Повидимому, механизм начинает изнашиваться. Однако, его хватит еще надолго», — угрюмо думал фельдмаршал (почти в тѣх же выраженіях, как о своем здоровьи). Ему казалось, что и настроеніе на вокзалѣ тревожное.

Дома ждать его было некому: семья не жила теперь в Берлинѣ. Под'емная машина не дѣйствовала. Швейцара взяли на войну. Фельдмаршал отворил дверь своим ключем. У него была приблизительно такая же квартира, как у всѣх не слишком богатых, но и далеко не бѣдных немцев: балкончики в цвѣточках, раздвигающаяся дверь между новенькими парадными комнатами, в гостиной огромный Umbau с Гете и Шиллером в тисненых золотом коленкоровых переплетках на полочках (настоящія книги были в шкафу в кабинетѣ), большой Блютнеровскій рояль, горка фарфора, а в столовой стол необычайных размѣров даже в нераздвижном видѣ, столь же колоссальный, с хитроумными приспособленіями, буфет «Ренессанс», тяжелыя стулья «кордовской кожи» с Лейпцигерштрассе, на стѣнах недорogie nature morte-ы, изоб-

ражавшіе дорогую ѣду. Были впрочем и старинныя дѣдовскія вещи. На стѣнѣ висѣла большая копія «Hunnenschlacht» Каульбаха. На полкѣ Umbau стояли бюсты Фридриха и Наполеона. Теперь на квартиру был старательно наведен лѣтній безпорядок. Воздух был сухой и душный. Пахло нафталином. Денщик — все на цыпочках — отворил ставни, на солнечных лучах заиграла пыль. Мебель в чехлах была сдвинута к стѣнам. В ванной из кранов текла только холодная вода. Он выкупался и выбрился без горячей воды, прошел в кабинет, гдѣ стулья почему-то были повернуты спинками вперед — дамская идея! — а стол покрыт листами «Фелькишер Beobachter» и «Локаль Анцайгер». В домѣ, с тѣх пор, как исчезла «Крейщейтунг», читались эти двѣ газеты, — первая потому, что ее н а д о читать, а вторая для удовольствія: в ней все было старое, хорошее и солидное, и информация, и, в мѣру возможнаго, руководящія статьи, все вплоть до антисемитизма, тоже не уличнаго, а стараго, хорошаго, солиднаго.

Он подошел к шкафу. Над книгами средней полки лежала аккуратно перевязанная папка с рукописью: это были его мемуары, начатые уже довольно давно. «Недурно было бы подвинуть их вперед, новаго матеріала достаточно», — подумал фельдмаршал, вспоминая толстые томы воспоминаній Людендорфа, Гинденбурга, Гофмана (папка как раз над ними и лежала). «Это что такое? Помнится, что-то неприятное» — он развернул другую, лежавшую на этажеркѣ папку и поморщился: рентгенограмма. Приподнял и посмотрѣл: да, проклятые камешки лежат так подло-аккуратно, почти элегантно, этакая дрянь! Не надо было просвѣчиваться. Если любому человѣку просвѣтить его органы, то непременно что-либо найдешь. Ну, они нашли камни, это они умѣют, а дальше что? Діета, да и той я не соблюдаю, и ничего»... Он опять подумал о какой-то жидкости, которую кто-либо мог изобрѣсти и которая быстро растворила бы эти камешки, — гляди и нѣт их — вот как сахар быстро и пріятно растворяется в чашкѣ чая. Фельдмаршал спрятал снимок, оглянулся — по

привычкѣ, связавшейся с этой комнатой, — на стѣну, но отцовскіе часы с выскакивавшими как в Ротенбургѣ фигурами показывали двадцать минут одинадцатаго; вынул карманный хронометр, — «половина пятаго, еще рано», — перешел в гостиную и устало опустился в кресло, рѣзавшее его любящей симметрію взгляд своим странным положеніем, рядом с роялем сбоку. Он смотрѣл на «Гуннскую битву» и думал, что с камешками в лѣвой почкѣ и с фальшивой челюстью нельзя быть гунном. «Или в самом дѣлѣ мнѣ э т о надоѣло? Что же тогда осталось? Для чего жить?... Нормальная жизнь тоже имѣет свои преимущества. Недурно бы пожить спокойно, послушать опять музыку»...

В гостиной в мирное время его племянница с половины восьмого утра (раньше нельзя, хоть сосѣди не рѣшились бы пожаловаться на генерала) играла «Лунную Сонату» и «Кампанеллу» Листа. Сам он в это время завтракал один в своем кабинетѣ. Фельдмаршал придавал особое значеніе утреннему завтраку и удивлялся, почему люди, старающіеся разнообразить блюда в полдень и вечером, по утрам годами ѣдят одно и то же. Ему утренній завтрак подавался каждый день другой, только кофе был неизмѣнный: очень крѣпкій, самый дорогой, из лучшаго магазина, со свѣжими густыми сливками, с соленоватыми Semmeln и с привозным датским, тоже превосходным, маслом («пушки или масло» — как глупо! Далась им всѣм эта идиотская фраза! Точно при императорах не было у нас и масла, и пушек»). В его памяти этот удивительный кофе сливался со звуками «Лунной Сонаты», — племянница, окончившая консерваторію, послѣ трех лѣтъ играла и сонату и кампанеллу весьма недурно, с каждым днем лучше (как он с каждым днем все лучше постигал свое дѣло).

Теперь прежняя музыка, прежніе завтраки, все лучшее в прежнем были далеко, очень далеко, и это сейчас было ему особенно ясно. Ощущенія фельдмаршала от Берлина, от вокзала, от улиц, от попавшихся ему на пути разрушенных — пока еще, впрочем, рѣдких — домов, от запущенной квартиры, были нехороши. «Да, нехорошо, нехорошо дѣло!

В мое время этого не было. И скверно то, что всё вы, подлецы, меня предали», — угрюмо говорил со стѣны Вильгельм I в золотой рамѣ (в комнатѣ прежде был еще портрет Вильгельма II, снятый со стѣны — нерѣшительно — в 1918 году; пятнадцатью годами позднѣе он хотѣл повѣсить этот портрет снова, но раздумал). Голова у фельдмаршала болѣла все сильнѣе. «Неужели захворал? Этого бы только не хватало! Наполеон умер пятидесяти двух лѣтъ отроду»... Ъхать с докладами еще было рано, но и сидѣть здѣсь так без дѣла было тягостно и скучно.

Перед зданіем канцлерства стояла большая толпа. «Это что же? Или они уже собираются об'являть?» — с беспокойством подумал фельдмаршал. На него в толпѣ не обратили вниманія. К зданію почти непрерывно под'ѣзжали великолѣпные автомобили, из них с величественным видом выходили новые сановники. Все же какой-то фотограф узнал фельдмаршала и быстро щелкнул аппаратом. В холлѣ дежурные дружинники отдали честь, но не так, как ему отдавали честь солдаты. Он окинул их недоброжелательным взглядом и такую же недоброжелательность прочел на их лицах — или, по крайней мѣрѣ, ему это показалось. «Погодите, голубчики, скоро мы вас уйдем»... Какой-то непріятнаго вида человек в и х формѣ, весьма почтительно, но с кривой улыбкой на лицѣ, проводил его в комнату с широкой дверью, и мягко сказал, что тотчас доложит фюреру. Фельдмаршал сѣл у отвореннаго окна и уставился на толпу. «Да, что-то готовится. Значит, опоздал!» Он — для исторіи — взглянул на часы и запомнил время. По комнатѣ безпрестанно проходили люди, все в их формѣ, необычайно воинственнаго облика, какой на фронтѣ никогда не встрѣчался. «Что за лица! Гдѣ это он таких набрал? Господам демократам полюбоваться бы!»

В веймарское время фельдмаршалу случалось встрѣчаться с тѣми людьми, которых теперь в Германіи об'единяли под названіем демократов (обычно к этому существительному добавлялись весьма нелестныя прилагательныя). Перед

нѣкоторыми демократами ему даже приходилось в свое время заискивать, хоть и без пресмыкательства (все же вспоминать об этом было неприятно). «С точки зрѣнія господ демократов это мѣсто — нѣчто вродѣ столицы царства зла, девятый круг Дантова ада. Меня, конечно, не интересует точка зрѣнія господ демократов, но почему же и я чувствую здѣсь острое отвращеніе? Эти люди так же не н а ш и , как евреи. Достаточно взглянуть на их лица! У демократов горбинка на носу и курчавые волосы, а на этих — Каинова печать. Шиккельгрубер смѣет говорить о нѣмецких традиціях, и его фамилія, вид, говор, мѣсто рожденія вносят в это смѣшную ноту... Да, хороши лица! Каковы же в каторжной тюрьмѣ?» Он тоскливо вспомнил приемы во дворцѣ. «У нас таких людей не было и быть не могло. Как ни как, наш строй существовал вѣками и строился в расчетѣ на вѣка. Нам были нужны люди с традиціями, болѣе или менѣе (конечно, лишь болѣе или менѣе) застрахованные воспитаніем, общепризнанными правилами, мнѣніем своей среды, наконец религіей от царящей здѣсь низости. У нас было что защищать, а этим подонкам общества, вчера выльзшим из подполья, им наплевать на все: «хоть день да мой, поживу и я в свое удовольствіе!» Враги монархіи и не понимают, какую устойчивость в мірѣ она создавала. Мы не церемонились с врагами, но монархи, собравшіеся в 1815 году на конгресс в Вѣнѣ, не навязали вѣдь побѣжденной Франціи тѣх условій, которыя демократы через сто лѣт навязали побѣжденной Германіи. «Вѣдь из за этих условій все и произошло» — по привычкѣ сказал он себѣ и сам тотчас усомнился: новая война произошла бы и без этих условій, — он сам ея требовал бы. Монархи сознавали свою отвѣтственность перед Европой и вдобавок вѣрили в Бога. А эти!»... Вдруг на улицѣ кто-то запѣл пѣсню, тотчас подхваченную другими. «Как будто что-то новое?» — подумал фельдмаршал, вслушиваясь в незатѣйливую мелодію и стараясь разобрать слова. “Führer. Führer, sei so nett — Zeige Dich am Fensterbrett”...

*) «Фюрер, фюрер, будь так мил — Покажись у окна.»

«Очень хорошо. Только и всего? Опять сначала? Отлично»... Фельдмаршал снова посмотрѣл на часы. Он с веймарских времен отвык ждать.

Кто-то из проходивших по комнатѣ людей окликнул его радостным голосом, не то, чтобы фамилярно, но без «Ваше Превосходительство» и не совѣм так, как теперь говорило с фельдмаршалом большинство людей. Фельдмаршал с неудовольствіем оглянулся. К нему подходил с протянутыми руками осанистый господин в штатском платьѣ, явно выдѣлявшійся своим видом среди хозяев этого зданія. На лицѣ фельдмаршала появилась привѣтливая улыбка. Этот господин имѣл право, если не на фамилярность, то почти на равенство, — поскольку вообще штатскій человекъ мог претендовать на равенство с фельдмаршалом: это был знаменитый врач, лечившій виднѣйших людей Германіи.

— Да, какими счастливыми судьбами, — повторил его выраженіе фельдмаршал, впрочем протягивая лишь одну руку. «Все-таки пріятно здѣсь увидѣть человеческое лицо... Не спросить ли его тут же о головной боли и усталости?» — подумал он, но не спросил: желѣзному человекъ теперь не полагалось ни болѣть, ни быть усталым.

— Я вас не поздравляю с побѣдами, потому что уже поздравлял, и побѣд было так много, что я просто не помню, поздравлял ли я вас послѣ самых послѣдних. Вообще поздравлять вас всѣх теперь пришлось бы каждый день, — весело сказал профессор. Слова «вас всѣх» не понравились фельдмаршалу: он был не «вы всѣ»... Не очень понравился ему и тон фразы. Знаменитый врач лечил сановников и богатых людей при императорском, при веймарском и при нынѣшнем стрѣ, при чем ухитрялся со всѣми во всѣ времена, даже с евреями при Гитлерѣ, поддерживать добрыя отношенія. Он зарабатывал и тратил огромныя деньги, страстно любил жизнь, женщин, вино, роскошь, и старательно молодился. Повидимому, больше всего он опасался, как бы в нем не сказалась черта старческаго брюзжанія;

принадлежал он к той не слишком привлекательной породѣ стариков, у которых на лицѣ написано, что они м о л о д ы д у х о м . Профессор увлекался всѣм новым в медицинѣ, в политикѣ, в экономической жизни, радостно предсказывал близкій конец капиталистическаго строя и непрерывно покупал все новые дома и акціи промышленныхъ преріятій, работающих на оборону, но и не слишкомъ связанныхъ с войной. В военное время он продолжал заниматься (или говорил, что занимается) дорогами, по возможности, новыми, видами спорта. В этомъ могло бы показаться нѣчто вызывающее: «война войной, а спортъ спортомъ, одно другому не мѣшаетъ», — но он никакого вызова не имѣлъ в виду. В разгар войны профессоръ уѣзжал в Сент-Моритц, в Интерлакен, и, вернувшись на родину, в бесѣдахъ с расистами бодро и жизнерадостно хвалилъ швейцарскіе порядки: — «Они дѣлаютъ большіе шаги впередъ». — «Благодаря демократическому строю?» — спрашивали его иронически. — «Или несмотря на демократическій строй» — отвѣчал он болѣе или менѣе уклончиво: все-таки чрезмѣрно рисковать не надо. Хотя профессоръ безпрестанно говорил о политикѣ, никто не могъ бы сказать, каковы его политическіе взгляды. Он занимал такое положеніе в медицинскомъ мірѣ, и в нем такъ нуждались правители государства, что он могъ себѣ позволить гораздо больше, чѣмъ другіе. Ему не отказывали в визахъ, в услугахъ и поддерживали с нимъ пріятельскія отношенія. «Вѣрно, он и сейчасъ устраиваетъ себѣ здѣсь какую нибудь визу? Или лечитъ высокопоставленныхъ пациентовъ? Или хлопочетъ о какомъ-нибудь богатомъ еврей?» — подумалъ фельдмаршалъ. Профессоръ сѣлъ рядомъ с нимъ и принялся его разспрашивать о здоровьи.

— В чужомъ домѣ я за консультаціи денегъ не беру. — пошутил он, — но мнѣ не нравится вашъ видъ. Между тѣмъ вы нужны Германіи, — прибавилъ профессоръ, взглядывая в лицо фельдмаршала и показывая интонаціей, что больше не шутитъ. Выслушавъ бѣглыя, какъ бы неохотныя показанія собесѣдника, онъ посоветовалъ ему проводить возможно больше времени на воздухѣ и поменьше

волноваться. «Не давать же ему бромистый натр» — подумал профессор, чувствуя, что неудобно рекомендовать желѣзному человѣку средства против разстройства нервов. Сам он в желѣзных людей не вѣрил, почти всѣх их лечил, и знал, что по мнительности и слабостям они ничѣм не уступают не-желѣзным. Фельдмаршал слушал его с хмурой усмѣшкой.

— Возможно меньше волноваться и проводить время на свѣжем воздухѣ? — иронически переспросил он. — Не уѣхать ли лучше в горы, так мѣсяца на три?

— Это было бы превосходно, — разсѣянно отвѣтил профессор и, спохватившись, засмѣялся, придав своему отвѣту вид шутки. Он заговорил о войнѣ. — Насколько я могу судить, скоро надо ждать больших событій, — понизив голос, сказал он и полувопросительно взглянул на фельдмаршала, как бы говоря: «конечно, вам все извѣстно, и вы вправѣ не сообщать». — «Еслиб он знал, что мнѣ извѣстно меньше, чѣм ему!» — подумал фельдмаршал.

— Не могу сказать, — кратко отвѣтил он. Профессор посмотрѣл на него.

— Я могу судить только по состоянію главнаго пациента, — сказал он, наклонившись (от него запахло вином), и понижая голос почти до шопота, хотя в комнатѣ никого не было.

— И что же? — быстро, тоже почти шопотом, спросил фельдмаршал.

— Мы в большой ажитациі, — прошептал профессор. — Говорят даже, что мы вызвали астролога. — Фельдмаршал измѣнился в лицѣ. — Но может быть это и врачи: вѣдь ни о ком на свѣтѣ не врут столько, сколько о нем. — На лицѣ профессора заиграла неопредѣленная улыбка, тотчас передавшаяся фельдмаршалу, как будто на нем отразившаяся. С минуту они молча смотрѣли друг на друга. Оба чуть поблѣднѣли. — Конечно, неизвѣстно, что из всего этого может выйти, — прошептал профессор. — «Я впрочем не думаю, чтобы в ближайшіе дни послѣдовало что-либо важ-

ное». С улицы донесся опять тот же куплет. Кто-то заглянул в гостиную. — «Очень славные стишки, — сказал профессор громко. — Не Гете, но очень мило. Есть и зимній вариант, вы не слышали? "Führer, Führer, komme bald, — Unsere Fuesse werden kalt",*) — спѣл он, все так же улыбаясь. Профессор взглянул на часы, ахнул, крѣпко пожал руку фельдмаршалу и пошел к выходу спортивной походкой со-в-с-ѣ-м-м-о-л-о-д-о-г-о-ч-е-л-о-в-ѣ-к-а. Как молодой человек, он лѣтом и зимой ходил без шляпы и очень этим гордился.

«Когда он подошел к рѣкѣ Рубикон, отдѣляющей альпійскую Галлію от остальной Италиі, мысль у него заработала. Опасность близилась. Он очень колебался, думая о величій предпріятія, которое начал. Цезарь приказал сдѣлать остановку и погрузился в размышленія. Он постоянно мѣнял намѣренія, не произнося ни слова. Мысли его шатались. Затѣм он поговорил с друзьями, которые были с ним (один из них был Азиній Полло), размышляя о том, какое множество бѣдствій для человѣчества повлечет за собой переход через эту рѣку и в каком свѣтѣ он будет передан потомству. В концѣ концов, в припадкѣ страсти, отбросив размышленія, положившись на то, чему суждено быть, он произнес поговорку людей, рѣшающихся на опасный и смѣлый поступок: «Жребій брошен!» С этими словами он перешел через Рубикон. Говорят, что в ночь наканунѣ этого дня Цезарь видѣл нечестивый сон: он имѣл неестественную связь со своей матерью».

Так рассказывает Плутарх. «Может быть и неправда? Он лгун», — думал фельдмаршал, вспоминая этот рассказ. «Говорят также, что перед "Iacta est alea!" Цезарь сказал: «Либо остаться по эту сторону Рубикона на свое собственное несчастье, либо перейти через рѣку на несчастье человѣческаго рода... Фельдмаршал и сам ясно себѣ не представ-

*) «Фюрер, фюрер, появись поскорѣй, — У нас озябли ноги».

лял, о ком он думает, вспоминая Цезаря: о себѣ или о фюрерѣ?

Его все еще заставляли ждать, и раздраженіе у него росло. За дверью, по галлерей проходили люди. Нѣкоторых из них он знал. «Да, низшая порода людей. Мой граф головой выше их!» — думал он со злобой. «Рубикон? Быть может, сегодня переходится такой Рубикон, по сравненію с которым тот ничего не стоил. О чем же они размышляют? Какіе сны снятся и м? Да ровно ничего! Идет болтовня за пивом: «... Но какое впечатлѣніе произведет в Америкѣ то, что мы объявляем войну коммунизму?»... «У них есть однако от 160 до 180 дивизій»... «Мы врѣжемся в них, как нож в масло»... «Нам нужны нефть, хлѣб, естественныя богатства русской сволочи!» Все это наудачу, без знаній, без провѣрки, первое, что приходит в голову каждому из них, ничтожеств и полузвѣрей. Но вѣдь их поддерживают и нѣкоторые фельд-маршалы? Да, преимущественно лизоблюды, из тѣх, что ловят каждую е г о мысль и стараются забѣжать вперед. И еще тѣ, которым всякая военная задача интересна как военная задача; так шахматисты пробуют новый дебют: посмотрим, что из этого выйдет... Мой план тоже связан с кровопролитіем, и я, слава Богу, не вегетаріанец, но мой план куда-то ведет, он обѣщает дорогу к миру, и при нем крови, нѣмецкой крови, было бы пролито неизмѣримо меньше. Что же думает сам Шиккельгрубер, тот, от котораго все зависит? Вѣроятно, он ждет в н у т р е н н я г о г о л о с а или толкует слова астролога! Кромѣ того, он наслаждается. Я знаю твердо, это его главное наслажденіе, из за природной несклонности к другим: для него нѣт ничего слаше того, что всѣ, весь мір, ждут рѣшенія, е г о рѣшенія. И, должно быть, в ту минуту, когда кто-либо из них, напримѣр толстяк в шитом мундирѣ, называющійся «рейхсмаршалом» (и чин такой для него выдумали!), больше всего на свѣтѣ любящій пиво и золотое шитье, высказывает свои глубокомысленныя соображенія, — Шиккельгрубер слышит в н у т р е н н і й г о л о с ! О, бѣдная муза исторій! Из за внутреннего голоса,

слышашагося не вполнѣ здоровому человѣку, погибнут милліоны людей, и другіе милліоны будут искалѣчены, — нѣмцы! какое мнѣ дѣло до русских? — и десятки поколѣній заслуженных, ординарных, экстраординарных профессоров будут глубокомысленно изучать причины этого явленія!».

Мысль его снова сладко-тревожно остановилась на заговорѣ. «Как это сдѣлать? Да, конечно, лучше всего использовать момент, когда он будет находиться в одной из наших ставок... Какія же это н а ш и ставки? Только одна и есть: моя. Быть может, о том же думают и другіе, но они мнѣ не скажут, как и я не скажу им... — «Фюрер, об'являю вас арестованным!» В этом случаѣ можно бы обойтись и без обращенія «Фюрер». Его сопровождают дружинники. Нужны и с п о л н и т е л и . Такіе, как мой граф? Но допустим, что исполнителей я найду. Дальше что? Послѣ того, как он будет а р е с т о в а н (с еще болѣе сладко-тревожным замираніем сердца фельдмаршал подумал, что слово «арестован» тут чистѣйшій эвфемизм: в таких дѣлах не арестовывают). «Тогда об'является диктатура... Кромѣ себя, я не вижу кандидата... Выпускается воззваніе к нѣмецкому народу: мы рѣшили на это дѣло, чтобы спасти Германію, чтобы обезпечить выгодный и почетный мир, невозможный при этом безумцѣ. Одновременно Англій дѣлается мирное предложеніе. Одновременно армія а р е с т о в ы в а е т ближайших к нему людей, всю сволочь Гестапо, всю партійную шайку. Армія пойдет за нами и сохранит дисциплину. Затѣм возстановленіе монархов при н а ш е й фактической диктатурѣ»...

В галереѣ что-то произошло. Вдали отворилась большая дверь, отворилась не так, как вообще отворяются двери. За ней были видны высокіе стоячіе канделябры, огромныя картины, люди выстроившіеся четырехугольником в нечеловѣческом порядкѣ. По галереѣ быстро прошел человѣкъ в не-военном мундирѣ, с открытым воротником. Глаза у него горѣли, лицо было вдохновенное. — «О, пародія на Цезаря!» — с удивившей его самой ненавнью подумал фельдмар-

шал, — «вот то малое, гаденькое, ничтожное, что в воображеніи людей погубит настоящее и большое!»

Двери затворились так же неестественно. Послышался голос, э т о т голос, теперь извѣстный каждому человѣку в мірѣ. «Значит, мнѣ ждѣть еще, по меньшей мѣрѣ, полчаса!» — сказал себѣ фельдмаршал. К нему подходил человѣкъ с кривой улыбочкой. По его виду было ясно, что произошло нѣчто неприятное: неприятное не для него самого. «Какая однако гнусная фигура, выдѣляется даже здѣсь»... Остановившись в дверях, человѣкъ с улыбочкой вынул спички и стал неторопливо закуривать папиросу. Первая спичка потухла. Он оглянулся, разыскивая пепельницу, сунул спичку назад в коробочку, зажег вторую и закурил.

— Фюрер не любит, чтобы тут курили, — сказал он ласково, — но вѣдь окна отворены... Фюрер приказал передать вашему превосходительству... — Он втянул и выпустил дым. — Приказал передать вашему превосходительству, что не может принять ваше превосходительство... Фюрер занят в а ж н ы м и дѣлами. — Эти слова он прибавил от себя. — Фюрер также просит ваше превосходительство выѣхать по мѣсту службы вашего превосходительства... По возможности, немедленно, — тоже от себя вставил он.

Челюсть шевельнулась во рту у фельдмаршала. Он вспыхнул, хотѣл было что-то сказать, но не нашел нужных слов. Он простоял с минуту неподвижно (потом об этой минутѣ сожалѣл так, что лицо дергалось при воспоминаніи). Повернувшись на каблуках, он пошел к выходу, не сказав ни слова. В ту же секунду он почувствовал, что больше всего в мірѣ ненавидит маляра со смѣшной фамиліей, с фальшиво-вдохновенным лицом, в не-военном мундирѣ, полсѣрый сюртук Наполеона. И сколько бы Шиккельгрубер ни сдѣлал для арміи, для славы, для Германіи, — мысль должна работать только для одной цѣли: чтобы преждевременное не стало поздним. «Фюрер, объявляю вас а р е с т о в а н н ы м »...

Человѣчек с кривой улыбочкой уже не обращал вниманія

на фельдмаршала или дѣлал вид, что не обращает. — «Экое дурачьё! Чего они орут? Фюрер и не думает выступать сегодня. Так всегда: распускают какіе-нибудь идиотскіе слухи и вѣрят», — сказал он кому-то из людей, вошедших за ним в приемную. Выйдя на балкон, он высоко поднял руку. За окном пронесся радостный гул, перешедшій в долгій адскій рев. Затѣм снова послышалось пѣніе:

Führer, Führer, sei so nett,
Zeige Dich am Fensterbrett.

Іюль—Август 1941.

ГРЕТА И ТАНК

Он был грозный эссеист, собиравшійся стать великим романистом, — опасная порода людей. В журналах и газетах крайне радикальнаго направленія часто — по мнѣнію многих слишком часто — появлялись его статьи, обычно заключавшія в себѣ разносы. Работал он легко и в два-три часа разносил книгу, стоившую ея автору нѣскольких лѣт труда. Не было, кажется, в мірѣ знаменитаго писателя, которому он не об'яснял бы, как слѣдует писать. Разсчет был правилен: его тон создал ему немалую репутацию. В газетах его называли «мэтром», и он читал это с тѣм же примѣрно удовольствіем, какое испытывает ветеринар, когда вѣжливые или нуждающіеся в нем люди называют его доктором. Кромѣ литературно-критических статей, он писал общіе этюды — так, ни о чем в частности, — называл их философскими. Писал и чисто-политическія статьи, чрезвычайно суровыя в отношеніи капиталистическаго міра. Он иронически обсуждал ошибки президента Рузвельта и снисходительно трепал по плечу Уинстона Черчилля, — от этого легкомысленнаго сорванца чего уж требовать? Когда же в одном из тѣх, весьма разнообразных, «кругов», в которых он, по принятому, но непонятному выраженію, в р а щ а л с я, заходила рѣчь о политикѣ большевиков, эссеист обычно молчал с легкой усмѣшкой и лишь

изрѣдка небрежно б р о с а л : «все это совершенно невѣрно», ясно показывая интонаціей и выраженіем лица, что, еслибы он мог и хотѣл подѣлиться с собесѣдниками извѣстными ему тайнами, то они не несли бы такого вздора и сами его постыдились бы. Он был членом многих культурно-политических обществ и виднѣйшим дѣятелем Общества Друзей СССР.

В среднем он наставлял мір три раза в мѣсяц. У него были большія связи в свѣтских, литературных и политических кругах разных стран. Немалое, унаслѣдованное от отца-биржевика, состояніе очень способствовало его связям. Он много путешествовал, во время путешествій писал изящные путевые очерки, пестрѣвшіе рѣдкими и звучными именами старых итальянских или испанских архитекторов, художников, скульпторов, вродѣ Арнольфо ди Лапо, Симоне ди Крочифисси, Хацинто Жеронимо де Эспиноза, Хуан Руис де Кастанеда. Враги его, читая, пожимали плечами и говорили: «Графоман!» В свободное время он понемногу подготовлял матеріалы для большого художественнаго произведенія, которое должно было, наконец, показать міру, что такое настоящая литература. Об этом подготовляющемся *opus magnum* уже неоднократно появлялись многообѣщающія замѣтки в литературной хроникѣ газет: он громил прославленных писателей, но всегда старательно поддерживал добрыя отношенія с хроникерами.

Он считался идейным человѣком и был бы искренне изумлен, еслибы кто-либо высказал предположеніе, что ничего идейнаго в нем нѣтъ, что душа у него насквозь проплеванная, притом от природы, что он просто прохвост, сам того не замѣчающій: как большинство людей он был почти лишен способности оглядываться на себя, на свои поступки и на настоящія причины своих поступков. С этим свойством трудно стать романистом, и роман его был бы во всяком случаѣ лишь поддѣлкой под искусство. Но к поддѣлкам он привык, глаз у него был наметанный, и, возможно, ему удалось бы написать роман, который был бы ничѣм не

хуже сотен других романов, появляющихся во всѣх странах міра и порою имѣющих большой успѣх. Для этой книги (ея сюжет еще был почти не намѣчен) эссеист, по собственному выраженію, «коллекціонировал человѣческіе документы».

Как коллекціонер человѣческих документов, он, находясь проездом в одной из небольших европейских столиц, и познакомился с Гретой. Ему было извѣстно, что именно Грета отравила человѣка, кое-гдѣ извѣстнаго под кличкой «Танка». Это убійство, совершенное в 1936 году при загадочных обстоятельствах, не вызвало шума в мірѣ. Обѣ борющіяся стороны, Г.П.У. и Гестапо, были тогда одинаково мало заинтересованы в том, чтобы оно вызвало шум, а мѣстные слѣдственные власти и полиція охотно избавились от дѣла, которое ничего кромѣ политических неприятностей не сулило. К тому же, факт насильственной смерти доказан не был. Однако кое-кто из близких друзей Союза знал, что организатором убійства был человѣк с кличкой Шеф, а исполнительницей — Грета. Эссеист слышал об этом от одного из второстепенных участников. Этот участник вообще болтлив не был, — болтливые люди к подобным дѣлам не привлекаются, — но за бутылкой вина иногда говорил лишнее. Благодаря вину и врожденной человѣческой потребности в хвастовствѣ, совершенных тайн не бывает и в нынѣшнем темном, очень темном мірѣ.

В числѣ многих кругов, в которых эссеист вращался, были и круги весьма вліятельные: там его цѣнили как человѣка богатаго и идейнаго, — богатство еще увеличивало его идейность: он вѣдь был другом Союза, отмѣнившего частную собственность (правда, своей частной собственности он не отмѣнил). Благодаря своим связям, эссеист однажды имѣл возможность оказать Шефу услугу. Он был с ним знаком и даже знал его настоящую фамилію. Подлиннаго имени Танка эссеист не знал. Ему было лишь извѣстно, что Танк не нѣмец, что это бывший офицер какой-то иностранной арміи, почему-то поступившій на службу Гестапо и получившій странное

прозвище за свою необычайную физическую силу и размеры. Что до Греты, то так прозвал ее сам эссеист: при первом же знакомствѣ она показалась ему похожей на Грету Гарбо. Он тотчас ей это сказал, — какія же лучшія слова можно, для установленія хороших отношеній, сказать молодой дамѣ, будь она хотя бы и архи-коммунисткой?

— Мнѣ это уже не раз говорили, — отвѣтила она, засмѣявшись. Смѣх у нея был не совсѣм пріятный. В голосѣ у нея были не три октавы, как у Малибран, а как будто лишь три ноты.

— Но вы еще демоничнѣе, чѣм Грета, — сказал он, тоже смѣясь. — Не скрою от вас, ваша біографія мнѣ не совсѣм незнакома.

Он хотѣл дать ей понять, что ему извѣстна ея роль в убійствѣ Танка. Она ничего не отвѣтила. Только уголок рта у нея чуть шевельнулся, — «совсѣм как у Греты!» — подумал эссеист. Ему показалось также, что «в ея стеклянных глазах промелькнул ужас». Однако, быть может, ея глаза не показались бы ему стеклянными и, быть может, он не замѣтил бы в них ужаса, еслибы не знал, что она отравила человѣка.

Они заговорили о другом. Как женщина она его не волновала; ему не нравились женщины этого типа. «Не отрицаю, она красива... Для моего романа нельзя подыскать героиню лучше», — сказал он себѣ и радостно подумал, что борьба Г.П.У. с Гестапо могла бы дать превосходный сюжет. «Все, кажется, уже использовано в литературѣ, кромѣ этого! Надо будет показать, что только идиоты или мерзавцы могут находить что-либо общее в этих двух организациях: общее между идеалистами и гангстерами!» Он тут же рѣшил, что так или иначе добьется «исповѣди» Греты: ему исповѣдывалось столько женщин! «Занимается ли она и сейчас этим ремеслом? Казалось бы, в этой благословенной провинціи им заниматься трудно... Да, она красива. Но в ней есть нѣчто змѣнное»...

Он вдруг вспомнил, что очень давно, когда ему было лѣтъ восемнадцать, в его родной городок пріѣхала бродячая труппа, показывавшая, вмѣстѣ с другими зрѣлищами, «женщи-

нѹ с удавом». Мрачная брюнетка совершала разныя движенія на эстадѣ балагана, при чемъ вокругъ ея тѣла обвивалась громадная змѣя. Брюнетка была молода, недурна собой и вполнѣ доступна; тѣмъ не менѣе никакого успѣха у веселящихся мужчинъ она не имѣла. «Неуютно: вдругъ изъ подъ дивана выползетъ этотъ проклятый удав!» — такъ кто-то выразилъ общее чувство. Это воспоминаніе очень его позабавило.

— Я знаю, что вы писатель, — сказала Грета, медленно скинувъ на него глаза, — но ничего вашего я не читала. И даже не знаю, о чемъ вы пишете.

— Вѣроятно, вы не очень интересуетесь литературой? — спросилъ онъ сухо и подѣлился съ нею воспоминаніемъ о женщинѣ с удавомъ. Хотя онъ придалъ воспоминанію другую, скорѣе лестную, форму, Гретѣ оно не понравилось. Она «смѣрила его взглядомъ», какъ на экранѣ разорившаяся княгиня, ставшая манекеншей в модномъ магазинѣ, мѣритъ взглядомъ человѣка, принявшаго ее за настоящую манекеншу. «Положительно, в ея жизни кинематографъ сыгралъ большую роль. По кинематографу, надо думать, живетъ немало женщинъ ея профессіи», — подумалъ онъ. Ему пришло в голову, что слова «Женщина с удавомъ» могли бы быть хорошимъ заглавіемъ для романа. Онъ, впрочемъ, жестоко разбранилъ бы за пошлость всякаго другого романиста, который выпустилъ бы книгу подъ такимъ заглавіемъ.

На слѣдующій день онъ послалъ ей тщательно подобранный букетъ. Тутъ были орхидеи, что-то красное, что-то черное, — все это могло имѣть сложный символическій смыслъ. Онъ отлично зналъ языкъ цвѣтовъ; дамы, у которыхъ эссенстъ обѣдалъ в теченіе года, долго обсуждали и толковали составъ его новогоднихъ и другихъ букетовъ. Все же п о д о б н о й дамѣ онъ еще никогда в жизни цвѣтовъ не посылалъ. Она отвѣтила ему запиской; в ней были двѣ орфографическія ошибки, но в остальномъ записка была такая, какую могла бы написать обыкновенная свѣтская женщина.

Они встрѣтились снова и на этотъ разъ разговаривали долго. Ей было извѣстно, что къ нему относятся с довѣріемъ.

Он был два раза в Москвѣ и небрежно рассказывал, немного преувеличивая, о своей дружбѣ с московскими сановниками. Она слушала внимательно. Говорили и о многом другом. Уровень ея образованія был ему неясен. Его удивило то, что она порою впадала в грубовато-циничнѣйшій тон, почти в тон женщины легкаго поведенія. Но в этих случаях было ясно, что это дѣлается как бы в кавычках: «вот как можно было бы сказать на языкѣ кокоток — и почему же не сказать?» Это не мѣшало ей вполне прилично поддерживать и разговор интеллигентскій. Она даже вставляла, впрочем рѣдко, ученныя слова, с интонаціей: «ну что-ж, могу говорить и так, знаю и это»... Тон ея вообще мѣнялся, словно Грета то забывала, что она роковая женщина, то спохватывалась. Еслибы не ея непріятный голос, он был бы вполне ею доволен. Вторая беседа очень подвинула его дѣло: теперь он был почти увѣрен, что в подходящей обстановкѣ, при достаточном количествѣ вина, добьется ея исповѣди. Прощаясь, он предложил на слѣдующій день покататься в автомобилѣ по окрестностям города, — «говорят, здѣсь очаровательныя окрестности!» — а затѣм вмѣстѣ пообѣдать. Она опять вскинула на него глаза и засмѣялась. Ея лицо вдруг перемѣнилось, плечи сузились, фигура стала дряблой, голова склонилась вперед и на бок.

— «Говорят, здѣсь очаровательныя окрестности!» — сказала она. Эссеист остолбенѣл. Он почти не замѣчал своего говора, интонацій, манер, однако почувствовал разительное сходство.

— Я не знал, что у вас дар имитациі, — холодно сказал он.

— Надо же и мнѣ имѣть какой-нибудь дар. Кататься я с вами не поѣду.

— Почему же?

— Не поѣду. Меня укачивает в автомобилѣ. И я не так люблю природу. Да и окрестности тут не такія уж очаровательныя: озеро, роша, все, что есть вездѣ. А пообѣдать с

вами я рада... Разумѣется, в отдѣльном кабинетѣ? — с неприятной, злой усмѣшкой спросила она.

— Да, я предпочел бы, если вы позволите... Что может быть лучше атмосферы интимной бесѣды с женщиной, которая... — начал он. Она его перебила.

— Здѣсь есть отличный ресторан с отдѣльными кабинетами, но это обойдется вам дорого. — Он вспыхнул. — Впрочем, у вас много денег.

— Как прїѣзжій, я тут ничего не знаю. Пожалуйста, выберите сами мѣсто...

— Я выберу, — сказала она и залилась смѣхом роковой женщины кинематографа.

Отдѣльный кабинет (тоже принятое и непонятое слово) был не совсѣм такой, как кабинеты первоклассных ресторанов в больших столицах. В нем эссеисту понравилась старомодная, уютная провинціальная солидность. «Есть тут что-то благодушно-буржуазное, это комната не для кутежей, а для небольших юбилейных обѣдов. Сколько тостов, вѣрно, здѣсь произносилось по случаю 25-лѣтія безпорочной службы глубокоуважаемого юбиляра», — подумал он. У стола стояло лишь два тяжелых кожаных стула. Остальные были разставлены по стѣнам. Только широкой диван мог имѣть не юбилейное назначеніе. Входили в кабинет через небольшую переднюю с огромным зеркалом.

Он вслух, в вопросительной формѣ, читал поданное лакеем меню, вставляя свои гастрономическія соображенія.

— Нѣтъ, супа я не хочу. Закуску... И рыбу, — сказала она, раскрыв переплетенную карту вин.

— Вы начнете с коктэйля? Я предпочитаю классическій херес наших отцов.

— Я предпочитаю водку. У них есть русская водка. К рыбѣ Chablis, к мясу Château Margaux. Потом шампанское.

— Превосходно. Вполнѣ одобряю, — замѣтил эссеист, впрочем не совсѣм довольный. В его планы входило подпить ее, и скуп он не был; однако ему показалось, что она зака-

зала слишком много вина. «Неужели она алкоголичка? Собственно, ей полагалось бы быть морфинисткой или эфироманкой».

Когда выпито было достаточно, он, послѣ осторожных подготовительных разговоров, особенно прочувствованным тоном попросил ее рассказать о дѣлѣ Танка. Разумѣется, слова «убійство» он не произнес.

— Вы знаете, что я друг и что мнѣ можно рассказать в с е .

— Зачѣм? Не понимаю, — сказала она, подливая себѣ вина. — Вѣдь об этом писать в газетах, разумѣется, невозможно. — Она нервно передвинула с лѣвой стороны на правую лежавшую перед ней красную, под цвѣт перчаток, вечернюю сумку.

— Я не газетчик, — обиженно отвѣтил он. — Вы, надѣюсь, не предполагаете, что я хочу вас использовать для интервью? И я достаточно отвѣтственный человек, чтобы понимать, что можно и чего нельзя печатать.

— Зачѣм же это вам нужно?

— Все, что вас касается, интересует меня. Мы, писатели, теперь выполняем роль священников. Вѣдь в идеѣ исповѣди есть глубокий психологическій и моральный смысл..

Она засмѣялась.

— Исповѣдываться я не собираюсь. Ни священникам, ни вам. А бояться мнѣ нечего: ни малѣйших улик. Ну, что-ж, если хотите, спрашивайте.

— Благодарю вас от всей души за этот знак довѣрія, — сказал он и прикоснулся к ея рукѣ в доказательство того, как он тронут. — Итак, я буду спрашивать. Вам поручил сдѣлать это Шеф? Я с ним знаком, вѣдь я от него узнал о вашем участіи в этом дѣлѣ, — соврал он, чтобы разсѣять в ней остатки осторожности. — Но я не знаю его близко. Что он за человек?

— Что за человек Шеф? — переспросила она удивленно. — Так вы не знаете, что он за человек? — Она засмѣялась. — У нас впрочем этим не интересуются. Дѣлай свое дѣло

исправно, это все что требуется. Он свое дѣло знает... Что за человек Шеф! — повторила она и снова засмѣялась. — Что-ж, вы его встрѣчали, значит знаете, что он большой шутник. Шеф обо всем всегда говорит шутливо, он иначе и не умѣет разговаривать. У него выработался какой-то шутковской стиль... — «Она его ненавидит», — сдѣлал нетрудное заключеніе эссеист. Ея лицо опять совершенно измѣнилось. Эссеист ахнул: перед ним был Шеф, со своей сладенькой улыбочкой и бѣгающими злыми жестокими глазками. — «Милая, прелесть», — сказала она, с необыкновенным искусством воспроизводя голос и интонаціи Шефа, — «да это просто, это чрезвычайно просто. Вѣдь Танк — пьяница, и это наш главный шанс. Пьяницы, дорогая, бывают разные. Одни веселѣют от вина и становятся разговорчивы, он, к несчастью, не таков. Другіе от вина становятся злы и пронизательны, он, к счастью, и не из этих. Третьи просто тупѣют. Таков Танк»...

— Как вы изумительно ему подражаете! Но, простите меня, я вас перебиваю: он именно э т о говорил или вы просто воспроизводите его манеру рѣчи?

— Он это говорил, — сказала она, помолчав.

— Умоляю вас, продолжайте! Что же он сказал?

— Что сказал? Велѣл его отравить. Только и всего.

— «Велѣл его отравить», — повторил эссеист и остановился: так странно было слышать такія слова, особенно за ужином, в этой уютной комнатѣ. Ни ужаса, ни отвращенія он испытывать не мог: наше время — эпоха великих социальных потрясеній, человечество переходит к лучшему будущему, и было бы глупо подходить к явлениям и к людям со старыми моральными мѣрилами. Правда, примѣнял он этот принцип лишь односторонне; но, когда при нем ограниченные люди без исторического масштаба говорили о преступлениях большевиков, его л е г к а я у с м ѣ ш к а становилась особенно пренебрежительной: кто будет вспоминать через пятьдесят лѣт о таких пустяках! — Шеф, вѣроятно, и выработал план? Или вы?

— Он. Да собственно и плана не было. Шеф велѣл мнѣ пообѣдать с ним и подлить ему снадобья. Только и всего.

— Он и дал вам это снадобье?

— Ну да, он. А то кто же?

— Что это было? Стрихнин? Стрихнин дѣйствует отлично, — сказал эссеист самым обыкновенным тоном, как будто он сам много раз отравлял людей стрихнином. «Я впадаю в тон Шефа», — подумал он, дивясь этому странному разговору и восторгаясь им, как кладом для романа. — Или, может быть, синильная кислота?

— Не знаю, что это было. Нѣтъ, не стрихнин и не кислота. Это было что-то медленно дѣйствующее.

— Быть может, бактеріи? Впрочем, это не существенно... Вы согласились сразу или у вас были колебанія? Что вы испытывали?

— Страх.

— Страх и вы! Я не вѣрю.

— Можете вѣрить... Вы видѣли когда-нибудь Танка?

— Помилуйте! Гдѣ же я мог его видѣть!

— То-то. Это был очень страшный человек. Мы всѣ его боялись, мы считали его опаснѣйшим врагом. Шеф говорил, что за Танком значатся десятки самых ужасных дѣл. Он собственноручно душил людей. Они и взяли его в Гестапо за его чудовищную физическую силу. Сила очень полезная вещь в жизни вообще, а особенно в нашем дѣлѣ... В нх дѣлѣ, — поправилась она. — Еслибы он был так силен при обыкновенном ростѣ, он был бы для Гестапо кладом. Но Танк был настоящій колосс, его фигура бросалась в глаза и запоминалась. Такому великану трудно заниматься конспираціей. Вѣдь рост, да еще глаза, это единственное, чего нельзя измѣнить в наружности человека. По мнѣнію Шефа, они взяли его на службу из спортивнаго увлеченія. Да еще потому, что им лестно имѣть на службѣ иностранцев: им очень завидно, что у нас в Г.П.У. служат лица всѣх національностей, а у них почти исключительно нѣмцы.

— Почему же он пошел к ним на службу? — спросил

эссеист. Хотя он хорошо знал, гдѣ она служит, слова «у нас в Г.П.У.» своей необычностью тоже немного щекотали нервы.

— Вѣроятно, для денег, — отвѣтила Грета и зѣвнула.
— Впрочем, нѣт... Не знаю.

— Ради Бога, продолжайте!.. Ваше знакомство с Танком произошло случайно?

— Разумѣется, нѣт. Шеф велѣл мнѣ с ним познакомиться. Танк ежедневно в три часа бывал в одной здѣшной кофейнѣ, гдѣ собираются женщины. Он знал, что за ним слѣдят, и в публичных мѣстах появлялся только днем... Он очень любил женщин. В три часа их в кофейнях еще мало. Я с ним и познакомилась. На второй день он пригласил меня пообѣдать с ним.

— И что же?

— И ничего. И я его отравила.

Оба замолчали. «Да, живет и даже говорит по кинематографу», — думал эссеист, не зная, что сказать: надо было сказать что-либо глубокое и тонкое. В дверь постучали. В передней, отразившись в большом зеркалѣ, показался лакей. Он почтительно спросил, не будет ли приказаній, и вышел, затворив за собой дверь.

— Так вы говорите, что вам было страшно? — спросил эссеист, снова взяв ее за руку, чтобы создать большую интимность. Она опять нервно передвинула сумку. Пальцы у нея немного дрожали.

— А вам не было бы?... Наканунѣ Шеф сказал мнѣ: «Дорогая, ваша безопасность обезпечена на всѣ сто процентов. Взгляните на эту штучку: ни цвѣта, ни запаха, ни вкуса. Подлейте ему малость и будьте совершенно спокойны: он умрет не скоро и, конечно, не в ресторанѣ. Вы проститесь и уйдете куда хотите, — я буду счастлив, если в мои об'ятыя. Ни малѣйших подозрѣній против вас не будет и быть не может. Ваш паспорт так же надежен, как паспорт англійской королевы. Любое страховое общество, зная всѣ обстоятельства дѣла, застраховало бы вас за гроши. Однако при одном условіи, имѣйте это в виду: при том условіи, что у Танка

не возникнет подозрѣній. Если же они возникнут, если он что-нибудь замѣтит, то извините, безцѣнная, он возьмет вас за шейку, вот так, и подержит, недолго, совѣм недолго, минуты двѣ или три, послѣ чего на свѣтъ будет одной очаровательной женщиной меньше»... — Она поблѣднѣла, засмѣялась и выпила залпом бокал шампанскаго. — Он всегда так говорит, Шеф. При этом он взял меня «за шейку», со своей улыбочкой, помните? Какая у него улыбочка, а? Хитрая? Да, и хитрая, дьявольская, вѣдь он чорт! — сказала она убѣжденно, точно констатируя обыкновенный факт. — Но и сумасшедшая! Он тоже сумасшедшій, как мы всѣ. Даже он! В нашем дѣлѣ без этого нельзя.

— Отчего же нельзя? — спросил эссеист и сам признал, что этот вопрос нельзя считать особенно глубоким и тонким. — Вы ему нравились?

— Шефу? Он зачѣм-то дѣлал вид, будто я ему нравлюсь. В дѣйствительности он был ко мнѣ вполне равнодушен. Вот как вы! У него и руки холодныя как у вас. — Эссеист отдернул руку, он был неприятно озадачен. — Что вы хотите знать еще?

— Всѣ подробности дѣла. Вѣдь мнѣ приходится из вас их вытягивать как клещами... Что было на обѣдѣ? Танк много пил?

— Очень много пил и ѣл. За икрой и селедкой он выпил полбутылки водки. К рыбѣ пил Chablis, к жаркому Château Margaux, потом шампанское.

— То же самое, что заказали вы! — сказал эссеист с еще болѣе неприятным чувством. — Вы помогали ему пить?

— Дѣлала вид, будто помогаю. Чтобы у него не было подозрѣній. Впрочем нѣсколько рюмок выпила. Вино тоже пила... Довольно много.

Ваше снадобье вы подлили в вино?

Нѣт, позже. В коньяк.

Чего же вы ждали?

Надо было подождать конца... Послѣ шампанскаго было то, для чего он меня пригласил, — сказала она тѣм-же

грубым тоном, каким накануне сказала: «это обойдется вам дорого». Но на этот раз она не засмѣялась. Лицо ея стало мертвенно блѣдно. Эссеист смущенно раскуривал папиросу. — Сама не знаю, зачѣм я вам это рассказываю.

— Вы отлично знаете, что я друг. Друг и партіи, и вас лично, — сказал он, уже не считая нужным говорить о глубоко психологическом и моральном смыслѣ исповѣди. — Шеф мнѣ довѣрял и не такія вещи, — снова соврал он. Она, не отвѣчая, подлила себѣ вина, котораго уже оставалось немного. Эссеист с неудовольствіем подумал, что придется, пожалуй, заказать еще полбутылки.

— Танк был очень несчастный человекъ, — вдруг тихо сказала она. Он взглянул на нее изумленно.

— Несчастный?

— Очень. Он мнѣ рассказывал свою жизнь. Я не знаю, для чего он пошел к ним на службу. Вѣдь он был не нѣмец. Он мнѣ говорил что-то о мести общим врагам... Не знаю.

И вы его пожалѣли?

— Да.

— А пожалѣв, подлили ему яда? — спросил эссеист и засмѣялся. Эта черточка была очень цѣнна для его романа.

— А пожалѣв, подлила ему яда, — равнодушно подтвердила она. — Впрочем, вы ничего не понимаете. Прекратим этот разговор.

— Нѣтъ, умоляю вас! Простите меня, я обмолвился... Как же вам удалось подлить ему яд? Вѣдь это удастся только на сценѣ; там жертва отворачивается как раз в нужную минуту.

— Я думала об этом весь вечер... Я только об этом и думала два послѣдних дня. Я у себя дома раз десять прорепетировала это перед часами: вынуть пузырек из сумки, откупорить, вылить жидкость в его стакан и спрятать пузырек в сумку, четыре движенія... Дома у меня на это уходило от тридцати до пятидесяти секунд, всякій раз иначе. Но гдѣ же было взять эти секунды? Дама разговаривает с мужчиной, почему же в самом дѣлѣ мужчине отворачиваться в сторону? Он не отвернулся ни разу... Я думала, что сойду с ума!

сказала она измученным голосом. — Я и теперь не понимаю, как не сошла с ума... Впрочем, нѣтъ, я вру! Я все соображала. Может быть, я даже никогда в жизни не соображала так быстро, как в тот вечер.

— И что же? Как же это вышло? — с жадным любопытством спросил он.

— Очень просто. Само собой вышло... Послѣ этого он неловко засмѣялся и сказал мнѣ, что пойдет за счетом. («Ему она не подражает», — отмѣтил эссенст). Помню, я чуть было не сказала, что за счетом ходить не надо, можно позвонить. И тут же подумала, что я идиотка! Потом еще подумала, что упаду в обморок. «Сейчас или никогда!» Подумала, что это судьба... Я и теперь так думаю: еслибы он не вышел в уборную, он остался бы жив... Он вышел. У меня душа остановилась... Никакія слова этого не передадут... Он вышел. «Теперь или никогда, теперь или никогда», — говорю я себѣ. Помнится, я бормотала даже это вслух: «теперь или никогда». Я думала, что нельзя, нельзя отравить человѣка, с которым только что... который только что рассказывал вам свою жизнь. Думала, что надо что-нибудь сочинить для Шефа: напримѣр, что у Танка появились подозрѣнія, что Танк не сводил с меня глаз. И сама себѣ отвѣчаю, что Шеф никогда не повѣрит, что он примет против меня мѣры. Он на это намекал, а вы понимаете, что это значит, если он намекает!.. Вдруг оттуда послышался шум спущенной воды. Я схватила сумку, бросила ее, снова схватила, вынула пузырек и вылила в стакан... Он пил коньяк из стакана, круглый стакан, вот как этот... В эту секунду дверь отворилась... Видите то зеркало? Видите зеркало? — вскрикнула она. — Еслибы, когда он входил, он бросил взгляд в это зеркало, он «взял бы меня за шейку»! — сказала она, стараясь засмѣяться; у нея дернулась правая щека.

Эссенст, блѣднѣя, уставился на нее, высоко подняв брови.

— Как?... Я не понимаю... Развѣ... Развѣ это было здѣсь?

— Ну да. Здѣсь.

— Все-таки, на вашем мѣстѣ, знаете, я выбрал бы другой ресторан для нашего сегодняшнего обѣда! — сдерживая возмущенье, сказал он, и оглянулся по сторонам.

— Почему же? Вы можете написать в романѣ, что меня тянуло именно сюда. Кажется, так бывает со всѣми злодѣями, правда? Я гдѣ-то читала. — Она засмѣялась вчерашним кинематографическим смѣхом. Руки у нея тряслись. — Он, кстати сказать, сидѣл на том самом мѣстѣ, гдѣ сидите вы. Вѣроятно, на этом же стулѣ. Может быть, и стакан тот самый.

Эссенст встал, прошелся по комнатѣ, взглянул на диван, на зеркало. Оно отразило стол, бутылки, Грету с ея сѣрым сквозь румяна лицом и расширенными глазами истерички. Он вернулся к столу, хотѣл налить себѣ вина, в бутылкѣ почти ничего не оставалось. «Пожалуй, впрочем, лучше с ней не пить. Ну, что-ж, для человѣческаго документа все это весьма недурно»...

— Закажи коньяку, не будь скрягой, — сказала она, продолжая неестественно смѣяться. — И посмотри, не выползли ли из под дивана удав.

М. Алдянов.

Іюль—Август 1941.

СТИХОТВОРЕНІЯ

**
*

Чужой-ли музыкѣ учусь я,
Чужой ли пѣсни пью вино,
Мнѣ строгій лад славянских гуслей,
Любить с рожденья суждено.

Сверкнет-ли хлад вражды змѣиной,
Хлестнет-ли страсти острый жгут,
Лишь зовы Книги Голубиной,
Плѣняя сердце, душу жгут.

Свѣтили свѣты мнѣ иные...
Но гдѣ-то, в полудѣтском снѣ,
Звѣздой падучею, Россія,
Ты до сих пор сіяешь мнѣ...

Тобою с'измальства отравлен,
Среди людей я нелюдим...
Одной тобою озаглавлен
Мой каждый стих, мой каждый гимн.

И если Бог, любовью щедрой,
Простив, введет в блаженный рай,
Я попрошу вернуться в нѣдра
Твоей земли, о русскій край!

Поить собой твои растенья
И, растекаясь по листьям,
Отдать малиновые звенья
Моей крови, твоим цвѣтам.

Татіана Остроумова.

СЕНА

Хромой каштан, унылый и безлистый,
Смотрѣлся в золотыя струи вод.
(Рѣка текла, она еще течет...)
Коричневые пальцы букиниста
Поглаживали тусклый переплет.

Ревнивая любовь была и жалость
В тѣх узловатых, знающих руках,
И так внезапно книга раскрывалась
Пред юным покупателем в очках.

И комнатный, учено-блѣднолицый
Стоял он, нѣм, в пальто своем худом,
И сквозь туман, напитанный корицей,
Текли, текли легчайшія страницы,
Обрызганныя мартовским дождем!

В ЛЮКСЕМБУРГСКОМ САДУ

Чей-то смѣх сконфуженно-веселый,
Чьи-то плечи нѣжные, узки.
Тихо на латинскіе глаголы
Круглые ложатся лепестки,

Медленно, задумчиво, без цѣли
Падают в полуденной зарѣ,
Спит ребенок в розовом бездѣльи,
И мелькают крыши карусели
В солнечном волшебном фонарѣ.

ПАРИЖ

Кукольные мирты,
Столики гурьбою,
Улица жужжащая встала предо мной.
Кофе пахло спиртом,

Небо голубое
Управляло нѣжной, медленной весной.

И для попрошайек, женщин и поэтов
Пѣли на столбѣ веселые скворцы,
Улыбался воздух сонно-фіолетов,
И от вѣтра жмурились темные дворцы.

Не вмѣщался мір в груди. От счастья тѣсного
Так хотѣлось плакать в радостной тоскѣ,
От того, что в топотѣ города чудеснаго
К солнечной могилѣ Солдата Неизвѣстнаго
Шел провинціал в унылом сюртукѣ.

Софія Прегель.



Журчанье первых пчел
И цвѣт акацій бѣлый,
И знойный меж вѣтвей
Сквозной и бѣглый свѣт.
Но улица мертвѣй,
Чѣм улей опустѣлый,
Чѣм тот, кто не пришел,
Кого на свѣтѣ нѣт.

Чѣм тусклый этот серп
И узкаго костела
Постылый силуэт
Над каменной тшетой;
Чѣм тѣнн этих верб,
Худых и полуголых,
Скользящих в сумрак лѣт
Сквозь хриплый голос твой.

... Как долго ты тогда
Ждала и все гадала:
Придет иль не придет,
Волнуясь и смѣясь.
Как долго шли года,
Как страшно ты устала...
Потом, в какой то год,
В какой то грустный час...

И вот навѣкъ одна
На темном перекресткѣ.
Что можешь вспомнить ты
Из горестей своих?...
Все ночь, как ночь: без сна
И грязные подмостки,
И грозные мосты,
И грохот мостовых.

Уже давно замолк
Трамваев шум протяжный.
Не думай о судьбѣ —
Всѣ спят покойным сном.
Их сны не о тебѣ,
Печальной и продажной.
И заперт на замок
Уже послѣдній дом.

Тебя нельзя любить,
Ты смотришь слишком смѣло:
— Ну, что ж, он не пришел.
Его на свѣтѣ нѣтъ.
Тебя нельзя забыть,
Как цвѣт акаціи бѣлый,
Как пѣнье первых пчел,
Как вешній бѣглый свѣтъ...



Весна, а вечер пуст, и сквер еше прозрачен,
Еще ни жив, ни мертв от страха и любви.
— Не только счастья нѣтъ, но даже нѣтъ удачи...
Но мнѣ страшнѣе слов молчанія твои.

Ты видишь все: и грусть, и нѣжность в темном скверѣ,
И это все, как жизнь, ты странно перерос.
Иного не любя, не зная и не вѣря,
Ты смотришь в пустоту сквозь призраки берез...

Марія Толстая.

РОВЕСНИЦЪ

Ты не покинула родного края.
Закрыв глаза, я вижу: на юру
Стоишь, высокая, судьбы не замѣчая,
На выступѣ, над ручей, на вѣтру.

Сосна над озером! Ровесница, подружка,
Забыла ль ты, как в дѣтствѣ, по утрам,
Несчастливая упрямая кукушка
Любила жаловаться глупым нам?

Осенней ночью долго в непогоду
Гудит твоя смолистая тоска.
Проходит дождь, проходят дни и годы,
Ладонь усталая становится жестка.

На склонѣ гор, гдѣ вѣтер неумный,
Задумчивый и нежилой мой дом.
На склонѣ лѣтъ вернусь ли я, и вспомню,
И вспомню ли о счастье, обо всем?

Раздумье дни, как облака считает.
Пусть в даль долин спустилась синева.
Тот вѣтер жив, и вѣрно повторяет
Чужіе возгласы, что подчас долетают,
Чужія, но прекрасныя слова.

К. Франкфурт.

**
*

Как странно полиняли
Закаты и восходы,
Иначе мнѣ сіяли
Они в былые годы.

Как были нѣжно клейки,
Как были странно ярки
Трава у той скамейки,
Листва в Петровском Паркѣ,

Москва весной, в апрѣлѣ,
Гдѣ мы с тобой сидѣли,
Гдѣ мы с тобой смотрѣли,
Как в небѣ краски рдѣли!

*
**

Тот, кто видѣл мір сквозь слезы
Знает, как горят свѣтло
Феерическія розы
Сквозь их влажное стекло.

Как волшебен блеск павлиній,
Как лучист его алмаз
Через легкій, через синій
Через теплый иней глаз!

*
**

По тютчевскому la свой вывѣря стих,
(Как музыкант порой подносит скрипку к уху)
По Баратынскому, вникая в тайны их,
Мы знаем: трудно быть им близкими по духу.

Но если иногда с красивой простотой
Звучат наши стихи на нетяжелой лирѣ,
Мы отраженною, их лунной красотой
Обязаны тому, что они были в мирѣ.

Что голос тот глухой, глубокий не затих
С тѣх пор, как среди мхов и скал дубровы финской
Слова молитв своих, тяжелых и литых
Твердил впервые Баратынский.

И Тютчев из волшебнаго ковша
Пил ток ночной и звѣздной боли,
Чтоб звук, котораго уж болѣ
Не будет в мирѣ — издала душа.

Мих. Цетлин (Амари).

ЗЕМЛЯ РУССКАЯ

Нарубили мужички в лѣсу дрова, связали в вязанки и оставили до будущаго года сушиться. Отвязалось от одной вязанки полѣно, отвязалось от другой такое же, досочка изрядная, гладкая тут же оказалась: вскарабкалась, легла сверху тѣх полѣнец, — чѣм не саночки! — И полетѣли они по первопутку. И гдѣ не пролетят — снѣг с елочек так и валится, на землю звѣздами яркими сыплется. Косой только хотѣл на санки прыгнуть, прокатиться, да, видно, не рассчитал прыжка: перемахнул через них — и носом в сугроб зарылся. Большую лисаньку саночки подобрали, и повезли к самому лисьему лазарету, — там у ворот в снѣжок сбросили. Подождали, пока два лисьих санитаря ее на носилки не уложили, и дальше — по снѣжку, только полозья поблескивают.

Под санями не раз волк сѣрый сиживал, от охотника хвост хоронил. Дѣда-Мороза на елку возили, и хоть страсть как им хотѣлось, ни серебряной звѣздочки, ни карасей золотых бумажных с елки для себя не просили: знали, — все это для дѣток.

Повезли и весну, да в лѣсу ее кинули. Уж очень тяжела была: в одной рукѣ цѣлый мѣшочек рыжих веснушек несла, а в другой — солнечный луч, чтобы промерзлую землю буравить, и ключ алмазный — рѣки вскрывать; а в ногах сундучок полон граду трескучаго, птичек заморских цѣлая клетка, красок масляных, воляных большая коробка и ведерко и кисти новыя — лѣс красить, убирать. Из бересты лукошко полное писанок к Христову Празднику: много рябеньких, и в узорах затѣйливых, кукушкины сѣрыя и золотое птички невѣдомой. Ну, да всего что с собой весна привезла и не пересчитаешь.

Катят саночки, а как весна из лѣса вышла по полѣ прогуляться, то саночки рѣшили в телѣжку обернуться. Для того с'ѣздили в землю басурманскую, у самого султана на кузницѣ деньков пять простояли, пока отливали им колеса из чистаго серебра. А потом обратно — в землю русскую.

На ярмарку случайно прикатили. Остановились поглазѣть, ярмарочной сутолокой полюбоваться. Да так раззѣвались, что того сами не замѣтили, как один человек их украл. Три года они ему служили, пока по миру его не пустили, — не к добру, не к пользѣ краденое.

В первый год вез купец на них овес, да градом овес побило. Во второй год вез купец сѣно, — огонь от не смазаннаго колеса пошел, все сѣно сгорѣло. Только телѣжкѣ хоть бы что, — так и блестит как новенькая. На третій год вез купец на них продавать муку, — в воду телѣжка ее всю и перекинула. Как разорили купца, ушли, дальше покатили. И не то в пермскую, не то в тверскую губернію забрались.

В том году засуха была страшная. Колос на полѣ не подымется, вѣтер листом сухим не колыхнет. Шел попик по огненной от солнца землѣ, тряс жидкой бородкой, сѣренькой, козлинной, широко оловянным крестом махал слѣва направо, освящал поля. Дымно чадил ладаном отец дьякон, — в паникадилѣ угольки все никак не могли разгорѣться хоть сухость дикая!

Пѣвчіе только тьякали, больше не пѣли — в глотках пересохло. Хоругви на солнцѣ горѣли золотой путеводной звѣздой, а за ними черной голодной саранчей — толпа. А небо чистое — ни одной тучки.

Повстрѣчала телѣжка монашка в черной кругленькой скуфейкѣ на головѣ, сам бѣлехонькій, — как лунь бѣлый, с лица скромный, глаза в землю опущены. будто ищет чего. А в руках у него облако в три раза больше, чѣм он сам. Пожалѣла телѣжка монашка, вмѣстѣ с облачком на себя его усадила. Да как рванула, понеслась, — на ухабѣ глубоко нечаянно монашка с облаком и вывалила. Что тут стало! Гром грянул, молнія к небу взвилась, дождь из облака

так и полил. На дорогѣ в одну минуту воды стало по брюхо, мѣста, что по-ниже, залило, а в канавках вода так и булькает. Освѣжило землю, поднялись всходы, луга позеленѣли. Так и не узнала никогда телѣжка, что самого святого Илью везла, — у него, вишь, на небѣ колесница в починкѣ стояла. Вот Илья над людьми сжалился, выбрал в кладовой небесной облачко побольше, что на холодкѣ держал, и на землю сошел пѣшим. Благо телѣжку встрѣтил, а то без нея гром у него никак не получился бы.

С горки на горку летит телѣжка. В лѣсу темном очутилась, встрѣтила красную шапочку. Хотѣла от волка ее увезти, а потом раздумала: вѣдь и так в сказкѣ все хорошо кончается...

Хрюшкѣ как то в хлѣв зеленых скрипучих арбузов повезла — почему не помочь и твари!

Войны были — горе везла. Тряслось горе на телѣжкѣ, косточками человѣческими постукивало, землѣ не преданными, дождем мочеными. Ох, как тяжело земля под колесами вздыхала, кровью захлебываясь! По дорожкѣ тряской порастеряла их телѣжка, по землѣ их разсѣяло, память у оставшихся в живых вѣтер стер — слезы высушил.

Встрѣтила как то старушку древнюю, просила старушка довести ее до избышки, что в лѣсу стоит на курьих ножках. Не знала еще тогда телѣжка, что Баба-Яга это. А она подлая, нарочно телѣжку в лѣс к себѣ заманила. И как со двора уѣзжала, подкинула в нее мѣшок с бѣдой, — пусть, мол, по міру катается. И куда не поѣдет телѣжка, — там чего только бѣда не натворит! — В селѣ скотина мрет, в городах хворь идет, а в полѣ жучок такой черный заводится, — весь хлѣб с'ѣдает. Думала, думала телѣжка, как ей от бѣды избавиться, — рѣшила ее в овраг сбросить, да бѣда, видно, почувяла неладное, из мѣшка клещи выпростала и за обочья крѣпко уцѣпилась — не перекинешь. А то — того и гляди — сама дощечек своих не соберешь, не сосчитаешь... Хитростью хотѣла ее донять, — так по рытвинам начнет трясти, что у другого душа бы вон давно выскочила, а бѣдѣ хоть бы что:

только еще пуше ярится, хохочет, — занятно ей, вишь, — и телѣжку, значит, доняла. Наконец рѣшила телѣжка к вѣдьмѣ ѣхать. А вѣдьма в ту пору спать залегла, семь дней не ѣвшн. Стала телѣжка ей тут басни всякія рассказывать: про козлика сѣраго что волк у бабушки с'ѣл, про свинку что в хлѣвѣ весело чавкает да и о дѣтках злых и непослушных полный список вѣдьмѣ прочла, а мѣшок с бѣдой в это время Ягѣ под нос подсовывает.

А как начала телѣжка сказку про Аленушку, — какая она была из себя пухленькая да румяная, — не выдержала тут Яга, открыла рот, да мѣшок с бѣдой и проглотила. Да сама тоже не вынесла, бѣдой об'ѣвшись — велика бѣда на землѣ русской была — и околѣла.

Что тут было радости! Вербочки в полѣ прослезились и во второй раз, не дожидаясь весны, кудряшками расцвѣли. В полях — по лѣсу колокольчики синіе зазвенѣли на тысячу разных перезвонов-голосов. И летѣла телѣжка по высоко взошедшим хлѣбам, мимо скота на лугах мирно пасущегося, в города, гдѣ из каждой трубы густой дым валил. Мчалась телѣжка, отмѣряла время.

Высокими золотыми солнцами-подсолнухами в это лѣто качалась Русь. Из разорванных в клочья облаков жесткое желтое солнце хмурилось. На площадях, на заборах — галок цѣлое нашествіе. В полѣ, в лѣсу от них черно было.

«Не к добру», — хрипѣл юродивый с паперти, — «не к добру», и захлебывался собственной кровью, что лилась из разбитого кѣм-то лица, — «не к добру», и незамѣтно мелко крестясь, повторял в сотый раз в своем сердцѣ: Пугай нас, Господи, но не наказывай!

За повозкой вздымалась грозною тучей пыль и несло ее вѣтром по всей странѣ. Из под колес только скользкіе ужи на дорогах успѣвали в кольца свертываться. Лѣса на закатѣ полыхали ярким костром, красной мѣдью горѣли — расплавленным золотом. Из овса по ночам росли-подымались штыки: шли к границѣ. С бѣлками, вывороченными к небу, прино-

силы присягу — красной сплошной стѣной: око за око, зуб за зуб. И серебряный серп — мѣсяц над всѣм.

А телѣжка мчалась все дальше.

Как попала в пески зыбкіе, в болота непроходимыя дальше идти некуда. Глянула, видит: три русских богатыря ей навстрѣчу идут — меж свѣтлых березок, по кочкам русским-сѣрым. Очи у них широко открыты, на груди руки на крест не сложены; на высоких лбах вмѣсто шапок разстелился туман бѣлым саваном. Говорят богатыри: подняла нас из могилушек мать сыра земля — идти Русь спасать. Сколь ни свистали мы на четыре всѣ стороны да звали коней наших быстрых — ржанья их громкаго мы не услышали: только вѣтер унывно на полѣ ковыль подымал. На мечях наших вражья кровь еще не засохла — черным жадным псом в оврагѣ, воеет, птицей красной в морѣ плещется. И велют богатыри телѣжкѣ себя в самый град-Москву везти, чтоб родной землѣ еще раз послужить.

Не знала еще тогда телѣжка, что на землю русскую супостат идет. Глянула: небо чистое, ни тученьки на нем, птички поют, муравей соломинку тащит дом чинить, медвѣдиха одѣяло новое на зиму из полосатых листьев в охакѣ несет, зайцы солнечные по вѣткам прыгают, — тишь да гладь вокруг, только стук дятла необычным грозным эхом отдавался в лѣсу.

Уже не с ума ли спятили богатыри? — думает телѣжка, — аль сон им страшный про войну снится... К землѣ притулилася отдохнуть малость, прежде, чѣм назад летѣть. Прислушалась — и точно: из под земли сквозь свист-шипѣнье нечисти всякой раздавался звон колоколов, — но не тот радостный, что по землѣ разсыпался синими колокольчиками, а заунывно-погребальный...

Да не под силу стало телѣжкѣ под тяжестью мертвых богатырей. Досочка, что посрединѣ была переломилась. И пошли полѣнца врозь, каждое само по себѣ, звать живых богатырей святую Русь спасать.

Много на Руси богатырей, — почитай, каждое дерево.

Да как знать, кому под силу нести меч Ильи Муромца... Как увидѣли мужичка, на вид такого коряваго, с лица сѣренькаго, — дрогнули полѣнца, как в глаза ему глянули: гром в них гремѣл. И поняли тут полѣнца, что перед ними сам богатырь земли русской. В ноги ему поклонилися, меч Ильи Муромца ему дали. Молніей в рукѣ мужичка он блеснул. И пошел он им колоть и рубить, ворога мѣсить...

Н. Кодрянская.

ПЕРЕДЫШКА

На разсвѣтъ 7 декабря неожиданным ударом, как 38 лѣтъ тому назад в Порт-Артурѣ, Японія на Гаваи бросилась в бой с Соединенными Штатами и Британской Имперіей.

На другой день послѣдовало необычайное в исторіи войн заявленіе Берлина: на зимнее время германское командованіе приостанавливает активныя операціи на Восточном фронтѣ и брать Москвы до весны не собирается.

Фактически отступленіе германской арміи — отступленіе, которое дало возможность маршалам Тимошенко и Шапошникову одержать весьма значительныя тактическія успѣхи, — началось на двѣ недѣли раньше уходом из Ростова. Этот уход во времени почти совпал с началом сосредоточенія японских воздушных и морских сил вокруг Гаваи.

Таким образом внезапная — почти фантастическая — перемѣна на русско-германском фронтѣ не случайна, не вызвана мѣстной обстановкой, а является прямым слѣдствіем открытія тихо-океанскаго фронта.

Новая и послѣдняя ступень в развитіи нынѣшней войны — превращеніе ея из европейско-африканской в подлинно міровую, океанскую неизбежно продиктовало державам Оси новый стратегическій план, новое распределеніе сил и новое направленіе боевых дѣйствій. Уводя войска «на зимнія квартиры» в Россіи, германское командованіе, повидному, освобождает значительную часть своих армій для операцій на каком то новом направленіи — конечно, по соглашенію с Японіей.

Вся нынѣшняя война — война фантастики и парадоксов. Одним из таких парадоксов является несомнѣнный факт: вступленіе Японіи в войну и открытіе новаго океанскаго фронта дает полуразрушенной Россіи неожиданную чудесную п е р е д ы ш к у .

Передышка эта может превратиться в путь к спасенію, в путь к дѣйствительной побѣдѣ, но только при одном условіи: если Россія, не теряя ни минуты начнет внутреннюю возстановительную и преобразовательную работу.

Никогда еще наш долг, свободных русских людей, говорить правду о положеніи нашей родины, не был так обяза-

телен, как именно теперь, когда на нашем фронтѣ забрежжил какой то свѣтъ. Ибо положеніе страны остается невыразимо тяжким и для внутренняго военно-хозяйственнаго и психологическаго переоборудованія Россіи сроки даны краткіе.

В любую минуту может вспыхнуть пожар на нашем Дальнем Востокаѣ. И маневр германскаго командованія, которое очищает опустошенныя російскія пространства, отнюдь не отмѣняет цѣлей гитлеровскаго вторженія в Россію — ея расчлененія.

Значитъ борьба будет продолжаться до конца. Будет продолжаться, может быть, в условіях еще болѣе тяжких, чѣм раньше: на двух фронтах вмѣсто одного.

В началѣ вторженія Гитлера я вѣрил, что не три года, как это было в ту войну, а хотя бы три мѣсяца выдержит Красная армія германскій натиск на оборонительных рубежах, оградит промышленные центры, морскія базы и столичныя города от разгрома.

В это, повидимому, вѣрил и Сталин. В началѣ сентября, в интимном разговорѣ с личным представителем президента Рузвельта и Черчилля, Гарри Хопкинсом, он твердо сказал: «боевой фронт останется на Западѣ от Москвы». И г. Хопкинс, вернувшись в Лондон, не менѣе категорически заявил, что потеря Украины не разрушит обороноспособности Красной арміи, так как в распоряженіи СССР останется Донецкій бассейн, московскій промышленный район и т. д.

Однако, к концу третьяго мѣсяца всѣ оборонительныя рубежи были прорваны, и Красная армія, как наступательная сила, была сломлена. По существу цѣль, поставленная походу в СССР германским командованіем, была достигнута: германскій штаб вернул себѣ свободу рук для любых стратегических операцій.

Этот фактъ откровенно призналъ Уинстон Черчилль в своей рѣчи 30 сентября в Палатѣ Общин. « — Мы не знаем, — говорил он, — что теперь будет дѣлать Гитлер, — пойдет ли он дальше в глубь Россіи или удовлетворится захватом там громадных богатѣйших пространств, закрѣпится на достигнутых рубежах, повернется опять на Запад? И здѣсь мы не знаем направит ли он свои войска на ближній Восток, на Суэц, в Сѣверную Африку или, наконец, рѣшит сосредоточить всѣ свои силы для вторженія в Англию.»

Бывшій ближайшій сотрудник и даже друг Гитлера, Герман Раушнинг («Нью-Йорк Таймс» от 30 сентября), так же, как Черчилль, прежде всего признает, что Гитлер создал себѣ в Россіи «свободный тылъ» для любых

новых операций, ибо «наступательная сила русской армии сломлена». Но этого Гитлеру недостаточно, и никакого сепаратного мира он Иосифу Сталину предлагать не будет, ибо «пространства советской России, по плану Гитлера, являются основой для германской евро-азиатской континентальной империи». Вот почему — продолжает Раушнинг, — Гитлеру «совершенно необходимо было не только разрушить наступательную ударную силу русских, но гораздо больше — ему нужно уничтожить всякую сопротивляемость России и совершенно устранить со своего пути большевистский режим... Он бы что бы то ни стало должен разломать Россию на ее отдельные этнографические и географические составные части, прежде чем заключать мир в отдельности с каждым из этих обломков России».

Цель Германии — расчленение. Цель Японии по существу та же самая. Ее самое «скромное» требование: демилитаризация русского Дальнего Востока, т. е. переход Приморья и Забайкалья под протекторат Империи Микадо. Дело идет об уничтожении самой России, как имперского и сверх-национального единства.

Со времен монгольского ига никогда над существованием Русского народа не висела такая страшная угроза и никогда еще со Смутного Времени российское государство не находилось в такой внутренней слабости.

Мы здесь за китайской стеной всеческих цензур и почти ничего не знаем о России. Но все, что можно узнать из верных источников дает жуткую картину разрухи и страданий.

Тысячи тысяч наших братьев в самой России, в смертельной тревоге за страну, мучительно день и ночь думают над вопросом: что же дальше; где выход; как спасти то, что еще можно спасти?...

У нас, эмигрантов, есть только одно преимущество перед теми, кто остался по ту сторону советской границы: мы можем не только думать, мы можем еще свободно говорить и писать. И мы не можем, не смеем молчать, как бы ни пытались нас убедить в том, что всякое слово критики сейчас вредно и что нужно только кричать «ура» и утверждать «победу».

Пусть, как это было до сих пор, нашего голоса никто не услышит. Он должен быть слышен. Каждый должен взять сейчас на себя открыто всю ответственность перед Россией. Во имя успешной защиты ее, во имя сохранения наследия

наших предков мы всё — и властвующие и от власти страдающие, — должны поставить крест над вчерашним днем и соединить свои силы в борьбу, ибо, как бы ни кончилась мировая война, Россия будет другой.

Повторяем: борьба за сохранение самого физического бытия России не может прекратиться, а ждать в нынешних условиях помощи извне — нельзя. Новые силы и новые средства спаслись Россия может найти только внутри самой себя.

А чтобы найти новые пути, нужно прежде всего разобраться, где источник случившегося? Но источник этот мы найдем только в том случае, если посмотрим на то, что произошло и происходит, русскими глазами, не надвывая на них никаких иностранных очков.

**

Для западных врагов Гитлера и Германии оценка событий в СССР проста и ясна. По настоянию германского Генерального Штаба, Гитлер внезапно сдѣлал западным демократиям замѣчательный подарок: повернулся к ним тылом, послал свои панцирные дивизии в Россию и тѣм принудительно вернул Сталина в лагерь врагов Оси.

Того самого, чего перед началом войны 1939 года не могли добиться сами западные державы, добился для них Гитлер: открылся восточный фронт, «второй фронт», которого хотѣла избѣжать Германия; фронт, на котором выступила самая многочисленная и, по словам Ллойд Джорджа, болѣе могущественная, чѣм старая русская, новая Красная армія.

В ожидании русской побѣды Западу оставалось только — подсчитывать количество избиваемых немцев, уничтожаемых танков и самолетов, убыль германских запасов нефти и ждать, когда дѣло «великаго воина Сталина» додѣлает не менѣе знаменитый русский «генерал Мороз».

Впрочем, такое настроеніе продолжалось не особенно долго, так как вскорѣ Москва послала свой S.O.S. в Лондон. Пришлось все больше и больше задумываться над вопросом, как скорѣе и лучше придти на помощь России.

Совершенно естественно, что помогать России означает для иностранцев помогать в борьбу существующей там власти, какова бы она ни была. Но чѣм ярче проявляет эта власть волю к борьбу, тѣм легче в сознании иностранца Россия сливается с ея правительством, восторг перед героизмом русской арміи и народа неизбѣжно превращается в апофеоз «их

вождя». Вот почему из уст самых ответственных руководителей западного общественного мнения мы слышим все чаще возгласы: да здравствует Сталин, «гигантская воля котораго вдохновляет русских на осуществление самой беспощадной политики опустошения страны, какую только видѣл мир» (Гарвин в «Обсервер»).

Мы отлично понимаем, почему такія слова пишутся и говорятся. Но, все-таки... но все-таки, для русскаго человѣка они звучат кошунственно. Не Сталин внушил русскому человеку способность к безграничному самопожертвованію во имя родины — ею насыщена вся русская исторія, ею создана великая имперія.

По правдѣ сказать, иностранныя оцѣнки событій и людей в Россіи меня мало волнуют. Тревожно другое. Тревожно, что мы сами, в эмиграціи, привыкаем мѣрять Россію иностранным аршином и бродим по землѣ какими-то Иванами, своей собственной исторіи не помнящими. Одни утѣшают себя тѣм, что Гитлер в пять мѣсяцев не дошел до Москвы, другіе вспоминают, что нѣмцы уже были в Крыму и в Ростовѣ, третьи ищут утѣшительных сравненій в эпопеѣ 1812-го года, а от напоминанія о войнѣ 1914 года отмахиваются словами: — тогда у нѣмцев было два фронта!

Попробуем вспомнить «1812-ый» и «1914-ый». Тогда, может быть, год 1941-ый откроется нам в своем истинном и трагическом образѣ.



Почему в первые мѣсяцы вторженія Гитлера его жребій в Россіи представлялся наполеоновским? Это мало понятно. Как мы увидим дальше, в 1941 году германскій штаб взял в основаніе своих операций план Гинденбурга-Людендорфа, а совѣм не Бонапарта-Бертье. Вѣроятнѣе всего легенда о 1812 была подброшена общественному мнѣнію потому, что Гитлер начал свой поход почти в тот же день, что и Наполеон. Он так же устремился (правда, в числѣ прочих направлений) на Смоленскую дорогу. А извѣстно куда, в концѣ концов, эта дорога привела Наполеона. И тут сразу был пущен в ход весь желѣзный инвентарь атмосферических, так сказать, объясненій гибели «Гитлера 19-го вѣка».

Легенда о роли русских морозов, бездорожья, грязи и скифских качествах русских варваров, которые побѣждают врага самоуничтоженіем, создалась, главным образом, во Франціи в то время, когда культ Наполеона владѣл всей

прогрессивной Европой. Нужно было чѣм угодно об'яснить рѣшившее судьбу Наполеона поражение его в Россіи. Нельзя было признать только одного: в о е н н у ю н е у д а ч у Наполеона, т. е. умную стратегию русскаго командованія и высокое искусство маневрированія русской арміи, насыщенной еще традиціями Суворова.

Ни грязь, ни бездорожье, ни сожженіе Москвы, ни партизаны, ни даже исключительная доблесть русскаго воина не могли бы уничтожить военной мощи Наполеона, если бы его армія не была обезкровлена и фактически разбита 26 августа (7 сентября) на Бородинском полѣ.

В Москву, по вѣрному слову Толстого, ворвался 2/14 сентября еще живой и с виду страшный, но уже «смертельно раненый звѣрь». Партизанщина, которая развилась главным образом послѣ Бородина, и неожиданно ранніе морозы только добивали уже обезсиленнаго и разбитаго врага. Надо вспомнить, что наполеоновская армія выбралась из Москвы до морозов 7/19 октября и к 14-17 (26-29) ноября уже добѣжала до Березины, теряя в арьергардных боях послѣднія силы.

Отход же русских армій в началѣ кампаніи на Смоленск-Вязьму был продиктован не выдуманнми скифскими качествами русскаго народа, а весьма разумной, обязательной для всякаго образованнаго стратега, тактикой — не принимать боя с превосходными силами врага и сохранять умѣлым маневрированіем боеспособность арміи, истоящая в то же время врага, растягивая его коммуникации и тѣм достигая большаго равенства сил. Нужно вспомнить, что в началѣ кампаніи против 600.000-ной арміи вторженія русское командованіе имѣло в своем распоряженіи только 200.000. И еще раз: от 10-12 іюня до 7 октября, когда началась и закончилась по существу военная эпопея Наполеона в Россіи, там стояли жаркое лѣто и чудесная осень!

**

Теперь перейдем к эпопеѣ 1914 года. Этой эпопеѣ в совѣтской и иностранной печати не повезло — об ней ни слова, никаких сравненій. Что молчит Москва, это не удивительно, так как современному правящему Кремлю невозможно — по причинам всѣм понятным — напоминать о прошлой войнѣ. Удивительно, что на поводу у Москвы оказалась вся свободная западная печать. А между тѣм сравненіе 1914 с 1941 неизбѣжно напрашивается, даже дѣлается обязательным, потому что нынѣшній план кампаніи в СССР Браухича-Кейтеля

является, несомненно, повторением в усовершенствованном и расширенном виде плана кампании Гинденбурга-Людендорфа.

Для нас же, русских, сравнение 1914 и 1941 годов совершенно обязательно, если мы хотим не только восторгаться беспредельной жертвенностью российского воинства, но и понять причину безпримѣрнаго русского бѣдствія и в опытѣ прошлой войны зацѣпиться хотя бы за соломинку спасенія.

Спрашивается: почему то же самое, тѣми же приемами проводимое, одновременное наступление на петербургском, московском, кievском, черноморском направлениях, которое в пятимѣсячный срок было выполнено в 1941 году, к зимѣ 1915-го года было остановлено перед Ригой, Двинском, Минском, Сарнами, Ровно, Кременцом, Тарнополем, Каменец-Подольском и до самого большевистскаго переворота не могло продвигаться за эту линію (за исключеніем Риги)?

На этот вопрос я слышал уже негодующее возраженіе: вы забываете, что у Германіи было тогда «два фронта» и русскій считался «второстепенным»!

О второстепенности — потом. А два фронта у Германіи в первую мировую войну — факт совершенно безспорный. Но это совершенно не снимает моего вопроса по очень простой причинѣ: наша подготовка к войнѣ была рассчитана на существованіе второго французскаго фронта, а главное только весной 1914 года была принята Государственной Думой и Государственным Совѣтом большая военная программа и раньше, чѣм она начала осуществляться, Россія врасплох была захвачена войной. Весь же аппарат боя в СССР технически готовился и, по официальным заявленіям, был готов к единоборству с германской арміей. И затѣм совѣтское правительство продолжало в теченіе двух первых лѣтъ второй мировой войны накапливать боевую силу, в то время как Германія все же ее тратила.

А теперь вспомним войну 1914 года. Дѣйствія русской арміи еще раз показали тогда, из какой тяжелой трагической обстановки может выходить даже почти безоружная армія, когда войска, умѣющія умирать за свою родину, находятся в руках командованія, способнаго разрѣшать стратегическія и тактическія задачи.

Война 1914 года началась стремительным натиском на Францію. Германскій штаб, рассчитывая на медленность сроков русской мобилизаціи, торопился нанести сокрушительный удар по Парижу и, — разгромив Францію, гдѣ еще не было

серьезной вспомогательной британской силы, — обрушиться на восточный фронт. — «Я буду завтракать в Парижѣ и обѣдать в Петербургѣ», — мечтал об успѣхах своей молниеносной войны Вильгельм II. Марна. Нѣмцы у ворот Парижа. Мольбы Жоффра к великому князю Николаю Николаевичу. Не дождавшись конца мобилизаціи, имѣя только еще 60 процентов боевого состава войск, русское верховное командованіе, нарушая свой стратегическій план, ведет наступленіе в восточной Пруссіи. Триумф Гинденбурга у Танненберга, самоубійство генерала Самсонова и 170.000 потерь у русских — но Франція спасена.

В Галиціи, в Буковинѣ идет стремительное русское наступленіе. В Польшѣ германцы идут на Варшаву, прорываются на Вислу. Положеніе критическое. Мы несем страшныя потери. Через всю Россію к Варшавѣ мчатся сибирскіе стрѣлки. Полки третьяго сибирскаго корпуса идут в бой, прямо выскакивая с поѣздов. Варшава спасена. Германское наступленіе отбито.

Но тут начинается драма. В 1914 году русская армія технически, в противоположность арміи 1941, была во много раз слабѣе германской. У нас была безнадежная нехватка в тяжелой артиллеріи. Германскія дивизіи имѣли по 12 легких баттарей и по двѣ тяжелых каждая; мы — двѣ легких. На пушку приходилось недостаточное против германскаго огня количество снарядов — запасов не было. Не было достаточно винтовок. Авіація была в зачаточном состояніи. К концу кампаніи 1914 года русская армія осталась почти без снабженія. Под германским огнем полки таяли, особенно сильная убыль была в офицерском составѣ. Напримѣр, в 18-ой дивизіи, сообщает военный англійскій агент, тогда полковник Нокс, из 370 офицеров осталось 40. В батареях, под угрозой преданія суду, было запрещено дѣлать больше трех залпов в день. В своих мемуарах, отдавая должное русскому командованію, генерал Людендорф отмѣчает в войсках «совершенное презрѣніе к смерти».

Наступает 1915-ый год, год великаго, страшнаго и славнаго русскаго отступленія. 2 мая 1915 года начала свое движеніе на лѣвом галиційском флангѣ знаменитая ударная колонна Макензена. Русскіе окопы и русскія войска в точном смыслѣ слова заливались морем огня. От дивизіи, которая первой попала под германскій огонь, из 16.000 осталось... 500 человек; из 40.000 третьяго кавказскаго корпуса — 8.000. Вся третья армія генерала Ралко-Дмитріева, упорно отбиваясь, отступала, истекая кровью. Не было снарядов, не

было винтовок. Солдаты ждали очередного убитого или раненого, чтобы стрѣлять из его винтовки. В Польшѣ в августѣ пала Варшава и всѣ крѣпости. Польша была потеряна. За время великаго отступленія русская армія потеряла около 4 миллионов. За год, писал в это время в своих воспоминаніях А. А. Брусилов, «вся кадровая армія растаяла».

Пользуясь затишьем на Западном фронтѣ, германское командованіе, зная о безоружном состояніи нашей арміи, хотѣло во что бы то ни стало добиться окончательнаго рѣшенія на Восточном фронтѣ. Пустив в ход всю мощь своей боевой машины, оно стремилось разрѣзать на куски русскій фронт, отрѣзать арміи от тылов, загнать в мѣшки и раздавить. Но русская армія имѣла тогда не только офицеров и солдат, умѣвших героически гибнуть. Она еще имѣла, как в 1812 г., командованіе, среди котораго были замѣчательные стратеги и блестящіе тактики. Изнемогая в борьбѣ, отбиваясь от наступающаго врага и нанося ему жестокіе удары, русская армія к зимѣ 1915 года закончила блестяще стратегическое отступление и закрѣпилась на новой линіи фронта, который прорвать не могли нѣмцы вплоть до октябрьскаго переворота.



Больше того, весной 1916 года русскія арміи оказались заново вооруженными и Брусилов снова своим наступленіем в Галиціи сорвал осаду Вердена и спас Италію. Как же это случилось? Кто перевооружил русскую армію? Конечно, пришла нѣкоторая помощь из Соединенных Штатов и от союзников, но главная причина была в другом. Катастрофа в Галиціи, взятіе Варшавы, гибель кадровой арміи — все это ошеломило и разбудило Россію. Вихрем патриотическаго негодованія из правительства были выброшены ген. Сухомлинов, Маклаков, Шегловитов. Пришли новые люди, развязавшіе творческія силы независимой общественности. Земскій и Городской Союзы, всѣ кооперативныя организаціи, военно-промышленные комитеты — десятки тысяч людей с головой ушли в организацію военной промышленности, снабженія арміи, улучшенія продовольственнаго, топливнаго и транспортнаго положенія. В итогѣ — Россія стала выдѣлять 100.000 ружей в мѣсяц, каждый полк был снабжен пулеметами; каждая дивизія имѣла теперь 36 полевых пушек с достаточным количеством снарядов. В період боев 1916 года Людендорф с удивленіем отмѣчает у русских «настоящій артиллерійскій огонь».

По поводу того, что случилось в Россіи в зиму 1915-1916 гг., князь Г. Е. Львов в введеніи к книгѣ о дѣятельности земскихъ организаций во время войны, изданной в Америкѣ, писал: «вѣроятно, ни одно из государств в міровую войну не стояло перед разрѣшеніем задачи такой трудности, как Россія. Она не только должна была драться с врагом, безконечно превосходившим ее в вооруженіи и общей подготовленности к войнѣ, но еще должна была создать новыя могущественныя организациі, работающія на оборону, о которых до этого времени Россія не имѣла никакого представленія. И эта организациа была создана вопреки правительству и опиралась на тѣ силы, творческія возможности которых в это время были почти никому неизвѣстны. Только природная одаренность и врожденная способность к организациі русскаго народа на основѣ самодѣятельности спасли тогда положеніе».

**

Если бы послѣ отступленія 1915 года русскіе люди вынуждены были так же безмолвствовать, как теперь, послѣ разгрома 1941 года, — Сухомлиновы продолжали бы парализовать всѣ живыя силы страны, как это сейчас дѣлают в Кремлѣ и в Самарѣ, и Россія никогда бы не сыграла в первой міровой войнѣ той с о в е р ш е н н о п е р в о с т е п е н н о й р о л и , о которой очень скоро и совершенно забыли наши союзники, но до сих пор отлично помнят нѣмцы.

В «Правдѣ» от 2 марта 1941 года напечатано сообщеніе «представителя германскаго военнаго министерства о войнѣ на два фронта». Почему понадобилось сдѣлать это сообщеніе и напечатать его в «Правдѣ», когда вторженіе в СССР было уже рѣшено в Берлинѣ, — не совѣмъ понятно. Но содержаніе этого сообщенія дает такое яркое и удовлетворяющее чувство нашей національной гордости описаніе, что я, нарушая пропорціи статьи, привожу из него все существенное.

Представитель германскаго военнаго министерства г. Баше сказал:

— «Я хочу привести лишь нѣсколько примѣров, доказывающих, какой гнет должна была вынести такая страна, как тогдашняя Германія, воюя на два фронта. 1914-ый год. Битва на Мариѣ. Вам извѣстно, что перед этой битвой, когда обстоятельства складывались в пользу германской арміи, с одного чрезвычайно важнаго

участка были сняты и переброшены на восточный фронт два сильных армейских корпуса, так как надо было затормозить наступление русских в Восточной Пруссии. Следовательно, в 1914 году русская армия, действуя в тылу у германской армии Западного фронта, имела решающее влияние на успех англичан и французов... Навысшее напряжение у Вердена. С обеих сторон действительно убийственная бойня. В разгаръ этого боя на русском фронтѣ, именно тогда, когда предполагалось, что русскіе настолько ослаблены, что не могут собрать свои силы, — на этом Восточном фронтѣ произошло нѣчто новое. В военной исторіи русских сильно недооценивали. Никогда в полном объѣмъ не было признано то, что слѣдал русский солдат, русскія миллионныя арміи для Англии и Франции. В 1916 году это было показано в момент, когда Брусилов своим наступленіем создал для нас смертельную опасность на Восточном фронтѣ. Осада Вердена была прервана, полки и дивизіи должны были быть переброшены от Вердена на Восточный фронт, так как там образовался прорыв в 300 километров... И в 1917 году, когда силы Россіи были совѣм исчерпаны и революція еще набросила свою тѣнь, все еще оставалась угроза войны на два фронта. И это при таком положеніи, когда Германіи улыбалось военное счастье, и война на Западном фронтѣ могла быть закончена удачным ударом. Это было тогда, когда французское наступление ген. Нивеля против всяких ожиданій было сломлено при замѣшательствѣ и необычайных потерях на сторонѣ французов, а французскій солдат послѣ этого разочарованія начал бунтовать... И при таких условіях тѣ незначительные германскіе резервы, которые тогда вообще можно было собрать, снова были брошены на Восточный фронт, чтобы покончить с так называемым наступленіем Керенскаго в Галиціи, а затѣм с рижским наступленіем и окончательно освободить тыл Западного фронта. В 1917 году сточки зрѣнія солдата был настоящею трагедіею тот факт, что германская армія на Западном фронтѣ, только тогда могла перейти в наступленіе против действительно заклятого врага, против англичан, когда уже не было достаточно сил, чтобы пробиться через Амьен и Абевиль к морю.»

Без Россіи в ту войну побѣда Западной Демократіи была бы невозможна. Но из русских рук побѣда была вырвана не в честном бою, а предательским ударом в спину ленинских пятиполонников.



Теперь наследники Людендорфа и наследники Ленина дерутся друг против друга на одном фронте, совместно освободившись сначала от второго фронта во Франции.

Германцы все время стремительно наступали, осуществляя в чудовищном размахе исправленный и дополненный план Людендорфа. Другая сторона до самого последнего момента «по скифски» отступала, теряя территорию, армии, промышленность, морские базы.

Как это случилось?

Для того чтобы понять это, нужно прежде всего выбраться из тумана всяческой пропаганды на прямую дорогу логики и ответить на два вопроса. — Советский план войны предусматривал наступательную или оборонительную стратегию? Готовилась ли Красная армия к войне против Германии без союзников на другом фронте или нет?

Ответ на первый вопрос не вызывает никакого сомнения. Красная армия готовилась — «бить врага на его собственной территории». Наступление, наступление и наступление! — этим пронизан весь новый Устав Полевой Службы. Об этом непрерывно последние годы твердили и сановники, и военные специалисты, и советские пропагандисты за границей.

Передо мной опубликованная в Нью-Йорке на английском языке в начале вторжения Гитлера в СССР официальная коммунистическая «Правда о Красной армии» (специальный выпуск журнала «Фрайдэй»). Здесь изложена вся стратегическая доктрина сталинского Штаба. Красная армия подготовлена к стремительной, уничтожающей врага войне. Оружие современной войны — оружие наступательное. Красная стратегия разрабатывала принципы механизированной войны задолго до нас. Начавшаяся война почти исключительно война движения, непрерывного наступления, ударов и контр-ударов. Это молниеносная война с обеих сторон. Красная армия вооружена так, чтобы защищать свою страну, перенося войну на неприятельскую территорию. Еще в 1932 году руководящий германский военный журнал «Военный Еженелдльник» «почти-точно и не без страха определял советскую стратегию, как стратегию моторизованного Чингис-хана».

Макс Вернер, одобренный коммунистами специалист по Красной армии, в своей книжке «Борьба за мир» пишет: — Существует предрасудок, который признает, что Красная армия обладает могущественным вооружением и огромными

резервами живой силы, но настаивает, что стратегія ея пассивна, рассчитана только на успѣшную оборону. Это утверждение невѣрно. Красная армія воспитана для наступательной стратегіи. Совѣтская военная доктрина столь же современна и агрессивна, как и германская. Впрочем, в своих основных линиях она была развернута д о германской.»

Итак, стратегія Красной арміи наступательная.

Однако, армія, воспитанная для стремительнаго наступления, для наступательнаго маневрирования, на практикѣ проявила совершенно невѣроятную стратегическую пассивность, оставляя всю инициативу на своей собственной землѣ в руках противника.

Теперь второй вопрос: была ли Красная армія арміей, приготовленной к единоборству с Германіей, к войнѣ без второго фронта?

Тут опять нѣтъ никаких сомнѣній. Б ы л а п р и г о т о в л е н а . На основаніи тѣх официальных, начиная с Ворошилова, заявленій и официальных и официозных писаній, получается слѣдующая картина Красной арміи, как боевой силы.

Общее положеніе: в 1939 году, перед вторженіем Гитлера в Польшу, Совѣтскій Союз был «наиболѣе мощно вооруженная страна в Европѣ».

П ѣ х о т а . Согласно официальному заявленію Ворошилова, сила огня совѣтскаго армейскаго корпуса на 25 процентов больше таковой-же — германскаго. Но если даже допустить равенство в вооруженіи германской и совѣтской кадровой пѣхоты, «за Красной арміей всегда останется количественное превосходство, так как она всегда будет имѣть большее количество корпусов, чѣм Германія».

Т а н к и . Здѣсь превосходство Красной арміи над арміей германской совершенно безспорно, по мнѣнію совѣтских источников, которые при этом ссылаются на мнѣніе ряда военных иностранных спеціалистов, в том числѣ и нѣмецких. Еще, по заявленію Макса Вернера, в 1936 г. количество танков в Красной арміи превосходило то количество танков, которое германская армія имѣла в 1940 г. А с 1936 г. производство танков в Совѣтском Союзѣ все время и прогрессивно увеличивалось.

С а м о л е т ы . Тут опять Ворошилов. На коммунистическом с'ѣздѣ в мартѣ 1939 года он рѣшительно заявил, что совѣтскіе бомбовозы могут одновременно сбросить двой-

ное против германской авіаціи количество взрывчатых веществ. В общем совѣтскій воздушный флот имѣл несомнѣнно «огромное преимущество над германским флотом в 1939 году», а за прошедшіе с тѣх пор два года мощь его еще возрасла. Для 1941 года — 30.000 машин признается в совѣтских источниках во всяком случаѣ количеством не преувеличенным.



Итак, воспитанная на правилах наступательной стратегіи и тактики, Красная армія, самая большая по количеству в Европѣ, была и технически подготовлена к единоборству с Германіей.

Этот факт должен совершенно устранить весьма распространенное теперь объяснение страшнаго отступленія примѣром военной катастрофы во Франціи. «Франція, — признает неосторожно все тот же Макс Вернер, — была стремительно и на голову разбита из за недостатка оружія — в особенности современнаго наступательнаго вооруженія, из за недостатка резервов и старомоднаго военнаго мышленія. Красная армія, напротив, обладает в избыткѣ как раз тѣм, чего не хватало французской арміи — вооруженіем, резервами и войсками, воспитанными для современной войны. Война на Западѣ кончилась бы совсѣм иначе, если бы Франція обладала таким же количеством людей и вооруженія, которое находится в распоряженіи Совѣтскаго Союза».



Теперь, когда мы знаем, к а к о в а была Красная армія, вступая в бой с Германіей, мы поймем весь жуткій смысл слов Сталина в рѣчи 6 ноября по поводу 24-ой годовщины октябрьскаго переворота. Он признал, что совѣтскому командованію н е х в а т а е т ... « к а д р о в » ; что «мы имѣем во много раз меньше т а н к о в , чѣм Германія», и что «мы имѣем меньше с а м о л е т о в » .

Одно из двух! Или всего того оборудованія Красной арміи, которое признавалось и рекламировалось всѣми совѣтскими авторитетами, никогда не существовало. Или все это существовало но было стремительными ударами германской арміи уничтожено.

Признать, что всѣ техническія «достиженія» Красной арміи были бумажным блефом нельзя. Многіе голы страна

погромом крестьянства, миллионами умерших с голоду, всеобщей нищетой расплачивалась за сотни миллиардов, истраченных за последнее десятилетіе на военную промышленность. И сам Сталин, несомнѣнно, для своих цѣлей, о которых здѣсь не буду говорить, усиленно готовился к войнѣ.

Значит, — при современном и достаточном вооруженіи у Красной арміи были всѣ возможности продержаться хотя бы три мѣсяца на той линіи обороны, на которой два года стояла хуже вооруженная в ту войну русская армія; к тому же у нас тогда был и второй, тяжкій фронт — турецкій.

Но этого не случилось! Милліоны солдат, тысячи танков и самолетов были захвачены и уничтожены в порядкѣ той самой стремительной наступательной стратегіи, которой хотѣл и не сумѣл, воспользоваться Штаб Сталина. Теперь, когда перед нами ясна вся картина бѣдствія, посмотрим, гдѣ же его п р и ч и н а ?



Причина прежде всего та, что у Кремля были всѣ части, из которых составляется боеспособная армія, но не было командованія. Почему?

Незадолго перед казнью красных маршалов и расправой со всѣм командованіем в арміи, в воздушном и морском флотах, в «Правдѣ» (14 апрѣля 1937 г.) была напечатана статья, защищавшая точку зрѣнія казенных — «Тыл современных армій». Статья эта весьма убѣдительно показывает, что при том матеріальном, техническом и психологическом состояніи ближайшаго и глубокаго тыла будущей дѣйствующей арміи никакая длительная успѣшная война для СССР невозможна. Современная война, — заключает эта статья, — требует не только технически совершеннаго тыла, чего в СССР нѣт, но еще и людей самостоятельных и способных принимать на свою отвѣтственность важныя рѣшенія.

Тухачевскій, Корк, Якир, Уборевич, Блюхер и их единомышленники требовали внутренних реформ именно для образованія прочнаго, дѣеспособнаго во время войны тыла и добивались созданія команднаго состава, самостоятельнаго в своих дѣйствіях и способнаго принимать на свою отвѣтственность важныя рѣшенія.

Именно за это, за твердую волю покончить с режимом единоличнаго всевластія, парализующаго творческія силы страны и убивающаго в кадрах, руководящих арміей, военной промышленностью и всей хозяйственной жизнью, чувства от-

вѣтственности и инициативы — именно за эту попытку во время предотвратить нынѣшнюю катастрофу они и сотни их единомышленников погибли, а тысячи были разсланы по тюрьмам и концлагерям.*)

Годами Корк, Тухачевскій, Блюхер, Якир, Уборевич, Егоров и их многочисленные единомышленники работали над возсозданіем боеспособной современной арміи. Появилась новая школа образованных офицеров генеральнаго штаба. Преодолевая тупую оппозицію «героев гражданской войны», вроде Буденнаго и Ворошилова, они механизировали армію и модернизировали ее стратегію и тактику. Им же принадлежал почин новой системы оборонительных линий, за которыми обезглавленная армія удержаться потом не сумѣла.

Живой творческой дух в арміи был сломлен. Командный состав безнадежно запутался в наброшенной на него сѣти полицейскаго сыска и террора политруков. В «ПМ», весьма снисходительной к большевикам нью-йоркской вечерней газетѣ, недавно печатались полуправдивые очерки об СССР во время войны ея редактора Ингерсола. Он описывает, между прочим, свои разговоры с военным начальством. И

*) Жуткое незнаніе Россіи среди иностранцев таково, что они даже варварскую расправу с военной и штатской совѣтской служилой интеллигенціей ставят нынѣ в великую заслугу Сталину. Так, напр., недавній посол Соединенных Штатов в Москвѣ г. Джозеф Дэвис в декабрьской книжкѣ журнала «Американец» по поволу избіенія команднаго состава пишет: «Многіе думают, что чистки серьезно ослабили Красную армію. Я полагаю, что правильно как раз противоположное... Чистка дома от измѣнников из'яла из обращенія нѣкоторых высших командиров, но зато она выдвинула вперед молодых и часто с большим творческим воображеніем людей, которым не хватало опыта их предшественников, но это возмѣщалось их инициативой и лояльностью». В восторгѣ от массоваго истребленія «саботажников и секретных агентов», г. Дэвис серьезно предлагает «другим свободолюбивым народам» задуматься над данным Москвой примѣром, как нужно обращаться с пятой колонной. Бывшему послу и в голову не приходит простая мысль, что устранить опытный командный состав из состава вооруженных сил СССР было одной из главных цѣлей Берлина в предвоенные годы. И он забывает, что как раз расправившись в своем окруженіи с так называемыми германскими агентами, Сталин сейчас же приступил... к сотрудничеству с Гитлером, которое оборвалось не по сталинской винѣ...

отмѣчает, что это начальство всегда было в двойственном видѣ, всегда рядом с командиром сидѣл или стоял нѣкто в сѣром. И никогда командир не давал отвѣта, не взглянув на своего двойника и не получив от него молчаливаго одобренія.

Можете ли вы себѣ представить дѣйствующую армію, в бою с организованным и мощным противником, у которой воля, инициатива и отвѣтственность раздвоены? Войска без настоящаго командованія «теряют сердце», как любил говорить А. А. Брусилов. И вот 20-го іюля на мѣстѣ боя рядовой красноармеец записывает: «Остались без пѣхоты. Надежды на успѣх мало. Кухня работает чертово — воевать приходится голодному. Командованіе дѣйствовало безголовое. Плохая маневренность, а наступленіе напролом. Связь частей отсутствовала. Снаряды летѣли куда попало... Все это привело к отступленію» («Новое Русское Слово», 22 ноября).

Могут сказать: «Дневник краснаго артиллериста», из котораго взята эта выписка, прошел германскую цензуру и был напечатан в Берлинѣ, вѣроятно, в фальсифицированном видѣ... Тогда нужно признать, что поддѣлка эта сдѣлана изумительно. Ибо я читал частное письмо о настроеніях и мнѣніях рядовых бойцов Красной арміи, попавших ранеными в сибирскіе лазареты — они думают и чувствуют так же, как и «красный артиллерист».

В арміи есть и воля к жертвѣ и острое національное чувство. Армія снабжена всѣм необходимым для современнаго ударнаго боя. У нея есть, наконец, командный состав, который мог бы быть не хуже германскаго. Но все это парализовано страшной системой обездушеннаго террористическаго бюрократизма.

И только цѣной неслыханнаго горя и испытаній Армія освободилась, наконец, от Буденных и Ворошиловых.

**
*

И та же причина парализует тылы, промышленность, транспорт, создавая всюду неоправданную результатами трату сил и національных богатств, неувязку и хаос.

Сейчас же, как только были получены свѣдѣнія о казни генералов, Г. П. Федотов в «Новой Россіи» (13 іюня 1937 года) написал вѣщія слова: — надо покончить, пока еще не поздно, со сталинским единовластіем, «иначе вопрос о власти в Россіи будет рѣшатся Гитлером».

Сроки были пропущены, террористическое единовластіе

осталось. Гитлер пришел рѣшать вопрос уже не о власти в Россіи, а о самой Россіи.

Сталина во время не устранили, но война полнителески его уничтожила; уничтожила централизованную гигантскую машину планового террора. Можно обо всем спорить, даже сомнѣваться в исходѣ войны, но одно ясно: тоталитарная большевистская диктатура уже в прошлом.

Послѣ войны, гдѣ бы ни началась Россія — у Вислы, на Днѣпрѣ, в Заволжьи, — она будет другая совсѣм другая.

Поставим всѣ вмѣстѣ над вчерашним днем крест.

Гитлер пришел, потому что Сталин остался. Но приход Гитлера перевернул в Россіи все вверх дном.

«Во время переправы не мѣняют лошадей» — правильно, но и лошади должны выгребать против теченія и искать броду, а не лѣзть в омут. В ту войну мы тоже не хотѣли мѣнять лошадей, но они сами пошли по теченію своих страстей и предрасудков и попали в омут, затянув туда и Россію.

Сейчас вопрос не в лицах, а в цѣлесообразном планѣ дѣйствій. Нужна ясная программа защиты и спасенія Россіи. Кто бы ее ни взялся выполнять, мы всѣ должны пойти к ним на помощь и на службу. — «Гитлер имѣет наглость, — говорил Сталин 6 ноября, — призывать к истребленію великаго русскаго народа».

Значит он понимает, что сейчас идет борьба, как я писал уже в началѣ, о самом бытіи Россіи, ея самостоятельнаго національнаго существованія.

Не будем спорить, плохо это было или хорошо, что в теченіе четверти вѣка русская жизнь коверкалась и ломалась во имя коммунистических интернаціональных цѣлей — сейчас міровая революція все равно не может быть мѣрилом внутренней политики Россіи. Больше того. Никакой политической идеал, никакая политическая доктрина не могут сейчас главенствовать над единственной задачей сегодняшняго дня русской исторіи. Эта задача: цѣлесообразная организациія правительственнаго аппарата, промышленности, земледѣлія, транспорта и, что главное, духа страны.

Совершенно очевидно, что командованіе должно быть рѣшительно освобождено от мертвящаго надзора политических сыщиков.

Совершенно очевидно, что без тракторов, без нефти, без всей системы, планируемой из одного центра, колхозной барщины, Россия в 1942 году останется совсем без хлеба, если не вернется крестьянин к свободному труду на своем клочкѣ земли, со своей собственной лошадыю.

Совершенно очевидно, что для восстановления в нѣкоторой части разрушенной тяжелой промышленности нужно призвать на помощь свободные профессиональные рабочие союзы и самую реконструкцію передать в руки компетентныхъ специалистовъ без всякаго вмешательства партійныхъ «генеральныхъ линий».

Так же очевидно, что для легкой промышленности ширпотреба нужно призвать частную инициативу, кустарныя свободныя артели и восстановить независимую кооперацию.

Кооперативнымъ организациямъ и частной инициативѣ нужно также поручить организовать торговую сѣть, ибо нелѣпая казенная торговля взорвана войной.

Нужно чтобы все в Россіи зашевелилось, собирало по крохамъ разрушенное, крѣпило и строило, не думая о концлагерѣ и не оглядываясь, не стоит ли сзади агент из ГПУ.

Сейчас, когда Россія горит, никакія коренныя политическія преобразованія невозможны, но нужно содружество власти с народомъ, довѣріе народа к власти. Вѣра, что на вчерашнемъ, дѣйствительно поставлен крест. Как этого добиться? — Возвращеніемъ на работу из мѣст «не столь отдаленныхъ» всѣхъ, кто способен к работѣ, и в особенности тѣхъ, чья вина была в предвидѣніи куда заведет страну «Единственный». В войнѣ печать, конечно, не может быть свободной от всякаго надзора, но к обсужденію новыхъ плановъ, к критикѣ нецѣлесообразныхъ предпріятій должны быть допущены всѣ, кто хочет служить дѣлу спасенія.

В той же рѣчи 6 ноября Сталинъ справедливо сказал — величайшее преступленіе Гитлера в том, что он поработил народы (в том числѣ, «совѣтскую Балтику и совѣтскую Украину»), лишая ихъ самыхъ основныхъ демократическихъ свобод, отнимая у нихъ право самимъ рѣшать свою

судьбу, отбирая их хлеб, их продовольствие и сырье».

Какая огромная помощь Красной армии будет оказана, когда в порабоженных Гитлером странах узнают, что в России снова загорелся свет свободы, что там все совсем по другому, чем у «фашистских варваров».

Этот набросок программы Возстановления — только мысли вслух о путях, по которым должна пойти власть, чтобы остановить бѣду России и собрать вокруг себя весь русский народ.

Какая бы власть ни пошла по этому пути, мы все — там и здѣсь — должны ей служить честно и по совѣсти.

Не пойдут нынѣшніе правители — о б я з а т е л ь н о придут другіе.

Ибо путь русского Спасенія от ига виѣшняго будет совершен и завершен в радости внутренняго Воскресенія.

Иначе России не быть.

А она будет.

А. Керенскій.

14 дек. 1941 г.

РОССІЯ В ВОЙНѢ

Мысль о Россіи, о том, что происходит сейчас там, неотступно стоит перед каждым из нас. Она подсознательно жива в нас даже когда мы думаем о другом: она является фоном, на котором проходит все остальное.

Только недостаток воображенія, неспособность по настоящему пережить совершающееся там позволяет нам вести нашу обычную, будничную жизнь, думать о маленьких дѣлах каждаго дня. Половина Европейской Россіи, гдѣ жило семьдесят милліонов, нынѣ — «сожженная земля». Сметенныя с лица земли деревни, полуразрушенные города, гдѣ среди развалин бродят уцѣлѣвшіе жители. Уничтоженные поствы, запасы, фабрики и приведенные в негодность рудники. Милліоны убитых и искалѣченных, умерших от голода, лишений и болѣзней. Милліоны бѣжавших с этой опустошенной земли. Легко представить себѣ их положеніе, если вспомнить прошлую войну. Тогда была занята сравнительно с настоящим небольшая часть русской территоріи. Тогда политики увода населенія и «сожженія» земли не существовало. Количество бѣженцев было не так велико. Наряду с правительственными учрежденіями существовал ряд больших и дѣятельных общественных организацій; работали земства, городскія самоуправленія, кооперативы и т. д. Но и тогда положеніе ушедшаго с насиженных мѣст населенія было ужасно. Что же происходит теперь? Подошла зима, которой особенно рады живущіе внѣ Россіи иностранцы, ибо она «выморозит» нѣмцев, как будто русскіе не страдают от нея, не замерзают, не умирают.

Но как ни страшно настоящее, еще страшнѣе будущее, если планы Гитлера осуществляются. Если Россія уцѣлѣет, у великаго народа найдутся творческія силы залѣчить раны, как бы глубоки онѣ ни были. Придет время, и «новая жизнь зацвѣтет на развалинах». Но если побѣдит Гитлеровская Германія? Война ведется не из-за клочка земли, на котором не будет даже мѣста, чтобы похоронить всѣх убитых, как говорит Гамлет. Гитлер пытался изобразить это нашествіе на Россію, как «крестовый поход» против большевизма и коммунизма, и призывал к этому «святому дѣлу» всѣх. Но это

дымовая завѣса, которая обманула только тѣх, кто заранѣе хотѣлъ быть обманутым. Истинная его цѣль — разрушить, уничтожить Россію на вѣк а , обратить ее отчасти в «жизненное пространство» для нѣмцев — давняя мечта всѣх нѣмецких завоевателей, — отчасти в рабскую колонію.

Эта цѣль совершенно ясно была формулирована Гитлером еще в «Моей Борьбѣ». Теперь бывший конфидент Гитлера Раушнинг, подтверждает это в своей статьѣ в «Times». Не побѣда над Англійей, — говорит он, — важна Гитлеру: основная цѣль войны — в к л ю ч е н і е Россіи в состав Рейха, п о к о р е н і е ея. Ради этого всѣ способы хороши. «Я надѣюсь, — сказал Гитлер в своей рѣчи в мюнхенской пивной, гдѣ собирались когда то его первые соратники, — что в ближайшем будущем мы сможем принять нѣкоторыя мѣры, которыми мы медленно, шаг за шагом, но навѣрняка, задушим Россію». Это удушеніе и захват Россіи до Волги «Hamburger Fremdenblatt» называет «нашей восточной миссіей». Гитлер тоже говорит об этой «миссіи»: «Наша миссія состоит в том, чтобы помѣшать русской степи раскинуться на Европу». Нѣмецкій завоеватель мечтает о том, чтобы Германія «раскинулась» на Россію. Он поставил себѣ цѣлью уничтоженіе не только Государства Россійскаго, но и р у с с к а г о н а р о д а : «Мы обязаны, — сказал он Раушнингу, — сдѣлать все, чтобы русская земля обезлюдѣла. Надо будет выработать технику этого. Природа жестока, — мы тоже имѣем право быть жестокими: В момент, когда я брошу в ураган войны цвѣтъ германизма, — кто может оспаривать мое право уничтожить миллионы людей низших рас, которыя размножаются, как наѣкомыя? Впрочем, я их не уничтожу, — я систематически сдѣлаю невозможным размноженіе: напри- мѣр, отдѣленіем на ряд лѣтъ мужчин от женщин. Есть еще много иных способов систематически сокращать размноженіе нежелательных народов».

Это кажется бредом помѣшаннаго.

Но не надо забывать, что этот буйный помѣшанный нынѣ повелитель Европы. Что за ним послушно идут восемьдесят миллионов нѣмцев. Тот же «Hamburger Fremdenblatt», предвкушая заранѣе полное осуществленіе «миссіи», вычисляет, сколько погибнет русских и без тѣх мѣр, которыя собирается принять Гитлер. Нѣмецкіе «пессимисты», по его словам, полагают, что на «сожженной землѣ» д о л ж н ы вымереть «естественно», — от голода и болѣзней — до десяти миллионов человек, а «оптимисты» ожидают смерти двадцати миллионов, и даже тридцати!

Этот бред осуществляется на наших глазах в Польшѣ, ставшей «Восточной провинціей» Германіи. Там — под всякими предлогами и без предлогов — идет систематическое уничтоженіе польскаго населенія — в особенности польской интеллигенціи. Для вѣрнѣйшаго удушенія національной культуры стремятся уничтожить прежде всего мозг страны, ту силу, которая оформляла національное самосознаніе, хранила и оберегала національную традицію. Чтобы подавить надолго, если не навсегда, самую возможность возрожденія этой культуры, «низшую», славянскую, расу лишают образованія: только элементарныя школы разрѣшены для нея; только грамотой и четырьмя правилами арифметики должны быть ограничены ея знанія. Для управляемых рабов этого достаточно. Университетское образованіе — привилегія расы господ.

Россію ждет та же участь, — если не худшая: заявил же Гитлер, что «русскіе — скоты». Занятая нѣмцами часть Россіи вмѣстѣ с окраинными государствами — Украина, Бѣлоруссія с Прибалтикой — нынѣ уже не Россія, а О с т л я н д і я . К этой Остляндіи — Восточной Области — будут присоединены, по мѣрѣ завоеванія, новыя русскія земли. Во главѣ ея поставлен теоретик нацизма, вдохновитель Гитлера и ненавистник Россіи и славянства — прибалтійскій нѣмец Розенберг. Его ближайшіе помощники — нацистскіе дѣятели с полу-уголовным прошлым: Кох, Кобе и Лозе. Тяжко даже подумать, что ждет нашу родину, если эти люди будут имѣть время до конца осуществить свою программу. А если они останутся, они ее осуществят — «медленно, но навѣрняка». Они пунктуальны и систематичны даже в своем бездушіи и жестокости.

Русскій народ инстинктом почувствовал грозящую опасность и стал на защиту родины. В исключительно тяжелых условіях, один на один на Европейском континентѣ с сильнѣйшей в мірѣ военной машиной, русская армія уже шестой мѣсяц ведет героическую борьбу. Пять мѣсяцев упорных, кровопролитных боев, пять мѣсяцев отступленія не сломили ея духа. Русская армія своей доблестью завоевала уваженіе всего міра.

Странно только, что для нѣкоторых эта доблесть русскаго солдата как будто неожиданна. Во всяком случаѣ для нея под'искивают какія-то спеціальныя объясненія. Одни говорят, что всѣ граждане Совѣтскаго Союза идут на фронт с рѣшимостью бороться до побѣды, так как хотят защищать. «Пусть еще недостаточныя и недостаточно еще реализованныя, но несомнѣнныя и громадныя р е в о л ю ц і о н н ы я д о с т и -

женія». Для других все об'ясняется террором, царящим в Россіи и в арміи: солдат «гонят на убой». Каждый дает об'ясненіе сообразно со своим подходом к современной Россіи. Но развѣ не проще об'яснить это естественным чувством патріотизма, любви к своей родинѣ?

Развѣ такое поведеніе русскаго солдата ново? Развѣ не таково оно было всегда на протяженіи всей русской исторіи? Вспомним Отечественную войну. Иностранцы охотно об'ясняют побѣды русской арміи «генералом Морозом». Но им нельзя об'яснить ни упорнаго сопротивленія русских, ни их мужества. А Севастопольская кампанія, когда, послѣ одиннадцатимѣсячной осады и неослабѣвающаго сопротивленія остатки русской арміи не хотѣли покидать крѣпость, которую приказано было сдать? Солдаты плакали, уходя из Севастополя. Всѣм извѣстно, в каких условіях приходилось бороться русской арміи в прошлую войну. На ураганный огонь нѣмецкой артиллеріи часто нечѣм было отвѣчать, ибо на пушку бывало только по два снаряда. Солдатам иногда не хватало даже винтовок: подошедшіе резервы ждали, когда можно будет воспользоваться оружіем товарищей, убитых в передовых окопах. Сопротивленіе — во время котораго было не мало блестящих побѣд — длилось болѣе трех лѣтъ, пока армія была не сломлена, а р а з л о ж е н а большевистской пропагандой. Всегда — в удачѣ и неудачѣ — русскій солдат оставался все тѣм же: простым, спокойным и мужественным. Генерал Скобелев, знаток русскаго солдата, дал ему такую любовно-шутливую характеристику. В других арміях, — говорит он, — уже послѣ двух-трех пораженій падает дух. «А у нас этого бояться нечего: почешется солдат, покачает головой; ишь ты, скажет, такой-сякой, как ловко вздул! Ну да ладно, поколотим еще и мы».

Сотрудник «Р.М.», Ингерсол, правильно опредѣлил настроенія арміи и народа в Россіи: «Падет ли Россія?» — спрашивает он, — «Не думаю. В о в с я к о м с л у ч а ѣ н е т а к , как пала Франція». Каково бы ни было будущее, уже теперь русскій народ и русская армія имѣют право сказать о себѣ то, что слышала Дороти Томпсон от одного «очень большого» англичанина: «Нельзя ручаться, что мы побѣдим. Но если мы и погибнем, то погибнем теперь так, как подобает великому народу, а не падем жалкими жертвами собственной апатіи. Если мы погибнем, мы оставим теперь по себѣ память. Да, о нас будут вспоминать! И, может быть, через вѣка, если этот мір будет разрушен, новый будет построен потому, что народ будет вспоминать о нас».

Мы поневолѣ безсилны нынѣ принять дѣйственное участіе в борьбѣ Россіи на жизнь и смерть. Мы можем только преклоняться пред мужеством нашего народа и его арміи. Мы всѣми помыслами с ними. Защита Россіи, уничтоженіе нацизма, для нас о с н о в н о й постулат. Интересам обороны подчиняем мы всѣ наши дѣйствія. Мы с радостью видим, что таково же настроеніе большинства русских граждан и выходцев из Россіи здѣсь, в Америкѣ. У всѣх них одно желаніе, — помочь, как могут, борющемуся народу русскому. Исключеніем являются только незначительныя группы: одни просто предали родину за тридцать сребренников и празднуют теперь — по случаю вторженія наци в Россію — «Свѣтлую Пасху», а другіе — по неразумію — затмили свою любовь к родинѣ ненавистью к большевикам.

Русскій народ и его армія выполняют до конца свой долг перед родиной. Но не все зависит от арміи и народа. Основным и опредѣляющим является поведеніе правительства: политика гражданских и военных руководителей. Подготовили ли они страну к тяжкому испытанію? Каково теперь их поведеніе? Вѣдь, несмотря на доблесть арміи и жертвенность населенія, враг занял половину Европейской Россіи и стоит у ворот Москвы. Гдѣ причина этого? Кто в этом виноват? И есть ли виноватые? Нѣкоторые говорят, что теперь не надо об этом говорить, что это может повредить оборонѣ. Если мы стоим за оборону в о в с я к о м с л у ч а ѣ , если мы утверждаем п р и м а т обороны, надо оставить критику правительства, каково бы ни было к нему наше отношеніе. Надо сосредоточить мысль и всѣ усилія только на оборонѣ.

Со всей рѣшительностью мы против этой позиціи. Мы глубоко согласны с американским журналистом, сказавшим именно по этому поводу: «Мы побѣдим в союзѣ с правдой или совѣм не побѣдим». Умолчаніе одних дает возможность другим переходить к оправданію, или, во всяком случаѣ, обфленію режима. А это только на руку противникам помощи Россіи вообще. Примѣр — недавняя полемика по поводу свободы вѣры в Россіи. Наоборот, мы должны внушать всѣм, что Россія и режим, царящій в ней, не могут быть отождествлены. Что теперь поставлен вопрос не о режимѣ и его спасеніи, а о Россіи и уничтоженіи нацистской опасности. Каков бы ни был режим и его преступленія, помощь нашей странѣ обязательна в о и м я Р о с с і и , во имя защиты міра от новаго варварства.

Сталин и его окруженіе, по его собственным словам, двадцать лѣт готовились к отпору врагу. Во имя справед-

ливости, мы должны признать, что в области подготовки армии и технического ее оборудования было сделано очень много: население морили голодом, но создавали навья фабрики и заводы для производства оружія. На армию не скупилсь, она была снабжена всѣм необходимым. Большевистскіе руководители самонадѣянно заявляли, что они сильны и не допустят врага на русскую землю, а будут биться на его территории.

Но даже хорошая армія может быть побѣдоносной только под руководством талантливых и опытных вождей. Но почти накануне войны много выдающихся офицеров во главѣ с Тухачевским, Якиром и др. — были убиты по приказу Сталина. Их обвинили в связи с нѣмецким генеральным штабом и шпионажѣ в пользу Германіи. Кому только не пред'являлось это обвиненіе, начиная с ближайших товарищей Сталина, когда надо было произвести очередную «чистку»! Чистка эта была произведена в интересах сталинскаго режима, но в о п р е к и интересам Россіи. Даже Волтер Дуранти, вѣрный защитник Сталина, вынужден был недавно цинично признать: «Чистка, несомнѣнно, ликвидировала мужественных и компетентных людей в красной арміи и на гражданской службѣ. В е с ь м а в ѣ р о я т н о , что нѣкоторые из них были совершенно невинными. В этом смыслѣ чистка была о б ш и р н а ». Дуранти утѣшается тѣм, что благодаря столь обширной чисткѣ, при которой погибли «мужественные, компетентные и невинные люди», в Россіи нѣт «пятой колонны». Но кто же мог исполнить губительную роль этой колонны лучше маршалов Ворошилова и Буденнаго, которых за их ратные подвиги, стоившіе столько крови и поражений, пришлось в концѣ концов убрать в тыл? Таков был первый акт подготовки к возможному нападенію «исчадія ада и людоѣда», каким стал теперь для Сталина Гитлер.

Вторым был союз с этим «людоѣдом». В своей рѣчи 3-го іюля Сталин пытался оправдать этот союз: это был простой договор о ненападении, и цѣлью его было сохраненіе мира и выигрыш времени.

Все это завѣдомая неправда.

Договор этот не только не обезпечил мира: наоборот — он развязал войну. Гитлер, весьма возможно, не рѣшился бы вести войну сразу на два фронта: против этого были нѣмецкая военная наука и прошлый опыт.

Договор этот был совсѣм не соглашеніем о ненападении, а тѣсным союзом, весьма полезным Гитлеру. Он прежде всего обезпечил ему матеріальную помощь. Вскорѣ послѣ военно-

политическаго соглашенія былъ заключенъ торговый договор. Совѣтская Россія обязывалась поставить Германіи нужныя ей сырье и фабрикаты на м и л л і а р д ы марок. Торговый оборотъ между Совѣтской Россіей и Германіей за послѣдніе передъ войной годы равнялся лишь нѣсколькимъ десяткамъ милліоновъ марок (самый большой оборотъ былъ в 1936 году — 58.310.000 марок; в 1939 году онъ упалъ даже до 11 милліоновъ). Совершенно ясно, чѣмъ было вызвано такое небывалое его увеличеніе. Гитлеру многое было необходимо для успѣшнаго веденія войны — Сталинъ широко пришелъ ему на помощь. Гитлеру нужны были пшеница, хлопок, нефть, мѣдь, кожи. Все это давала ему Совѣтская Россія. Если не хватало своего, Совѣты производили за счетъ Германіи закупки в Америкѣ. Об этомъ заявилъ представитель англійскаго правительства Дальтонъ, обвинявшій СССР в срывѣ блокады Германіи. Рассказываютъ, что в Парижѣ нѣмецкіе солдаты носятъ сапоги с клеймомъ — «Пермь». Быть можетъ, в такихъ же сапогахъ они шагаютъ и по опустошеннымъ полямъ Россіи. Быть можетъ, страшная нѣмецкая военная машина борется с русской арміей, используя русскую нефть, мѣдь, хлопок.

Еще важнѣе была помощь политическая, оказанная Сталинымъ Гитлеру: работа по разложеніи націй и армій, противъ которыхъ велъ войну Гитлер. Эту работу коммунисты вели рука объ руку с націонал-соціалистами. Тѣ, кто пріѣхалъ из Европы, знаютъ такъ же хорошо, какъ и жители Америки, дѣятельность «комму-націй» и ея результаты. Франція оказалась такой легкой добычей для Гитлера в значительной мѣрѣ благодаря этой подрывной работѣ. Сталинъ говоритъ теперь о необходимости второго фронта. Но вѣдь этотъ второй фронтъ былъ, если бы Россія вступила в войну, когда на континентѣ вели борьбу Польша, Англія, Франція. Этотъ фронтъ разрушенъ Гитлеромъ при дѣятельной помощи Сталина: во Франціи онъ велъ работу разложенія, а Польшѣ нанесъ ударъ в спину в минуту ея смертельной схватки с Гитлеромъ.

Наконецъ, выигрывъ времени для «подготовки нашихъ силъ къ отпору фашистской Германіи».

Несомнѣнно, къ войнѣ дѣйствительно давно и усиленно готовились. Но слѣпая политика власти привела къ тому, что Россія оказалась все же не готовой. Гитлеръ обманулъ Сталина. Германія напала врасплохъ и «повела войну в условіяхъ, благоприятныхъ для германскихъ силъ и неблагоприятныхъ для совѣтскихъ».

Таковы итоги мудрой политики Сталина, за которую расплачивается теперь русскій народъ.

Но — скажут нѣкоторые — зачѣмъ теперь вспоминать это? Все это прошлое, а прошлаго не могутъ измѣнить даже боги. Теперь всѣ наши помыслы должны быть сосредоточены на настоящемъ и будущемъ. Но въ россійскомъ настоящемъ живо это прошлое. Оно бросаетъ свою зловѣщую тѣнь и на будущее.

Режимъ воочію доказалъ свою непригодность: онъ ничего политически не предвидѣлъ; его дѣйствія были противны національнымъ интересамъ; онъ отдалъ половину Европейской Россіи врагу. Руководители нынѣшней Россіи должны сдѣлать изъ этого надлежащіе выводы. Они должны понять, что необходимы коренныя измѣненія, необходимы — в о и м я с п а с е н і я с т р а н ы . Теперь нуженъ знаменитый «спускъ на тормозахъ». Власть должна примириться с народомъ. Народъ долженъ почувствовать, что къ старому возврата быть не можетъ. Положеніе Россіи тяжело. Новыя силы, новое воодушевленіе нужны для того, чтобы одолѣть грознаго врага. Должно родиться сознаніе новой отвѣтственности свободнаго человѣка. Народъ долженъ знать, что онъ борется не только за свою землю, но и за право жить на ней по человѣчески.

Къ сожалѣнію, до сихъ поръ нѣтъ никакихъ признаковъ, что власть понимаетъ положеніе. Народное воодушевленіе она пытается вызвать разрѣшеніемъ служить молебны, возстановленіемъ Георгіевскихъ Крестовъ и гвардіи (если вѣрнуть радіо изъ Иркутска) да возрожденіемъ въ арміи института полтиссаровъ.

Неужели уроки исторіи ихъ ничему не научили? И они увидятъ, что надо было дѣлать, только тогда, когда будетъ слишкомъ поздно? Неужто хотя бы теперь власть не пойметъ своей отвѣтственности передъ страной.



Каковъ будетъ исходъ борьбы Россіи противъ германскаго нашествія? Мы не можемъ отвѣтить на этотъ вопросъ съ полной опредѣленностью. Мы можемъ лишь подвести итоги и намѣтить нѣкоторыя перспективы.

Вопреки неоднократнымъ заявленіямъ нѣмцевъ, русская армія не уничтожена и боеспособна. Лучшее доказательство этого — ея отчаянное и часто успѣшное сопротивленіе подъ Москвой и ея побѣда подъ Ростовомъ. Ея духъ, несмотря на мѣсяцы неудачъ и отступленій, по всѣмъ свидѣтельствамъ, не сломенъ.

Но она чрезвычайно ослаблена численно и технически. Несомнѣнно, и нѣмцы понесли очень большія потери. Установить болѣе или менѣе точно потери той и другой стороны чрезвычайно трудно. Никогда еще сообщенія двух борющихся сторон не были столь несходны и часто фантастичны. Если Лозовскій утверждает, что нѣмцы уже потеряли шесть милліонов бойцов, то Геббельс доводит русскія потери до десяти милліонов. Однако, по оцѣнкѣ объективных наблюдателей, стоящих даже на сторонѣ Россіи, русскія потери тяжелѣе нѣмецких. Гораздо тяжелѣе обстоит дѣло с техническим оборудованіем арміи. В боях и при отступленіи русская армія лишилась значительной части своих танков, аэропланов, орудій. А главное, Россія не сможет возстановить полностью потерянное: 60% ее промышленности в руках врага. Доставка вооруженія союзниками в сколько нибудь значительных количествах затруднена: снабжать Россію можно теперь только через Архангельск, порт котораго зимой замерзает, через далекій и угрожаемый японцами Владивосток или через Персію. Иное положеніе у Германіи. Она, конечно, потеряла тоже много вооруженія. Но ей легко возстановить его и даже увеличить. В ее распоряженіи собственная могучая промышленность, работающая полным ходом, и промышленность покоренных ею индустріальных государств Западной Европы. Таково теперь соотношеніе сил противников: оно не в пользу Россіи. Если к этому прибавить, что враг проник уже в самое сердце страны, невольно встает тревожный вопрос: как справится с этим Россія?

Но, если даже Россіи предстоятъ новыя, еще болѣе тяжелыя испытанія, нѣмцам рано будет праздновать побѣду. Россія теперь не одна. Гитлер разорвал позорившій ее союз. Он отбросил ее в тот лагерь, гдѣ всегда должно было быть ее мѣсто — в лагерь демократій. Нынѣ судьба русскаго народа связана с судьбою тѣх, кто борется за право, свободу и человѣчность. Этот союз неразрывен. Он спаян дѣйствительно к р о в ь ю , русской кровью, пролитой с такой щедростью и самоотверженіем. Россія завоевала право на почетное мѣсто в этом союзѣ и на помощь до конца. Она приняла весь удар на континентѣ Европы на себя и тѣм спасла положеніе, дав возможность Англій и Соединенным Штатам подготовиться к дальнѣйшей борьбѣ. Теперь Россія, Англія и Америка или потерпят о б щ е е пораженіе, или одержат о б щ у ю побѣду.

Мы увѣрены в побѣдѣ. Увѣрены потому, что видим мощь вставших против нацизма народов и их непреклонную волю

довести борьбу до конца. Но, если бы не было этих объективных данных, сообщающих нам увѣренность, мы все равно вѣрили бы в побѣду вмѣстѣ с милліонами людей, которые ждут ее, как избавленія. Без этой вѣры не может быть жизни. Маршал Фош сказал: побѣжден только тот, кто перестал вѣрить в побѣду и сам признал себя побѣжденным. Есть вѣчныя цѣнности: без них невозможно существованіе человечества. За их неумирающую правду борется теперь демократія.

3 декабря 1941 г.

Н. Авксентьев.

Статья эта была сдана в набор до послѣдних событій: остановки наступленія нѣмецких армій и побѣднаго русскаго контр-наступленія.

Это коренное измѣненіе всего положенія вызывает различныя объясненія. Но если даже взять наиболѣе благоприятную для Германіи версію (ея собственную), — отход германских войск на «заранѣе подготовленныя позиціи» для новаго наступленія весной — и в этом случаѣ успѣх русских войск велик и несомнѣен. «Молниеносная война» потерпѣла окончательное крушеніе. Германскія войска утомлены и потеряли динамичность. Русская армія — вопреки повторным заявленіям нѣмцев — не сломлена и сохранила свою активность. Сами нѣмцы вынуждены признать исключительныя качества не только русской арміи, но и отдѣльнаго бойца в ней: по их заключенію русской солдат не ниже нѣмецкаго — высокая похвала в устах нѣмца!

Когда писалась эта статья, опасность грозила Москвѣ, и мы были в глубокой тревогѣ за ея судьбу. Это отразилось на тонѣ статьи, теперь он был бы иным. Но положенія и выводы, в ней заключающіяся, остались прежними. И теперь половина Европейской Россіи занята неприятелем и разрушена. Страданія населенія, оставшегося на «сожженной землѣ», или бѣжавшаго в тыл, все тѣ же. Планы Гитлера по отношенію к Россіи и практика его ставленников не измѣнились. Политика режима, приведшая Россію на край пропасти, все так же бросает свою тѣнь на настоящее. Русскому народу и арміи предстает, как и раньше, героическая борьба за спасеніе родины. Не надо оглушать себя побѣдными кликами: до окончательной побѣды еще далеко. Она потребует много новых жертв и самоотверженія. Русский народ напряг всѣ свои силы в борьбѣ, и не будет оправданія правительству, если оно в такой момент не поймет своих обязательств и не даст ему — во имя побѣды — человѣческих прав.

В своей статьѣ мы говорили, что связь Россіи, Англии и Сое-

диненных Штатов должна быть неразрывна: конечный успѣх может быть достигнут только общими и строго согласованными усиліями. Это особенно необходимо теперь, когда война стала дѣйствительно міровой и задачи ея неизмѣримо осложнились и расширились. Необходимо созданіе — без промедленія — единаго руководящаго центра, выработка единаго для всѣх плана дѣяствій. Против общаго врага должен быть образован дѣйствительно общій фронт, интересам котораго должны быть подчинены военныя дѣяствія на отдѣльных фронтах. Только такая тѣсная политико-стратегическая связь и рожденное ею взаимное довѣріе могут обезпечить конечную побѣду.

Н. А.

20 декабря 1941 г.

ОТРАЖЕНІЯ ВОЙНЫ

У кого из нас не было страстной потребности хоть на короткій миг перенестись в Москву, перевоплотиться в средняго гражданина СССР и попытаться понять из нашего прекраснаго далека его душевное состояніе в послѣдніе дни іюня 1941 года? В прошлом мы неоднократно совершали такіа попытки перевоплощенія и не всегда терпѣли при этом неудачу. При нашей долготѣней оторванности от Россіи, отсутствіе непосредственнаго контакта должна естественно замѣнять эта философія перевоплощенія.

Разумѣется, путешествіе в Москву сопряжено в современных условіях с исключительными трудностями. Достаточно сказать, что в теченіе первых мѣсяцев войны совѣтскую печать достать в Нью-Йоркѣ было невозможно. Когда мѣсяца два тому назад появились разрозненные номера московских газет и когда — скажу за себя — мы набросились, разсудку вопреки, на эти столь знакомые сѣрые газетные листы, пытаюсь найти в них между строк отраженіе Россіи, ея боренье, ея смятенье, ея муки и тревоги, — нѣтъ, с каким отчаяньем, с какой безнадежностью мы вынуждены были отказаться от своих наивных мечтаній!

Даже эта страшная война, в которой на карту поставлено все: не только то, что нам дорого: Россія, ея независимость, свобода насѣляющих ее народов, ея единственная, ни с чѣм несравнимая культура, но и то, что дорого им, хозяевам Россіи: их власть, их революція, их коммунизм, — даже эта страшная война не измѣнила ни в чем, ни в одной запятой, привычнаго, казеннаго трафарета сервильной печати.

Ничего не случилось! Как будто война еще больше нивелировала совѣтскую прессу. На фронтах крестьянскіе сыновья все же сражаются при помощи усовершенствованных орудій, но журналистам, видимо, они оставили свои примитивныя лопаты и вилы. И главное — это фатальное бездушье ко всему: к странѣ и к себѣ самим! Даже когда кричат и бьют себя в перси по поводу «вѣроломства» нѣмцев и нѣмецких звѣрств, или когда захлебываются в восторженном шапкозакидательствѣ, — и крик этот, и восторг этот, и самый патріотизм этот звучат механически-бездушно, как неживые.

В ушах — нездѣшній, странный звон:
То кости лязгают о кости. (Блок).

В концѣ концов все это не ново. Мы предчувствовали и всегда опасались, что именно в час испытаній власть не найдет ни нужных путей, ни нужных слов.

Эти сѣрые листы все еще приходят к нам случайно, с огромным опозданием. Сейчас, к началу 6-го мѣсяца войны, для нас послѣдними оказались газеты от первых чисел сентября. Перелистывая «Правду» (за июнь—сентябрь), «Извѣстія» (за июнь—август), «Труд» (за июль), «Комсом. Правду» (за июнь), «Красный Флот» (за июль), «Сов. Украйну» (за август), «Литер. Газету» (за июль), — мы вынуждены поставить перед собой задачу ограниченную и скромную: прослѣдить отраженіе войны в совѣтском тылу в первые мѣсяцы войны.

То, что Сталин был абсолютно не подготовлен к разрыву совѣтско-нѣмецкаго пакта, то, что нѣмецкая атака застала власть и страну буквально врасплох, можно видѣть по совѣтской печати за июнь до 23-го. По лѣтнему ли времени, по каким ли другим обстоятельствам, но печать отразила в это время настроеніе чрезвычайнаго благодушія, увѣренности в завтрашнем днѣ, убѣжденности в том, что мудрый Сталин всѣх перехитрил и «спас» Россію от войны. Раз так, раз Россія — внѣ огненнаго круга войны, — то можно по прежнему развивать глубокомысленныя теоріи о «2-ой имперіалистической». Можно было по-прежнему «поджигателей войны» видѣть в «англо-французских интервентах» и обѣщать своим вѣрноподанным расправиться с поджигателями-имперіалистами «на их же территоріи» (см. напр. «Большевик» за 41 г., № 2). Бумага поистинѣ все стерпит. И вдруг, как гром с яснаго неба обрушилось извѣстіе о германском нападеніи. Обращеніе Молотова «по порученію правительства и Сталина», первая военная сводка от 22-го іюня.

Как по мановенію дирижерской палочки, на заводах пошли обычныя собранія, на которых принимались обычныя резолюціи. За рабочими стали такія же резолюціи принимать ученые, артисты, женщины, инженеры. Кто в одиночку, кто в коллективном порядкѣ. И у всѣх один и тот же рефрен: «За родину, з а С т а л и н а». За июнь—август мы не нашли ни в одном совѣтском изданіи ни одной попытки хоть сколько-нибудь серьезно оцѣнить прошлое, хоть намеками коснуться ошибок совѣтской внѣшней политики и вскрыть смысл событій, в водоворотѣ которых оказалась Россія. Нѣтъ,

цитаты из рѣчи Сталина от 3 іюля явились единственным источником вдохновенія; к скудному багажу этого высочайшаго выступленія газеты боялись добавить свой комментарий. Единственное, что за эти мѣсяцы было допущено, это перепечатка статей Тарле об отечественной войнѣ 1812 года, двѣ-три статейки Ем. Ярославскаго (почти единственнаго из уцѣлѣвших «старых большевиков»), в литературных водах котораго было невозможно отыскать какую-нибудь мысль, да еще утомительное разсужденіе академика Митина о Германіи. Любопытно, что первое выступленіе Литвинова по радіо было подано газетами на задворках. Обратив на себя вниманіе заграницей, оно, повидимому, должно было пройти незамѣченным в Москвѣ.

До конца іюня не было ни одного номера газеты без упоминанія о «неполадках» или без доносительства на ближних. С начала войны все как рукой сняло: повсюду, — на фабриках, в колхозах, в партіи, в аппаратѣ, — сплошное идиллическое благополучіе. Отовсюду, из городов и деревень поступают реляціи, одна другой успокоительнѣй, оптимистичнѣе. А сверху, из партійных канцелярій льется поток казенной словесности, — поверхностной, бездушной и мертвящей. Казенныя перья перестроились вновь на анти-фашистскій строй и то и дѣло подчеркивают принципіальное превосходство свое над «кликой», которая «превратила страну в огромный концлагерь, отравляет населеніе дурманом своей пропаганды, колючей проволокой цензуры, шпіонажем, подсматриваньем, подслушиваньем многочисленных агентов» (еслибы в текстѣ не стояло «Гестапо», можно было бы, пожалуй, подумать, что рѣчь идет о ГПУ... — Г. А.) «отгораживает страну от внѣшняго міра». Так неосторожно наводит на аналогіи совѣтскаго читателя коммунистическое свѣтило послѣбухаринскаго призыва, академик Митин, в своей статьѣ о Германіи («Извѣстія» от 20 авг.). Послѣ почти двухлѣтняго романа с Гитлером, Сталину ничего другого не осталось, как вновь из'ясняться в «стопроцентной», неистребимой, вѣчной склонности к демократіи и свободѣ.

Когда и как прошла мобилизація, об этом мы не нашли никаких тайных в совѣтской печати. Зато мы нашли в первую недѣлю войны свѣдѣнія о 5-6 актах правительства, которыми тыл был, так сказать, введен в войну. 25 іюня было введено военное положеніе, тогда же начал функционировать Военный Трибунал войск НКВД. 26 іюня был издан

ряд указов: во-первых, об «обезпеченіи общественнаго порядка и государственной безопасности» с тѣм, что нарушившіе его подлежат наказаніям по законам военнаго времени, во-вторых, о сверх'-урочных работах до 3-х часов в день и до 2-х часов для подростков до 16 лѣтъ, и в третьих, о выплатѣ пособій семьям призванных на военную службу. 3 0 і ю н я была образована т. н. «пятерка», Государственный Комитет Обороны, куда Сталин ввел, кромѣ декоративных фигур (Молотова и Ворошилова), своих ближайших сотрудников: Маленкова и Берія. 4 і ю л я был издан указ о налбавкѣ (в 100 процентов) к сельско-хозяйственному и подоходному налогам.

В іюнѣ-іюльѣ еще однако очень рѣдко говорится об участіи тыла, гражданскаго населенія в дѣлѣ веденія войны. Только к августу наблюдаются проявленія военизаціи населенія. Изучают военное дѣло, приучаются к оборонѣ, обслуживают разныя стороны войны ученые, обыватели, художники, женщины, школьники. Готовятся в добровольцы, изучают стрѣлковое дѣло, гранатометаніе, военную тактику и приемы штыкового боя, борьбу с танками и пр.» («Правда», 19 авг.). «Ученые бросают свои лабораторіи, кафедры и берут в руки винтовку». («Правда», 3 сент.). В Альма-Ата 20 тыс. чел. вступают в отдѣлы Осоавиахима, на Дону идут в Ворошиловскіе кавалеристы, в Рязани «массовыя группы самозащиты, и с. х. академики работают по оборонной тематикѣ». («Извѣстія» от 20 авг.). Из Тулы сообщают о перестройкѣ школьной учебы там, чтобы «подчинить ее подготовкѣ к оборонѣ» («Изв.» от 30 авг.). Из Архангельска пишут, что «работники искусств подчиняют всю свою работу интересам обороны» («Изв.» от 20 авг.). Особенно много удѣляют мѣста дѣятельности домохозяек, главным образом, в дѣлѣ помощи раненым. «Домохозяйки готовят подарки для раненых, посылают им теплыя письма, помогают госпиталям чинить обмундированіе, пополнять запасы бѣлья. Заботятся о культурных развлечениях для выздоравливающих» («Правда» от 29 авг.). «В короткіе три дня домохозяйки города Н. превратили наш госпиталь — в цвѣтушій сад: принесли сотни фикусов, пальм, рѣдких южных растений... сотни занавѣсок, дорожек, скатерти, гардины. Гор. театр помог художественно оформить госпиталь. Прядильная фабрика прислала билліард. Госбанк — кожаныя кресла. Совѣтскія патріотки — несмѣтное количество пуховых подушек».

В «Извѣстіях» (от 14 авг.) описаніе «Деревни сегодня»: «Колхозы выполняют все до мелочей по ранѣ составленному

плану. По плану убирают комбайны, по плану отвозится зерно государству прямо с токов. Жницы от темпа до темпа проводят в поле. Дѣти полонли, поливали посѣвы, теперь будут перевозить снопы на тока... Ни тѣни разлада в коллективѣ, ни нотки неудовольствія». И в стихотворном письмѣ матери-крестьянки к сыну на фронтѣ (стихи поэта Михалкова) та же идиллическая картина:

Такой пшеницы сроду не бывало.
 Богатые хорошіе хлѣба.
 Мы, говорит, такіе строим планы:
 Слатъ государству урожай сполна.

(«Правда» от 19 авг.).

Вот описаніе Полтавы («Сов. Украина» от 19 авг.), выдержанное в каком-то восторженно-провинциальном стилѣ:

«В 5 час. утра тысячи людей собираются у репродуктора послушать сообщеніе Информбюро... В это же время в'ѣзжают обозы с продуктами. С 7 час. утра начинают работать фабрики, заводы, магазины, часом позже — совѣтскія партійныя и общественныя учрежденія.. Город живет бурной и полнокровной жизнью». В той же газетѣ (18 августа) восхищенный репортер сообщает о кievском трамваѣ. «Кiev просыпается рано. И первым предвѣстником наступившаго утра является трамвай. В 4 часа утра выходят вагоны по всѣм 24 маршрутам... Не узнать городского транспорта столицы. Трамвай теперь работает, как вывѣренный механизм».

Без комментариев приведем телеграммы (из одного только номера «Извѣстій» от 28 іюня).

К р а с н о д а р . Оживленно идет торговля на колхозных базарах. Много молока, сметаны, масла. Цѣны на нѣкоторые продукты (сало, мясо) снизились.

О м с к . Исключительной организованностью и слаженностью отличается работа водников Нижне-Иртышскаго Бассейна.

Т б и л и с и . С исключительным успѣхом демонстрируется анти-фашистская фильма.

Г о р ь к і й . За послѣдніе дни в сберегательныя кассы поступают крупныя вклады. Колхозник Н. перед уходом на фронт внес 7 тыс. рублей.

С т а л и н о д а р . Колхозы досрочно выполнили полу-годовой план поставок мяса государству.

Не хочет ли совѣтское правительство мифотворчеством

замѣнить суровую правду о русском неустройствѣ, о русской бѣдности, о нашей неподготовленности к обрушившимся на страну испытаніям? Повидимому, это так. «Старый большевик» Ярославскій пишет в «Правдѣ» (3 сентября): «Благодаря выполненію грандіозных планов трех пятилѣток, разработанных товарищем Сталиным, страна создала недосыгаемые для врага новые металлургическіе, химическіе, машиностроительные, нефтяные, угольные базы». Что тут означают слова «недосыгаемые для врага»? Значит ли это, что нѣмецкая армія не в силах взять эти базы? К несчастью, слишком много русскаго техническаго богатства попало в руки нѣмцев. Или это значит, что Германія не в состояніи достигнуть того высокаго техническаго уровня, до котораго дошла Россія?

К августу мѣсяцу относятся и первые шаги по мобилизации общественнаго мнѣнія, — насколько об этом можно говорить в условіях совѣтской жизни. Отмѣтим всеславянскій митинг 10 августа, возглавлявшійся Алексѣем Толстым. 17 августа было выпущено воззваніе к армянам всего міра, подписанное совѣтскими армянскими дѣятелями. 18 августа состоялся в Кіевѣ митинг украинской интеллигенціи. 21 августа состоялся в Москвѣ еврейскій митинг, издавшій обращеніе к евреям всѣх стран. 29 августа было воззваніе к ученым всѣх стран и т. д. На всеславянском митингѣ «от имени 300 милліонов славян» было провозглашено, что «славяне никогда не примирятся с рабством». «Правда» в передовой от 12 авг. писала: «пробил час, когда весь славянскій мір должен объединиться». Всеволод Иванов в своем довольно любопытном выступленіи на митингѣ, воскликнул: «Порох есть порох. Он взрывается. Свобода есть свобода. Она неустраима. Славянство есть славянство. Оно непобѣдимо.» Просматривая отчеты о митингах, рѣчи безчисленных ораторов, тексты разнообразных воззваній, очень скоро с горечью убѣждаешься в том, что их общественно-политическое содержаніе до чрезвычайности бѣдно и несет на себѣ печать прямой и рабской зависимости от навыков и стиля диктатуры.

Особенно тяжело констатировать, что по прежнему нало всѣм господствует, как навязчивая идея, угодливость и подхалимаж в отношеніи Сталина. С каждым мѣсяцем вторая часть лозунга «За родину, за Сталина» все болѣе выпячивается, порою поглощая и покрывая собою первую. В «Извѣстіях» (от 19 авг.), в сообщеніи с фронта мы читаем, как «коммунист Панов с возгласом: «За Сталина! За Родину!» увлек за собой бойцов». В другом мѣстѣ сообщается: «С

именем Сталина на устах комиссары двигают совѣтскіе полки». В Ленинградѣ выпускается художественный листок: «За родину, за Сталина». На юго-западном фронтѣ театр на колесах ставит пьесу «Парень из нашего города», кончающуюся призывом: «Вперед за родину, за Сталина» («Сов. Укр.» от 7 авг.). Поэт Сельвинскій восклицает по адресу совѣтскаго диктатора: «Веди нас! Мы вѣрим каждому слову твоему! Мы пойдем на побѣду или смерть по каждому зову твоему!». На общегородском митингѣ в Кіевѣ 12 августа оратор-женщина говорит: «Мы твердо увѣрены в нашей побѣдѣ, потому что нас ведет великій полководец, наш родной и великій Сталин». Армяне в своем воззваніи к зарубежным единоплеменникам продолжают чин величанія: «Мы побѣдим потому, что нас ведет величайшій полководец и стратег нашей эпохи, лучший друг человечества, освободитель армянскаго народа Юсиф Сталин» («Правда» от 17 авг.). Любопытно, что за столь короткое время военные таланты диктатора получили такое всеобщее признаніе. Ворошилов в своих рѣчах ограничивался его характеристикой, как «настоящаго нашего большевистскаго военнаго спеціалиста». Это можно было, пожалуй, понимать и так: «военспец то ты большой, да только наш, замороженный». Но к августу мѣсяцу Сталин превратился уже в «великаго», даже «величайшаго полководца и стратега».

Нѣсколько бытовых черточек в заключеніе. В Харьковѣ в августѣ слушается дѣло оправдома Торлина в Военном Трибуналѣ. Торлин пытался в бесѣдах с домохозяйками «распространять ложные слухи, направленные на подрыв военной мощи совѣтскаго государства». Домохозяйки однако были себѣ на умѣ, «не поддались на удочку провокатора и паникера» и об его «странных высказываніях», в которых слышались «контр-революціонныя нотки», донесли кому слѣдует, и Торлин приговорен к 3 годам тюрьмы. («Сов. Украина», 11 авг.). Военный Трибунал в той же Харьковской области приговорил... к разстрѣлу Геруса за контр-революціонную агитацію и сектанта Шевлюгу за то, что «в теченіе ряда лѣтъ проводил среди колхозников антисовѣтскую агитацію», а сейчас «призывал колхозников не оказывать врагу сопротивленія». («Сов. Украина», 9 августа)... Эти оправдомы, в разговорах с домохозяйками подрывающіе военную мощь совѣтскаго государства, эти сектанты (м. б. толстовцы), р а з с т р ѣ л и - в а е м ы е за призыв к «непротивленію», — не ярче ли торжественных воззваній ко всему міру говорят нам о Россіи, о ея жизни в первые мѣсяцы войны.

Григорій Аронсон.

О СОВѢТСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗѢ

По данным совѣтской статистики, в течение прошлаго года в Совѣтской Россіи было опубликовано в различных провинціальных и столичных журналах, альманахах и других литературных сборниках или издано отдѣльными книгами около сорока новых романов, до сотни новых повѣстей, свыше четырехсот рассказов, художественных очерков и разных боллетристических отрывков и болѣ десяти произведеній характера біографическаго и «мемуарно-очерковаго». Цыфры эти поистинѣ внушительны, и вряд ли еще какая нибудь литература на свѣтѣ, кромѣ американской, может похвастаться таким количеством.

Однако, одно дѣло — количество, и совсѣм другое — качество. Нынче уже и совѣтская критика, правда, послѣ долгих и достаточно мучительных размышлений, пришла к выводу, что «как художественная цѣнность каждой отдѣльной книги опредѣляется не количеством страниц, а качеством ея содержанія, так и степень развитія всей литературы слѣдует опредѣлять не столько количеством, сколько качеством произведеній», что сотни плохих книг ни в коем случаѣ не могут замѣнить одной хорошей, что статистика тут совершенно не при чем, что одно дѣйствительно хорошее произведение может «сдѣлать литературную погоду», а от посредственных — сколько бы их ни появилось — никому, в сущности, не тепло и не холодно. Такую установку, разумѣется, можно только привѣтствовать. Особенно, если вслѣд за этим под словами хорошее произведение будет подразумѣваться хорошее в художественном отношеніи, а не только грамотное и выдержанное идеологически. Намеки на это уже есть (в критических работах В. Александрова, В. Гоффеншефера и нѣкоторых других), однако, очень робкіе, и до полного осуществленія такого «подхода к искусству», повидимому, придется еще подождать. Пока в совѣтской литературѣ мощное количество и четкость идеологіи «кладут на обѣ лопатки» эфемерное качество, и литература сороковаго года, в частности, примѣчательна тѣм, что в ней не появилось ни одного произведенія, способнаго сдѣлать хоть какую нибудь погоду.

**

Слѣдует сдѣлать двѣ оговорки.

Во первых, в виду нынѣшних «мировых обстоятельств» и наших, зарубежных, в особенности, — понятно, что у меня не было и не могло быть возможности ознакомиться со всѣм матеріалом; поневолѣ пришлось ограничиться лишь частью его, здѣсь доступной. В большинствѣ случаев это были вещи, напечатанныя в совѣтских «толстых» журналах, и только немного отдѣльных книг. Поэтому, ко многим положениям, высказываемым здѣсь, слѣдовало бы прибавлять: «насколько мнѣ извѣстно...» Но это само собой разумѣется.

Во вторых, говоря о том, что в прошлом году не появилось ни одного произведенія, способнаго сдѣлать «литературную погоду», я как бы упустил из виду двѣ книги: послѣдній том «Тихаго Дона» Шолохова и «Неодѣтую Весну» Мих. Пришвина. Конечна, обѣ эти вещи могли бы сдѣлать прекрасную погоду — и не только в совѣтской литературѣ. Но «Тихій Дон» печатался частями раньше, и лишь отдѣльной книгой был издан в сороковом году (так что эта вещь «по формальным соображеніям» выпадает из настоящаго обзора), а превосходная повѣсть Пришвина не только не характерна для совѣтской литературы, но и глубоко ей чужда по духу. Об этом, к слову сказать, свидѣтельствуют и отзывы, которые получила «Неодѣтая Весна» в совѣтской печати, почти сплошь раздраженные, хотя, по общему признанію, многие эпизоды ея «отмѣчены высокою поэзіей», а язык повѣсти так хорош, что «боишься пропустить хотя бы одно слово». Путешествіе в «страну непуганных птиц и звѣрей» (о котором рассказывает Пришвин), по мнѣнію совѣтских критиков, «содержит в себѣ недоброе чувство — отдѣлиться от людей и сбросить с себя нагрузку общей участи, из-за неувѣренности, что дѣятельность этих людей приведет их к истинѣ, к высшему благу, к прекрасной жизни». Впрочем, критики Пришвина признают, что у человѣка есть причина, «созерцаая со страхом или в отвращеніи современный человѣчeskій род», искать убѣжища в «непуганных странах».

**

Благодаря существованію строгаго соціального заказа, большую часть произведеній, написанных совѣтскими писателями, тематически можно раздѣлить на нѣсколько основных групп или, точнѣе говоря, серій. В 1940 году особенно повезло

трех темах: о народах совѣтскаго Сѣвера, «шагнувших из родового уклада в социалистическій строй»; о людях и жизни современной колхозной деревни и о походах красной арміи в 1939-40 гг.

Из серии произведений о Сѣверѣ стоит отмѣтить роман М. Большакова «На краю земли» (напечатанный в журналѣ «Молода» и «Вардія») о жизни ненцев ямальской тундры. Большаков опытный писатель, и его повѣствованіе о том, как борется бѣдный ненец Лаптай с ненским же «кулаком» Тыюндомой и как он, по пути, освобождается «из под власти первобытных традицій тундры», читается легко, хотя и без особаго интереса. Любопытны по материалу также сѣверные рассказы (в «Новом Мирѣ», «Красной Нови» и др.) И. Меньшикова, повѣсти А. Калининко «Гропой героев» и «Аквамаринная рѣка» (в послѣдней вещи есть совѣм недурныя мѣста — о сибирской, «приангарской» природѣ), хуже и менѣе интересны экзотическія стилизаціи сѣверной жизни Г. Гора. Значительнѣй по существу (и, в общем, лучше написаны) вещи биографическаго характера, типа автобіографіи П. Осипенко или записок К. Бадигина о знаменитом дрейфѣ ледокола «Сѣдов». Лучшей вещью, написанной о Сѣверѣ, остается вышедшая раньше «Обыкновенная Арктика» Бориса Горбатова. Эта книга в свое время дѣйствительно «сдѣлала погоду», и пожалуй, именно она послужила главным источником вдохновения для авторов сѣверной серии.

Замѣчу мимоходом, что многіе совѣтскіе критики рассматривают появленіе большого количества произведений о Сѣверѣ, как свидѣтельство бѣгства писателей от болѣе сложных и отвѣтственных «соціальных заданий» (своего рода уход в страну «непуганных птиц»), что — насколько можно судить отсюда — вряд ли справедливо. Большинство этих авторов — сѣверяне, и пишут они о Сѣверѣ, повидимому, потому, что знают и любят свой матеріал. Подозрительность критиков не имѣет основаній тѣм болѣе, что соц-заказ настаивает авторов и в самых отдаленных областях Сѣвера.



Кто то из совѣтских литераторов уже жаловался, что послѣ шолоховской «Поднятой цѣлины» стало необычайно трудно писать о жизни совѣтской деревни. Своим романом Шолохов как бы установил «новый художественный уровень» для этого жанра. К сожалѣнію, только теоретически, так как скверных романов, повѣстей и рассказов, освѣщающих жизнь

и людей колхозной деревни, появляется огромное количество и послѣ выхода в свѣтъ «Поднятой цѣлины».

В том, что подавляющее большинство этих произведений «сошло с одного конвейера», не может быть никаких сомнѣній. Всѣ онѣ сдѣланы по одной и той же схемѣ, всюду в них мелькают одни и тѣ же, или до послѣдняго предѣла друг на друга похожіе персонажи, всюду и непремѣнно фигурирует благородный и высоко сознательный бѣдняк-колхозник, который ведет отчаянную борьбу с каким-нибудь «подлым врагом народа», «кулаком и шкурником» (иногда открытым, иногда замаскированным); перипетии этой борьбы повторяются в каждой вещи с утомительной однообразностью, а в концѣ — это само собой разумѣется — доблестная добродѣтель торжествует, наступив пороку ногою на горло. Обыкновенно, дѣйствующих лиц в колхозных произведениях очень много (авторы часто собирают их вмѣстѣ — для показа массовой сцены), и всѣ они, независимо от роли, которую им приходится играть, очень тщательно списаны друг с друга, так что, «прочитав два-три таких романа подряд, читатель неизбежно начинает путать их многочисленных персонажей», по замѣчанію одного совѣтскаго критика. Главные положительные герои обычно носят в себѣ черты характера шолоховских персонажей, блѣдная тень которых оказалась надолго осужденной бродить по страницам колхозных произведений.

Не знаю, пользуются ли большой популярностью колхозныя произведения у совѣтскаго читателя, но издаются онѣ в количествѣ огромном. Не исключеніем в этом отношеніи явился и прошлый год. Назову нѣсколько вещей, для этого жанра, на мой взгляд, наиболѣе типичных: это «Большой разлив» Е. Поповкина, «Буйныя травы» И. Егорова («Красная Новь»), «Теплыя горы» С. Крушинскаго («Новый Мир»), «Красный бор» В. Панова («Октябрь»), «Сыновья» В. Смирнова.

Из перечисленных авторов по настоящему талантлив, пожалуй, только В. Смирнов. Конечно, он так же, как и другіе, скован по рукам и ногам обязательной схемой (она становится особенно ощутительной во второй половинѣ романа, гдѣ на сценѣ появляются стереотипные, знакомые персонажи: отвратительный кулак, сознательный бѣдняк и пр.), однако, у него есть чувство мѣры, он умѣет создавать живые лица и — что особенно цѣнно — его вещи свойственна атмосфера той душевной человѣческой теплоты, которой так не хватает большинству колхозных произведений. Умно и ярко описывает Смирнов и крестьянскій бытъ (как до-революціонный,

так и нынѣшній), правда, не без нѣкоторой слащавости там, гдѣ рѣчь идет о «завоеваніях революціи».

Об остальных авторах сказать по существу почти нечего (хотя совѣм бездарными назвать их нельзя). Они лишены каких бы то ни было признаков того, что обычно называется авторской индивидуальностью, повторяясь один в другом совершенно так же, как их герои. Порою кажется, что можно без всякаго ущерба для содержанія пересадить нѣсколько глав, скажем, «Буйных трав» в «Красный бор», а «Теплыя горы» погрузить в «Большой разлив», и этого не замѣтят не только читатели, но и сами авторы. Совѣтскіе критики, признавая, в общем, безличіе колхозных романов, объясняют его нерѣдко «чисто объективными причинами»: совпадает это материал, писатели тут не при чем. Надо надѣяться, что это все же не совѣм так. Гораздо вѣроятнѣе, что колхозные авторы, исполняя данный им заказ, устремляют все свое вниманіе на описаніе хода борьбы и, главное, на ея «идеологическій смысл», совершенно при этом забывая, что борьба происходит между живыми людьми, обладающими всѣми особенностями человѣческих существ, всѣми явными и тайными человѣческими слабостями и страстями, а не только между чиновниками двух враждебных идеологій. Любопытно, что лучше всего удаются совѣтским авторам (и не только колхозным) тѣ персонажи, которые по тѣм или иным причинам не являються активными участниками борьбы; чаще всего это дѣти, старики и женщины (послѣднія, впрочем, удаются только до тѣх пор, пока не становятся «сознательными», послѣ чего онѣ почему то мертвѣют, превращаются из живых людей в безличных «ударниц», «стахановок» и т. д.). Объяснить это явленіе можно скорѣй всего тѣм, что, изображая людей с официальной точки зрѣнія явно-пессимистических или находящихся «в періодѣ становленія», автор не так крѣпко связан обязательной схемой и может позволить себѣ вольность — взглянуть на изображаемый им предмет собственными глазами, не боясь при этом сдѣлать какой-нибудь идеологическій промах.

**

Конец 1939 года и 1940 год были «отмѣчены» (по торжественному выраженію совѣтских газет) «такими большими историческими событіями, как освобожденіе Западной Украины и Западной Бѣлоруссіи, борьба за безопасность сѣверо-западных границ, вхожденіе Литвы, Латвіи и Эстоніи в СССР,

освобождение Бессарабии и Сѣверной Буковины». На всѣ эти историческія событія, по установившемуся в Сов. Россіи правилу, писатели должны были «творчески откликнуться» в самом спѣшном порядкѣ.

К чести лучшей части совѣтской литературы, надо сказать, что ни один из видных (кромѣ Вл. Лидина) и наиболѣе талантливых ея представителей — то ли в предчувствіи грядущих тяжелых и подлинно исторических испытаній, то ли в смущеніи от характера этих событій — на них ни творчески, ни как либо иначе не откликнулся. «Отображать» событія пришлось литераторам, в лучшем случаѣ, второстепенным, чѣм в первую голову и объясняется необычайно низкій уровень «художественных откликов» на упомянутыя военныя событія.

Несмотря на то, что совѣтскіе журналы сорокового года (и дошедшіе сюда — начала сорок перваго) переполнены военными произведеніями, ни одной хоть сколько-нибудь «выдерживающей критику» вещи до сих пор мнѣ встрѣтить не привелось. Почти всѣ эти «отклики», по большей части — рассказы и «художественные очерки», написаны либо в безнадежно фальшивых сентиментальных тонах, либо в тонѣ залихватскаго «ура-патріотизма», который по своей вульгарности мог бы вполне соперничать с тоном рассказов, помѣщаемых в самых низкопробных вульгарных газетах.

Приведу, как примѣръ, характерный для общего тона этих произведеній, один эпизод из «Коротких рассказов» Кирилла Левина («Новый Мір»). Рассказ ведется от имени нѣкоего старшаго лейтенанта, заблудившагося в лѣсу, и называется «Встрѣча в лѣсу». Лейтенантъ ѣдет по лѣсу в автомобилѣ вдвоем с шофером:

«Дорога шла лѣсом. С обѣих сторон сдвинулись деревья, и, чорт его знает, что за ними скрывалось! Только мы выскочили за поворот — поляки! Идет цѣлая рота, при ней станковые пулеметы. Я даже испугаться не успѣлъ, так скоро это получилось. Знаю, что надо дѣйствовать как можно скорѣе, иначе конец. Выскакиваю из машины и громко кричу:

— Всѣм бросать оружіе сюда, — показываю на дорогу, — и бѣжать вперед. Скорѣе, скорѣе! Иначе всѣх разстрѣляем из пулеметов.

Поляки растерялись. Ясно, что я не один, за мной части. Навѣрно, окружили их. За деревьями-то не видно. Бросают они оружіе, а я тороплю:

— Вперед бѣгом... Кто сдал оружіе, вперед бѣгом...»

И несчастная польская рота, уstraшенная грозным лей-

тенантом, покорно бросая свои станковые пулеметы, бѣжит вперед, «как на ученьи».

В таком же, чисто «охотничьем» родѣ рассказы С. Ващенкова, П. Щеголева, А. Штейна и мн. других. Почти из всѣх них явствует с полной очевидностью, что красный боец — самый отважный, самый сознательный, самый непобѣдимый на свѣтѣ, что воевать для него — дѣло самое простое, «прямо таки пустяковое дѣло», как говорит какой-то герой одного из рассказов, и единственная вещь, которой красному бойцу приходится опасаться, это — подлое вѣроломство врага, иногда измѣннически отвѣчающаго пулей на пулю, или вдруг нагло минирующаго дорогу, по которой могут проѣхать совѣтскіе военные корреспонденты (и они дѣйствительно, по ней проѣзжают в рассказѣ «Хорошая дорога», гдѣ мины, однако, почему-то не взорвались). Необычайная легкость в мыслях авторов привела в концѣ концов к тому, что иных из них пришлось (правда, это уже в началѣ 1941 года) «одернуть»: ссылаясь на авторитетное мнѣніе маршала Тимошенко, совѣтскіе критики не без тревоги заговорили о том, что эти произведения, «наполненные сентиментальностью или сплошным «ура» и «полныя изображеніем необыкновенно легких побѣд», дают «невѣрное и поверхностное представление об условіях, в которых приходится вести войну», и могут только «способствовать растерянности человѣка, когда он встрѣтится с трудностями».

Нѣсколько особняком стоит полу-публицистическая книжка Л. Соболева «Краснознаменная Балтика». Соболев — писатель несомнѣнно одаренный (его первая книга — роман «Капитальный ремонт», вышедшій лѣтъ десять тому назад, свидѣтельствует об этом с достаточной убѣдительностью), однако, и его вещь, представляющая собой хитроумно и умѣло составленный дифирамб Балтійскому флоту, страдает ложным пафосом и дешевым (п. ч. казенным) патріотизмом. Трудно без чувства досады читать такія лирическія изліянія: «И если бы могли встать из холодной балтійской воды отцы и братья наши, моряки-балтійцы, погибшіе здѣсь в лютой неравной борьбѣ с англійским королевским флотом... и если б взглянули они на нашу молодежь и на героев наших: «Эх, и славное выросло племя! — сказали бы они, — хорошіе сыны повзростали!» И еще подивились бы они, как ходят подводныя лодки наши сквозь лед и под лед, как летают самолеты наши сквозь облака и под облака, как стрѣляют орудія наши сквозь броню и под броню... И еще увидѣли б они

знакомую сталинскую фигуру... потому, что Сталин в каждом бою, в каждом полетѣ, всегда и вездѣ...»

Фальшь этого запорожскаго пафоса слишком очевидна, а им полны всѣ сто двадцать страниц книги Соболева.

Слѣдует замѣтить, что так же, как и в сѣверной серіи, наиболѣе интересными и доброкачественными в «военной литературѣ» являются «фактическія записи» о войнѣ (иногда слегка беллетризованныя) ея прямых и активных участников, как напр., автобиографическій рассказ ген. Кошубы (записанный С. Маршаком и А. Твардовским) или «Дневник комиссара» Гаглоева. Эти вещи, в большинствѣ случаев, отличаются простотой и серьезностью тона, и в них нѣтъ и слѣда той хлестаковской декламациі, которой блещут произведенія писателей-профессіоналов.

**

Конечно, этими тремя основными серіями совѣтская художественная проза прошлаго года не исчерпывается. Они характерны для нея, лишь «взятой в общем и цѣлом», однако, многое написанное в Россіи в этот період по тѣм или иным причинам ни в одну из серій не укладывается. Кромѣ «Неодѣтой весны» Пришвина, уже упоминавшейся, нужно отмѣтить умные и прекрасно написанные «Невыдуманные рассказы о прошлом» В. Вересаева, — быть может, лучшее из всего, что до сих пор этим писателем было создано. Коротенькіе, иногда всего в десять-пятнадцать строчек, эти рассказы не только высоко и подлинно художественны, но и дают представленіе об изображаемой в них эпохѣ куда болѣе отчетливое, чѣм иныя многотомныя и спеціально «эпохальныя» эпопеи. К этим послѣдним надо отнести огромную, тщательно и очень добросовѣстно написанную, но на рѣдкость скучную (а послѣ «Севастопольскихъ рассказовъ» — просто невыносимую) эпопею «Севастопольская страда» Сергѣева-Ценскаго. Такое же широкое полотно (только поплоче) — незаконченная еще трилогія «Степан Кольчугин» (жизнь рабочаго-большевика «на широкомъ историческомъ фонѣ») В. Гроссмана, писателя, в общем, способнаго, но постоянно пытающагося перескочить через самого себя.

Можно упомянуть еще о двухъ плохихъ книжкахъ очень талантливыхъ писателей: «Рассказахъ о первомъ чекистѣ» Ю. Германа (автора нашумѣвшаго когда то и, на самомъ дѣлѣ, прекраснаго романа «Наши знакомые») и «Рассказахъ о Ленинѣ» Зошенко. Послѣдній, впрочемъ, рѣшил, повидимому, просто «отписаться» от навязанной темы, что сильно сказалось на

качествѣ этихъ разсказовъ и за что ему болѣе, чѣмъ сильно досталось отъ немедленно его изболчившей критики.

О «туберкулезномъ романѣ» К. Федина «Санаторій Арктур» мнѣ уже приходилось писать. Онъ значительно блѣднѣе «Плохищенія Европы» (предыдущей вещи этого автора), а его оригинальности мѣшаетъ существованіе «Волшебной горы» Т. Манна (отчасти и гамсуновскаго «Санаторія Торахус»). Впрочем, если бы даже на свѣтѣ не было этихъ книгъ, атмосферу которыхъ романъ Федина въ сильно упрощенномъ видѣ повторяетъ, «Санаторій Арктур» врядъ ли отъ этого очень выигралъ бы: слишкомъ онъ надуманъ и примитивенъ внутренно; тема, взятая Фединымъ, оказалась ему просто не по плечу.

Изъ романовъ историческихъ (этотъ жанръ, послѣ «Петра I» А. Н. Толстого, въ Россіи очень въ модѣ) своей безспорной талантливостью выдѣляется книга «Мининъ и Пожарскій» В. Шкловскаго, — умная и яркая, пожалуй, только немного перестилизованная и перелитературенная. Странно, что въ совѣтской литературѣ эта книжка прошла почти незамѣченной; повидимому, Шкловскому все еще не простились его старыя «формалистическія» грѣхи...

Отмѣчая съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ «отсутствіе въ 1940 году совершенныхъ и глубокихъ произведеній» (несмотря на «большія историческія событія») и объясняя это отчасти тѣмъ, что многими «опытными и талантливыми писателями старшаго поколѣнія, положившими начало совѣтской литературѣ, утеряно ощущеніе современности и знаніе современной дѣйствительности», совѣтскіе критики принуждены констатировать, что совѣтская литература «при всѣхъ своихъ достиженіяхъ и новизнѣ» отстала отъ жизни, не сумѣла «откликнуться на насущнѣйшія потребности нашего времени». Возможно, что это и такъ. Точнѣе и проще сказать, что лучшіе предстантели совѣтской литературы (тѣ, что положили ей начало) предпочли въ прошломъ году молчать; «откликнувшіеся» же оказались, за двумя-тремя исключениями, худшей, «обозной» частью литературы. Почему это такъ произошло — вопросъ особый и не только чисто литературный.

Пока же, согласившись съ печальными выводами совѣтскихъ критиковъ, замѣтимъ отъ себя, что итоги 1941-2 гг., принимаемая во вниманіе «мировыя обстоятельства», будутъ, по всей вѣроятности, еще болѣе печальны. Впрочем, это судьба не только одной совѣтской литературы, и было бы странно, если бы наше время, катастрофическое во всѣхъ отношеніяхъ, именно для нея оказалось «порою раззвѣта».

Влад. Мансвѣтов.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА МОСКВЫ

(статья первая)

Можно спорить о многом, но одно внѣ спора: мѣръ вошел в полосу подведенія больших итогов цѣлой эпохѣ своего развитія. В ряду других, жизнь подводит итог и тому явленію, которое внѣ Россіи часто называют коротко: «русскій опыт». Каков именно будет этот послѣдній итог, мы еще не знаем. Но уже теперь и внутренняя связанность многих событій недавняго прошлаго, и общее их значеніе вырисовываются в совѣм ином видѣ, чѣм это казалось еще вчера. В особенности это правильно в отношеніи внѣшней политики Совѣтскаго Союза, — политики, которая на протяжении послѣдних двух десятилѣтій все болѣе и болѣе полно становилась личной политикой Сталина. Эта политика, — мы знаем, — сыграла весьма значительную роль в дѣлѣ подготовки и развязыванія современнаго кризиса. Тѣм важнѣе разобраться, какова же в точности была эта роль? каковы в дѣйствительности были ея движущіе мотивы?

I

Внѣшняя политика Совѣтской Россіи многим кажется загадкой, — и не случайно, что по этому вопросу в прошлом велось и понынѣ ведется так много страстных споров. Причина не только в том, что всѣ вопросы, так или иначе связанные с внѣшней политикой, в современной Россіи окутаны покровом строжайшей тайны. Люди, которые в 1917 г. шли к власти, имѣя в списокѣ своих наиболѣе ударных лозунгов требованіе упразднить «тайную дипломатію», — свою собственную внѣшне-политическую дѣятельность окружили такою сугубой таинственностью, от которой мѣръ уже давно отвык. В Россіи об этой дѣятельности извѣстным становится только то, что хочет огласить само правительство. Выход за эти предѣлы является государственным преступленіем, а таковыя там караются быстро и беспощадно. Поэтому понятно, что ни намек на мало-мальски независимое обсужденіе этих вопросов в современной Россіи нѣтъ и в поминѣ. Внѣшне-политическіе дебаты в Верховном Совѣтѣ и на сѣздах пра-

вящей партіи, — во всяком случаѣ, поскольку рѣчь идет об открытых засѣданіях, — обычно сводятся к выслушиванію сообщеній правительства. Если выступает кто-либо из депутатов, то это дѣлается по указанію того же правительства и говорится в этом случаѣ только то, что желательно сказать с точки зрѣнія послѣдняго. В печати всѣ статьи на внѣшне-политическія темы, вся информация по этим вопросам носит на себѣ ту же самую печать: выполненія правительственнаго «заказа».

Это, конечно, мѣшает ориентировкѣ во внѣшней политикѣ совѣтскаго правительства, — особенно по сравненію с демократическими странами, в которых публичное обсужденіе этих вопросов часто ведется даже с излишней откровенностью, опасной перед лицом внимательнаго врага. Тѣм не менѣе основная причина, мѣшающая правильному пониманію существа внѣшней политики Совѣтскаго Союза, все еще состоит не в этом. Болѣе важно, что эта политика и по своему существу строится значительно болѣе сложно, чѣм политика любой не-тоталитарной страны, — и в жизнь проводится весьма извилистыми, по маккиавелевски запутанными путями, ориентироваться в лабиринтѣ которых даже слитному наблюдателю совсѣм не легко. Такая ориентировка вообще возможна только при условіи, что наблюдатель поймет, за какую именно нить он должен держаться.

В свое время и в русской эмигрантской, и в иностранной печати велось не мало споров на тему, кто же именно является дѣйствительным руководителем внѣшней политики Совѣтскаго Союза: ея официальные дипломаты, Народный Комиссаріат по Иностранним Дѣлам, или неофициальные дипломаты из Коминтерна? С формальной стороны подобный вопрос вполне закономѣрен, так как для цѣлага ряда случаев вполне бесспорно, что воззванія Коминтерна тогда точнѣе выражали существо внѣшней политики Совѣтскаго Союза, чѣм официальные ноты официальных совѣтских дипломатов. Тѣм не менѣе глубоко ошибочно не только «монистическое» изображеніе внѣшней политики Союза в качествѣ цѣликом продиктованной Коминтерном, но и болѣе сложное представленіе о ней, как о результатѣ постоянной борьбы между Наркоминдѣлом и Коминтерном, — этими Ормуздом и Ариманом совѣтской дѣйствительности. Нужно безнадежно мало понимать эту дѣйствительность, чтобы изображать Наркоминдѣл и особенно Коминтерн в качествѣ самостоятельных величин, имѣющих возможность оказывать опредѣляющее вліяніе на внѣшнюю политику Союза. В дѣйствительности эта политика

во всем ее объѣмѣ опредѣляется Центр. Комитетом правящей партіи, — или точнѣе, Политбюро этого Ц. К. Если гдѣ-либо и происходит борьба по вопросам о направленіи этой политики, то только на этих руководящих верхах партіи, которые при своих рѣшеніях учитывают соображенія разных родов, — в том числѣ и соображенія, которыя представляют Наркоминдѣл и Коминтерн. Единственно намѣченная в Политбюро, внѣшняя политика проводится в жизнь под его же непосредственным и распространяющимся на всѣ детали наблюдением, — причем орудіями такого проведенія, в зависимости от обстоятельств, времени и мѣста, могут быть сдѣланы всѣ без исключенія органы совѣтскаго и коммунистически-партійнаго аппарата, которые только входят в сношенія с заграницей, -- не только Наркоминдѣл и Коминтерн, но и ГПУ, и Наркомвнѣшторг. и Общ. Культур. Связи с Заграницей, и т.д. Ни одна торговая сдѣлка заграницей не заключается без учета ее значенія под углом внѣшней политики Союза; ни один договор о переводѣ книг иностранных авторов не подписывается без всесторонняго ознакомленія с политической дѣятельностью даннаго писателя и учета вліянія, которое на нее сможет оказать этот договор. Все подчинено одной цѣли. Эта цѣль опредѣлена Политбюро.

Конечно, привлекаемые таким образом к выполненію опредѣленной функціи органы отнюдь не обязательно должны быть посвящены во всѣ детали не только всей внѣшней политики, намѣченной Политбюро, но даже и той конкретной комбинаціи, активную роль в проведеніи которой они должны играть. Их самих с этой комбинаціей знакомят только в тѣх предѣлах, в которых это необходимо для успѣшнаго выполненія возложенной на них задачи. Если в Политбюро будут считать, что в «интересах дѣла» это полезно, то им могут дать не только не полную, но и не вполне вѣрную информацію. Это относится не только к болѣе или менѣе случайным исполнителям, но и к органам, которые специализировались на внѣшней политикѣ. И Наркоминдѣл и руководители Коминтерна далеко не всегда бывають в курсѣ дѣйствительно всѣх принятых Политбюро рѣшеній, — а тѣм болѣе планов, задуманных и подготовляемых «хозяином» послѣдняго. Сталиным. В таких случаях, эти исполнители могут вполне искренно давать то объясненіе политики Союза, внушить которое внѣшнему міру дѣйствительный руководитель этой политики стремится, но которое может быть весьма далеким от подлинных мотивов поведенія послѣдняго. Именно на этой почвѣ вырастает большая часть легенд о между-вѣдомствен-

ной борьбѣ вокруг внѣшней политики Союза, — в то время, как в дѣйствительности мы имѣем здѣсь дѣло всего только с сознательными диверсіями, предпринятыми для введенія противника в заблужденіе.

Эти основные приемы внѣшне-политической игры руководители Союза начали примѣнять с самых первых шагов своей диктатуры. На первых порах техника выполненія стояла не всегда на должной высотѣ, — потому тогда нерѣдко происходили срывы. По мѣрѣ того, как совершенствовался аппарат, техника выполненія становилась все болѣе и болѣе точной, оказалось возможным задумывать болѣе сложныя комбинаціи, проводить болѣе тонкую игру.

Сказанным отнюдь не исчерпывается список всѣх трудностей, которыя встают перед желающим понять существо внѣшней политики Совѣтской Россіи. Здѣсь дано только общее представленіе об этих трудностях. Но в этом сказанном памѣчено и н а п р а в л е н і е , в котором возможно преодоленіе послѣдних.

Внѣшняя политика Союза направляется Политбюро, верховным органом правящей в странѣ партіи. Но эта партія принадлежит к типу современных тоталитарных партій, которыя не только имѣют опредѣленную официальную идеологію, но и стремятся на базѣ послѣдней создать внутреннее единство идущих за этой партіей слоев населенія, — и в особенности новаго правящаго класса страны, ее «элиты». Это стремленіе обязывает. В своих конкретных дѣйствіях руководители партіи располагают огромной свободой «маневрированія». Они не связаны никаким контролем, никакой критикой. Но для удержанія своей идейной гегемоніи они обязаны заботиться о том, чтобы основы их политики в каком то пунктѣ смыкались с основами официальной идеологіи партіи. Найти мѣста такой смычки внѣшней политики с идеологіей, это означает найти ключ к правильному пониманію основных тенденцій внѣшней политики Союза. Исторія этой послѣдней в ея основѣ есть ничто иное, как исторія формированія и развитія внѣшне-политической концепціи правящей партіи, — исторія эволюціи взглядов послѣдней на взаимоотношенія между Совѣтским Союзом и внѣшним міром.

2

Если мы будем изучать исторію этой концепціи, то мы установим, что при всѣх измѣненіях, которым подвергалась внѣшняя политика Союза за четверть вѣка существованія

последняго, имѣются нѣсколько максим, которыя все время остаются неизмѣнными и на которых эта политика вращается, как дверь на шарнирах.

Основной посылкой, из которой исходят всѣ без исключенія руководители внѣшней политики Союза, является мысль о невозможности мирного сосуществованія Совѣтскаго Союза с «капиталистическим окруженіем». Впервые эту мысль высказал и обосновал еще Ленин. Из нея неизмѣнно исходили всѣ его преемники. Ее полностью «освоил» и много раз подчеркивал Сталин. По их общему мнѣнію, противорѣчія между соціальной структурой страны совѣтов, которая зиждется на отрицаніи частной собственности на орудія производства, с одной стороны, и соціальной структурой капиталистических стран, которыя именно на этой частной собственности и держатся, с другой, — настолько остры и непримиримы, что борьба между ними неизбежна. Она уже идет, — в разных формах и разными методами. Она будет идти и дальше, — и приведет, рано или поздно, к открытому конфликту, во время котораго сила рѣшит основной вопрос, с такой оголенной остротой поставленный еще Лениным: «кто кого?». Капиталистическое ли окруженіе проглотит молодую страну соціального эксперимента или эта послѣдняя взорвет старый мір капитализма?

На сторонѣ «капиталистического окруженія» — колоссальный перевѣс сил. Оно могло раздавить Совѣтскій Союз еще в період гражданской войны, — и не сдѣлало этого только потому, что противорѣчія интересов внутри самого «окруженія» помѣшали сговору. Союз, как сторона болѣе слабая, должен пользоваться этими внутренними противорѣчіями, лавировать между различными группами капиталистических стран, — но он не должен ни на минуту упускать из вида, что рѣшительную борьбу можно отсрочить, но ея нельзя избѣжать. Поэтому основная задача — подготовка именно к этой борьбѣ. Подготовка эта может вестись в разных направленіях и разными методами. Для пониманія измѣненій, которыя в этой области происходили, необходимо знать, что в представленіи большевиков понятіе р е в о - л ю ц і и с самого начала неразрывно сливалось с понятіем в о й н ы , — войны гражданской и войны вообще. Поэтому стратегія и тактика міровой революціи, которая одна только сможет избавить Совѣтскую Россію от постоянной внѣшней угрозы со стороны «окруженія», вожжами російских большевиков неизмѣнно мыслилась, как стратегія и тактика

міровой войны: революціи, которая «перерастает» в войну, или войны, которая «развязывается» революціей...

Основы стратегической концепціи міровой революціи были намѣчены тоже еще Лениным, который при ея разработкѣ исходил из своей общей концепціи судеб мірового капитализма. Основным устоем послѣдняго являются классическія страны мірового финансоваго капитала, — Англія и Франція вмѣстѣ с идущей за ними Америкой. Эти страны держат в своих руках ключевыя позиціи господства над міром. Без побѣды революціи в этих странах всѣ успѣхи революціонныхъ движеній в остальныхъ странах не могутъ быть прочными. Поэтому основной стратегической задачей міровой революціи является борьба именно за эти позиціи, — за революцію именно в этихъ странах. Но эта революція не можетъ побѣдить одними собственными силами, — к этому выводу Ленин пришел очень рано, такъ какъ к нему онъ былъ хорошо подготовленъ своими общими взглядами на характеръ и значеніе англо-американскаго рабочаго движенія с его трэд-юнионизмомъ. Версальскій миръ только укрѣпилъ позиціи имущихъ классовъ этихъ стран. Державы-побѣдительницы получили такія большія преимущества, что ихъ господствующіе классы имѣютъ возможность бросить крохи со своего стола рабочему классу и, купивъ извѣстные слои послѣдняго, ослабить и даже парализовать мѣстное революціонное движеніе. Поэтому уже в самые первые годы послѣ войны борьба за революцію в основныхъ странахъ стараго міра в представленіяхъ Ленина оказалась связанной с идеей толчка извнѣ, — толчка, при помощи котораго силы, стоящія внѣ даннаго государственнаго организма, смогли бы расшатать устой послѣдняго и развязать силы революціи внутри страны.

Странами, которыя способны играть роль тарана, наносящаго подобный толчекъ, могутъ стать, конечно, только тѣ страны, которыя наиболѣе остро страдают отъ сверх-смѣтной эксплуатаціи монополистическаго финансоваго капитала, — колоніальныя и полу-колоніальныя страны Востока, в первую очередь Китай и Индія. Версальскій миръ, наложивъ на Германію чудовишное (пользуясь прилагательнымъ, которое было в свое время в ходу в коммунистической литературѣ) бремя репараній, поставилъ и ее на положеніе страны полу-колоніальной, в которой и рабочій классъ, и всѣ остальные слои населенія страдают не только отъ обычной для капиталистическаго общества эксплуатаціи труда капиталомъ, но еще и отъ эксплуатаціи сверх-смѣтной со стороны держав-побѣдительницъ, извлекающихъ изъ этихъ странъ сверх-прибыль.

Мир дѣлится таким образом на двѣ основныя группировки держав, находящихся в состояніи непрерывной борьбы друг с другом, причем интересы этой второй группы, — группы держав подвергающихся сверх-смѣтной эксплуатаціи, объективно совпадают с интересами и міровой революціи, и Совѣтскаго Союза. Не только пролетаріат этих стран болѣе активен и способен на болѣе рѣшительныя революціонныя дѣйствія, но и вся борьба этих стран в ея цѣлом против ведущих стран мірового финансоваго капитала имѣет объективно прогрессивное значеніе, играет объективно прогрессивную роль. Впервые эти мысли Ленин намѣтил еще в 1915 г., — когда он только приступал к разработкѣ проблематики міровой революціи, которая, — по его представленіям, — должна была вырости из войны. Он к ним нѣсколько раз возвращался позднѣе в полемикѣ против Розы Люксембург, которая считала, что эпоха, когда національно-освободительныя движенія играли объективно-прогрессивную роль, ушла в невозвратное прошлое и что теперь прогрессивной с точки зрѣнія пролетаріата может быть только пролетарская борьба. Ленин стоял на иной точкѣ зрѣнія. Отрицая наличность прогрессивной стороны при конфликтах между двумя группами империалистических держав, он настойчиво подчеркивал прогрессивное значеніе борьбы молодых стран Востока, только приступающих к созданію своего собственнаго капитализма, против старых стран финансоваго капитала. Его мысль о неравномѣрности развитія капитализма и о вытекающих отсюда послѣдствіях, развитая и закрѣпленная позднѣе его послѣдователями в формѣ особаго «закона неравномѣрности развитія в эпоху империализма», постепенно выросла в основную руководящую идею, с которой большевизм вплоть до наших дней подходит к рѣшенію международных проблем.

Практическія послѣдствія, которыя из этой идеи вытекают, исключительно велики. Мир раздѣлен не только по горизонтали, — на социальныя классы угнетенных и угнетателей, — но и по вертикали, — на страны угнетенныя и страны угнетающія. И борьба первых, и борьба вторых одинаково упираются в войну, — войну гражданскую в первом случаѣ, войну обычную — во втором. В обоих случаях эти войны являются объективно прогрессивными; в обоих случаях интересы борьбы угнетенных совпадают с интересами Совѣтскаго Союза. Оказывалось, что существует даже не один, а цѣлых два рычага Архимеда, с помощью которых россійскій большевизм и собирался перевернуть мир.

Значеніе этого вертикальнаго дѣленія міра особенно

увеличивалось тѣм фактом, что в числѣ стран угнетенных оказалась Германія.

В концепціях Ленина эта послѣдняя всегда занимала совсѣм особое мѣсто. Надо знать, что в его представленіях о социализмѣ на первом мѣстѣ стоит элемент организованности и плановости. В 1917 г., мечтая об уничтоженіи стараго государственнаго аппарата, он не забывал сдѣлать оговорку, что для одной части необходимо будет сдѣлать исключеніе: для той, которая связана с банками и трестами и которая выполняет в зародышѣ функціи учета. Этот аппарат необходимо вырвать из подчиненія капиталистам, но не разбивать, а сохранить, расширить, укрѣпить. Ибо такой аппарат, это — «уже девять десятых социалистическаго аппарата». И Ленин набрасывает настоящую утопію государственнаго аппарата в «десять, если не в двадцать милліонов человекъ», который сверху до низу пронижет всю хозяйственную жизнь страны, все в ней возьмет на учет, все подчинит плану. Подобнаго рода рѣчи в устах Ленина не случайность. Они — лейт-мотив его разсужденій о социализмѣ. Для него социализм это прежде всего и больше всего — учет, статистика, план.

Но из всѣх стран міра учета, статистики, плана больше всего имѣется в Германіи, и Ленин дѣйствительно считал ее страной наиболѣе прогрессивной с точки зрѣнія хозяйственной структуры, наиболѣе способной к развитію, к внесенію послѣдовательно проведенных организованности и плановости в общественно-хозяйственныя отношенія. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго в том, что в 1918 г., когда, с одной стороны, выяснились всѣ трудности удержанія власти в Россіи и в то же время, — с другой, — возможность революціи в Германіи приняла вполне конкретныя формы, — Ленин поспѣшил высказать в печати свою завѣтную мечту: о необходимости самаго тѣснаго союза-сотрудничества между Россіей и Германіей. «Исторія, — писал он, — пошла так своеобразно, что родила в 1918 г. двѣ разрозненныя половинки социализма, друг подлѣ друга, точно два будущіх шипленка под скорлупой международнаго имперіализма. Германія и Россія воплотили в себѣ к 1918 г. всего нагляднѣе матеріальныя условія осуществленія экономических, производственных, общественно-хозяйственных, с одной стороны, и политических условій социализма, с другой стороны.» Новый вариант старой греческой легенды о двух половинках человѣческой души, которыя живут в разных людях и неустанно ищут друг друга! Их счастье — только в соединеніи. Но смогут ли они пре-

одолеть те трудности, которые стоят на пути к такому соединению?

Таковы были те главные идеи, которые легли в основу внешне-политической концепции большевизма, в основу всех тактических и стратегических построений последнего. Так было в первые годы советской диктатуры; так продолжало оставаться на всем протяжении ее существования. Из этого ни в коем случае не следует делать вывода, будто в этой области не происходило никаких сдвигов, никаких перемен. Изменения были, — и не мало, — но чаще всего они касались не существа указанных идей, состояли не в отказе от намеченных стратегических целей, а оставались в области приложения этих идей к конкретно существующей, меняющейся обстановке. Если заходили споры относительно существа указанных идей, то они обычно сводились к спорам об их истолковании. Попытки вырваться из круга этих идей неизменно терпели крушение: официальная идеология победивших диктаторских партий обладает огромной силой косной традиции, — в особенности, когда она пользуется революционной фразеологией.

3

В истории внешней политики Советского Союза можно различить четыре основных периода, — с достаточной ясностью друг от друга отграниченных. Первый начинается с момента немецкой революции (предшествующие месяцы в истории большевистской внешней политики стоят в известной мере особняком, а потому будет правильнее не включать их в наш обзор, — хотя и они имеют целый ряд характерных черт) и доходит до конца 1923 г.; второй охватывает 1924-32 г.г.; третий — 1933-39 г.г.; четвертый захватил первые 22 месяца войны, — до начала похода Гитлера против Москвы. О том, что началось после 22 июня 1941 г. говорить, конечно, еще рано...

Первый из этих периодов был периодом большевистских «бури и натиска», — годами попытки лобовой атаки на твердыни старого капиталистического мира. Этот период характеризуется заразительно бодрой уверенностью большевиков в близости революции на Западе, — и при том революции так сказать классического типа, совершаемой в основном внутренними силами революционного движения данной страны. В начале этого периода взрыва революции ждали

буквально со дня на день. «Никогда раньше, — говорил Ленин в октябрѣ 1918 г., — всеобщая пролетарская революція не была так близка, как теперь». «Бѣшенным темпом старая Европа мчится навстрѣчу пролетарской революціи», — вторил ему Зиновьев (1 мая 1919 г.). Опыт 1919-20 г.г. заставил их быть нѣсколько болѣе осторожными в предсказаніи сроков, — но все же эти послѣдніе они продолжают исчислять немногими годами или даже мѣсяцами. «В теченіи послѣдних трех лѣтъ, — говорил Ленин в августѣ 1920 г. (послѣ разгрома Красной Арміи под Варшавой!), — мы поняли, что опираться на мировую революцію — не значит рассчитывать на опредѣленную дату. Увеличивающаяся скорость движенія может привести к революціи весной (1921 г.), но может и не привести». А Зиновьев, борясь в эти дни против излишняго оптимизма участников 2 конгресса Коминтерна, доказывал, что «не один, а два или три года понадобятся, чтобы вся Европа стала совѣтской». Если о таких сроках говорили люди, игравшіе среди большевиков роль осторожных, то легко себѣ представить, каковы были настроенія тогдашних «оптимистов». А не слѣдует забывать, что для рядового большевика характерными были настроенія именно оптимистов.

В соответствии с подобными настроеніями вождей, внѣшняя политика Совѣтскаго Союза в тѣ годы была азартною игрой ва-банк. Роль официальной дипломатіи, по самому своему существу болѣе приспособленной для «маневрированія» в періоды мирной жизни, была совѣм вспомогательной. Совѣтскій дипломат, если ему удавалось попадать на какую-либо международную конференцію, произнося свои рѣчи, всегда думал не столько о впечатлѣніи, которое онѣ производят на его непосредственных слушателей — дипломатов, сколько о том резонансѣ, который онѣ будут имѣть в коммунистической аудиторіи. На авансценѣ внѣшне-политического дѣйствія Сов. Союза был Коминтерн. — с его официальными представителями, лидерами зап.-евр. компартіи, и с его негласными, но тѣм болѣе вліятельными спеціальными эмиссарами, которые дѣйствовали из-за кулис, постепенно подчиняя себѣ компартіи.

В Германіи, — послѣдняя неизмѣнно стояла в центрѣ всей внѣшне-политической игры Совѣтскаго Союза, а потому не может не стоять и в центрѣ нашего анализа, — эти годы были годами непрерывных возстаній-«пучей», которыми Коминтерн пытался взорвать молодую «веймарскую» республику. Эти возстанія временами бывали настолько бессмысленны, что организовывать их эмиссарам Коминтерна приходи-

лось не только против воли всѣх пролетарских организаций Германіи, но, порою, и в тайнѣ от официальныхъ руководителей нѣмецкой компартіи.

Рабочее движеніе Германіи находилось на переломѣ. В мощное зданіе с.-д. партіи, созданное десятилѣтіями преданной работы поколѣнія «старого» Либкнехта и Бебеля, военные споры вбили первые клинья. «Независимые» уже существовали в качествѣ самостоятельной организаціи, но ими руководили старые лидеры во главѣ с Гаазе, которые все еще не примирились с расколом и смотрѣли на него, как на временный этап, — неизбежный, но вредный, подлежащій ликвидаціи, как только к тому будет возможность. По своимъ взглядам, вожди независимыхъ оставались полностью в рядах демократическаго социализма. Особнякомъ стояла небольшая группа друзей и учеников Розы Люксембург и Карла Либкнехта, психологической и политической разрывъ которыхъ со старыми вождями зашелъ значительно болѣе далеко, но и здѣсь старая, хорошая традиція единства рабочаго движенія продолжала оказывать большое вліяніе. В этихъ условіяхъ рабочее движеніе Германіи стояло на перекресткѣ двухъ путей. Вожди могли сговориться, возстановить единство социалистическаго движенія, — как это было сдѣлано Адлеромъ и Бауэромъ в Австріи, — и тогда было бы возможно выпрямленіе линіи партіи, ликвидація ошибокъ, совершенныхъ старымъ партійнымъ руководствомъ в годы войны, на путяхъ так сказать мирной эволюціи. Или вступить на путь гражданской войны внутри рабочаго класса, — как сказалъ одинъ изъ русскихъ социалистовъ в полемикѣ с Ленинымъ в апрѣлѣ 1917 г. Москва бросила все свое вліяніе, чтобы толкнуть германскихъ рабочихъ именно на этотъ второй путь.

Опорной базой она взяла группу Розы Люксембург. — эта группа выступала подъ названіемъ: «Союз Спартакъ». Сама Р. Люксембургъ была далеко не в восторгѣ отъ извѣстныхъ ей итоговъ большевистскаго опыта в Россіи. В тюрьмѣ она внимательно изучала матеріалы о русской революціи, и пришла къ твердому выводу относительно губительности «диктатуры меньшинства». «Диктатура, — писала она, — состоитъ в способѣ примѣненія демократіи, а не в ея отнѣніи». Отнѣну демократіи для Германіи она категорически отвергала и именно поэтому в составленную ею программу «Спартакъ» включила категорическое заявленіе, — в надеждѣ, что оно сыграетъ роль своего рода предохранительной прививки: «Союз Спартакъ ни при какихъ условіяхъ не приметъ правительственной власти иначе, какъ в результатѣ яснаго, недвусмысленнаго

волеизъявленія значительнаго большинства пролетарских масс Германіи, — не иначе, как в силу их сознательнаго согласія с цѣлями, воззрѣніями и методами борьбы спартаковцев». В позднѣйших програмных заявленіях нѣмецких коммунистов этой мысли, конечно, нѣтъ и в намекѣ! При всем радикализмѣ своих теоретических взглядов, при всей рѣзкости своей критики поведенія нѣмецких социал-демократов, Роза Люксембург ни на один момент не становилась в лагерь сторонников «гражданской войны внутри рабочего класса», но всѣм основам своего міровоззрѣнія она не была коммунисткой в том смыслѣ, который вложен в это слово руссійским большевизмом, а до конца продолжала оставаться лѣвой с.-д. до-военнаго времени. Она жила и умерла в лагерь гуманистическаго социализма, — и не случаен тот факт, что она так и не дала своего согласія на созданіе Коминтерна, равно как не случаен и другой факт: непримиримая борьба, которую этот Коминтерн ведет против «люксембургіанства».

Но единомышленники Р. Люксембург были небольшою группою хороших, умных интеллигентов, вокруг которой, как самой крайней, стали собираться разнородные элементы, — в огромном большинствѣ молодежь, без политической выучки, выбитая войной из привычной колеи и насыщенная горячим чувством элементарнаго протеста против всѣх тѣх испытаній, об'ектом которых ей пришлось стать за годы войны. Имена Розы Люксембург и Карла Либкнехта им были нужны, как вывѣска, прикрывающая и освящающая их дѣйствія, — но их идеи им по существу не импонировали. Уже на первом с'ѣздѣ будущей нѣмецкой компартіи собрались в большинствѣ именно эти элементы, и Радек, который был на нем, вполне правильно отмѣтил, что для большинства участников этого с'ѣзда «авторитет Розы и Либкнехта болѣе личный, завоеванный героизмом и страданіями, чѣм авторитет политических людей». А члены с'ѣзда были отборной элитой нарождавшагося движенія, его офицерскими кадрами. Рядовые солдаты движенія еще меньше знали о Р. Люксембург; им еще болѣе далеки были ея тонкіе расчеты. Руссійскій большевизм с его примитивными лозунгами тѣх дней им был болѣе близок, болѣе «созвучен». Москва это поняла и ловко использовала благопріятную обстановку для закрѣпленія своего вліянія. Шаг за шагом она вбивала клинья между массами и вождями молодого нѣмецкаго коммунистическаго движенія, — выбрасывая прочь независимых, подкупая полатливых. Вся исторія первых лѣтъ нѣмецкой компартіи была исторіей «большевизаціи» этой партіи, исторіей искорененія «люксембургіанства»,

удаления из партійного руководства учеников и сторонников послѣдней.

Фактически в партіи уже с 1919 г. имѣлось два центра, — один официальный Ц. К., другой — неофициальные представители Москвы, причем эти послѣдніе вели свою линію по указанію из центра, совершенно не считаясь с мнѣніями официального Ц. К. Они располагали колоссальными средствами, издавали ту литературу, которую считали полезной, оплачивали «профессионалов» и т. д. — короче, начинали вводить в практику тѣ приемы, которые позднѣе разрослись в цѣлую систему коррупции. Именно они были и организаторами возстаній, — нелѣпых, безсмысленных, вредных, — даже с точки зрѣнія интересов нѣмецкого коммунистическаго движенія. Особенно ясно это было вскрыто на примѣрѣ возстанія в мартѣ 1921 г., в видѣ протеста против котораго из компартіи ушла почти половина членов ея Ц. К., во главѣ съ предсѣдателем П. Леви. Это возстаніе было организовано специальным эмиссаром Коминтерна, который был извѣстен под псевдонимом «туркестанца»: надо признать, он дѣйствительно удачно выбрал этот почти щедринскій псевдоним, хотя и вряд ли понимал все символическое его значеніе. Под этим псевдонимом скрывался Бэла Кун...

Я не пишу сейчас ни исторіи нѣмецкой революціи, ни исторіи нѣмецкой компартіи. Поэтому подробностей этих событій, как онѣ ни интересны, я касаться не могу: для меня онѣ важны, как начало превращенія нѣмецкой компартіи, — как и компартій всѣх других стран, — в послушнаго, хорошо выдрессированнаго исполнителя воли Коминтерна, который в свою очередь все болѣе и болѣе опредѣленно становился только исполнителем рѣшеній Политбюро россійских большевиков. А в рѣшеніях этого послѣдняго уже тогда стала намѣчатся весьма интересная линія: нѣмецкая революція ему была нужна, как таран, которым можно разбить ворота Франціи.

Исполнителем и проводником этой тенденціи, несомнѣнно дѣйствовавшим в полном согласіи съ Лениным, был Радек, который впервые в Германіи появился в декабрѣ 1918 г. и с самаго же начала разошелся съ линіей Розы Люксембург. В центрѣ вниманія послѣдней стояли интересы и нужды германской революціи, германскаго рабочаго движенія; она была интернаціоналисткой, но мысль о возможности экспортировать идеи революціи на кончиках пролетарских штыков ей никогда не импонировала. Для Радека и для тѣх, чьим эмиссаром он являлся, в качествѣ центральной стояла проблема

именно такого экспорта. В Версалѣ тогда шла борьба вокруг условій будущаго мира. Радек ждал, что эти переговоры приведут к разрыву, — и желал этого разрыва, стремился к нему. Он хотѣл возобновленія войны и основной задачей нѣмецких коммунистов считал задачу политической подготовки такой войны. Германская революція, германское рабочее движеніе, — все это для него было только средством. В этих условіях он должен был вступать в конфликты с учениками Розы Люксембург, — равно как должен был искать союзников в других лагерях, иногда и политически, и социальнo, ему совершенно чуждых.

Такія попытки он дѣлал во всѣх направленіях. Покойный Гильфердинг рассказывал автору этих строк, что в період споров о подписаніи «версальских условій» в Ц. К. «независимых» социалистов было передано предложеніе Радека, который убѣждал, ни в коем случаѣ не соглашаться на эти условія; если отказ принять их вызовет наступленіе французов, то Радек совѣтовал отходить на линію Эльбы или даже Одера, но не сдаваться, а ждать помощи Красной Арміи, которая в таком случаѣ, — за это Радек ручался, — немедленно же разгромит Польшу и придет на помощь Германіи. Ни в социалистических, ни в демократических кругах эти предложенія Радека не нашли сочувственнаго отклика. Тѣм естественнѣе, что он нашел болѣе внимательную и понимающую аудиторію совѣм в другом лагерѣ, — на совѣм ином полюсѣ нѣмецкой общественности.

В лагерѣ нѣмецких крайних націоналистов и милитаристов поражение Германіи вызвало крайнее возбужденіе. Сообщенія о ходѣ переговоров в Версалѣ доводили это возбужденіе до точки кипѣнія. Как опредѣлял их настроенія один из тогдашних наблюдателей, они готовы были «пойти на союз хотя бы с дьяволом, — лишь бы взорвать версальскій мир». Россійскій большевизм, который как раз в то время одерживал свои побѣды в гражданской войнѣ, изгонял французов из Одессы и англичан из Архангельска, — казался как нельзя болѣе подходящим кандидатом на роль подобнаго «дьявола». Что же удивительнаго в том, что даже наиболѣе реакціонные из нѣмецких реакціонных милитаристов искали встрѣч с полномочным представителем этого «дьявола»? Это было по меньшей мѣрѣ столь же естественно, — как и то, что революціонный представитель ультра революціонной Москвы любезно встрѣчал таких гостей, — хотя и был великолѣпно освѣдомлен, какія чувства они питали к революціи и к коммунизму.

В исторіи тогдашних разговоров Радека с нѣмецкими реакціонерами-милитаристами имѣется много темных мѣст. С нѣмецкой стороны о них, кажется, никто в печати даже не упомянул, — хотя нѣкоторые из гостей Радека много писали на сопредѣльные темы (ген. Гофман, полк. Макс Бауэр и др.): тайны своих отношеній с большевиками нѣмцы вообще умѣют хранить очень тщательно. Радек был менѣе сдержан на язык, и в своих воспоминаніях о «Нѣмецком ноябрѣ», рассказал о них цѣлый ряд любопытных деталей. Интересно, что воспоминанія эти были напечатаны в 1926 г., — когда между Москвой и Берлином пробѣжала черная кошка в связи с вступленіем Германіи в Лигу Націй и когда Чичерин недвусмысленно намекалъ французам на возможность полной перемѣны внѣшне-политической оріентаціи Россіи. Но уже в слѣдующем году, когда эти воспоминанія Радек перепечатал отдѣльной брошюркой, ему пришлось выбросить из них, — очевидно, по приказу свѣше, — все, что касается этих его разговоров, а еще нѣсколькими годами позднѣе, при выпускѣ сборника его воспоминаній и характеристик, их ему совѣм не разрѣшили перепечатывать. Он явно разболтал секрет, который не слѣдовало предавать гласности. Тѣм болѣе цѣнно для нас его показаніе.

Политических визитеров у Радека в 1919 г. перебивало много: представители всѣх оттѣнков и настроеній. Всѣ хотѣли в личной бесѣдѣ выяснить настроенія загадочной Москвы, ея взгляды на будущія отношенія между Россіей и Германіей. Всего смѣлѣе вопросы поставил полк. Макс Бауэр, который по роду своей спеціальнойности был приучен брать «быка за рога»: он был начальником военной развѣдки (Радек его стыдливо называет начальником артиллеріи!) при штабѣ ген. Людендорфа и за годы долгой совмѣстной работы превратился в ближайшаго политическаго друга и совѣтника послѣдняго. К Радеку он пришел с прямым предложеніем союза между нѣмецким офицерством и Совѣтской Россіей. Вот точная цитата из Радека: Бауэр убѣждал послѣдняго, что «диктатура труда в Германіи возможна только при соглашеніи рабочаго класса с офицерством. Он давал мнѣ понять, что на этой основѣ возможна была бы сдѣлка офицерства с коммунистической партіей и Совѣтской Россіей. Они понимают, что мы непобѣдимы, что мы союзники Германіи в борьбѣ с Антантой». Именно на основѣ таких мыслей он и предлагал Радеку «договориться».

В этом рассказѣ явно слышатся недоговоренности. Но основной смысл предложенія ясен: Бауэр стремился не просто

к военному союзу двух различных, социальнo чужеродных государств, — а к далеко идущему политическому союзу, под который предполагалось подвести определенный о б щ и й с о ц и а л ь н ы й б а з и с . Книга Бауэра о «Странѣ красных царей», работы Людендорфа, — в особенности его «Тотальная война», — и ряд работ политических друзей и единомышленников Бауэра и Людендорфа не оставляют мѣста для сомнѣній в том, в каком именно направленіи работала их мысль. И я едва ли ошибусь, если скажу, что во время того исторического разговора Радека с М. Бауэром не столько Радек был «дьяволом», который искушал цѣломудренную душу нѣмецкаго полковника, сколько опытный контрразвѣдчик был настоящим зміем-искусителем кичившагося своим цинизмом Радека. Какія далекія перспективы он открывал!

В 1919 г. разговоры кончились ничѣм: думаю, что в этом Радек прав. Слишком ново звучали мысли Бауэра и для Радека, и особенно для его друзей. Почва еще не была подготовлена. Но какія-то нити протянулись, какіе-то узелки были завязаны. Эти нити не обрывались в продолженіи послѣдующих лѣт. «Коммун. Рабочая Газета», — орган нѣмецкой лѣвой коммунистической оппозиціи, — в 1920-1924 г.г. нѣсколько раз печатала разоблаченія относительно сношеній Радека с представителями рейхсвера. Очень похоже, что ея информация шла из вѣрнаго источника: Радек, имя котораго неизмѣнно фигурировало во всѣх этих разоблаченіях, на-вѣрное, имѣл какія-то основанія, когда в 1923 г. потребовал назначенія партійнаго суда над коммунистом-оппозиционером рабочим И. Х. Лутовиновым (быв. секретарем ВЦИК, сосланным за оппозиціонность в Берлин на работу в Торгпредствѣ), обвиняя послѣдняго в разглашеніи государственных тайн.

Эта линия секретных разговоров, перероставших в дипломатическіе переговоры (Мальцан и Брокдорф-Ранцау, — два крупнѣйших дипломатических дѣятеля послѣ-военной Германіи, связавшіе свои имена с Раппальским договором, принадлежали к тѣм дипломатам, которые были тѣснѣйшим образом связаны с военными кругами), вилась сложно переплетаясь с линіей предпріятій «туркестанскаго типа». Легко понять, что эти двѣ линіи противорѣчили друг другу: каждый успѣх в одном из этих направленій с неизбежностью вел к неудачѣ на другом направленіи, — и в результатѣ вся политика в цѣлом становилась обреченной на неудачу. Эти двѣ тенденціи были внѣшним отраженіем борьбы, которая шла в тѣ годы внутри руководящих центров

российского большевизма, — между сторонниками лобовой атаки на старый капиталистический мир, и сторонниками более сложной тактики глубоких обходных маневров. 1923 г. был последним годом, когда сторонникам лобовой атаки была дана возможность сыграть их карту, — в дни Саксонского и Гамбургского возстаній. Эта карта была бита, — и бита позорно: возстаніе Москвою было отменено до его начала и только случайная погрѣшность механизма (курьер, который должен был извѣстить Гамбург о состоявшемся рѣшеніи пропустил нужный поѣзд: этим курьером был нашумѣвшей позднее Кривицкій) имѣла своим послѣдствіем тот факт, что вооруженные бои все же имѣли мѣсто на улицах Гамбурга. Тѣм настоятельнѣе становилось измѣненіе политики, — и приспособленіе партійнаго аппарата к новым требованіям новой эпохи.

Б. Николаевскій.

КОМИНТЕРН В ВОЙНѢ

1.

Вот уж полтора года, как Коминтерн не выступает публично. Вот уж год, как перестал выходить, по меньшей мѣрѣ за-границей, и его официальный орган, основанный Лениным 22 года назад и сыгравшій немалую роль в исторіи коммунизма.

Міровая организациа революціоннаго коммунизма достигла своего разцвѣта в годы наибольшаго разлива революціонных движеній в Европѣ, между 1918 и 1923 г.г. — в ту эпоху, которую можно назвать годами социальной революціи; она начала клониться к упадку в серединѣ 20-ых годов, и, постепенно слабѣя, представляла к началу новой войны сравнительно очень слабую силу. Ея жизнь кончается в новой войнѣ, независимо от того, на чьей сторонѣ будет военная побѣда. Коминтерн — это большое историческое явленіе межвоенной эпохи. Родившись из войны, он в войнѣ же и утопает.

Как и каждое большое народное движеніе, как каждая партія, быстро подымавшаяся к власти, он имѣет и свою «героическую эпоху». Это тѣ годы, когда борьба требовала громадных и кровавых жертв, когда энтузіазм и самопожертвованіе, преданность идеѣ и твердая воля умѣли сокрушать громадные препятствія, встрѣчавшіяся на пути. Пусть это были иллюзіи или фантазіи, пусть самообман, но это был громадной силы рычаг, который сотрясал в теченіе лѣтъ старую Европу. Гром гремѣл на всем Востокѣ, загоралась Польша, Прибалтика, пожар перебрасывался на Центральную Европу, в Баварію, Саксонію, а далекіе раскаты слышны были по всему европейскому западу, вплоть до Франціи и Скандинавіи.

Тогда из практики рождалась будущая теорія и стратегія коммунизма: нѣсколько зерен ленинского марксизма, взойдя на послѣвоенной почвѣ, явились затѣм для позднѣйших дѣятелей в качествѣ готовых канонов. Зигзаги ленинской политики сдѣлались для потомства научными максимами; конкретное и проходящее — подвигами святых. А люди посредственные и маленькіе, оказавшіеся в окруженіи старых вождей, сдѣлались для нового поколѣнія апостолами. Так коммунизм получал свои каноны, отвердѣвшіе затѣм и годами отшлифованные в принципы поведенія; среди них тактика коммунизма во время войн занимает главное мѣсто.

Естественно, что эту тактику Коминтерн представляет

себѣ, как повтореніе увѣнчанной лаврами политики героической эпохи. Повтореніе точное; каждое отклоненіе было-б кощунством. В войнѣ слѣдует, согласно канону, раньше всего направлять свою энергію на сверженіе своего собственного правительства; категорически отвергается поддержка воюющаго буржуазнаго правительства («оборончество»); во-вторых, необходимо настойчиво подчеркивать солидарность воюющих народов; в-третьих, — в перспективѣ война (которая является войной империалистической) должна превратиться в войну гражданскую, т. е. социальную революцію; и наконец, борьба с войной и с воюющими правительствами должна вестись под знаменем «мира без аннексії и контрибуцій, за самоопредѣленіе народов».

Все это очень старо, а русским читателям хорошо знакомо. Эта система идей и лозунгов должна направлять политику коммунизма и в новой войнѣ. Единственное новое, что пріемлется, это новый фактор — совѣтская Россія. Во вторую мировую войну капиталистическій мир вступает, согласно теоріи, с тяжелым для него бременем социалистического государства, и в этом одном состоит главный прогресс мировой исторіи за четверть вѣка. Этот корректив — одна шестая земного шара, страна социализма — не только не нарушает общей системы взглядов, но даже легко, как-будто, включается в старую схему.

На дѣлѣ же он многое измѣнил; когда дѣло дошло до практического осуществленія военной программы коммунизма, оказалось, что и корректив этот очень многое перечеркнул, и что другія части военной программы в реальности совѣм не таковы, как в предварительных проектах.

2.

Впрочем, на бумагѣ все пошло, как было предуказано. Французская коммунистическая партія, продѣлав кризис в началѣ этой войны и растеряв немало сторонников, встала затѣм оффиціально на позицію Коминтерна и полулегально вела политику прекращенія войны. Англійская партія тоже прошла через кризис и тоже утвердилась затѣм в борьбѣ с «поджигателями войны» — за немедленный мир. В обѣих воюющих странах Коминтерн избѣжал как-будто «предательства 4-го августа*»), т. е. «обороны отечества» в «тактикѣ

*) 4-го августа 1914 г. в германском Рейхстагѣ большинство социал-демократической фракціи голосовало за военные кредиты и с этого дня фактически датируется раскол этой партіи.

пролетаріата». О коммунистических партіях нейтральных стран и говорить нечего — онѣ естественно слѣдовали за московским руководством.

Не измѣнила и германская партія. От нея, в странѣ побѣдоноснаго гитлеризма и традиціоннаго «оборончества», требовалось больше, чѣм от других; в частности, Англии и Франціи не приходилось отказываться от аннексии, и лишь германская партія должна была высказаться по этим вопросам. Она сдѣлала это, на первый взгляд, недвусмысленно. Послѣ войны с Польшей в 1939 г., германская коммунистическая партія ко дню годовщины ноябрьской революціи выпустила воззваніе (совмѣстно с коммунистическими партіями Австріи и Чехословакии), в котором говорилось сперва, что «общая цѣль коммунистов — разбить империалистических поджигателей и зачинщиков войны». Упомянув далѣе о «лицемѣрїи западно-европейскаго империализма», воззваніе говорило:

«за социализм, а не за империалистическіе планы, задуманные германским или англо-французским крупным капиталом, борются народы Германіи, Австріи и Чехословакии.

«Рабочій класс Германіи, Австріи и Чехословакии протягивает руку своим братьям по классу в Англии и Франціи. Не междоусобица в угоду империалистам, а братанье для общей борьбы против поджигателей войны и за окончаніе войны — таков наш общій лозунг.»

Но болѣе важным был торжественный «Манифест», выпущенный в январѣ 1940 г. от имени всѣх трех партій воюющих стран «К народам Англии, Франціи и Германіи», в котором, между прочим, говорилось:

«... Точно так же, как в 1914 г., имущіе классы бросили народы в войну, чтоб обезпечить свое господство над рынками, сырьем, колоніями, и вновь они маскируют свой разбойничій поход лозунгом «защиты отечества». Как в 1914 г. они хотят передѣла міра».

Далѣе излагается исторія революціонных событій послѣ міровой войны; осуждается версальскій договор, и Франція и Англія обвиняются в том, что онѣ дали Гитлеру усилиться и побѣдиль Версаль с тѣм, чтоб он готовил войну с сов. Россіей. Англія обвиняется в том, что она побудила Польшу отказаться от соглашенія с сов. Россіей и что она, подписав 25 августа 1939 г. договор с Польшей, побудила ее отказаться от мирной ликвидаціи данцигскаго конфликта.

«Война приносит всѣм трем воюющим странам схожіе режимы насилія и диктатуры. Существуют концлагери во Франціи и Британской Индіи, как и в Германіи. Люди, самостоятельно мыслящіе и высказывающіеся за мир, подвергаются преслѣдованіям во Франціи, как и в Германіи. Во Франціи коммунистическая партія загнана в подполье...

«Враг находится в собственной странѣ и тут мы должны бить его.

«Французскіе коммунисты заявляют, что французскіе рабочіе обязаны бороться против Даладье со всей силой.

«Британскіе коммунисты заявляют, что британскіе рабочіе обязаны бороться против Чемберлена со всей силой.

«Германскіе коммунисты заявляют, что германскіе рабочіе обязаны бороться против Гитлера со всей силой.»

Упомянув далѣе о «привязанности к СССР», воззвание кончается слѣдующими словами: «Да здравствует соединенная акція народов Франціи, Англии и Германіи против империалистического врага в собственной странѣ».

Этот манифест, составленный и обработанный с большой осторожностью, заключает в себѣ всѣ элементы военно-коммунистической тактики.

Послѣ поражения Франціи германская коммунистическая партія опубликовала декларацию, помѣченную июлем 1940 г.

«Условія перемирія, подписаннаго в Компьенском лѣсу 22 іюня, являются чудовищным актом насилія над французским народом. Эти навязанныя условія не создают длительного мира. Планы создания «Новой Европы» ведут лишь к империалистическому господству над всей Европой и к насажденію реакціонных тоталитарных правительств.»

Указав далѣе, что побѣда Германіи над французскими и англійскими «плутократами» уже привела во Франціи к власти худшіе плутократическіе элементы (Кьяпп, Петен, Вейган, Лаваль), декларация продолжает:

«Дальнѣйшее продолженіе войны может служить лишь жаждѣ прибыли и погонѣ за властью крупных капиталистов Германіи. Историческіе интересы германскаго народа требуют, чтоб преступной войнѣ был по-

ложен конец немедленно. Борясь за мир без аннексий и контрибуций, без подавления других народов, коммунистическая партия Германии борется за истинные интересы и будущее нѣмецкаго народа»^{*)}).

Лондонскій коммунистическiй журнал, публикуя эту декларацию, прибавляет от себя, что ее распространяли в Германіи подпольныя коммунистическія организации, «которые живут и работают, несмотря на самый жестокий террор и репрессии». К тому-же времени относится и воззваніе, помѣченное «Дюссельдорф, 2 августа» (1940 г.) и распространявшееся, по словам коммунистическаго источника, во время затемненій. Полемизируя с рѣчью Гитлера от 20 іюля 1940 г., воззваніе говорит, что «если-б сдѣлано было предложеніе мира без аннексий и контрибуций, гарантирующаго самоопредѣленіе народов, то такое мирное предложеніе было-б с энтузіазмом принято народами».

«Можно-ли, однако, ожидать серьезнаго предложенія мира от правительства, которое запрещает в своей странѣ свободное выраженіе мнѣнія о скорѣйшем установленіи мира, — от правительства, которое отказывается слушать трудящихся, а совѣщается лишь с поджигателями войны, представителями стальных трестов, химических трестов, крупных банков, и выполняет их требованія?

«Побѣда над Франціей об'ясняется не одной лишь силой германских армій. Побѣда Германіи скорѣе об'ясняется національным предательством части капиталистическаго правительства Франціи.»^{*)}

Когда затѣм весной 1941 г. начали обостряться отношенія на Балканах, германскій Комсомол выпустил воззваніе, которое вносило уже новыя ноты. В нем не было обычнаго распределенія вины поровну между обѣими воюющими сторонами, а вся атака направлялась против Гитлера. Об англо-американском империализмѣ — уже ни слова; тон чрезвычайно рѣзкій. Воззваніе заявляет, что нападеніе Германіи на Югославію противорѣчит національным интересам нѣмецкаго народа, и об'являет ложью германское заявленіе, будто Англія начала наступленіе (на Балканах). «Германское правительство не хочет позволить существовать ни одному сво-

*) "World News and Views". Лондон. 1940. № 40.

*) Там-же. № 49, 1940 г.

бодному народу в Европѣ». Воззвание кончается призывом к рѣшительной борьбѣ и к пораженчеству*).

Стоит упомянуть еще в заключение «Письмо из Германии» («Communist», Май 1941), помѣченное январем 1941 г., в котором взят столь же рѣзкій тон по отношению к германской политикѣ на Балканах. «Германскіе рабочіе ничего общаго не имѣют с германскими имперіалистами. Ни порабошеніе румынскаго народа, ни помощь румынским капиталистам и помѣщикам, ни угрозы Болгаріи, Югославіи и Турціи не отвѣчают интересам нашего народа».

3.

Итак, все как-будто в порядкѣ. Всѣ отряды Коминтерна на одной позиціи, согласіе полное, дисциплина образцовая. Так и полагалось по теоріи; война — экзамен для Интернационала. Коминтерн — хозяин положенія, он в силах совершить то великое, к чему новая война является введеніем. Но если ближе присмотрѣться к тѣм фактическим силам Коминтерна, которая имѣлись к началу этой войны, то картина представляется уж нѣсколько иной. Если к а ч е с т в е н н ы й рост мирового коммунизма приходится на 1919-23 гг., то к о л и ч е с т в е н н ы й рост, в особенности рост легальных партій, продолжался и далѣе, и Коминтерн достиг максимума своих размѣров примѣрно к 1930-32 гг. Затѣм начинается и количественный упадок, который идет все быстрее, вплоть до новой войны.

Лѣтъ 15-20 тому назад, в період высшаго политическаго расцвѣта, лучшими отрядами Коммунистическаго Интернационала, т. е. наиболѣе стойкими, подававшими наибольшія надежды в революціонном смыслѣ, были слѣдующія партіи, расположенныя в порядкѣ их революціонности и значенія для Интернационала*) (кромѣ партіи сов. Россіи):

1. Германская Коммунистическая партія.
2. Польская.
3. Болгарская.
4. Китайская.

*) Официальный орган шведской коммунистической партіи «Ny Dag» помѣстил это воззвание 28 апрѣля 1941 г. на первой страницѣ под крупным заголовком, подчеркивая тѣм самым большое значеніе его.

*) Эти и дальнѣйшія данныя подтвердил нам видный в прошлом дѣятель Коминтерна — *non na sunt odiosa*.

5. Итальянская.
6. Французская.
7. Чехословацкая.

К срединѣ 30-ых годов положеніе измѣнилось очень существенно. Германская партія превратилась, послѣ внутренних кризисов и кровавых репрессій, в нѣсколько кружков довольно пассивных и безсильных. Польская партія была распущена свыше, самим же Исполкомом Коминтерна. Болгарская партія была разгромлена. Если не считать Китайской партіи, которая даже в лучшіе годы не играла в Коминтернѣ значительной роли, то на первое мѣсто выдвинулась Французская партія, которую в Коминтернѣ считали непрочной, неустойчивой, неспособной к революціонным дѣйствіям. К концу 30-ых годов на первых мѣстах в Коминтернѣ стояли ннныя партіи:

1. Китайская.
2. Французская.
3. Чехословацкая.
4. Соединенные Штаты.

Всѣ остальные были очень, очень слабы. В Москвѣ часто утѣшали себя фразой Ленина, что порой достаточно «маленькой революціонной партіи», чтоб в момент больших народных движеній увлечь народ за собой. Но Ленин навѣрно не имѣл в виду тѣх маленьких партій, которыя успѣли уже побывать очень большими и потом почти все растерять...

И вот, если с этой стороны посмотреть на Коминтерн в началѣ нынѣшней войны, то картина представляется довольно печальная. Главное вниманіе обращено было, естественно, на партіи воюющих стран: германскую, французскую и англійскую. Но из них одна лишь французская партія представляла собой нѣкоторую силу. Партія англійская никогда не играла роли, она была мизерна. Что же касается главнаго оплота борьбы с германскими аннексіями, — партіи германской, то есть всѣ основанія сомнѣваться в ея реальности. От ея имени дѣйствовал Центральный Комитет, т. е. группа эмигрантов в Москвѣ, контакт которой с Германіей был минимальный. Ея заявленія всегда строго выдержаны в духѣ Коминтерна. Но это достигается слишком легко, чтоб имѣть политическое значеніе! И всѣ приведенные выше документы, демонстрирующіе «революціонную солидарность» германских коммунистов с англійскими и французскими, их борьбу с правительством Гитлера и т. д., — выражают мнѣніе Димитрова и Мануильскаго, вѣрнѣ Сталина, — чѣм сколько-нибудь значительных организованных групп нѣмецкаго ком-

мунизма. Нѣтъ сомнѣнія, конечно, что в Германіи есть и недовольные, а мѣстами и боевыя тенденціи. Но участвуют-ли они в организационной системѣ Коминтерна — неизвѣстно. Поэтому Коминтерн выдает фикции за реальность, чтобъ демонстрировать свою сплоченность и свое превосходство надъ противниками.

Но есть одно очень слабое мѣсто у Коминтерна в началѣ этой войны. Он боится громко говорить о Германіи, а когда это дѣлать приходится, он говорит косноязычно и скороговоркой. Начало войны он датирует не с нападенія Гитлера на Польшу, а с объявленія войны Англійей и Франціей. Тему о Польшѣ — Германіи он всегда обходит молчаніем. Обращая глухія фразы о капитализмѣ, как источникѣ войны, против всѣх, в том числѣ и Германіи, он, однако, подробно упоминает о преслѣдованіях и концлагерях в других странах, кромѣ Германіи. «Поджигателями войны» он называет Англию и Францію, а Германію лишь изрѣдка и мимоходом.

Когда нельзя обойти этой темы, то говорится описательно, лишь-бы не упомянуть слова Германія. Напр., «Война развивается стремительно. В теченіе одного мѣсяца пять новых стран стали ареной войны. Вслѣд за Даніей и Норвегіей пожар войны распространился на Голландію и Люксембург» (Передовая, «Коммунистическій Интернаціонал», 1940 г., № 5). Или, напр., чтоб не слишком взваливать отвѣтственность на Германію, говорится об агрессивности Англии и Франціи: «В отвѣт на грубое нарушеніе нейтралитета Скандинавских стран Англійей и Франціей, Германія вела свои войска в Данію и Норвегію» (Первомайское воззваніе Коминтерна 1940 г.).

Коминтерн на службѣ у Наркоминдѣла! Как недавно еще обвиняли весь московскій аппарат комиссаріата иностранных дѣл в том, что он является лишь органом революціоннаго Коминтерна!

А дальше начинается двойная бухгалтерія, в которой порой и разобраться невозможно. Вот, напр., появляется в официальном органѣ Коминтерна статья нѣмецкаго коммуниста Ф. Флорина под заглавіем «Нало бороться с виновниками войны в Берлинѣ, как и в Бондонѣ и в Парижѣ». Флорин доказывает очень убѣдительно, что утверженіе, будто Англія и Франція однѣ виноваты в войнѣ («поджигатели войны») совершенно неправильно; что Германія требовала себѣ не только Данцига, а гораздо больше, и т. д. Совершенно ясно, что автор скрыто полемизирует с тѣми декларациями и статьями, в которых обвиняются западныя державы в неже-

ланин заключить мир с Германией. Статья эта напечатана, однако, в американском издании «Коммунистического Интернационала», а в русском издании ее нѣт. Между тѣм, журнал этот издается, конечно, под одной, московской редакціей, и появленіе статьи Флорина в одном лишь из этих изданій является не скрытой полемикой кого-то с кѣм-то, а довольно наивным маневром редакціи, не желающей создавать трудности для Наркоминдѣла.

Затѣм на протяженіи всего 1940 г. в «Коммунистическом Интернационалѣ» (русское изданіе) не появляется вообще это почти невѣроятнo! — ни одной статьи о Германіи; не напечатан в этом официальном органѣ Коминтерна ни один документ, касающійся так или иначе германской коммунистической партіи. (Упомянутые нами выше воззваніе и деклараціи германской партіи взяты из других коммунистических органов, не русских). А ноябрьская резолюція 1939 г. (см. выше) напечатана была в журналѣ «Большевик», но не в «Коммунистическом Интернационалѣ». Впрочем, очень скоро и «Большевик» начинает замалчивать дѣятельность германской партіи.

К 1-ому мая 1940 г. Коминтерн опубликовал воззваніе, которое вообще было послѣдним его публичным выступленіем, насколько можно судить по имѣющимся у нас матеріалам. Ни к ноябрьским дням 1940 г., ни к маю 1941 г., ни даже в связи с германско-совѣтской войной не появилось ни одного сообщенія или заявленія Коминтерна!

Однако, неправильно было-бы предположить, будто Коминтерн вообще прекратил свое существованіе. Из всей дѣятельности коммунистических партій в разных странах ясно видно, что есть сила, которая крѣпко держит их в руках и дергает, когда нужно, вожжи. Коминтерн не исчез, но он — в Москвѣ — ушел в подполье!

Рука Коминтерна видна в работѣ всѣх коммунистических партій в самое послѣднее время. Вступленіе сов. Россіи в войну не вернуло к открытой жизни центральныя инстанціи Коминтерна; но оно отразилось на тактикѣ его составных партій очень существенно. Приходилось измѣнить фронт; это дѣлалось не только быстро, но и грубовато.

На примѣрѣ американской партіи (С. Ш.) эти трудности видны особенно ясно, видна также и направляющая рука. В связи с объявленіем войны сов. Россіи (22 іюня 1941 г.), коммунистическая партія С. Ш. принимает резолюцію — в мѣру собственных сил и способностей: в ней растерянно и неумѣстно повторяются старыя фразы — против собствен-

ной буржуазии, которая-де зангрявет с Гитлером для войны с сов. Россіей; «такова же позиція социал-демократов, давно требовавших войны с сов. Россіей»^{*)}).

Но через нѣсколько дней получаютъся, видно, инструкции, и 29 іюня уже провозглашается программа «національного единенія» (не «единого фронта пролетариата», а національного единенія). Но коммунистической партіи трудно усвоить эту неожиданную политику; между тѣм из какого-то центра кто-то подхлестывает и торопит. В октябрѣ центральный орган американских коммунистов констатирует, что партіи трудно дается исправленіе ошибок.

Что мѣшало партіи дѣйствовать болѣе рѣшительно в направленіи національного единенія? «Сектантскія тенденціи». Онѣ помѣшали: болѣе активной дѣятельности в дѣлѣ удлиненія срока военной службы онѣ выразились в нежеланіи нѣкоторых кругов оказывать военную помощь Англій, — а лишь сов. Россіи; в неумѣннй перестроить борьбу тред-юніонов примѣнительно к новым условіям! (т. е. бороться со стачками); в нежеланіи сотрудничать с тѣми, кто раньше был противником. Несомнѣнно, существует и правая опасность; но сейчас надо сосредоточить всю борьбу против «сектантства» (поз этим именем скрывается сейчас «лѣвый уклон» в официальном коммунизмѣ)^{*)}.

Эта страничка из исторіи американской К. П. является лишь иллюстраціей к работѣ Коминтерна. Режиссер ушел за кулисы; коммунистическія партіи по-прежнему и материально и идейно зависят от Москвы.

4.

Почему-же ушел за кулисы режиссер в коммунистической Москвѣ? Потому, что он поставил себя в положеніе насквозь фальшивое. Вскорѣ оно сдѣлалось совершенно невозможным.

Начало войны означало для коммунизма начало новой большой эпохи революціи. С началом войны кончалась эпоха подготовки, передышек, социализма в одной странѣ. «Либо революція опередит войну, — гласила популярная коммунистическая формула в «эпоху стабилизациі», — либо война опередит революцію». Революція не разразилась, ее опере-

*) "The Communist", іюль 1941 г.

*) Там же, сентябрь 1941 г.

дила война. А из войны вновь родится революція: это не должно подлежать сомнѣнію. Момент этот подошел, пришла новая революціонная эпоха.

Но об этом, о самом главном, открыто говорить неудобно! Соглашеніе с Германіей в августѣ 1939 г. должно вѣдь обезпечить сов. Россіи дальнѣйшій срок подготовки, и нельзя мѣшать этому открытой пропагандой коммунизма и новой революціи. Не знаем, было-ли заключено тогда между Берлином и Москвой прямое соглашеніе о дѣятельности Коминтерна; по всѣм признакам, какіе-то разговоры об этом были и какое-то соглашеніе было заключено под формулой «неинтервенціи во внутреннія дѣла»*).

Поэтому Коминтерну опасно было касаться германской темы. Нельзя было ради пропаганды жертвовать существом сталинской политики. Приходилось сперва хитрить, увиливать, — а потом уж совершенно замолчать. Мы уже указывали выше, в каких недостойных формах это продѣлывалось; это не могло не вызвать протестов — хотя бы со стороны тѣх же нѣмецких коммунистов, которым нелегко вѣдь было перевернуть лояльное молчаніе о Германіи. Словом, Коминтерн, как открытая организація, сдѣлался неудобным для совѣтскаго правительства. Тогда на него надѣт был намордник.

В сентябрѣ 1939 г. секретарь Коминтерна Димитров помѣстил в своем журналѣ руководящую статью, в которой н а м е к а м и говорилось о надеждах и перспективах. Курсивом выдѣленное заключеніе гласило:

«Империалисты начали войну... Рабочій класс призван положить конец этой войнѣ по-своему, в своих интересах, в интересах всего трудящегося человечества, создавая тѣм самым необходимыя предпосылки для уничтоженія коренныхъ причин, порождающихъ империалистическія войны».

*) Это надо предполагать м. пр. на основаніи длинныхъ и детальныхъ обвиненій сформулированныхъ Риббентропомъ против Сталина в день объявленія войны. Нѣтъ сомнѣній, что Риббентроп много извратил, прибавил от себя и просто солгал. Но что-то, вѣроятно, все же имѣется за его указаніями, будто нѣкій Крылов, комиссаръ ГПУ, обучал германскихъ коммунистовъ подпольной работѣ, будто Мохов, совѣтскій консул в Прагѣ, был замѣшан в коммунистической дѣятельности; будто в Загребѣ состоялась коммунистическая конференція; будто коммунистическія прокламаціи, распространявшіяся в Румыніи и Югославіи, печатались в Сов. Россіи, и т. д.

Смысл ясен; но какой эзоповский язык! «Причины порождающих войны», — назывались до сих пор в Коминтерне капитализмом, а «положить по-своему конец» — означает в Москве завоевание власти пролетариатом после революционной гражданской войны. Но об этом говорить открыто строго запрещается, нельзя мешать контакту с Берлином.

И действительно, об этом — самом главном, о душе коммунизма — нигде больше никогда не говорится! Упоминутая фраза Димитрова цитировалась затем многократно, но без комментариев. В других условиях выросла бы целая литература о наступившей эпохе новых социальных революций; а теперь пришлось всех обуздать — и приказать подчиняться дисциплине.

Одна вылазка, единственная за все время войны была сделана ровно два года назад, когда начиналась война с Финляндией. Эту войну решено было вести в тех же формах и с теми же лозунгами, как 18-20 лет до того, когда Ленин воевал с Польшей и когда произошло финляндское коммунистическое возмущение. «Правительство Куусинена» было необходимо Москве, отчасти и потому, конечно, что это облегчало тогда взаимоотношения с Германией, Лигой Наций и т. д. Но если бы Сталин предвидел, каким фиаско закончится эта единственная в своем роде, революционная вылазка, — он, конечно, нашел бы другую форму для военного конфликта с Финляндией. Через два-три недели после провозглашения этого революционного правительства, в Москве пожимали плечами, удивлялись и разочарованно говорили друг другу (как сообщал Gedye, московский корреспондент «Нью-Йорк Таймс» в то время): «Повидимому буржуазное правительство Финляндии не совсем уж лишено корней в своем народе!». Финляндия, прошупанная штыком, дала недвусмысленный ответ на вопрос о зрелости Европы для новых революций.

Словом, пришли времена, когда надо молчать, чтоб неосторожным движением не помешать драгоценной внешней политике. В Москве не могли сказать того, что думали: что мировая буржуазия, этот умирающий господствующий класс, не сознает всей опасности, грозящей буржуазному строю, и выносит на арену войны антагонизмы различных своих групп; что Гитлер выражает коллективные интересы мировой буржуазии; что его истинные друзья сидят в Лондоне и Вашингтоне, и что сов. Россия должна пролить себя «передышку» для подготовки к неизбежному нападению всей, объединенной мировой буржуазии! Можно ли было сказать

это в лицо Гитлеру, когда во-внѣ царила дружба и взаимопомощь?

Но и затѣм, когда началась германско-совѣтская война, для Коминтерна не настали времена легальности. Согласно коммунистическому пониманію, Коминтерн использует сейчас внутренние антагонизмы міровой буржуазіи, чтоб с помощью одних ея элементов бить другіе; его союз с «демократіями» — дѣло временное (по старой формулѣ: поддержка Керенскаго против Корнилова») чтоб потом легче вынести неизбежную войну с побѣдителем. Ибо истинная, адекватная эпохѣ схема — это «Мюнхенская» комбинація держав: буржуазія против пролетаріата. Но умирающій класс, сам не понимая своей обреченности, устраняет в послѣднія минуты оргію войны в своей собственной средѣ; втянутый в нее сов. Союз сперва использует одну группировку против другой, чтоб затѣм тѣм легче положить на обѣ лопатки ослабленных своих полусоюзников.

Но можно-ли такую философію подавать в момент союза с Англіей и Америкой? Можно-ли нарушать чистоту демократических риз, наскоро надѣтых в Москвѣ для «перваго періода мировой войны»? Нѣтъ, Коминтерну нельзя еще выйти наружу. Его час не пробил.

А тѣм временем война пошла совѣм не так, как полагалось. А революція тем временем нигдѣ не зажигается, и нѣтъ основаній ожидать скорой вспышки. И невольнo Москву берут сомнѣнія, пробьет-ли этот час...

Д. Далнн.

РОССІЯ, ЕВРОПА И МІР ПОСЛѢ ВОЙНЫ

(Политическія размышленія)

Среди многих ходячих идей, введенных в политическій оборот большевиками, была и та, что внутреннее бытіе опредѣляет внѣшнее, или что внѣшняя война есть продолженіе внутренней политики «только иными средствами».

Истину эту, как извѣстно, впервые открыл прусскій стратег и историк ген. Клаузевиц. Популяризировал же ее русскій революціонер и почитатель Клаузевица Ленин. К тезису Клаузевица: война — та же политика, Ленин прибавил свой анти-тезис: политика — та же война. Оставим в сторонѣ ленинскій антитезис; сосредоточимся на клаузевиц-ленинском тезисѣ. Несостоятельность его лишній раз изобличается текущими событіями.

Самое бытіе Россіи и Европы, а не только их политика, нынѣшняя или будущая, зависят от внѣшних событій, от исхода войны. Если побѣдит Гитлер или добьется компромисснаго мира, — не о чем говорить: его воля и усмотрѣніе исключат всякое размышленіе. Проблема національно-государственнаго устроенія Россіи является производной от внѣше-политических событій и «возможна» она (в кантовском смыслѣ) лишь в предположеніи, что націонал-фашистская сила в конечном счетѣ будет разбита.

Можно считать общим правилом, что побѣдители оказывают прямое вліяніе на режим, устанавливаемый побѣжденными. Когда побѣждала Спарта, торжествовали монархія и аристократія во всей Греціи. Когда господами положенія становились Афины, троны падали, и верх одерживали анти-аристократическія партіи. И на наших глазах, когда в міровой войнѣ побѣдили союзники, демократія — в порядкѣ подражанія и приспособленія — стала общим законом и стилем европейской жизни. И заушеніе демократіи стало в такой же мѣрѣ европейской «нормой», когда обозначались прочные успѣхи диктатур и диктаторов в Россіи, Италіи, на Балканах, в Польшѣ и т. д. И до прихода к власти Гитлера Европа была уже во власти тоталитарной «моды».

Как ни сложится національно-государственное будущее Россіи, представленіе и размышленіе о нем связано нераз-

ривно с нашим представленіем и видѣніем будущаго міра и Европы. Привычная и естественная національно-патріотическая психологія может тому противиться, но всѣ размышленія и разсужденія о россійском будущем должны итти не от Россіи к Европѣ и міру, а в обратном направленіи: от міра — к Россіи.

«Не принимайте хлѣба насущнаго
легко, не вѣрьте праздным риторам
и пустым идеалистам».

Г е р ц е н .

Какія вообще мыслимы формы междунаrodnаго общенія послѣ войны?

Мы имѣем в виду не п е р е х о д н ы й п е р і о д от войны к миру, когда вся энергія побѣдителей должна будет сосредоточиться на предотвращеніи анархін и «эксцессов» в отношеніи к побѣжденным, виновным и невинным, и на обезпеченіи элементарнѣйших условій физическаго существованія. Вряд ли повторится практика 11 ноября 1918 г., когда перемиріе было заключено на мѣсяц, с послѣдующим продолженіем еще на мѣсяц, опять на мѣсяц и т. д., пока обсужденіе проектов будущаго мира не подорвало самаго договора о мирѣ.

Прекращеніе военных дѣйствій будет, конечно, навязано, и условія перемирія не будут продиктованы лишь потому, что не будет с к ѣ м заключать перемиріе, кому диктовать условія. Переход от военных дѣйствій к прочному миру затянется на заранѣе неопредѣлимый долгій срок, когда невозбранно будет дѣйствовать воля и, по необходимости, гегемонія побѣдителей — в первую очередь по англійски говорящих народов.

Но что будет послѣ этого? Как мыслить себѣ устроеніе Европы и міра по истеченіи переходнаго періода?

Может быть, вернуться к дѣйствовавшей вѣка системѣ, так называемаго, равновѣсія сил? За нее — ея очень давнее происхожденіе; она подсказывалась сама собой, инстинктивно, почти как фізіологическій рефлекс самосохраненія и самообороны. С древнѣйших времен начинаая, — об этом говорится и в Библии, — болѣе слабые народы догадывались об'единяться и группировать свои силы для противовѣса и отпора болѣе сильному. Афины становились на сторону Фив или Спарты, в зависимости от того, с чьей стороны грозила геге-

монія. Генрих VIII, Тюдор, даже своим девизом выбрал: «К кому пристану, — за тѣм и побѣда». С Утрехтскаго мира 1713 г. равновѣсіе сил становится общепризнанным принципом дипломатическаго искусства и международнаго устроения. Анти-наполеоновская дипломатія именует принцип равновѣсія «мудрым». И дѣйствовавшій в теченіе 19-го вѣка европейскій концерт, по существу был не чѣм иным, как все тѣм же равновѣсіем сил, входивших в концерт и из него фактически исключенных.

В будущей, опустошенной и обезсиленной, Европѣ послѣ войны возстановить систему равновѣсія сил будет невозможно, даже еслибы то было желательно: не окажется достаточно мощных сил и противовѣсов. Но еслибы подобные центры средоточія сил и сложились, между ними неминуемо начались бы прежнее соперничество и столкновение. Возврат к системѣ равновѣсія сил был бы мнимым возвратом, — фактически прикрытіем легализованной гегемоніи, — и тѣм самым худшим, вариантом рѣшенія проблемы предотвращенія агрессіи и войн.

Рѣшительнѣйшим образом отталкиваясь от печальнаго прошлаго, сейчас доказывают, особенно распространено это мнѣніе в американской общественности, но также и среди англичан, русских и др., что в итогѣ этой войны мір превратится в единую федерацію. План Кларенса Страйта и возникшаго около него в Соединенных Штатах цѣлаго движенія в пользу міровой федераціи послѣ войны,*) планы Аттли и англійских лэбуристов; планы американской «Комиссіи по изученію организаціи мира», возглавляемой проф. Шотвелом; «Международной совѣщательной группы в Женевѣ»; Совѣщанія группы социалнстов разных стран, организованнаго нью-іоркской «Рэнд Скул»; планы Нормана Энжеля, Уэлса, Сфорцы, Ренэ Брюнэ, Адамика — мы не кончили бы долго, еслибы стали перечислять всѣ, — в значительной мѣрѣ повторяют один другой в своей критической части, в отрицаніи того, что было. Но что коренным образом отличает ряд планов — и Кларенс Страйт с возглавляемым им движеніем «Union Now» здѣсь должен быть упомянут в первую очередь, — это то, что их строят, как варіацію на вѣчную тему

*) Это движеніе насчитывает 8 милліонов сторонников. Среди них имѣются выдающіеся ученые и политическіе дѣятели. Штат Норт Каролайна в законодательном собраніи принял недавно постановленіе просить президента Рузвельта преложить международнаму конгрессу принять конституцію міровой федераціи.

ибсеновскаго Брандта: «все или ничего». «Міру предстоит умереть или об'единиться», «Европа должна стать федеративной или погибнуть», «Міровое Об'единеніе или Хаос» — являются здѣсь не только выразительными и броскими формулами; онѣ и характерны для максималистической установки, радикально рвущей не только с ошибочным прошлым, но и со всей исторіей и психологіей человѣка и человѣчества.

Представленіе о том, что мір есть единство и отечество человѣка — вся вселенная, столь же старо, как старо человѣческое мышленіе о судьбах человѣка. Его можно найти и у библейскихъ пророков, и у Сократа, и у Марка Аврелія, и у отцовъ христіанской церкви. Идея унитарнаго универсализма — в формѣ всемірной монархіи, а потомъ теократіи — дожила до среднихъ вѣковъ и погибла вмѣстѣ с ними, чтобы воскреснуть позднѣе к новой жизни в отвѣтахъ на вопросъ: какъ организовать вѣчный мір? Этотъ вопросъ возникалъ многократно на протяженіи послѣднихъ столѣтій. И проектъ Страйта, покоящійся на принципиальномъ отрицаніи національнаго во имя утвержденія в европейцѣ, американцѣ, ново-зеландцѣ и т. д. универсальнаго, природнаго, всечеловѣческаго, по существу возвращающагося к тому строю идей и мышленія, который былъ характерен для вѣка энциклопедистовъ и рачіоналистовъ. Авторъ и не скрываетъ этого. Утверждая «суверенитетъ человѣчества», взамѣнъ «божественнаго права народовъ», Страйтъ моделируетъ свою «Декларацию мірового об'единенія» по памятнику 18-го вѣка, по образцу близкой и дорогой сознанію всякаго американца и демократа «Декларации Независимости» 1776 г.

Страйтъ выработалъ и текстъ Конституціи мірового об'единенія по образцу и подобію Конституціи Соединенныхъ Штатовъ — не Конфедерации 1778, а Федерации 1787 г., — с общимъ народно-представительнымъ органомъ для всего міра, единымъ правительствомъ, судомъ, перечнемъ (до буквы «н») того, что составляетъ компетенцію міра по сравненію с компетенціей отдѣльныхъ народовъ, в предѣлахъ своего государства, и т. д. Мы лишены возможности подробно разсмотрѣть планъ Страйта и его многочисленныхъ, иногда очень авторитетныхъ единомышленниковъ. Отмѣтимъ только, что исходитъ этотъ планъ изъ посылки: «all men are created equal» — всѣ люди созданы равными, а приходитъ онъ, кладя в основу структуры численное соотношеніе, к утвержденію руководящаго положенія за Соединенными Штатами в одномъ случаѣ, и за Сѣверной Америкой, т. е. за Соединенными Штатами вмѣстѣ с Канадой, в другомъ.

Ст. IX страйтовской конституціи предусматриваетъ вступленіе в силу «Универсальнаго Об'единенія Человѣчества» по

утвержденіи конституціи Соединенными Штатами (131 голос) и Канадой (11 голосов), т. е. 142 голосами из общего числа в 282. Этот план 1941 г. нѣсколько измѣнил первоначальный 1939-го, исходившій из объединенія не 7 демократій (Соединенных Штатов и Англии с четырьмя доминионами и Ирландіей), как сейчас, а 15 (прибавляя к предыдущим Бельгію, Данию, Финляндію, Францію, Голландію, Норвегію, Швецію и Швейцарію). И план 1941 г., опубликованный до войны между Россіей и Германіей, естественно, относит Россію в лагерь анти-демократических стран. А что будет, если в процессѣ борьбы с Гитлером, Муссолини, Хорти и К., Россія реорганизуется и демократизируется? Ея роль в устройеніи будущаго міра во всяком случаѣ уже превзошла роль безучастной к этой борьбѣ, скажем, Ирландіи. А численностью своего населенія Россія, можно сказать, вверх тормашками опрокидывает всѣ успокоительные расчеты Страйта, которые покоятся на том, что в 280 миллионном объединеніи 15 демократій и, тѣм болѣе, при 202,6 миллионх населенія 7 свободных от нашествія стран, 130-миллионный массив Соединенных Штатов по всей справедливости и в силу своего численнаго превосходства будет играть господствующую и рѣшающую роль. Стоит, однако, ввести в этот расчет російскій массив, и 170 миллионх окажутся в относительном большинствѣ даже при 15-членном строеніи Міровой федераціи, в общей сложности в 280 миллионх.

«Всѣ люди равны», но взгляните на карты, приложенныя к книгам Страйта, и вы убѣдитесь, что по его плану сравнительно очень незначительному меньшинству людей ввѣряется судьба всего человѣческаго рода. В справедливом отталкиваніи от начала абсолютнаго верховенства государства, план Страйта впадает в противоположную крайность, утверждая абсолютное верховенство индивида. Проявляя характерное для правосознанія конца 18-го вѣка недоустріе ко всякой исполнительной власти, Страйт проектирует международное общеніе не в порядкѣ меж-государственных и меж-правительственных взаимоотношеній, в формѣ Лиги или Союза, а систему отношеній между отдѣльными индивидами — «человѣкъ к человѣку», «man-to-man system»; только тогда, по его убѣжденію, создастся свое правительство для членх общенія и при их посредствѣ.

Среди многих ошибочных сужленій, ставших почти общим мѣстом, было и то, что 20-ый вѣкъ является вѣком соціально-экономическаго раскрѣпошенія, как прошлый вѣкъ

был вѣкомъ политическаго освобожденія и завершеннаго національнаго оформленія. Надо ли подчеркивать, что послѣдняя четверть вѣка с достаточной наглядностью показала, насколько далекъ міръ отъ завершенія политической и національной эмансипаціи. Национальныя страсти продолжаютъ волновать и раздѣлять людей, которые вовсе не желаютъ отказаться отъ своего этнографически-расоваго своеобразія и культурнаго облика. Обернитесь вокругъ себя. Можно ли рассчитывать, чтобы даже передовая демократія — Соединенные Штаты, создавшіе своеобразный, американскій сплавъ многихъ народовъ, отказались отъ своего американскаго стilia жизни? И не политически только, но и соціально. Обоснованы ли предположенія, что американскій пролетаріатъ, настолько проникся интернаціональной солидарностью и единствомъ интересовъ рабочаго класса, что согласится на уравниеніе своего жизненнаго уровня съ положеніемъ европейскаго пролетаріата въ обнищавшей послѣ войны Европѣ? Достаточно на одинъ этотъ вопросъ отвѣтить отрицательно, чтобы взлетѣло въ воздухъ все пышное званіе проектируемой Страйтомъ и другими «Pax Americana» и «Pax Dei».

Эти построенія — не реальныя, а утопическія, изъ категорій пророческихъ видѣній Исайи о томъ, что наступитъ нѣкогда день, когда будутъ «судить бѣдныхъ по правдѣ и дѣла страдальцевъ земли рѣшать по истинѣ», когда «Ефремъ не будетъ заидовать Іудѣ, а Іуда не будетъ притѣснять Ефрема», «волкъ будетъ жить вмѣстѣ съ ягненкомъ, барсъ лежать вмѣстѣ съ козленкомъ» и т. д. Но такія построенія не только утопичны или благодущны, они еще и вредны, какъ вредна всякая максималистическая программа, выигрывающая, по сравненію съ другими, въ отвлеченной принципіальности, и вмѣстѣ съ тѣмъ ослабляющая шансы на проведеніе программы менѣе цѣлостной и идеальной, но болѣе реалистичной. Такъ было съ соціально-политической программой большевиковъ. Такъ можетъ случиться и съ организаціей международнаго общенія послѣ войны. Требованіе всемірной федераціи, не считаясь съ людскою психологіей и исторіей, можетъ вступить въ противорѣчіе и повредить реорганизаціи и реформированію Лиги Націй, въ соотвѣтствіи съ опытомъ и уроками прошлаго.

Послѣ того, что случилось, защищать Лигу Націй, конечно, трудно, но ее необходимо и должно защищать — не ея реальную практику, скользкую и двусмысленную, помпезную на словахъ и безсильно-уклончивую на дѣлѣ, а тѣ начала, которыя были положены въ основу Лиги и которымъ она была призвана служить. Безспорный фактъ ея несовершенства никакъ

не в силах скомпрометтировать и ея заданій. Это настолько же самоочевидно, как самоочевидно положеніе, что от сушаго никак нельзя умозаключать к тому, что оно было и абсолютно неизбѣжно. А по своему заданію Лига Націй была величайшим достиженіем міровой исторіи, — «одним из грандіознѣйших замыслов человѣчества», по выраженію проф. Нольде в эпоху созданія Лиги.

Величайшим недоразумѣніем современности является убѣжденіе, что обвалы и крушеніе женеvской Лиги вызваны будто бы ея недостаточным радикализмом. Она опередила свое время, умы и страсти современников, а никак не отстала от них. Приведу одно свидѣтельство, авторитетное и убѣдительное. За нѣсколько мѣсяцев до своего патетическаго конца Вудро Вильсон, больной и одинокій, в бесѣдѣ с оставшимся ему вѣрным Бернардом Барухом, размышлял вслух: «Может быть, предустановлено было Провидѣніем, чтобы я свалился от болѣзни. Будь я здоров, я бы устроил Лигу... Событія показали, что мір не готов для нея. Она могла быть ошибкой. Страны, как Франція и Италія, не сочувствовали такой организаціи. Время и печальныя событія, может быть, сумѣют их убѣдить, что нѣчто вродѣ моей схемы обязательно необходимо. Это может быть и не моей схемой, а другой. Я вижу, однако, теперь, что мой план был преждевременен. Мір для него не созрѣл».

Еще ближе к смерти, 23 декабря 1923 г. Вильсон говорил своей дочери: «Послѣ всего, думаю, хорошо, что С. Ш. не вступили в Лигу Націй... Наше вхожденіе в Лигу в момент моего возвращенія из Европы было бы лишь моим личным успѣхом, тогда как теперь, если американскій народ войдет в Лигу, он это сдѣлает потому, что убѣдится в том, что это единственный правильный путь». На страдающем лицѣ появилась ироническая улыбка, и религіозно настроенный Вильсон прибавил: «Может быть, Господь это знал все же лучше меня»...

К Лигѣ Націй, увы, оказались неподготовлены не только Соединенные Штаты вмѣстѣ с Франціей и Италіей. К ней оказались неподготовлены, можно сказать, всѣ б1 страна и народ. прошедшіе в разное время через Лигу Націй. — многіе из них как чрез проходный двор¹⁾. Лига Націй стала — и не могла не стать — тѣм, чѣм ее сдѣлали ея сочлены: одни с самаго начала ей не сочувствовавшіе по маловѣрью; другіе

¹⁾ Кромѣ Соединенных Штатов. в Лигу Націй никогда не вошла лишь саудистская Аравія.

утратившіе довѣріе, в ней разочаровавшись; каждый по своему стремился «использовать» Лигу в партикулярных или иных интересах и цѣлях.

При организаціи Лиги с самаго начала очевидны были трудности, возникавшія от необходимости имѣть дѣйственный международный авторитет и в то же время сохранить неизблемым начало государственнаго верховенства. Творцы и организаторы Лиги рассчитывали на добровольное с а м о - ограниченіе государственнаго суверенитета самими членами Лиги. Это оказалось иллюзіей. Чтобы Лига Націй могла жить и дѣйствовать, ее необходимо существенно видоизмѣнить в самой ея основѣ. Можно намѣтить и направленіе, в котором должна быть проведена реформа.

То, что придет на смѣну былой женевской Лигѣ Націй, как бы оно ни называлось, должно будет неминуемо обладать принудительным аппаратом для приведенія в исполненіе своих рѣшеній и рѣшеній Международнаго Суда и для успѣшнаго противодѣйствія нарушенію мира. Для будущаго учрежденія общим правилом будет постановленіе рѣшеній большинством голосов, а требованіе единогласія лишь исключеніем, а не наоборот, как то устанавливал Пакт женевской Лиги. Послѣ возстановленія и частичнаго перемѣщенія территоріальных границ между государствами, их суверенитет неминуемо должен быть сокращен в объѣмѣ и ограничен в сферѣ приложёнія. Будущее международное общеніе не может исключить из своего вѣдѣнія экономіку: плановая экономика должна будет исходить из естественной географической близости, общности интересов, взаимопомощи и сотрудничества*). Всѣ члены международнаго общенія должны будут быть обеспечены в пользованіи минимумом прав — лично (так называемыми гражданскими свободами) и коллективно (правами національных, исповѣдных, языковых и иных меньшинств). Отдѣльныя государства с сокращенным и ограниченным суверенитетом, конечно, не отомрут и не исчезнут в обозримом историческом будущем, — это было бы громадным регрессом политическим и историческим, — и за ними должна будет быть сохранена вся полнота компетенцій и власти, совмѣсти-

*) На манер «экономическаго блока» центральной Европы. провозглашеннаго 4 ноября 1941 г. конференціей международнаго труда в Нью-Йоркѣ, между Польшей, Чехословакіей, Югославіей и Греціей, с возможностью послѣдующаго включенія Венгрии, Румыніи и Болгарии. Это рѣшеніе принято было в согласіи с соответствующими правительствами.

мая с обезпеченіем коллективной безопасности, плановой экономики, основных прав челоѣка и меньшинства, и т. д. Должно будет быть внесено в текст присяги обязательство вѣрности новому порядку и его верховному органу и международному гаранту — новой Лигѣ Націй. На подобіе французскаго закона 1881 г., воспретившаго вносить предложенія об измѣненіи республиканскаго образа правленія, — демократическій режим, безотносительно к формѣ его конкретнаго воплощенія, должен будет быть признан обязательным для всѣх активных сочленов международного общенія.

Из того, что в предыдущія два десятилѣтія организація международного общенія на конфедеративных началах не удалась, отнюдь не слѣдует — ни логически, ни политически, — что общеніе должно быть организовано на началах федерации и что именно оно имѣет всѣ шансы на успѣх. Реально вопрос сейчас идет не о необходимости об'единенія Европы и міра, — этот вопрос уже предрѣшен, — а о том, грозит ли Европѣ и міру у н и ф и к а ц і я (Гитлеровскій вариант) или им предстоит с о г л а с о в а н і е (Рузвельт-Черчилевскій вариант).

**

Ряд тѣх же мотивов, которые побуждают отвергнуть мировую федерацию, как программу реального обезпеченія мира, побуждают настаивать на организаціи будущей Россіи на федеративных началах.

Если мы отвергаем осуществимость мировой федерации, то, конечно, не потому, что отрицаем цѣлесообразность политическаго сложенія сил и об'единенія людей и народов. Наоборот, всякое об'единеніе предпочтительнѣе раз'единенію, как и худой мир лучше доброй ссоры. Федеративную природу того, что недавно представлял собою СССР, или «добровольное об'единеніе» совѣтских республик на началѣ равноправія, как значится в ст. 13, так наз., сталинской конституціи 5 декабря 1936 г., — можно считать болѣе чѣм спорными. Национально-государственное самоопредѣленіе «вплоть до отдѣленія» послужило большевикам лишь трамплином в борьбѣ за власть и в процессѣ утвержденія во власти. Никто другой, как Ленин, утвердившись во власти, тогда же сам раз'яснил: «К чему всѣ эти самоопредѣленія, когда есть прекрасный Ц. К. в Москвѣ!» И еще: «Мы должны знать и помнить, что вся юридическая и фактическая конституція совѣтской республики строится на том, что партія все исправляет, назначает и строит по одному принципу».

Можно сомнѣваться в федеративном устройствѣ совѣтской Россіи, но не подлежит оспариванію, что СССР представляет единое и весьма унифицированное и централизованное государство. «Право свободного выхода» из «Союза республик», правда, сохранилось и в новѣйшей конституціи, но оно является, конечно, фиктивным — пережитком былой фразеологіи*). Россія именуется в конституціи «Союзом» независимых республик и, одновременно с этим, — «Союзным государством», с единой территоріей и единым совѣтским гражданством («совѣтскій народ»). Централизація единого и недѣлимого совѣтскаго Союза доведена была до того, что перечень исключеннаго из вѣдѣнія отдѣльных республик, даже наиболѣ крупных, в свою очередь именуемых «совѣтскими и социалистическими», этот перечень почти исчерпывает русскій алфавит, доходя до буквы «ч». Конституція спеціально оговаривает: «В случаѣ расхожденія закона союзных республики с законом общесоюзным дѣйствует общесоюзный закон». И в совѣтском конфедеративно-федеративно-централизованном обличіи Россія сохранила свое единство!

Спрашивается: при демократизаціи Россіи и освобожденіи ея от пут и наслѣдія диктатуры, надо ли, желательно ли, необходимо ли, хотя бы в принципѣ признать возможность предварительнаго «роспуска» росскійскаго единства для послѣдующаго ея «добровольнаго» воссоединенія, в рамках ли Россіи или Вольнаго Союза Народов Востока, как звена в общей консолидаціи Европы и міра? Сторонники Вольнаго Союза Народов Востока, и в первую очередь его наиболѣ авторитетный идеолог, если не инициатор, В. М. Чернов находят, что, при несогласіи одной народности, жившей ранѣе под одной государственной кровлею с другой, продолжать совмѣстную жизнь, онѣ могут и должны разойтись. Против сепаратизма и «самоизоляциялизма» допустима, конечно, борьба, но исключительно обращеніем к уму и сердцу тѣх, кто хочет отдѣлиться; принудительное включеніе в государство недопустимо в такой же мѣрѣ, как и «насильственное удержаніе»; Россія, Европа и весь мір должны быть реорганизованы на основѣ добровольнаго взаимнаго тяготѣнія и соглашенія народов; в частности, народам нынѣшняго совѣтскаго союза объективное положеніе диктует образованіе аналогичной Британской или, шире, Атлантической (Британія и

*) Интересно, что конституція РСФСР от 11 мая 1925 г. в отличіе от конституціи РСФСР 1918 г. не содержит «права свободного выхода», или отдѣленія.

Соединенные Штаты) конфедерации, об'емлющей всё пространства к востоку от Скандинавии, Германии и Италии; ядром этого комплекса является языковой, национальный и культурно-исторический славянский массив, вмѣстѣ с вклиненными историей в этот массив различными не-славянскими национальностями, которыя не имѣют рядом другого большого комплекса с равной или большей притягательной силой, сами же слишком разбросаны, разнородны и малочисленны для создания собственного.

Что можно сказать по поводу такого плана? — Прежде всего, что он продукт прекраснородушных пожеланий. Он не только не расцѣпывает реалистически то, что есть, — в частности, людскую волю, чувства и страсти, — он самоуверенно откидывает достижения очень длительного культурного процесса в благочестивой уверенности, что добрая воля достаточна для передѣлки хода и достижений истории. Этот план находится в рѣзком противорѣчии не только с историческим прошлым; он одновременно противорѣчит и проектируемому будущему.

Всеславянская федерация — давнишняя традиция русской политической мысли. На восьми-угольной печати Общества Соединенных Славян — декабристов — можно было прочесть названія восьми славянских народностей, подлежащих объединению: русскіе, сербы-хорваты, болгары, чехи, словаки, лужичане, словенцы, поляки. О славянской федерализации писали и мечтали и Хомяков, и Кирѣевский, и Герцен, и Бакунин. Герцен в 1859 г. ввел и самый термин — «Вольный Союз равных» (народов). Но и декабристы-либералы, и славянофилы, и социалист Герцен, и анархист Бакунин совершенно недвусмысленно имѣли в виду племенное объединение всех славян — «единую и нераздѣльную общеславянскую силу». Даже Герцен противопоставлял «славянскую федерализацию», мысль о которой родилась у западных славян, — другим племенам и народам: «в виду романского и германского мира, собирающихся воедино». Не является тайной и активная неприязнь, даже прямая ненависть, Герцена и Бакунина к «нѣмцу» и «германскому миру».

Герцен писал, что «федеральное соединеніе должно быть вольным даром»; он предлагал заявить, что Россія «кончила свою вѣковую военную службу, не хочет быть завоевывающей имперіей»; он признавал за Польшей право не только на независимое от Россіи существованіе, но и на то, что вокруг нея, а не Россіи, западные славяне составили бы «Дунайскую и Карпатскую федерацию». Но одновременно Герцен совер-

шенно реалистически представлял себѣ историческое прошлое и политическія возможности. «Неужели вы можете себѣ представить какое бы то ни было правительство, которое вдруг скажет своим народам: «Распадемся! Я вами неправо властвую, ступайте на всѣ четыре стороны и не поминайте лихом!» Вопрос совсѣм не в том, как присоединены части государства»...

И Герцен напоминал: «Всѣ народы страшные эгоисты, всѣ лили рѣками кровь, свою, чужую, всѣ были пиратами и флибустьерами... Всѣ государства в мірѣ составились очень незаконно и очень насильственно, так что, если передать дѣла приращенія Франціи и Англій на разбор гражданской палаты, то мы сведем их на какую-нибудь галльскую деревушку и на англо-саксонскую рыбацью слободку... Если мы будем раздроблять государства на основаніи незаконнаго роста их, один только и останется в своих границах Косьма безсеребрянник, ничего не стяжавшій, — это республика Сан-Марино».

Что могут возразить на эти сверкающіе образы и неопровержимую аргументацію тѣ, кто и в нынѣшней обстановкѣ готовы согласиться с предложеніем: «Распадемся! Я вами неправо владѣю, ступайте на всѣ четыре стороны», — до новаго, д о б р о в о л ь н а г о воссоединенія в Вольном Союзѣ Народов Востока?... Что можно возразить против элементарно-самоочевиднаго в своей исторической неопровержимости восклицанія Герцена: «Россія не теорія, Россія фактъ; его надобно признать, для того, чтобы разбирать и понять. Мы можем разсуждать, слѣдовало или не слѣдовало Мон-Блану быть в Савойѣ, но это будет лишним; Мон-Блан фактъ, котораго не сотрешь разсужденіем?!»

Правда, позднѣе Герцен измѣнил свой взгляд. И, в отличіе от того, что утверждал раньше, он в 1862-63 гг. доказывал, что «еслибы Сибирь завтра отлѣлилась от Россіи, мы первые привѣтствовали бы ея новую жизнь... Скажем вмѣстѣ с поляками, быть Литвѣ, Бѣлороссіи и Украинѣ, с кѣм они хотят или ни с кѣм, лишь бы волю их узнать не поддѣльную, а дѣйствительную»; «мы признаем отдѣльным провинціям полное право на всяческую аутономію, на вольное соединеніе, на полное слитіе, на полное расторженіе»; «мы против имперіи, потому что мы за народ»; и т. д.

В такой формѣ выраженное мнѣніе Герцена оказывалось даже болѣе крайним, нежели мнѣніе убѣжденнаго анархиста и сокрушителя государств, Бакунина. Призывая к «уничтоженію того, что называется историческим правом и политической необходимостью государства, во имя каждаго населе-

нія, большого и малаго, слабого и сильного, также как каждой отдѣльной личности», Бакунин все же не рѣшался утверждать безоговорочное право народа на отдѣленіе. И он о г р а - н и ч и в а л право свободного удаленія из союза, признаваемое за всякой «ассоціаціей, общиной, провинціей и нашіей»: он п о д ч и н я л его, правда, «единственному условію, — чтобы выходящая часть не поставила в опасность свободу и независимость цѣлаго, от котораго отходит, своим союзом с иностранной и враждебной державой».

И поучительно отмѣтить, что до того, как большевики пришли к власти, опираясь отчасти на требованіе «самоопредѣленія вплоть до отдѣленія», не было в Россіи народа (не считая, конечно, Польши и Финляндіи, самостоятельности коих была признана раньше), который заявил бы претензію на отдѣленіе от Россіи. Такое стремленіе возникло позднѣе — как результат воздѣйствія со стороны не столько большевистской идеологіи, сколько большевистской практики. Как формулировали это грузины, рѣшающим моментом в отталкиваніи окраинных народов от Россіи явился разгон Учредительнаго Собранія, который «оборвал послѣднюю связь» и толкнул эти народы от «фанатиков Востока» прямо и непосредственно в объятія «империалистов Запада». Тѣм самым нарушалось как раз то «единственное условіе», которое даже Бакунин считал обязательным для морально-политической санкціи отдѣленія. Исторіографы грузинской независимости ярко описали, как Грузія от Турціи апеллировала к Германіи, от Германіи бросалась к Англіи, Франціи, Италіи, даже к Америкѣ в тщетных поисках, в обмѣн на свои «нѣдра» и пути сообщенія, покровителя и заступника против совѣтской Россіи. Без «прислоненія» к другой державѣ или группѣ держав, болѣе или менѣе враждебных Россіи, Грузія не могла обрѣсти свою независимость, — убѣдительно, на основаніи документов утверждал грузинскій дипломат и ученый проф. Авалов. В большей или меньшей мѣрѣ этот вывод может быть распространен и на всѣ другіе народы и территоріи, в разное время, односторонне и «свободно», осуществившіе свое право на отдѣленіе от Россіи.

Тѣ социалисты, которые до большевиков направляли ход русской революціи, задолго до 1917 г. провозгласили федеративное начало руководящим принципом объединенія народов. Они включили в свою программу не только «возможно болѣе широкое примѣненіе федеративнаго начала», но и признаніе за отдѣльными національностями «безусловнаго права на самоопредѣленіе». Они никогда, однако, не говорили о правѣ

на безусловное самоопредѣленіе народностей. В этом было не одно только словесное различіе, но и различное существо. Не признавая безоговорочнаго права на самоопредѣленіе, вплоть до отдѣленія в одностороннем порядкѣ, эс-эровская программа вмѣстѣ с тѣм признавала право на національное самоопредѣленіе столь же безусловным и столь же нерушимым, как и право на политическое освобожденіе и социально-экономическое раскрѣпощеніе. В этом выражалось одно из многих отрицаній ими «монистическаго» пониманія исторіи, подчинявшаго политическое и національное — экономикѣ.

И Герцену в свое время предносились образы славянской федераціи и «обширной конфедераціи с славными берегами, с естественными границами и с плодоноснѣйшей почвой» — от Балкан до Адриатики. Но за болѣе широким проектом федеративнаго об'единенія всего востока Европы, с границ Скандинавіи, Германіи и Италіи начиная, надо итти уже не к социалисту и гуманисту Герцену, а к вдохновителю Константина Леонтьева и ненавистнику Европы — Данилевскому. Русскій предтеча Шпенглера в «Россіи и Европѣ» откровенно защищал идею общеславянской федераціи не только как организаціи особаго и высшаго племеннаго и культурно-историческаго «типа», но и в качествѣ противовѣса Европѣ, «не случайно, а существенно нам враждебной». Столицей общеславянской федераціи он, при этом, намѣчал Константинополь, ибо, в отличіе от нынѣшняго проекта, план Данилевскаго послѣдовательно включал в восточно-европейскую федерацію «константинопольскую провинцію» и непослѣдовательно исключал, в отличіе от нынѣшняго восточно-европейскаго «комплекса», Польшу.

Суб'ективныя цѣли тѣх, кто сейчас проектирует Вольный Союз Народов Востока Европы, конечно, очень далеки от цѣлей и намѣреній Данилевскаго. Суб'ективно этот план выдвинут теперь для консолидаціи Европы, как ея предварительная предпосылка. Но объективно этот план является конкурирующим с планом об'единенія и федерированія Европы и всего міра. Когда впервые в 1927 г. в Прагѣ создавалась аналогичная «Социалистическая Лига Новаго Востока», она преслѣдовала цѣли заморить Россію и оградить ея интересы на случай осуществленія «Пан-Европы», задуманной мадьяром и шпенглеріанцем графом Куденхове-Калерги без Россіи и против Россіи. Теперешній Вольный Союз не имѣет и того оправданія, которое он мог имѣть 15 лѣт тому назад. В своих восточно-европейских границах не менѣе утопическій, чѣм проект міровой федераціи, он покоится на неосознанном при-

ятіи осужденной всѣм опытом исторіи системѣ равновѣсія сил. Федерация Народов Востока Европы задумана в качествѣ дополненія и противовѣса Британской (или Атлантической) федерации. Хорошо, если эти федерации будут жить в согласіи и мирѣ, тогда, по сравненію с тѣм, что было в прошлом столѣтіи послѣ Вѣнскаго конгресса, разница будет лишь та, что былую «тетрархію» и «пентархію» замѣстит «тріархія» или «діархія». Но существо останется то же, и возможность соперничества и столкновения не устранился.

Увеличеніе 170-милліоннаго блока 100-милліонным массивом народов, живущих между Россіей и скандинаво-германо-итальянской границей, не перестанет быть пугалом и препоной к замиренію Европы и міра. Повторится то же, что было при замиреніи 1918 г. Тогда угроза 80-милліоннаго германскаго блока была кошмаром не одного французскаго «Тигра». Эта угроза в значительной мѣрѣ предопредѣлила послѣ-версальскую карту Европы. Можно ли рассчитывать, что гораздо болѣе мощный славянскій блок, об'емлющій и ряд не-славянских народов, встрѣтит сочувственное или безразличное к себѣ отношеніе со стороны вторично переживших войну народов? Рѣчь вѣдь идет не об экономическом или таможенном только об'единеніи, а о федерации, т. е. об об'единеніи политическом.

Эта славяно-неславянская федерация таила бы в себѣ риск и угрозу и единству Россіи.

Сколько бы ни называли эту федерацию языковой и культурно-исторической, в основѣ этого политическаго об'единенія, лежит племенное и расовое начало, глубоко скомпрометтированное в сознаніи современников. Если мір борется с германским расизмом, он борется с ним не столько потому, что он — германскій, сколько потому, что он — расизм. И славянство, как и германство, латинство или англосаксонство, в качествѣ основы политическаго об'единенія, и слишком широко, и слишком узко. Даже в племенном отношеніи славянство не представляет единства: болгары, говорящіе на славянском нарѣччі, причисляются к тюрко-татарам. Для политическаго преодоленія германскаго, итальянскаго, японскаго и всякаго другого расизма в европейском или міровом масштабѣ требуется об'единеніе всяческих массивов не по племенному, языковому, культурно-историческому или религиозно-исповѣдному признаку, а по признаку политическому — за или против расистской диктатуры.

Вольный Союз Народов, со славянством как его ядром, является угрозой и, во всяком случаѣ, конкурентом обще-

европейской федераціи. Он является угрозой и Россіи, как уже существующему аггломерату народов и нарѣчій. Этот историческій фактъ — «Россія не теорія, Россія фактъ» — сам составляет цѣлю Лигу народов и стран. Охочіе до всяческаго контроля и учета, большевики не удосужились, однако, точно подсчитать количество народов, составляющих СССР: «около 60 націй, національных групп и народностей», — заявил Сталин в 36-ом году, докладывая проект «своей» конституціи; 185 національных рѣченій, значитъ по официальной совѣтской статистикѣ. Дальнѣйшая политическая экспансія россійской Лиги никак и ничѣм не оправдана.

Больше того. Свыше 22,5% населенія Россіи — по переписи, предшествующей нынѣшней войнѣ, — формально причисляют себя к не-славянскому племени; не-славянами являются и многіе из тѣх, которых перепись учла, как «русских», «украинцев» и «бѣлоруссов». По своему языковому, національному и культурно-историческому «комплексу» они заинтересованы в об'единеніи с западным славянством во всяком случаѣ не больше, чѣм в обще-европейском об'единеніи. Цѣлесообразно ли превращеніем россійскаго массива в восточно-европейскій увеличивать внѣшнія и внутреннія трудности обезпеченія прочнаго мира: во-внѣ сплошной восточно-европейскій массив родит лишь опасенія и страх; в сложившемся же россійском массивѣ, с восточным славянством в качествѣ его ядра, это может оживить и оформить лишь центробѣжныя чувствованія.



С давних времен усвоила русская передовая общественность неправильный взгляд на федерализацію, как на децентрализацію и расширение самостоятельности и независимости личной и территориальной. Это — глубокое заблужденіе, теоретическое и историко-политическое; такое-же, как и предствленіе о том, что федерація будто бы предшествует, хронологически и логически, конфедераціи.

Вольный Союз Народов Востока Европы — неосознанная угроза единству и цѣлостности Россіи, Европы и міра. С планом міровой федераціи он имѣет впрочем, то общее, что, одинаково мало считаясь с психологіей людей и народов, оба они одинаково ослабляют шансы на болѣе рациональную, хотя бы и менѣе радикальную, реорганизацію Россіи, Европы и міра на началах права и коллективной безопасности.

Марк Вишняк.

НОВОЕ НА СТАРУЮ ТЕМУ

(К современной постановкѣ еврейскаго вопроса)

Мы живем в такой дичающей вѣк (желѣзный ли? каменный?), что самую постановку еврейской темы приходится оправдывать. Чувствительность притупляется, и совѣсть стогает: если не прожженная еще, то порядочно обуглившаяся. Самое разлитіе зла служит защитным покровом против моральных реакцій. В Германіи и Франціи десятки тысяч евреев томятся в концентраціонных лагерях? — Но в Россіи в лагерях милліоны — не евреев только, но всѣх народностей. Гитлер производит физическое истребленіе всего еврейскаго населенія в Польшѣ — а теперь, кажется, и на Украинѣ? — Но другіе народы, напримѣр поляки, тоже истребляются сознательно и планомерно. — Такой отвод, обычный в наше время (большее зло оправдывает меньшее), — сам по себѣ свидѣтельствует о тяжелой пораженности моральнаго чувства. Движимый инстинктом самосохраненія, человекъ старается приглушить свою совѣсть: с волками жить — по волчьи выть.

Но то правда, конечно, что еврейская бѣда, еврейскія страданія сейчас вливаются в общее море крови и слез. Все рушится — самыя основы нашей цивилизаціи, и под ея обломками одной из первых жертв оказывается еврейскій народ.

Есть двѣ причины, почему судьба этого народа сейчас больнѣе, чѣм судьба других, затрагивает не-еврейскій, а особенно христіанскій мір. Первая — это всеобщее распространеніе еврейской діаспоры и ея далеко зашедшая ассимиляція. Каждый христіанин в любой странѣ имѣет среди евреев друзей и близких. Через их личное горе он легко может ощутить національную катастрофу еврейства, если, конечно, сам не принадлежит к его сознательным врагам. Вторая причина порядка религіознаго. Для христіанина евреи не просто народ среди прочих, но народ, отмѣченный божественным избраніем, народ Христа, Его породившій и Его отвергшій: народ,

*) В виду спорности нѣкоторых положеній статьи Г. П. Федотова, редація одновременно помѣщает статью на ту же тему С. Л. Полякова-Литовцева.

судьба котораго имѣет особое, всемірно-историческое значеніе.

Не без колебаній предлагаем читателю нѣсколько мыслей на эту вѣчную тему, заново поставленную перед нами исторіей. В этих мыслях мало новаго, но повседневныя сужденія по этому вопросу так поверхностны, полны стольких предразсудков и страстей, что углубленное вниманіе к нему является общим долгом.

**
*

Одной из первых и самых распространенных ошибок — ошибок перспективы — является отождествленіе еврейскаго вопроса с нѣмецким. Гитлер — вот главный, если не единственный, виновник зла. Гитлер, или націонал-соціализм, или стоящая за ним Германія. Эта привычка разсматривать еврейскій вопрос в связи с Германіей так распространена, что отношеніе к еврейству в большинствѣ случаев опредѣляет отношеніе к Германіи. Антисемит будет про-гитлеровцем, друг евреев — врагом Германіи. Эта аберрація зрѣнія несет с собой один утѣшительный самообман. Если Гитлер (или Германія) единственный источник современнаго звѣрскаго антисемитизма, то с пораженіем его (ея) все приходит в порядок. Евреи, как и все человѣчество, могут вздохнуть свободно. Эта же аберрація, с другой стороны, чрезвычайно опасна для будущаго всей европейской культуры, ибо она зачастую несет с собой ненависть к Германіи как таковой, к ея «душѣ», к ея «вѣчному» содержанію. Практическим выводом из этой ненависти является не всегда высказываемое, но молча носимое убѣжденіе в необходимости не побѣдить только, но уничтожить Германію. Но это значит сдѣлать невозможной Европу, уничтожить Европу, ибо Европа без Германіи как птица без одного крыла (Р. Роллан).

На самом дѣлѣ, острая вспышка антисемитизма в Германіи — явленіе, сопутствующее ея общему послѣвоенному заболѣванію, и нисколько не вытекает из ея «вѣчной» традиціи. Не углубляясь особенно в исторію антисемитизма, нельзя же забывать о том, что антисемитизм есть явленіе всеобщее (т. е. связанное с самым фактом діаспоры), и что он принимает лишь разныя формы и получает разную остроту в зависимости от мѣстных условій.

До великой войны Германія занимала далеко не первое мѣсто по линіи антисемитизма. Россія была страной погромов, Франція во дни Дрейфуса — наши дни! — сдѣлала из анти-

семитизма символ вѣры своего національного сознания. В Германіи была антисемитская партія, но она играла очень скромную роль в политической жизни страны. Всего сильнѣе антисемитизм был в Польшѣ и на Украинѣ. И это об'ясняется не особенной злобностью польскаго или малорусскаго народов, а просто густотой еврейскаго населенія на территоріи бывшей Рѣчи Посполитой. Великороссы не знали антисемитизма, — но они не видѣли и евреев. Гоголь дал в «Тарасѣ Бульбѣ» ликующее описаніе еврейскаго погрома. Это свидѣтельствует, конечно, об извѣстных провалах его нравственнаго чувства, но также о силѣ національной или шовинистической традиціи, которая за ним стояла. Стоит ли за Гитлером традиція подобной силы? Я в этом сильно сомнѣваюсь.

Германія больна острым націонализмом давно, — но не дальше прошлаго столѣтія. Это болѣзнь, сопутствующая ея об'единенію, ея имперскому росту, — тоже не ея личная, а общеевропейская болѣзнь XIX вѣка. В Германіи націонализм (а не антисемитизм) принял грубыя милитаристическія черты, которыя дѣлают ее болѣе других отвѣтственной за міровую войну. Антисемитизм пришел совсѣм недавно, как явленіе, связанное с экономической болѣзнью послѣвоенной Германіи: инфляціей, широким приливом евреев из восточной Европы и их быстро выросшим вліяніем в нѣкоторых отраслях хозяйства и культуры. Основное и здѣсь — болѣзненное развитіе національнаго чувства, оскорбленнаго и ущербленнаго проигранной войной. Извѣстно, что худшіе тираны выходят из «униженных и оскорбленных»: Иван Грозный, Павел, русскіе большевики.

Я, разумѣется, не хочу сказать, что война против Германіи сейчас не имѣет смысла. Когда психическая болѣзнь принимает буйныя формы, опасныя для окружающих, больного нужно связать прежде всего, а потом уже думать о лѣченіи. Но никак нельзя забывать о том, что заболѣла сейчас половина міра, да и другая половина вовсе не защищена от психической заразы.

Германія сейчас, безспорно, является міровым очагом антисемитизма. Отсюда он культивируется, подчас искусственно, подчас даже насильственно в других странах. Но нельзя не видѣть, что очаги его имѣются повсюду, и что достаточно политической катастрофы, обвала либерально-демократическаго строя, чтобы он вырвался наружу. Можно сказать, что фашизм — явленіе не мѣстное, а обще-европейское, — естественно поражает антисемитизм как одного из своих спутников. Всякій, кто встрѣчался с фашистски настроенными круж-

камн молодежи любой нації, может в этом убѣдиться. Не трудно показать, почему антисемитизм логически вытекает из фашистскаго умонастроения.

Фашизм есть движеніе національной и соціальной революціи, обращенное против всей культуры XIX вѣка, особенно против его интеллектуализма и либерализма. Каждый из этих моментов несет угрозу еврейскому народу.

Национальное чувство, в его нормальном состояніи, совмѣстимо с уваженіем и терпимостью к чужим націям. Национализм, особенно тот горячечный пароксизм его, которым сейчас заражен мір, питает ненависть ко всѣм народам (кромѣ собственнаго), с которыми приходит в соприкосновеніе. Можно сказать, что современный национализм, окончательно изжившій средневѣковое культурное наслѣдіе, только в этой ненависти и находит себя. Стремясь к абсолютной однородности національнаго цѣлаго, не вынося ничего чужероднаго, никаких автономизмов и своеобразій, он повсюду наталкивается на этот ирраціональный, не растворяющійся, не перевариваемый остаток далекаго, давно исчезнувшаго, восточнаго міра, каким является еврейство. Какими бы добрыми патриотами ни сознавали себя евреи в Германіи, во Франціи, в Россіи, они не могут стать только нѣмцами, только французами, только русскими. В этом их преступленіе. Даже утратив свою религію, забыв свой язык (или свои языки), они в своем устойчивом физическом типѣ, в своей психологіи напоминают об ином, «неарійском» духовном мірѣ, в котором нѣкогда родились. К тому же естественная солидарность с евреями других стран не легко разрушается. Подобно римскому католицизму, подобно (увы, столь хилому) культурному единству «республики ученых», еврейство было одной из немногих сил, которыми держалось единство европейской культуры. Когда какая-либо нація хочет насильственно оборвать всѣ связи, которыя соединяют ее с человѣчеством, она прежде всего находит евреев и мстит им.

Обвал капитализма является, быть может, одной из главных причин нашего кризиса. Всѣ революціонныя силы эпохи, лѣвыя и правыя, об'единены в одном анти-капиталистическом натискѣ. Но силой вещей и давней средневѣковой традиціи еврейство оказывается отвѣтственным за капитализм — по крайней мѣрѣ, за финансовый капитализм. Нѣкогда запертое в гетто, насильственно отрѣзанное ото всѣх, или почти всѣх источников хозяйственной жизни, кромѣ торговли и ростовщичества, евреи выработали в себѣ вѣками тонкое и сложное искусство обращенія с деньгами, этим самым таинственным из

товаров, и когда капитал начал завоевывать мір, вчерашніе мѣнялы, превратившись в банкиров, оказались в чрезвычайно выгодных условіях конкуренціи. У них не было феодальных помѣстій, не было военной знати, не было связей в свѣтском обществѣ. Деньги открыли для них всѣ или почти всѣ двери. В XIX вѣкѣ за деньги можно было купить баронство, породниться с княжескими династіями. Не удивительно, что евреи не спѣшили отказываться от тѣх профессій, которыя обезпечивали им одно из первых мѣст в общественном строѣ. Но все это рушится с того момента, когда капитал снова становится предметом ненависти и презрѣнія.

У евреев, конечно, были другія права на общественное уваженіе в XIX вѣкѣ. В своем гетто они не только считали деньги или торговали восточными товарами. Они усердно изучали Тору и Талмуд. Вѣроятно, ни один народ не имѣл такой многочисленной интеллигенціи и не уважал ее так, как они. Когда пришло время, тысячелѣтіями утонченный умственный аппарат оказался прекрасно приспособленным к современной аналитической и рациональной наукѣ. Если средневѣковая схоластика была подготовительной школой научнаго мышленія, то такой же школой был и Талмуд. Сыновья и внуки ученых раввинов становятся в первых рядах европейской науки. А тонкая, нервная организація, тонкіе пальцы, не изуродованные грубой работой, дают лучших музыкантов — скрипачей, піанистов — наших дней. Воспитанное Библией и вѣковым притѣсненіем острое чувство соціальной справедливости, гдѣ современный социализм перекликается с древними пророками, создает вождей пролетаріата, глашатаев соціальной революціи, дѣятелей Интернаціонала. Еврейская революціонная интеллигенція подрывает тот самый капитализм, в котором так уютно чувствовала себя еврейская буржуазія.

Но все это обращается теперь против еврейства. «Чистая» наука, аналитическая направленность ума глубоко противны новым поколѣніям. В наукѣ они признают ея служебную полезность, ея практическую направленность. Она должна стать служанкой политики или погибнуть. Чувствительность, эмоціоанальность в искусствѣ тоже подлежит «преодолѣнію». Новый вѣк требует от искусства выраженія моши прежде всего: монументальности, единства, цѣлостнаго воспріятія жизни. Что коммунизм и капитализм отвѣчают друг за друга, это понятно без лишних слов.



Фашизм (как и коммунизм, который является его разновидностью) есть ложный отвѣт на подлинный вопрос, постав-

ленный историей. Фашизм прав в основном ощущении порочности и безвыходности современной культуры. Но, видя зло, он безсилен преодолеть его, потому что сам носит в себе все яды умирающей цивилизации. Возмущаясь против ее механичности, он является самым механическим из ее общественных движений. Мечтая об органической силе жизни, он является жертвой и тираном самой мертвой техники, примененной к политике и воспитанию. В припадке бешенства, он бьет направо и налево, не чувствуя, что носит врага в самом себе. Грубыми суррогатами пытается замѣнить недостающую силу, которой жаждет. Но, если он действительно услышал вопросы жизни, то в самых уродливых его достижениях мы вправе угадывать очертания культуры будущего. Пусть фашизм погибнет, и демократия, обновленная, будет строить, вместо него, «новый порядок» мира, — этот порядок будет совершенно отличен от прошлого. К «старым башням родного Содома» возврата нет. Новый мир, если только он будет построен, преодолѣет не только капитализм, но и разсудочный, разорванный духовный мир буржуазной Европы. Он должен обрести новую цельность, новую органичность жизни. Дай Бог, чтобы он мог сочетать с ней свободу личности. Но эта свобода уже не будет свободой безразличия. Вся та среда, в которой жило, в сравнительном благополучии, еврейство XIX века, погибла навсегда.

Какия проблемы ставит перед еврейством новый, в крови раждающийся мир?

Разрыв с капитализмом, конечно, особой драмы не представляет. Еврейство слишком богато ресурсами, чтобы не пережить гибели финансового капитала, как оно пережило много других экономических и политических режимов. Но самый вопрос о его «переживании», о его существовании, — как он ставится теперь?

Еще недавно были возможны споры между еврейскими националистами и сторонниками ассимиляции. Они ведутся еще и теперь, но по существу возможны ли они? Фашизм показал, что никакая ассимиляция не спасает еврейства, не может укрыть его. Забвения религии, языка, трех денационализированных поколений недостаточно. Быть может, десять поколений могли бы изгладить все следы прошлого, замазать последние черты древней благородной расы, но история не дает этих десяти поколений. Выход из гетто начался лишь с XIX века, примерно с французской революции, в России — много позже. Ассимилированное еврейство все еще еврей-

ство, и враг сумѣет распознать его. Ну, а в «новом мірѣ» — придется ли и там прятаться от врагов?

Надѣясь на лучшее, предполагая, что в этом мірѣ не будет ни исключительных законов, ни травли «инородцев», трудно представить себѣ процесс ассимиляціи столь легким, каким он был в прошлом столѣтіи. Этот процесс протекал безболѣзненно в денационализированной, обезличенной средѣ. В XIX вѣкѣ еврей, желавшій забыть о своем еврействѣ легко мог стать членом космополитического общества. Но ему уже было много труднѣе стать своим, скажем, в кругу русских славянофилов или во французском католическо-дворянском свѣтѣ. Ему надо было носить маску или дѣлать насиліе над собой. Родиться заново в иную націю не так легко. И, если грядущая культура будет болѣе почвенна, будет религіозна и в духовном (может быть, не в политическом) смыслѣ національна, то еврейство может найти в ней мѣсто, как особое исповѣданіе, особый народ, равноправный среди других, но едва ли сможет раствориться в ней без остатка.

Да и желательно ли это? Не возмущает ли самая мысль о таком исходѣ? Даже с чисто позитивной точки зрѣнія, исчезновеніе одного из самых одаренных народов, давшаго міру столько гениев, если бы оно и было возможно, представляло бы тяжелую утрату для человѣчества. Нельзя утѣшаться тѣм, что евреи будут давать міру свой вклад, как они дают и сейчас, в чужих національных общинах. Да, сейчас дают, потому что не истощены еще силы, накопленные в гетто, силы тысячелѣтней религіозной вѣры и мессіанских упований, растрачиваемыя теперь в «теоріях относительности», в «психоанализах» и проч. Но потухнет этот костер, и его жар остынет, тепло разсѣется в воздухѣ. Неизбѣжная «энтропія» сравняет уровень еврейской и «арійской» духовной температуры.

Если же стоять на точкѣ зрѣнія религіозной, то гибель народа, давшаго міру двѣ міровых религіи и сохраняющаго донинѣ свой религіозный пламень, была бы прямо катастрофой. Слишком большія религіозныя чаянія сопряжены с этим народом. Его судьба в христіанском пророчествѣ связана с эсхатологическими судьбами міра. С этой точки зрѣнія, он не только не должен, он не может погибнуть.

Ассимиляціонизм осужден исторіей, и Гитлеру суждено было стать одним из виновников еврейскаго національнаго возрожденія. Нам приходилось слышать евреев, которые так оцѣнивали смысл гитлеровскаго гоненія. Еврейскій Бог всегда вел свой народ путемъ страданій, и в страданіях он обрѣтал

новую силу жизни. Вольная и покойная жизнь среди язычников разлагала. Вот и сейчас, на что в Россіи жизнь невольна и непокойна, но в условиях полного равенства и денационализированной культуры миллионы евреев почти растворились в полумонгольском морѣ. Русская революція, с одной стороны, удушившая національно-религіозную культуру еврейства, с другой облегчившая его ассимиляцію, сдѣлала больше для уничтоженія народа, чѣм Гитлер со своими лагерями и палачами.

Если не ассимиляція, то что же? Национальное возрождение — но в каких формах?

Здѣсь возникает новый соблазн: перенять у врага его политическое сознание, бороться с ним его же оружием — если угодно, опять таки ассимилируясь с ним, только не в дружбѣ, а в борьбѣ. Израилю предлагается осознать себя одним из народов земли — таким же, как всѣ другіе — и требовать для себя мѣста под солнцем. Вчера еще это значило: подчинить всѣ задачи еврейства одной цѣли созданію и развитію національнаго государства в Палестинѣ. Сегодня это звучит еще иначе: создать еврейскій фашизм, покончить с гуманизмом и отвѣтить криком крови и расы на крик крови и расы. Этот соблазн тѣм опаснѣе, что в самых древних страницах Священной Книги можно найти кажущееся оправданіе для этой анти-гуманистической реакціи. Гитлер вывернул Библию наизнанку. Теперь начинают выворачивать наизнанку Гитлера, — только что останется от Библии в результатѣ этой двойной перелицовки?

Я ничего не хочу говорить здѣсь ни за ни против сіонизма, который в цѣлом вызывает во мнѣ сочувствіе. Но сіонизм может быть оправдан лишь как частичное, подспорное рѣшеніе задачи — сохраненія еврейской національности. Если для сохранения всемірнаго еврейства важно имѣть національный очаг в Палестинѣ, пусть он будет. Но пусть борьба за него, работа в нем не заслоняет всей проблемы. Так папское государство в Италіи могло и должно было стать опорой для универсальной политики католической церкви. Но как часто оно дѣлалось помѣхой и соблазном для этой самой политики! Призваніе Израиля универсально. Его Мессія обѣщан, как освободитель и примиритель всѣх народов, и религіозный націонализм был временной формой, скорлупой, охраняющей вселенскую идею Израиля. Отказ от этой идеи это отказ от первородства, отказ от самого себя. Да и возможен ли он? Т. е. возможна ли узко-національная еврейская политика?

И здѣсь уже исторія говорит свое предостерегающее слово. Насколько еврейство сильно своим культурным подвигом, своим нравственным упором в мировых предѣлах, настолько слабо и беззащитно оно в «своем» національном государствѣ. Первый вихрь, налетѣвшій из заиорданской пустыни, может смести его. Оно существует стечением благоприятных обстоятельств, политическим компромиссом Британской дипломатіи. Стоит заколебаться Британской Имперіи, усилится давленію арабскаго міра, политическое пробужденіе котораго является одним из новѣйших фактов мировой жизни, и что останется от Сіона? Останется діаспора, останутся огромныя, но разсѣянныя энергіи, вѣчный, неутолимый, духовный голод Израиля.

Если чисто политическое рѣшеніе еврейскаго вопроса не дается, то как слѣдует понимать его культурное рѣшеніе? Что такое еврейская культура? Есть ли она, была ли она когда-нибудь? Нельзя же видѣть эту культуру в пережитках пестраго происхожденія фольклора, еще не вездѣ разложившагося. А за вычетом их, оказывается, что все, что Израиль создал подлинно своего — для себя и для міра — была его религія. Он вѣчно жил в чужих культурных формах — вавилонских, эллинистических, испанских, нѣмецких, русских, но вѣчно вынашивал в себѣ одну и ту же свою религіозную тему. Религія, а не культура, и спасла его самобытность, сохранила его от растворенія в морѣ чужих племен. Обрядовый закон ограждал его лучше, чѣм Гетто, священный язык поддерживал единство во всѣх концах разсѣянія. Отнимите их, и что останется? Ассимиляція началась немедленно с упадком вѣры. И національное возрожденіе в наши дни сопровождается возрожденіем религіозным.

Наше время, ошупью и медленно, но вѣрно выходит на забытые религіозные пути. Это возрожденіе безспорно в католичествѣ, православіи, протестантизмѣ. Безспорно оно и в еврействѣ, хотя, может быть, и не столь явственно. Гитлер сумѣл заполнить молящимися еще не разрушенныя синагоги, и в них влечет не одно національное горе, но и подлинная религіозная боль. Да и не Гитлер породил Бубера, Когена, стольких других. Рѣчь идет, конечно, не о простой реставраціи вѣры отцов, но о ея новой, творческой интерпретаціи. Этому движенію принадлежит будущее. Здѣсь проходит основное русло національно-культурнаго возрожденія. И если нельзя вѣрвать насильно, и преступно обращаться вѣру в орудіе политики, то законно и даже обяза-

НОВОЕ НА СТАРУЮ ТЕМУ

тельно для всех пристальное внимание, изучение религиозных проблем.

Кто сказал, что еврей это усталый скептик, тонкий, но бесплодный рационалист? Да, таким мы знали его часто в послѣднія десятилѣтія. Но таким ли он был хотя бы два поколѣнія назад, когда Гейне проводил свою знаменитую параллель между эллинизмом и иудейством? Утрата вѣры подорвала его жизнеутверждающія, творческія силы. Но гений расы (т. е. религіи Израиля) есть сама жизнь, борьба за вѣчную жизнь. Израиль боролся с Богом тысячелѣтія. Нельзя повѣрить, что у него нѣтъ больше сил для этой трагической борьбы.

Но христіанин, который со стороны созерцает ее, не может не думать своей думы. И, говоря откровенно на эту болезненную, кровью политую тему, нужно быть откровенным до конца. Для христіанина не может быть другой истинной религіи кромѣ христіанства. Он может сочувственно наблюдать возрожденіе религиозной жизни в чужих мірах — в Исламѣ, в Китаѣ, в Индіи, но при этом вѣрит, что рано или поздно эти духовные потоки вольются в одно вселенское море. По отношенію к еврейству вопрос для него стоит еще несомнѣннѣе. Еврейство и христіанство не двѣ различныя религіи, но двѣ фазы одной и той же истинной, родившейся в Иудеѣ, но вселенской религіи. Христіанство относится к иудаизму, как его завершеніе. Поэтому всякое движеніе в иудаизмѣ, направленное не вспять, т. е. не от пророчества к закону, а от закона к пророчеству, должно прійти и к Иошуа и поставить вопрос о его мѣстѣ в религіи Израиля. Чѣм вызван трагическій разрыв между еврейским народом и его пророком, который явился ему, как Мессія, раньше, чѣм открылся язычникам, как Спаситель міра?

Едва ли этот вопрос получит жизненное разрѣшеніе для еврейства в нашем поколѣніи. Но евреи задумываются над проблемой Иисуса, и эти мысли далеки от древней враждебности. Книги Монтефиоре, Клаузнера говорят о новом отношеніи к Иисусу. Пожалуй, еще болѣе говорят об этом частыя обращенія в христіанство чистых и духовно-жаждущих людей — новый тип конвертита. Эти обращенія разрывают единство духовной жизни Израиля, и здѣсь заключена драма, личная и національная, едва ли устранимая. По существу дѣла древняя религія Израиля, взятая в отрывѣ от христіанства, с трудом удовлетворяет современное религиозное сознаніе. Путь от современной, хотя бы обезбоженной культуры к религіи закона представляется суженіем сознанія. Націонализм может

принести эту жертву. Но религиозная личность примет ли ее?

Отвѣтъ, конечно, будет звучать по разному. Одни примут, другіе не примут. Сейчас не время поднимать этот спор, который принадлежит будущему. Хотѣлось бы только указать на новый, совершенно неожиданный оборот, который исторія дает древней еврейско-христіанской тяжбѣ. Когда то евреи распяли еврея Іисуса. Послѣ того, скоро уже двѣ тысячи лѣтъ, как Его ученики распинают евреев. Нынѣ Іисус возвращается своему народу, под улюлюканье и крики язычников: «Распни Его, Он жид!»

Но как не поражаться апоріям, которыя на всѣх путях встрѣчает національное движеніе еврейства. Точно кто-то незримый гонит Израиля, загоняет его в безвыходные тупики, не дает опомниться от боли и ран? Кто Он, этот неутомимый охотник? Не тот же ли Бог Израиля, ревнивый и любящій, гоняющійся по пустынь за своей возлюбленной, на вѣки обрученной с Ним кольцом завѣта?

Г. Федотов.

ДѢЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ДУМЫ ЕВРЕЯ

Статья Г. Н. Федотова «Новое на старую тему» будет, без сомнѣнія, прочитана с захватывающим интересом. С талантом искренним, не лукавым, автор в ней обсуждает сложную тему о новом антисемитизмѣ и пытается намѣтить пути рѣшенія еврейскаго вопроса. Дѣлает он это не со стороны, как жалостливый «юдофил» добраго стараго времени, с великодушной печалью переживающей чужое горе, а как христіанин, для котораго жестокость людская, людская злоба — личное горе и почти собственный грѣх. Высокій моральный тон статьи дѣлает ее цѣнным документом, — поучительным и своей правдой и тѣм, что кажется в ней ошибочным. Правда статьи дойдет до читателя прямым путем: естественное воображеніе и утвердятся в сознаніи; нѣкоторыя же, с нашей точки зрѣнія, заблужденія автора способны мысль читателя смутить и разстроить. Я желал бы выразить, как спорныя положенія статьи воспринимаются современным евреем.

1.

Мрачным пессимизмом вѣет от статьи Г. Федотова. Мир одичал, подорваны всѣ его нравственныя основы. По окровавленным просторам Европы рыщут волки, и люди, движимые инстинктом самосохраненія, приглушают свою совѣсть и воют с волками в унисон. Все рушится, и под обломками цивилизаціи одной из первых жертв оказывается еврейскій народ. Вѣрный рисунок с натуры. Ад. Но между тѣм, как Virgilij, показав Данте черные круги ада, все таки выводит поэта к утренней звѣздѣ, Г. Федотов с безпоощадностью отчаянія не обѣщает еврейству и надежды. Евреям нѣтъ мѣста в гитлеровской Европѣ; но и новый мир, если он будет построен на развалинах фашизма, даст новое бытіе, «новую цѣльность, новую органичность» только христіанскому обществу. Еврейство же окажется перед старыми суровыми проблемами: как пережить, как существовать? «Вся среда, в которой жило, в сравнительном благополучіи, еврейство XIX вѣка, погибла навсегда. К «старым башням родного Содома» возврата нѣтъ. Ассимиляція невозможна: крѣпкая само-

Бытность древняго народа всегда мѣшала еврею вполнѣ ассимилироваться с окружающим міром; еще труднѣе это станет в обществѣ будущем, болѣе почвенном, болѣе религиозном, болѣе духовно-національном. Если в новом мірѣ и будет свобода, то это не будет «свободой безразличія». Г. П. Федотов намекает, что и в новом обществѣ евреям, может быть, придется «прятаться от врагов», так что, в сущности, и ассимиляція не помогла бы: «ассимилированное еврейство все еще еврейство, и враг сумѣет распознать его». Сионизм? Но первый вихрь, полетѣвшій из за-иорданской пустыни, может смести Сион. Что же останется? «Останется діаспора, останутся огромныя, но разсѣяанныя энергіи, вѣчный, неутолимый духовный голод».

Это сильное видѣніе могло в минуту гнѣва представиться древнему іудейскому пророку. Воистину, сіяет оно зловѣщим подобіем правды. Но, к счастью, только подобіем. Еврейскому сознанію этот крайне мрачный образ покажется миражем, — миражем теперешней духовной пустыни. Что такой вдумчивый писатель, как Г. Федотов, мог дать такую, на наш взгляд, невѣрную картину «еврейской болѣзни», нуждается в объясненіи. Объясненіе, которое нас соблазняет, может служить только к чести автора, но оно же и углубляет разномысліе, и затрудняет взаимное пониманіе. Дѣло в том, что к антисемитизму Г. Федотов подходит как христіанин и судит его со всей абсолютностью строгой совѣсти. Он как бы сам себя чувствует обидчиком еврейства, и потому ни степеней, и пропорцій знать не хочет. Ирод, убивающій не сорок тысяч дѣтей, а одного единственного младенца — тот же Ирод. Болѣе того: «кто скажет брату своему «рака» — тот «подлежит суду Синедріона». Не то мы, евреи. Огромный внутренній опыт страданія, накопленный в теченіе почти двух тысячелѣтій, научил нас оцѣнивать явленія, и в том числѣ антисемитизм, относительно. Как жертвам гоненій, извѣстная снисходительность к злу нам даже к лицу. Так что многія явленія, которыя Г. Федотову кажутся очень, значительными и его сильно огорчают, нам почти безразличны, а то, что мы принимаем за зло выносимое, ему кажется трагичным. Но за то, когда на нас надвигается настоящая буря огня и сѣры, мы узнаем ее во всей ея страшной новизнѣ; Г. Федотову же кажется, что гдѣ то он уже видѣл этот багровый пламень, гдѣ то уже слышал этот смрад. Совѣсть его полна до краев горькаго укора злу, и больше его вмѣстить уже не может.

2.

Г. Федотов смотрит на расизм, как на простое продолжение старого антисемитизма, только углубленное и дополненное. «Россия была страной погромов, Франция в дни Дрейфуса сдѣлала из антисемитизма символ вѣры своего національного сознания», а теперь, вот, «острая вспышка антисемитизма» в Германіи. Гитлер, слѣдовательно, не «главный виновник и не единственный источник современного звѣрскаго антисемитизма». Для нас же он не только главный, но и единственный его источник. И в этом дѣлѣ, смѣем думать, мы судьи непогрѣшимые. Ничего подобного гитлеровскому походу против еврейства в исторіи не было. Исторію мы хорошо знаем, мы ее изучали, по выраженію Гейне, на нашей спинѣ. Да, в Россіи были погромщики и погромы, были процессы Блондеса и Бейлиса, была черта ослѣлости. Но не с погромами связан и нашей памяти образ Россіи. Могут ли презрѣнный Крушеван, подкупный Дубровин, невѣжественный Марков II заслонить собою в нашей памяти все русское культурное общество? Интеллигенція, огромное большинство дворянства, крупная буржуазія, значительная часть просвѣщенного духовенства стояли рядом с нами в дни испытаній. Не русскіе ли мужики оправдали Бейлиса? Заглушигь эти благородные голоса не рѣшалось даже реакціонное правительство. Протесты звучали громко и внушительно. За статью «Кровавая кишиневская баня», в журналѣ «Право», В. Д. Набокова только лишили камер-юнкерскаго званія, на что этот блестящій дѣятель отвѣтил об'явленіем в «Новом Времени»: «За ненадобностью продается камер-юнкерскій мундир. Обратиться к Набокову, Морская улица»... Смѣялась с удовлетвореніем вся столица. Но и правительство не собиралось отлучить евреев от человѣчества. Ограничительные законы никогда не разсматривались им. как неизблемые. «Вид, еврей, слишком умны; народ же наш еще темен. Дать вам равноправіе, — вы заберете слишком большую над ним силу. Дайте окрѣпнуть народу — потерпите». Искренно или лицемерно, но это был господствующій оффиціальныи тон. Талантливых евреев в Россіи цѣнили, образованных уважали, добрых почитали.

Дѣло Дрейфуса! Но можно ли забыть борьбу французев за реабилитацию невинно-осужденнаго — испугительную бурю совѣсти и разума? А в роковой час войны, когда христіане братались в окопах с евреями, не писал ли Баррес, бывшій

анти-дрейфусар и «властитель дум Франціи», свои знаменитыя статьи «Les familles»?..

Но не только с антисемитизмом начала XX вѣка нельзя сравнить расизм Гитлера — перед ним блѣднѣют самыя кровавыя дѣла средневѣковья. Жутко сказать: там был ужас, но не было обиды. Торквемада, сжигавшій евреев, «спасал их душу» и открывал для них об'ятія земли и неба: признайте только Христа...

Гитлеровскій антисемитизм абсолютно исключителен, без образцов в прошлом и без аналогій в настоящем. Никакія об'ясненія его не об'ясняют. Он страшен тѣм, что отлучает евреев от образа людского, стремится к полному их истребленію. Он холоден, обдуман, размѣрен, безошаден в идеѣ и в дѣйствиі, нравственно смраден, безбожен и безчеловѣчен. Расисты Гитлера всякаго еврея, гдѣ бы они его ни встрѣтили,

Как змія спящаго раздавят
И прочь пойдут, и так оставят.

И еще хуже: не пойдут прочь, так не оставят, а еще поздѣваются над трупом.

3.

В той же линіи уравнительной мысли Г. Федотов замѣчает, что «очаги антисемитизма имѣются повсюду, по всей Европѣ». Вѣрно. Такіе очаги существуют даже в Америкѣ, даже в Англии. Имѣлись они и в нынѣ покоренных странах Европы. Вѣрно и то, что антисемитизм генетически связан с крайними формами націонализма. Интересно было бы, однако, узнать, что в этих странах стало с антисемитскими очагами п о с л ѣ того, как орды Гитлера там разрушили очаги семейные? Не ускользнул ли от вниманія Г. Федотова один важный и новый факт? А именно, что в покоренной Европѣ націонализм заполнился новым содержанием и питает пафос свободы! Чехи, поляки, норвежцы, голландцы, бельгійцы, французы, греки, сербы — словом, почти всѣ народы Европы исполнены такой всепоглощающей ненависти к поработителям, что всѣ их прежнія маленькія ненависти померкли перед ней, как «лампада пред ясным приходом зари». Остались, конечно, а н т и с е м и т ы , но давно уже в оккупированных нѣмцами странах не было так мало а н т н с е м и т н з м а , как в настоящее время. В истинно-национальных кругах этих стран нѣмецкій знак, на чем бы он ни был

обозначен, вызывает отвращение, как знак каинов. Можно было бы заполнить цѣлый том перечнем патетических случаев защиты евреев христіанами в одной, напримѣр, Голландіи, и в этом она не одинока. За Гитлера теперь в Европѣ не націоналисты, а космополитическая мафія карьеристов, дѣльцов и авантюристов.

Само собою разумѣется, что отрицая исключительную отвѣтственность Гитлера за «современный звѣрскій антисемитизм» Г. Федотов дѣлает это не с цѣлью сколько нибудь украсить нѣмецкаго Герострата. Хочет он, во-первых, предостеречь еврейство, в его интересах, от «самообмана» и, во-вторых, предотвратить развитіе «ненависти к Германіи, как таковой, к ея душѣ, к ея вѣчному содержанию». Эта ненависть опасна для всего будущаго европейской культуры, так как из нея вытекает «не всегда высказываемое, но молча носимое убѣжденіе в необходимости не побѣдить только, но уничтожить Германію». Но это значит «сдѣлать невозможной Европу, уничтожить Европу, ибо (по слову Р. Роллана) Европа без Германіи, как птица без одного крыла». Во имя этого Г. Федотов и призывает не «отождествлять еврейскаго вопроса с нѣмецким».

Законным противовѣсом этому совѣту представилась бы просьба обратная: не отождествлять нѣмецкаго вопроса с еврейским. Предположеніе, что преслѣдованіе евреев является опредѣляющей причиной ненависти к Гитлеру и к Германіи могло бы, конечно, быть источником нравственнаго удовлетворенія для еврейства, но оно неосновательно. Устраните антисемитизм совѣм, предположите, что его в Германіи нѣтъ, — ослабѣет ли в поработенной Европѣ на іоту жестокая к Германіи ненависть? Если нѣмцев будут когда нибудь в оккупированных странах рѣзать, то это будет не за евреев. Это будет за разбойный грабеж всего: золота, хлѣба, масла, вина, одежды, скота; за разстрѣлы заложников, за разрушеніе городов, за высокоомѣріе, за тяжкое ярмо. И больше всего, может быть, за самую войну, за то, что по волѣ одного нѣмца мір превращен в юдоль плача, гдѣ не осталось мѣста для самых скудных радостей жизни. Мы не увѣрены, что мір очень пострадал бы от того, что у европейской Жар Птицы отрубили бы ея ястребиное крыло, но вопрос этот, вообще, не реальный. Истребить 80.000.000 людей! Для такого дѣла на всем бѣлом свѣтѣ не найдется достаточно нѣмецких палачей...

4.

Замѣчаніе Г. Федотова, что поражение Гитлера само по себѣ, ни перед человѣчеством, ни перед еврейством, не откроет дверей рая, совершенно правильно. Будет еще горе, будет труд. Горе от ран, труд — по возстановленію развалин. Но, вопреки Г. Федотову, мы думаем, что в первый же день паденія Гитлера мір, все таки, вздохнет свободно. Будет всемірная Пасха. Горе же не всегда плохая пища для души, а плодотворный труд источник бодрой энергіи. Особенно много горя будет у еврейскаго народа, ограбленнаго, истерзаннаго в концентраціонных лагерях, в новых гетто, попытка бѣгства из которых теперь карается смертной казнью. Сложнѣе будет для евреев и задача возстановленія. Потребуется напряженіе всѣх моральных и матеріальных сил для перемѣшенія милліонов людей в новыя страны и устройства там их трудового быта. Не установится по щучьему велѣнію и гармонія в христіанско-еврейских отношеніях. Антисемитскія болота не легко высушить. Рисовать себѣ такую пастораль немедленно послѣ побѣды было бы легкомысліем. И если пессимизм Г. Федотова в отношеніи еврейской судьбы нам кажется преувеличенным, то это потому, что к общей проблемѣ еврейства, как и к антисемитизму, мы подходим с мѣрками не абсолютными, а относительными. Не чудес, не мистической благодати ждут евреи от новаго міра, а одной, очень простой вещи — чтобы их оставили в покоѣ! Они ждут равенства перед законом, уничтоженія ограниченій, признанія их элементарных прав, как людей и граждан. Замѣтим, что и Г. Федотов надѣется, что в новом мірѣ «не будет исключительных законов». Мы идем дальше: мы не надѣемся только, мы в этом глубоко увѣрены. Военное торжество демократій не может не повлечь за собою исчезновенія с европейской политической сцены всѣх Кислингов и прихода к власти людей иного типа. Ни одна башня г и т л е р о в с к а г о Содомы не устоит. ибо будет разрушен самый фундамент, на котором эти башни зиждутся. Сомнѣваться в этом значило бы сомнѣваться в самой побѣдѣ. Война потеряла бы весь свой смысл, если бы ея побѣдный исход не принес бы людям свободы от угнетенія и страха.

Еврейству же больше ничего не нужно. Оно не намѣрено перед кѣм бы то ни было заискивать, вымаливая любовь или дружбу. Антисемитизм, не вооруженный дубиной или пулеметом, не освященный государством, не начертанный в законах, не приводимый в исполненіе полиціей и арміей — ев-

рейству не страшен. Относительный антисемитизм XIX вѣка не помѣшал ему ни просвѣтиться, ни окрѣпнуть, ни творить. Если тѣ или другіе наши сограждане почитают за удовольствіе вѣрить в «жидо-массонскій заговор», в глупые протоколы Сіонских мудрецов, в подпольный союз Ротшильдов с Троцкими и Кагановичами, пусть вѣрят. Не нам заниматься просвѣщеніем их темных умов; просвѣтитъ бы нам лучше наших собственных обскурантов. Если же еще другіе, независимо от легенд, не любят евреев инстинктивно — ну что же! Мы можем только сказать, что если все еврейское им противно, то пусть не прибѣгают к реакціи Вассермана, не лѣчатся сальварсаном Эрлиха, не принимают инсулина, не пользуются волнами Герца. Нам что до этого? За любовь мы охотно отвѣтим любовью — неискоренимая черта еврейства тянуться к любви, — но на презрѣніе мы отвѣтим улыбкой, а на ненависть — презрѣніем.

Еврею нужно, когда у него украли курицу, чтобы вора судили, а не провозглашали національным героем; когда он хочет изучать теорію относительности, чтобы перед ним не захлопывали дверей математическаго факультета; когда он хочет в потѣ лица обрабатывать землю, чтобы ему не отказали в клочкѣ Божьей земли.

Увѣренные в конечном пораженіи Гитлера, убѣжденные, что война за цивилизацію не может кончиться глумленіем над ея принципами, евреи не имѣют основаній смотрѣть на будущее с особенной тревогой. С другими народами они надѣются дѣлать не только горе и труд по-военнаго періода, но и плоды общаго созидательнаго усилія. Испытанія послѣдняго десятилѣтія не ослабили, а укрѣпили дух еврейства. Оно сознает всю огромность предстоящей работы и в Палестинѣ, и в діаспорѣ. В діаспорѣ надо организовать жизнь на болѣе почвенных основах, физически оздоровить, духовно очистить и возвысить ее. И болѣе упорно, чѣм когда бы то ни было надо строить Сіон, не боясь «вихрей из за Іордана», которые могут его смести. При Гитлерѣ вихрь из за Рейна мгновенно смел твердыни куда болѣе прочныя, чѣм недостроенный Сіон; послѣ Гитлера, думаем мы, вихри из за рѣк улягутся, покоряясь вооруженному закону...

Вот почему еврей не склонен заражаться тревогой Г. Федотова. Паденіе капитализма? От того, что в XIX вѣкѣ извѣстное количество евреев успѣли сдѣлаться банковскими «королями», что нѣсколько евреев приобрѣли за деньги титулы и проникли в великосвѣтскіе салоны (гораздо больше евреев проникли в них благодаря талантам и уму), капита-

листической «Содом» евреям нисколько не роднѣе, чѣм любому другому народу. На ссудных лавках, в видѣ эмблемы, красуются обыкновенно три шара — из герба Медичи, христіаннѣйших итальянцев. Это заря капитализма. Посмотрим на его закат: в любой діаграммѣ еврейскій капитал рядом с христіанским пришлось бы изображать лилипутом в тѣни великана. Менѣе всего от паденія капитализма пострадает обнищавшій еврейскій народ. Оплакивать его мы не намѣрены.

6.

Самая интересная часть статьи посвящена вопросу об ассимиляціи. На эту тему сужденія Г. Федотова пронизательны и глубоки. И тут, в основном, наше единомысліе полное. Г. Федотов ассимиляцію отвергает. Она невозможна и нежелательна. Так думает почти все еврейство. Но мы отрицаем ассимиляцію не в силу каких нибудь соображеній — о том, напримѣр, что евреи «избранный народ», что он имѣет универсальную миссію, которой не должен измѣнить, или, что в результатѣ ассимиляціи его вклад в общую культуру слѣдается болѣе худосочным. Мы просто не желаем раствориться и исчезнуть, как не хочет потерять память, ослѣпнуть или умереть любой нормально-здоровый Иван Иванович. Однако, различіе мотивов дѣла не мѣняет. Важно то, что Г. Федотов отвергает ассимиляцію не менѣе страстно, чѣм любой еврейскій націоналист. Но тут возникает самое глубокое наше недоумѣніе. В заключеніе своей статьи, высказывая «думу христіанина», Г. Федотов приглашает еврейство на путь самой безвозвратной, самой опасной ассимиляціи!

Смысл прекрасных и тонко написанных заключительныхъ страницъ его статьи ясен: еврейство найдетъ свое спасеніе, когда оно прійдетъ к Іошуа, присоединится к христіанству. Нужно ли оговорить, что мы этимъ призывомъ не шокированы? Г. Федотов не вульгарный миссіонер, мы — не фанатики. Но в виду краеугольности этого вопроса мы считаемъ необходимымъ высказаться со всей возможной откровенностью, примѣр которой далъ намъ самъ авторъ.

Отдѣльныя фразы статьи могутъ создать впечатлѣніе, что Г. Федотовъ имѣетъ в виду не только культурно-религіозное спасеніе наше, но и политико-бытовое. Будущее христіанское общество будетъ болѣе почвеннымъ, болѣе національнымъ, свобода в немъ не будетъ «свободой безразличія» — при этихъ условіяхъ христіанство явится для евреевъ надежнымъ щитомъ отъ возможныхъ непріятностей. «На базарной площади толпа

как бы чего нибудь не вышло? Зайдите лучше в храм!»... Но впечатлѣніе это ошибочно. Г. Федотов зовет еврейство к христіанству только во имя спасенія нашего духа, которому угрожает опасность угаснуть в оторванности от Христа.

Г. Федотов прав, замѣчая, что мысли современнаго еврейства далеки от враждебности к Христу. Больше чѣм книги Монтефиоре и Клаузнера, об этом свидѣлствуют тысячи живых голосов. Для еврея средневѣковаго и даже болѣе поздняго гетто Іошуа, дѣйствительно, был апостатом, что в том быту означало отреченіе от отца и матери, жестокою обиду всей израильской общинѣ и переход в лагерь ея врагов. Иначе и быть не могло, ибо Іошуа, сын еврея Іосифа, царствовал в церкви, гдѣ молились их угнетатели. Это время прошло. Культурные евреи нашего времени имѣют иное представленіе о Христѣ. В изрѣченіях его они узнают родные отклики древней иудейской рѣчи, часто слышат голоса пророков и Гилеля. Он им не чужой. «Они» (угнетатели) его у нас похитили», — сколько раз слышали мы эту фразу в устах простых евреев! В послѣдніе годы, каждый раз, когда римскій Намѣстник Христа, или протестантскій Архіепископ, или смиренный деревенскій священник возставали публично против злобы и гоненій, даже еврейскіе простолюдины, узнавая в этих пастырях духовное племя Исусово, чувствовали и их как бы родными. Іошуа еврейскій пророк — этим признаніем не смутить евреев наших дней, развѣ, может быть, нѣскольких крайних старовѣров. Скажем больше, образ Христа очень многим из нас, добрых іудеев, дорог, как образ красоты и совершенства. И если бы рѣчь шла только об этом, нам с Г. Федотовым не о чем было бы спорить.

Но не в этом вѣдь дѣло. Рѣчь идет о том, чтобы еврейскій «поток влился во вселенское море». Тут наши пути рѣшительно расходятся. В этом морѣ еврейство потонуло бы. Говорим — «нѣтъ!».

Мы понимаем, почему эта форма ассимиляціи Г. Федотова не смущает — он вѣрит в универсальную миссію еврейскаго народа, поэтому для него это будет не смертью, а высшим цвѣтеніем избраннаго народа, великим завершеніем всемірно-историческаго цикла мистических явленій — от рожденія Христа до слянія с ним его роднаго племени. Для нас же это просто смерть — смерть без апофеоза. А без вѣры, подобной вѣрѣ Г. Федотова, мы смерти говорим «нѣтъ!».

Но это еще не все. Искренность до конца будет залогом нашего уваженія к «думам христіанина».

Еврей не чувствует, что приобщившись к христианству он возвысит свое «стояніе» в духовном мірѣ. Тот, кто безпристрастно наблюдал жизнь еврейских масс в городах и вѣсях различных черт осѣдлости, мог замѣтить в натурѣ и поведеніи этих простых людей обильную розсыпь подлинно-«христианских» черт. Мы утверждаем это без всякаго шовинистическаго намѣренія — для нас это вывод из немалого жизненнаго опыта, из долгих блужданій по свѣту. Нас это и не удивляет. В еврейскія массы через Синагогу и проповѣдников, в теченіе многих вѣков, непрерывно струились живыя воды Пророков и Талмуда, источников галилейской стихіи. Нѣтъ ничего горделиваго в утвержденіи, что свой «духовный голод» Израиль может утолить в собственном вертоградѣ, не выходя за ограду.

Слѣды этих настроеній еврейских почвенных масс мы находим и в современном еврейском націонализмѣ, культурном и политическом. Не на насиліи, не на чужой обидѣ намѣревалось и намѣревается еврейство строить новый свой Сіон. Если евреи и хотят «осознать себя одним из народов земли, таким, как всѣ другіе и требуют для себя «мѣста под солнцем» — что подлинная правда — то вызывает только глубочайшее недоумѣніе опасеніе Г. Федотова, что «сегодня это звучит: создать еврейскій фашизм, покончить с гуманизмом, отвѣтить криком крови и расы на крик крови и расы». Гдѣ нашел он признаки этого? Мы и намек на эту «опасность» не находим нигдѣ, — ни в еврейских дѣлах, ни в еврейских мечтаніях.

Все это, однако, замѣчанія житейскія, земныя, а Г. Федотов обращается к нашему древнему мессіаническому инстинкту, едва ли заглухнувшему. На такой зов нельзя не дать отклика.

В отношеніи антисемитизма Г. Федотов занимает позицію абсолютную, а мы — относительную. В отношеніи мессіанизма абсолютисты — мы, евреи. Приход Мессіи для евреев означает глубочайшее просвѣтленіе, преображеніе всей жизни. Новое небо и новая земля, воистину. Зло и Мессія для нас несомѣстимы. А исторію послѣдних двадцати вѣков мы никак не можем примирить с христианской идеей, что мессіанское обѣтованіе пророков исполнилось. В пониманіи нашем, о таком свершеніи возгласили бы камни, и воды морскія запѣли. Великое таинство для нас еще не свершилось.

С. Поляков-Литовцев.

КРИЗИС СОЦІАЛІСТИЧЕСКАГО СОЗНАНІЯ

В той грандіозной историко-культурной катастрофѣ, которая обрушилась на европейскій континент, кризис, или вѣрнѣе, крушеніе социализма, конечно, только деталь, хотя и немаловажная, в общей апокалиптической картинѣ гибели и разрушенія. В этом обстоятельствѣ социализм пытается найти нѣкоторое, хотя и очень печальное, но все же утѣшеніе: когда в с е рушится, то рушится и социализм, когда рушится цѣлое, то рушится и его часть.

В скорби изгнанія, к этому утѣшенію часто, слишком часто, и прибѣгают представители разбитых, растерзанных отрядов международного социализма, не замѣчая, что в нем скрыт опасный и ядовитый для социализма момент: это декларация своего права быть не лучше других. Всѣ побѣжали, и мы, социалисты, тоже побѣжали...

Между тѣм живая душа социализма состояла как раз из противоположных тенденцій и противоположных претензій: когда всѣ побѣгут, мы все еще останемся на полѣ сраженія. Мы не такіе, как другіе, — мы л у ч ш е их. Музыка социалистической души всегда была музыкой борьбы, сопротивления, духовной и даже физической стойкости «наперекор стихіи», всегда многому, многому, даже «само собой» разумѣющемуся, — наперекор. В этом главным образом и заключалась революціонность социализма, дѣйствовавшая обаятельно иногда на людей, отрицавших в корнѣ социализм, как общественный идеал. За счет именно этого обаянія ряды социализма безконечно увеличивались толпами послѣдователей, очень мало склонных или способных разбираться в том, что такое социализм в своем социологическом существѣ.

И вот тут-то и сказался ужасающій удар по моральному, по революціонному престижу социализма. В том, как континентальный социализм встрѣтил сначала мирное нашествіе гитлеризма а затѣм и его военное нашествіе, не было ни грана от его боевой и революціонной традиціи. Когда «другіе» были гораздо лучше, чѣм они показали себя во время нашествія гитлеризма, тогда мы претендовали на то, что мы гораздо лучше их. Когда-же перед лицом гитлеризма они показали себя в ужасающе жалком состояніи, тогда мы

стали утѣшаться тѣм, что мы не хуже их... Всѣ побѣжали, и мы также. Как будто мы не утверждали, — и часто с большим основаніем — что мы гораздо, гораздо лучше «их»... Увы, нашлись и находятся еще среди нас же нѣкоторые смѣльчаки, которые утверждают — и не без основанія, — что нѣкоторыя группы среди «них», напримѣр, вѣрующіе католики во Франціи, повели себя в эти страшные дни и ведут себя еще и понынѣ замѣтно лучше, чѣм мы.

И теперь мы стоим перед фактом неоспоримым и трагическим: война подорвала моральный и общественно-политическій престиж всего континентальнаго социализма, обнаружив воочью, что мы не лучше других, разоблачив неосновательность наших претензій на политическое и моральное превосходство.

Самой печальной и позорной главой в исторіи этой войны будет несомнѣнно глава о т. н. «нейтралитетѣ», т. е. о поддержкѣ Гитлера методами бездѣйствія, помогшими ему пронестись разрушающим ураганом над всѣми странами Европы, в том числѣ и над нейтральными.

Гордостью международнаго социализма было скандинавское социалистическое движеніе. Стоя повсюду у власти, скандинавскіе социалисты показали всему міру высокіе образцы политической, социальной и культурной работы, поднявшей жизненный и культурный уровень масс на невиданныя нигдѣ в мірѣ высоты. Скандинавская социальная демократія, столь мало теоретическая, мало «научная», совѣм не догматическая, стала оказывать все болѣе глубокое вліяніе на развитіе социалистической идеологіи во всем остальном мірѣ. Идеалы, методы мышленія и дѣйствія скандинавскаго социализма начали становиться лабораторно-показательными для международнаго социализма вообще.

Пришел гитлеризм, пришла война и обнаружили, что эти блестящіе практики социализма, стоящіе в своих странах у руля правленія, таят в себѣ душу, мироощущеніе глухих ко всему остальному міру, подслѣповатых, а порою просто слѣпых политиканов, черство и грубо, во имя своей національной колокольни, жертвующих всѣми интересами міровой демократіи и міроваго социализма, жертвующих своими же братьями из других скандинавских стран во имя иллюзорнаго, для них же самих гибельнаго нейтралитета. Полн-

*) Разумѣется, мое «мы» никак не относится ни к членам редакціонной группы, ни к другим сотрудникам «Новаго Журнала».

тикой малодушнаго національнаго эгоизма, страхом об'ятой мольбы: «не тронь меня» — эти скандинавскіе государственные мужи социализма помогли Сталину раздавить Финляндію, Гитлеру — раздавить Норвегію и Данію, а теперь — увы — и финскіе социалисты помогают Гитлеру в его ошеломительном налетѣ на Россію.

С чувством великаго стыда вспоминаешь, как, за нѣсколько мѣсяцев до войны на послѣднем засѣданіи Соціалистическаго Интернаціонала всѣми глубоко уважаемые представители скандинавских стран провалили, не допустив даже до голосованія резолюцію против Гитлера, потому что такая резолюція могла бы повредить чистотѣ скандинавскаго нейтралитета и разсердить этого изверга.

Остались на континентѣ еще двѣ большія социалистическія партіи, бельгійская и французская. Большая группа бельгійских социалистов, в том числѣ блестящій социалистическій писатель и мыслитель де-Ман, сдала свою родину врагу во время самого боя. Громадное большинство руководящих верхов французскаго социализма не только капитулировало перед внѣшним врагом, но и активно руку приложило к ликвидаціи 3-ей Республики и режима политической свободы.

Надо было бѣжать с европейскаго континента на британскіе острова, чтобы отдохнуть душою от политическаго и моральнаго смрада и поддержать в себѣ гаснувшую вѣру в демократію, социализм и трудовыя массы. Это очень трудная и сложная тема: почему именно англійскій народ в цѣлом, англійскій пролетарій в частности и, в особенности, англійскій социализм, оказались на такой исторической высотѣ, когда на континентѣ демократія и социализм пали так низко?

Но важная, в интересующей нас связи, деталь этой темы состоит в том, что гордый своей теоретической и идеологической оснасткой, континентальный социализм, в особенности (но не исключительно) в своих лѣвых секторах, смотрѣл всегда косо на теоретическую и идеологическую безпечность своих островных собратьев, на их узкій эмпиризм и опортунизм, наконец, на их очень густую національную окрашенность. На интернаціональных социалистических конгрессах и совѣщаніях англійская делегація всегда была самой «трудной», именно в виду особенностей идеологическаго и психологическаго лика англійскаго социализма. Англичан очень уважали, еще больше их боялись, но меньше всего их любили. В болѣе или менѣе ясных, добровольно осознанных формах, социализм и вообще-то очень трудно был адоптирован англійским рабо-

чим движеніем, что же касается наиболѣе распространеннаго на континентѣ марксистскаго обрамленія социализма, то еще и понынѣ этим в Англии озабочены только ничтожныя невліятельныя группы любителей, порою, на континентальный вкус, безнадежно дилеттантскія.

И вот она, издѣвательская игра историческихъ судеб и историческихъ законов, если таковыя имѣются: большая теоретическая и идеологическая оснастка континентальнаго социализма, его психологическая революціонная подоснова, не помѣшали ему пасть такъ низко, а эмпиризм, оппортунизм, довольно явные слѣды національнаго, даже «имперскаго», эгоизма и глубочайшая, в кровь проникающая, реформистская психологія не помѣшали англійскому социализму подняться такъ высоко.

Я сознательно выбираю здѣсь пассивную отрицательную форму: «не помѣшали», чтобы не плодить лишнихъ споровъ и чтобы уйти от еретическаго соблазна такой постановки вопроса: а можетъ быть, эти духовныя и идеологическія особенности и различія континентальнаго и англійскаго социализма п о м о г л и — в первомъ случаѣ — паденію, а во второмъ — под'ему?

Есть существенныя основанія и для такой постановки вопроса. Но если ихъ начисто отвергнуть и остаться при формулѣ: «не помѣшали», тогда мы должны прійти к такому, болѣе чѣмъ печальному для социализма, выводу: если то, какъ мы чувствуем, думаемъ и поступаемъ в самые роковыя моменты всемірной исторіи, ничему замѣтно не содѣйствуетъ и ничему замѣтно не препятствуетъ, если другіе ингредиенты историческихъ уравненій абсолютно попираютъ значеніе социалистическаго ингредиента и онъ только «не мѣшаетъ», тогда зачѣмъ мы наполнили болѣе чѣмъ столѣтіе шумомъ нашего существованія? Если по безсмертному выраженію большевика-матроса, брошенному в 1917 г. по адресу В. Чернова, «ен в текущемъ моментѣ не участвуетъ», то на какой предметъ «ен» вообще нуженъ? Нѣтъ, это очевидная историческая бессмыслица, порожденная страхомъ отвѣтственности за наши дѣянія или нашу бездѣятельность. В томъ или другомъ случаѣ социализмъ сила добра или сила зла, но сила — всегда.

В 1917 г. из нѣдр русскаго социализма, преимущественно в его марксистской формѣ, вышелъ владѣтельствующій большевизмъ. Это былъ роковой моментъ в исторіи социализма вообще, начало его регрессивной эволюціи. От этого удара социализмъ

уже не мог оправиться до самого предверія войны, когда началась новая серія несчастій, обнаруживших в нем ряд тяжких органических заболѣваній и пороков. За совершенно ничтожными исключениями, весь международный социализм, включая и русскій, преимущественно марксистскій, не учуял, не разглядѣл, не нащупал реакціоннаго варварскаго характера этой рожденной в ночь невѣдомой звѣрюшки. Наоборот, зажимая иногда нос от запаха крови и грязи, международный социализм оказывал все время русскому большевизму прямую и косвенную поддержку, иногда даже при таком положеніи, когда у себя дома, в своих національных границах, тѣ или инія социалистическія партіи вели со «своим» коммунизмом ожесточенную конкуренціонную борьбу. Считая его ядовитым зельем в условіях своей политической, социальной и духовной культуры, они находили его полезным, хотя и крѣпким, напитком для этих русских варваров.

Международный социализм оказывал прямую и косвенную поддержку большевизму, когда с усердіем, достойным лучшаго примѣненія, он преслѣдовал тѣ маленькія группы социалистов и отдѣльных социалистических дѣятелей, которые почуяли реакціонный характер большевизма при самом его рожденіи или за 10, 15, 20 лѣт до того, как союз Сталина с Гитлером, широко распахнувшій двери для міровой бойни, открыл глаза и многим упорным слѣпцам среди духовной элиты социализма. Многіе из этой элиты вмѣстѣ с милліонами рабочих, прошедших через то или иное социалистическое воспитаніе, просто и бездумно бросились в об'ятія коммунизма, восторженно апплодируя кровавым гнусностям и мерзостям большевистской диктатуры; другіе милліоны, оставшіеся в рядах социализма, сочувственным ухом внимали призывам своих вождей «защитить русскую революцію», олицетворенную в кремлевских владыках.

Это было ужасное время, когда секретарь Социалистическаго Интернаціонала рѣшился публично пригрозить Карлу Каутскому отставкой от Интернаціонала, если он, патріархъ научнаго социализма и учитель поколѣній социалистов во всем мірѣ, и дальше будет отстаивать точку зрѣнія Г. Плеханова и А. Потресова, считавших политически и морально закономѣрным примѣненіе революціонных методов в борьбѣ за ликвидацію большевистскаго режима. Это было ужасное время, когда русскіе представители в Интернаціоналѣ, далеко не отличавшіеся благосклонностью и попустительством по отношенію к Плеханову, Потресову и их послѣдователям, разсматривались как обременительные бѣдные родственники,

которые норовят совратить Интернационал на путь постоянных протестов против террористических дѣяній большевизма. Это было ужасное время, когда блестящій представитель австрійскаго социализма, неоспоримый и заслуженный лидер всего лѣваго крыла Интернационала, выражал в научной работѣ опасеніе, как бы русскій народ, в своем безотчетном и безсознательном желаніи чего-нибудь все-таки поѣсть, не перечеркнул бы начертанный в книгѣ русскій путь к социализму, который надо «выголодать» («caushungern») при помощи нѣскольких пятилѣток. Это было ужасное время, когда еше болѣе блестящій представитель французскаго центристскаго крыла международнаго социализма, человекъ Жоресовскаго духовнаго стиля, тревожной совѣсти и тончайшей морально-политической реакціи на дѣйствительность, измѣнил всей своей сублимированной стихіи, пытаясь неудачным историческим сравненіем задушить в себѣ и ослабить в других ужас и негодованіе по поводу массовых разстрѣлов (на подобіе нынѣшних гитлеровских), которые Сталин провел послѣ убійства Кирова. Это было ужасное время, когда считалось может быть ложным тактическим ходом, но не зазорным политическим актом, из юдоли своих эмигрантских скорбей предлагать себя в качествѣ независимой, но лойальной, легальной оппозиціи при большевистском правительствѣ по тому случаю, что Сталин даровал народу новую конституцію.

К началу войны міровой социализм, частично уже разгромленный «мирными» успѣхами Гитлера, все еше не преодолѣл своего двусмысленнаго отношенія и своих морально и политически двусмысленных связей с коммунизмом. Мало того, к тому моменту, когда опасность Гитлеровскаго нашествія стояла уже у самаго порога демократических стран, мы всѣ еше, кто больше, а кто меньше, убаюкивали себя надеждами, что вот эта великая большевистская Федора, хоть и дура, нанесет на сторонѣ демократіи сокрушительный удар фашизму. Этими надеждами убаюкивали себя и многія другія политическія группировки демократических стран, но мы были в этом отношеніи «не хуже»...

Разница, впрочем, состояла в том, что если у «них» надежда строилась больше на политических и стратегических расчетах того, какая позиція была бы для СССР самой выгодной, то у нас эти надежды строились на том, что «как-никак, а СССР — революціонная страна»; совѣтскіе вожди и болтуны до того крѣпко выражались на счет фашизма, что даже и нас они считали тайными и явными «полуфашистами», а германских социал-демократов даже «хуже фашистов». И

поразительно, как многие из нас просто как-то упустили из виду, что первым правительством, которое политически признало новый режим Гитлера, было правительство как раз этой самой «как никак революционной страны».

Пакт дружбы между Сталиным и Гитлером, «скрепленный кровью» (чьей?), «открыл глаза» громадному большинству путавших и запутавшихся в коммунизм социалистов.

Лучше, конечно, поздно, чем никогда. Но какой мрачный отвѣтъ это запоздание принимает, когда подумаешь, что иные социалистические глаза открылись лишь послѣ того, как невтерпѣж стало и многим тертым калачам самого коммунизма. Понадобилось иным среди нас одно из величайших и отвратительнѣйших исторических преступлений, бросившее человечество в огненную пещь апокалиптической войны, для того, чтобы наконец отряхнуть от своих ног коммунистической прах.

Да, нѣтъ повѣсти печальнѣе на свѣтѣ, чѣм повѣсть о безответном флиртѣ междунаго социализма с русским большевизмом. Этот флирт разложил духовную основу нашего движенія, укрѣпляя позицію міровой реакціи, сдѣлал нас косвенными соучастниками большевистских преступлений и усилил питательность среды, вскормившей идею диктатуры.

Кончилась ли уже эта печальная повѣсть? Похоже на то, что она начинается заново. Гитлер не позволил Сталину дальше оставаться его польской кровью спянным другом и заставил его стать русской кровью отпаянным врагом. СССР стал бороться с «фашизмом». Многие рѣшили «забыть все» — опять заискрился ореол совѣтской власти. И опять стряпается «единый фронт», опять по адресу злых Зоилов произносятся эти многомудрыя увѣщанія — «не говорите»!

Если этим нынѣшним, вновь заалѣвшим пробольшевистским цвѣточкам суждено принести ягодки, то ими вновь будет отравлено социалистическое движеніе.

**
*

Большевизм и коммунизм произвел в рядах междунаго социализма жесточайшія опустошенія. Не только тѣм, что они оттянули на свою сторону миллионы людей, которые были или могли стать нашими. Не только тѣм, что они повсюду социалистическое движеніе организационно раскололи. Это были потери и несчастья матеріальнаго свойства. Но были грандіозныя потери духовнаго свойства, заключавшіяся в том, что своим камуфляжем под «социализм» и еще больше под

«революцію» большевизм соблазнил не только малых сих, но и многих великих социалистического міра сего на тот недостойный и морально разлагающій политическій и идейный флирт, о котором я говорил выше. Увы, в социалистических рядах было сдѣлано слишком много для того, чтобы глубокая разница между нами и ими по возможности меньше бросалась в глаза, чтобы основное непримиримое противорѣчіе между міросозерцаніем и міроощущеніем социализма с одной стороны и коммунизма — с другой, казалось только недоразумѣніем, хотя и тяжким. Имѣя дѣло с смертельным нашим врагом, многіе, слишком многіе, среди нас норовили все время изображать положеніе так, будто мы имѣем дѣло всего только с заблуждающимся противником. Мы помогали коммунизму разлагать нас не только организационно, но и идейно и духовно.

И, наконец, коммунизм нанес страшный удар социализму тѣм, что он разрушил дорогія нам... иллюзіи.

Одна из этих иллюзій заключалась в вѣрѣ в «массы» вообще, трудящіяся массы в частности и пролетарскія массы в особенности. Дѣло было не только в численном, силовом, механическом превосходствѣ «массы». Дѣло было в имманентной массѣ присущей пролетариату социально-исторической благодати.

Социализм был всегда гораздо болѣе пролетарским, чѣм пролетариат социалистическим. Несомнѣнно, как массовое движеніе, социализм всегда был движеніем преимущественно пролетарским. Социализм мог смѣло претендовать на пролетариат и в него вѣрять, потому что других массовых социальных движеній, кромѣ пролетарских и в той или иной мѣрѣ социалистических, мы с начала 19 вѣка не знали. Исторически и психологически социалистическая вѣра в пролетариат была глубоко обоснована. С торжества русскаго большевизма датирует начало великаго разочарованія. Большевизм показал, а тѣм самым и доказал ряд горьких истин. Он доказал, что наше представленіе о солидарности пролетариата — иллюзія. Эта иллюзія держалась долго потому, что все, что было в пролетариатѣ активнаго и сознательнаго, дѣйствительно собиралось вокруг социализма, т о л ь к о вокруг социализма. Всѣ остальные были «несознательные» и не активные. Но эти остальные, хотя их всегда было большинство, не шли в счет потому, что они не были об'единены никакой идеей; кромѣ того их несознательное и не активное состояніе считалось состояніем временным, преходящим. Несознательные были всего только еще не сознательными.

Большевизм и коммунизм показали и доказали, что и стан сознательных и активных может быть расколот по линиям лютой вражды, превосходящей по своей напряженности и страстности кровавые примѣры гражданской войны между классами. Дѣло не в том, что коммунизм и большевизм сами и раскалывали рабочій класс, а в том, что они доказали, что рабочій класс легко раскалывается. Иногда для этого достаточно было всего только хорошо пополняемых касс Коминтерна и Профинтерна.

Это было бы еще полбѣды, еслибы эти расколы и эта вражда были только актами организационной конкуренціонной борьбы. В дѣйствительности линии раскола шли трагически глубоко. Это были линии раскола между свободой и рабством, между прогрессом и реакціей, между культурой и варварством, между человѣчностью и bestialностью. Мы с ужасом увидѣли, как миллионы пролетаріев, не «темных и забытых», но сознательных и активных членов крѣпко сплоченной организациі апплодируют самым отвратительным, кровь леденящим, преступлениям инквизиторов «пролетарской диктатуры». Мы услышали улюлюкающие восторженные крики: «распни его»... не со стороны темных и забытых, «не вѣдающих бо что творят», но со стороны сознательных рабочих, прошедших иногда через десятилѣтія организованной пролетарской борьбы. И нам не становилось легче от того, что в роли подпѣвал или запѣвал этих пролетарских коммунистических бѣснованій выступали иногда и тонкіе с изящными чувствами и манерами интеллигенты, а роль благочестивой старушки, подкладывающей для спасенія души своей охапку сѣна на костер Гусса, соглашался играть и такой человѣк, как Ромэн Роллан.

В наших концепціях соціализма, как идеала, и соціализма, как движенія, пролетаріат никогда не был только химическим катализатором, помогающим образованію соціалистическаго строя хозяйства. В очень сильной мѣрѣ пролетарій, «трудящійся» вообще, был для нас образцом человѣка, труд, страданіе и борьба котораго создали в нем моральныя предпосылки для особаго нами презюмируемаго соціалистическаго строя души. Самые закоренѣлые матеріалисты и позитивисты среди нас держат, может быть, это втайнѣ, никогда не разставлялись с этим образом, даже образком «сознательнаго пролетарія», с этой идеализаціей «простаго рабочаго человѣка», который не только сам попадает в царство небесное, но заодно уж и всему человѣчеству поможет туда попасть. Наше пролетарское соз-

наніе никогда не было только соціологическим, но было всегда и моральным сознанием.

Большевизм и коммунизм разбили обѣ формы этого сознания. Большевизм и коммунизм погрузили во тьму оба аспекта этой иллюзии.

Хотѣлось, однако, думать, что еслибы не эти «соціалистическія» и «революціонныя» маски большевизма, то пролетарскія массы никогда бы не стали на сторону московских убійц. Утѣшеніе это по существу было весьма прискорбным, ибо в нем заключалась опасная предпосылка, — та, что во имя соціальной революціи пролетаріат способен не только терпѣть, но даже и активно поддержать любыя формы политической подлости и изувѣрства. Событія показали, что даже и это сомнительное утѣшеніе было ложным. Громадныя пролетарскія массы повел за собой и Гитлер, при чем значительная часть этих масс принадлежала к категоріи сознательных — это были главным образом бывшіе, вчера еще сушіе, коммунисты. Но были также численно слабыя группы бывших соціал-демократов.

Гитлеризм подтвердил опыт и показанія коммунизма: пролетаріат, в формальном смыслѣ сознательный, т. е. политически и соціально мыслящій и дѣйствующій пролетаріат, может поддержать своей массой самыя отвратительныя движенія нашей эпохи, а, может быть, и не только нашей. Слишком широкіе слои пролетаріата к серединѣ 20-го столѣтія могли стать грозной опасностью для всѣх основ современной демократіи и современнаго гуманизма. В Россіи и Германіи эти слои прямо участвовали в удушеніи этих основ. В рядѣ других стран они этому прямо и косвенно содѣйствовали и почти повсюду они этому удушенію попустительствовали, часто благожелательно.

Катастрофичность всѣх этих явленій для соціалистическаго сознания заключалась не в том, что образовалась какая-то новая сила зла (в такой формѣ это и невѣрно), а в том, что обнаружилось, что пролетаріат «не лучше других», что на нем, как особой соціальной группѣ, не почіет благодать освободительной миссіи, что его особое классовое положеніе не обусловливает и не опредѣляет его общественную и моральную оріентацію. «Такой, как всѣ», «не хуже других» — это и было катастрофой для соціалистическаго сознания. Нельзя претендовать на всемірно-историческую освободительную миссію, если основная масса ея носителей всего только не хуже других.

Еслибы даже вся соціологическая и экономическая аргу-

ментация в пользу тезиса об исторически предопределенной освободительной миссии пролетариата осталась чистой и неущербленной, как в первый день творения, то и тогда этих впечатлительней, созданных в нас опытом коммунизма и фашизма, было бы достаточно, чтобы поколебать нашу веру в пролетариат. Мало ли что «выходит» по строжайшим правилам строжайших наук, когда в действительности получается другое!

Однако сама эта социологическая и экономическая аргументация значительно ослабла в своей строгости уже к началу коммунистического опыта и в связи с этим опытом и советом потеряла былую притягательную силу. Социализм раньше был пролетарским, потому что в преобладающих своих группах и течениях он был убежден в том, что пролетариат единственный класс, имеющий будущность, ибо он непрерывно растет численно, тогда как средние классы обречены на исчезновение, а верхний, экономически сильный, класс, имеет тенденцию превратиться в кучку магнатов, пожравших себя подобных, но менее сильных.

Теория эта не оправдалась ни в одной своей части. Наоборот, рост технической безработицы, одиум которой падал, так сказать, на науку, стал в социальной трагикѣ пролетариата не менее, если не более значительным явлением, чѣм безработица конъюнктурная, одиум которой всецѣло падал на органические пороки капиталистической системы хозяйства. Появились кадры рабочих, социальная биография которых прямо с этого и начиналась: с безработицы. Подростали поколѣнія, социальный опыт и социальная психология которых обогащались не трудом, не борьбой за заработную плату, а борьбой за пособие по безработицѣ. Мѣнялась к его общественной невыгодѣ социальная структура пролетариата, и не трудно догадаться, какой это был опасный и болѣзненный момент в развитии рабочего движения и сколько на этом работали коммунизм и фашизм.

Мы затрагиваем здѣсь большую и драматическую тему социальной психологии: чѣм пролетарій был и чѣм он под влиянием технической и экономической эволюции стал в сознании всего общества, различных его классов и в своем собственном сознании. Темы этой мы здѣсь не касаемся. Но то, что в результате болѣе сложнаго внимательнаго анализа эволюции современнаго капитализма значительно упала пролетарская самоуверенность социализма — это факт несомнѣнный. Пролетариат становился в социалистическом мироощущении все

менте субъектом освободительной миссии и тем самым все больше объектом этой миссии.

В этом последнем смысле социализм всегда был, есть и будет социализмом пролетарским. Даже при самой низкой идеологической расцѣнкѣ освободительной миссии пролетариата, рабочий вопрос останется центром умственного и душевного волнения социализма. Впрочем, я думаю, что так было всегда: «рабочий вопрос» в социалистическом сознании занимал гораздо большее мѣсто, чѣм рабочий отвѣт. Истина о пролетариатѣ волновала социализм больше, чѣм истина пролетариата. На рабочем отвѣтѣ гарцовали преимущественно льстивы пролетариата.

Теперь, послѣ опыта коммунизма и фашизма, послѣ тяжелого и во многом постыдного опыта войны, увѣренность в надлежащем качестве этого отвѣта пала очень низко. Вѣры в историческую освободительную миссию пролетариата осталось у нас не больше, чѣм в размѣрѣ притчи о верблюди и игольном ушкѣ. Правда и справедливость больше на сторонѣ трудящихся и обремененных, потому что трудящіеся и обремененные больше всего в них нуждаются. Богатым не нужно «царство небесное», потому что им и здѣсь не худо. Социализм всегда будет расположен к пролетариату, из чего нисколько не слѣдует, что пролетариат будет всегда расположен к социализму. Пролетарскій социализм всегда будет соединеніем болѣе стойким, чѣм социалистическій пролетариат. Послѣ всѣх переживаній и разочарованій послѣдних двух-трех десятилѣтій, идеологии социализма надо отступить на единственную разумную позицію: социализм «сдѣлает» не пролетариат, социализм «сдѣлают» социалисты. Болѣе чѣм вѣроятно исторически и психологически, что среди этих социалистов будет много пролетаріев. Вѣроятно и, может быть, даже неизбежно потому, что, во первых, вообще пролетаріев очень много; во вторых, им социализм «выгоднѣе», чѣм имущим; в третьих — социализм, как движеніе, больше всего о них заботится. Но пролетаріи будут «дѣлать социализм» не потому, что они суть пролетаріи, а потому, что они будут (если будут) социалистами. Социализм не будет классовым ни по своему строенію и ни по своему происхожденію.



«Социализм будет»... «Социализм придет»... Но что же это такое — самый этот социализм? Этот вопрос раздается все чаще и чаще и среди социалистов, и Ю. Денике в «Соц.

Вѣстникѣ» (№ 17-18) так и начинает свою волнуемую и глубоко интересную статью «Проблемы социализма»: «Сейчас для социалиста основная проблема состоит в том, что сам социализм является проблемой... Пережитый опыт принуждает к самой радикальной постановкѣ проблемы: что же такое социализм? что надо понимать под осуществленіем социализма?»

Пережитой опыт — это, конечно, прежде всего и больше всего опыт большевизма. Если мы потеряли ясный и легкій отвѣт на вопрос «что такое социализм», то обязаны мы этим печальным оборотом дѣла главным образом опыту построения социализма в СССР. Коммунизм и тут убил нашу вѣру — вѣру в то, что коллективное, из центра управляемое и регулируемое хозяйство не только само по себѣ хорошо, не только несравненно лучше капитализма, но является еще необходимой и достаточной базой для расцвѣта таких надстроек, как свобода, равенство, даже братство, для расцвѣта лучших сторон человѣческой души вообще. Мы увидѣли, что кое-гдѣ этот базис осуществлен со всеисчерпающей, не оставляющей желать ничего лучшаго (или ничего худшаго) полнотой, между тѣм, как надлежащих надстроек мы не только не дождались, но даже самые довѣрчивые среди нас потеряли всякую надежду на них. Приглядываясь поближе, мы замѣтили, что послѣдовательное строительство самого базиса было возможно только потому, что заранѣе огнем и мечом было истреблено все, что хоть сколько-нибудь напоминало что-либо из ожидаемых и благостных надстроек. Еще больше: мы замѣтили, что этот базис не только не породил ожидаемых надстроек, но породил и выкормил нѣчто прямо противоположное: ужасающія формы рабства и гнета, каких мы давно уже, а может быть, и никогда не видѣли на базѣ капитализма. Размышляя немного дальше над тѣм, что предстало перед нашим изумленным взором, мы вспомнили, что всѣ извѣстныя нам из исторіи формы централизованнаго сверху планированнаго коллективнаго хозяйства были связаны не с демократіей и свободой, а с диктатурой и рабством, что наш идеал централизованнаго и планируемаго коллективнаго хозяйства странным образом приносил реальные плоды на почвѣ рабства и никогда не приносил их на почвѣ свободы. И когда мы все это увидѣли и об этом подумали, то многіе среди нас в ужасѣ и с отвращеніем воскликнули: — «Нѣтъ, это не социализм! это чорт знает что такое, это все что угодно, но только не социализм!»

Глубокій источник этой инстинктивной реакціи отвра-

шения был очевиден: мы можем думать о социализмѣ все, что угодно, — но то, что отвратительно, социализмом быть не может. А в том, что режим, созданный большевизмом был отвратительным, не было ни секунды сомнѣнія. С л ѣ д о - в а т е л ь н о , социалистическим он никак быть не мог.

Но если это не социализм, то что же такое социализм? Что в том, что дом построен по лучшим социалистическим чертежам, когда для живущих в нем людей он — тюрьма? И это социализм?

Прибѣгая к этому термину, мы всегда имѣли в виду три различныя вещи.

Социализм был для нас названіем идеальнаго общества, воплотившаго возможный на землѣ максимум свободы, равенства, справедливости. Но социализмом мы также называли опредѣленный экономическій строй, осуществленіе котораго было не только необходимым, но и достаточным условіем для того, чтобы осуществился социализм в первом смыслѣ этого слова. И, наконец, социализмом мы называли движеніе, направленное к осуществленію первых двух его значеній. Иными словами, мы имѣли: 1) социализм, как цѣль; 2) социализм, как средство и 3) социализм, как метод дѣйствія.

Какое же из этих трех значеній социализма было для нас теоретически наиболѣе существенным? Несомнѣнно, второе, потому что здѣсь то именно мы сильнѣе всего отличались от других, здѣсь больше всего сказала наша особенная статья. В первом значеніи социализма мы были слишком расплывчаты, слишком романтичны и идеалистичны, и в идеалѣ свободы, равенства и справедливости подвергались большой опасности походить на других. В третьем значеніи социализма мы часто были слишком практиками, порою даже «дѣльцами», и очень легко скатывались в реформизм. Только во втором значеніи социализма мы были в своем собственном домѣ; тут другіе так же мало хотѣли жить с нами, как и мы с ними.

Поэтому, с точки зрѣнія науки, логики, всей системы нашего рационализма, мы были больше всего социалистами потому, что вѣрили («знали») в абсолютное неоспоримое благо коллективнаго, централизованнаго и из центра планируемаго хозяйства.

И вот именно эта вѣра и рухнула. И когда нам показали 100-процентное коллективизированное планированное хозяйство, то мы в ужасѣ отпрянули от него и закричали «это не социализм!» Отпрянули и закричали только потому, что этот социализм-средство предстал перед нами враждебно-изолированный от социализма-цѣли.

Это была идеологическая катастрофа, потому, что отпрянули мы от того, что было в нашей концепции «научного», «материалистического», «реалистического» и т. п. Скомпрометировав в нашем сознании социализм-средство, ослабив в нас твердое ощущение материальной и материалистической базы, коммунистической (а затѣм и фашистской) опыт круто повернул наше сознание к надстройкам, в сторону социализма-цѣли, т. е. в сторону, в которой мы были менѣе оригинальны, менѣе исторически патентованы, входя могущественной струей, но только струей, во всемирно-историческій поток социального гуманизма и правдоискательства.

Социализм вновь должен вернуться к тому, с чего он начал, с чего вообще начинается и личная исторія каждого социалиста: к видѣніям и идеалам «справедливой» коллективной и индивидуальной жизни, к тому «расплывчатому идеализму», который мы с таким научным высокомеріем когда-то так запойно поносили.

Наступил момент, когда патриарх научного материалистического, «базисного» социализма — Карл Каутскій — должен был напомнить всѣм (и, вѣроятно, себѣ): «Собственно говоря, наша цѣль не социализм, а...» — и тут шла цитата из Эрфуртской программы, говорящая об уничтоженіи всѣх форм политическаго, социального и національнаго и общественнаго гнета. И Каутскій прибавил: «еслибы мнѣ доказали, что всѣ эти цѣли могут быть лучше достигнуты на основѣ мелкаго производства, то я именно во имя этих цѣлей должен был бы от социалистической формы хозяйства отказаться». Каутскій думал, что навряд ли кому-нибудь удастся это доказать. Но принципиально он лишил социалистическія формы хозяйства их центрального и сакраментальнаго значенія в системѣ нашего міросозерцанія.

Социалистическое хозяйство не наша цѣль, а средство. Никто еще не доказал, что оно средство плохое. Но никто еще не доказал и того, что только оно может вести к цѣли, а большевизм уже доказал, что оно может вести и к цѣлям прямо противоположным нашим. Мало того, социалистическая мысль, бьющаяся над проблемой коллективнаго, из единаго центра планируемаго хозяйства, пришла в сущности к такому выводу, что общественным благом такое хозяйство может быть только в таких условіях высоко развитой демократіи, когда ея политическіе, социальные и культурные достиженія и уровни сами по себѣ уже являются значительным воплощеніем той цѣли, для которой коллективно-социалистическое хозяйство является только средством.

Коллективное хозяйство перестало быть фетишем. В условиях несвободы и даже недостаточной свободы оно не благо, а проклятіе, потому что отнимает у человека даже и ту свободу — свободу хозяйствования, на которую даже наиболее консервативные и реакціонные политическіе режимы капитализма меньше всего покушались. С отнятіем и хозяйственной свободы рабство становится тотальным.

В условиях деспотіи коллективное хозяйство есть великое несчастье. Каковым оно будет в условиях демократіи, — для отвѣта на этот вопрос достаточных данных еще нѣтъ. Представленіе о том, что в нем самом заключаются зиждательныя силы, творяшіе только общественное добро, оказалось ложным и по меньшей мѣрѣ неподтвержденным.

И суммируя размышленія современного социализма на эти темы, можно составить слѣдующую скалу режимов, начиная от самого худшаго до идеально хорошаго:

Самый худшій: социализм без свободы.

Плохой: капитализм без свободы.

Сносный: капитализм в свободѣ.

Хорошій: социализм в свободѣ.

Идеальный: ?



Таковы нѣкоторые аспекты кризиса социалистическаго сознанія, кризиса, приближающагося порою к катастрофѣ. Только вернувшись в самому своему началу, т. е. к своим этическим, правдоискательным истокам, только отказавшись от своего научнаго и классовога выскомѣрія, от унаслѣдованных догм, только девальвируя многія свои теоретическія цѣнности в подлежащія радикальной провѣркѣ скромныя предположенія, — социализм, и как цѣлостный идеал справедливости, свободы и равенства, и как организація и борьба масс во имя этих идеалов, может зацвѣсти новой жизнью.

Мы потеряли многое, очень многое в социализмѣ, как средствѣ, и в социализмѣ, как методѣ дѣйствія. Мы ничего не потеряли и, может быть, даже многое приобрѣли в социализмѣ, как цѣли всесторонняго освобожденія человечества.

Ст. Иванович.

О СЕПАРАТИСТАХ

Не подлежит сомнѣнію, что в самом ближайшем будущем борьба с попытками расчлененія Россіи станет актуальной. Конечно, в случаѣ побѣды Гитлера «в міровом масштабѣ» эта борьба будет в теченіе длительного, страшнаго періода господства в мірѣ «новаго порядка» безнадежной. Но не надо думать, что поражение Гитлера сдѣлает ее ненужной. Особенностью російских сепаратистских теченій было всегда умѣніе перемѣнить фронт.

Не будем закрывать глаз на то, что захват Гитлером Украины пока привел и к захвату украинскими сепаратистами весьма важных позицій. Свѣдѣнія, сообщаемыя украинско-американской печатью, дают совершенно опредѣленную картину: под покровительством германских властей украинскіе сепаратисты различных оттѣнков — от откровенно фашистских до внѣшне-демократических (или, по крайней мѣрѣ, об'являвших себя демократическими еще совсѣм недавно), захватывают в свои руки всю мѣстную жизнь. Школа, церковь, печать, кооперація, колхозы (сохраненные, как и слѣдовало ожидать, оккупантами в качествѣ испытаннаго органа по выкачиванію хлѣба и налогов) — все переходит в руки самостійников. Правда, нѣмцы послѣ пятидневнаго существованія во Львовѣ «Украинскаго Правительства» отправили «под почетным караулом» в Берлин провозгласившаго себя вождем Украины фашиста Бандеру и его «предсѣдателя совѣта министров» Стецько. Но это лишь показывает, что и здѣсь они дѣйствуют гораздо умнѣе, чѣм многіе из нас предполагали. Прежде, чѣм увѣнчать зданіе Украинскаго Протектората каким либо Квислинчуком, они передают своим союзникам всѣ главныя позиціи. Дѣлается это очень осторожно и методично. Но такіе факты, как образование в Краковѣ Украинской В о й с к о в о й Рады при участіи петлюровских генералов («Америка», Филадельфія — 21 октября) и заключеніе соглашения между возглавляемыми ген. Дельвигом украинскими организаціями в Румыніи и ген. Антонеску о наборѣ украинской арміи на захваченной румынами территоріи, показывают, как далеко зашел этот процесс. Характерная деталь: сейчас вновь вынырнула такая красочная

фигура, как основатель пресловутаго «Союза Вызволєнія України» А. Скоропись-Елтуховскій, участіе котораго в украинском самостійничествѣ во время первой міровой войны послужило предметом чрезвычайно скандальных для всего этого движенія разоблаченій в 1917 году. Недавно была опубликована посланная им «из Европы» радиограмма, описывающая, со слов «участника-иностранца», «великое украинское торжество» в Почаевской Лаврѣ, на Волыни.

«Когда один украинец сказал нам — передает автор телеграммы рассказ «иностранца» — что на празднествѣ будет тысяч десять народа, и на наш вопрос, кто является организатором его, отвѣтил, что крестьяне сами знают и прійдут, ибо это будет одновременно выраженіем благодарности Освободителю (большая буква подлинника) за избавленіе от большевиков, мы не могли этому повѣрить». Однако дѣйствительность превзошла всѣ ожиданія рассказчика. Число участников торжества превысило 30.000. Молодежь «маршировала под національно-государственным знаменем». Перед нѣмцами «толпа привѣтливо разступалась, давая нам дорогу, как это дѣлается перед дорогими гостями». Потом «под звон колоколов началась процессія. Над головами вѣрующих вѣют хоругви. Мы видим обвитый большим вѣнком портрет вождя Германіи, освободившаго этот народ из большевистскаго ада. Мы чувствуем, что это настоящая, искренняя благодарность наболѣвших, измученных душ»...



До недавняго времени дѣйствовавшія в различных европейских странах украинскія сепаратистскія группы, по крайней мѣрѣ, наиболѣе вліятельныя, не скрывали своей связи с тѣми или иными правительствами, враждебными или предполагавшимися враждебными Россіи. Одни (группа Левицкаго-Прокоповича) ориентировались на Варшаву, другіе (Скоропадскій, организція Коновальца-Мыльника) на Берлин. Были и кое-какія попытки перестраховки в Парижѣ (А. Шульгин) и в Лондонѣ (Коростовец, ген. фон Валь). Лондонская ориентация одно время опредѣляла дѣятельность и нѣкоторых туркестанских сепаратистов. Увлекался ею также — до прихода к власти Гитлера — и вождь грузинских сепаратистов, Ной Жорданія, писавшій в 1927 в перехваченном большевиками и опубликованном ими «директивном письмѣ» уѣзжавшему в Грузію эмиссару «Грузинскаго Правительства» — нѣкому Абесалому: «Русско-англійскій антагонизм сегодня

доведен до той фазы, что он не может быть разрѣшен переговорами и мирным путем. Вопрос стоит так: кому господствовать в Азии - Россіи или Англии? В настоящее время Англія концентрирует всѣ антисовѣтскія силы. Главная ось европейской политики в настоящій момент именно в этом. При возможном имперіалистическом столкновеніи позиція Грузіи ясна. Она так же, как и всѣ россійскіе народы, желает пораженія Москвы, но, безусловно, в самом столкновеніи участія не примет и будет нейтральной, пока ея перспектива окончательно не выяснится*). Но к началу второй міровой войны ориентація на Берлин вытѣснила всѣ остальные. Даже входившіе до 1938 года во 2-ой Интернаціонал украинскіе социалдемократы (группа Мазепы) поспѣшили заявить о выходѣ из него послѣ Мюнхена. В эти дни украинскіе сепаратисты различных теченій, за ничтожными исключеніями, открыто провозглашали, что они связывают свои чаянія с войной между Германіей и Россіей и побѣдой Германіи. Достаточно вспомнить статьи и заявленія, печатавшіеся в издававшемся в Парижѣ б. украинским мин. ин. дѣл, А. Шульгиным, журналѣ "La Revue du Prométhée" в которых доказывалось, что «угнетенные Россіей народы» хотя и предпочитают освободиться собственными силами, однако, не колеблясь примут помощь, идущую из за границы и направленную на их освобожденіе». ("La Revue du Prométhée" февр. 1939). При этом, чтобы не было никаких сомнѣній по вопросу о том, чѣм именно помощь имѣется в виду (не забудем, что журнал издавался в Парижѣ в момент крайняго обостренія франко-германских отношеній) "La Revue du Prométhée" подчеркивала, что «европейскія распри и идеологическіе конфликты имѣют для них (для «народов, угнетаемых Россіей») второстепенное значеніе». Поэтому «они будут привѣтствовать какую бы то ни было помощь, но при одном непремѣнном условіи: уваженія к их суверенитету»**). Менѣе отвѣтственные и дипло-

*) Письма Н. Жорданіи и Н. Рамишвили, опубликованныя в «Зарѣ Востока», были перепечатаны в «Революціонной Россіи» № 61 за 1927 год.

**) Примѣръ «суверенной» Словакіи показывает, что осуществленіе этого «условія» никаких особых трудностей для Гитлера не представит. Отправка «под почетным караулом» в Берлин Бандеры едва ли может рассматриваться руководящими кругами украинскіх сепаратистов, как его нарушеніе. Вѣдь это могло быть сдѣлано именно для охраны прав болѣе «достойнаго» носителя украинскаго суверенитета. Пріѣхавшій вскорѣ послѣ этого в Львов К. Левицкій

матичные сепаратистские публицисты провозглашали ставку на Гитлера *expressis verbis*. «В предстоящих бурях Кавказ должен будет выбирать между борющимися силами — писал в декабрь 1938 года журнал группы кавказских сепаратистов, сочетавшей германскую ориентацию с турецкой, «Кавказ» — абсолютным национализмом и порядком с одной стороны, и мировым марксизмом, возглавляемым Москвой, с другой... В нашей политической позиции нѣт никакой неясности: мы пойдем за теми международными силами, от которых мы можем ждать уничтожения Москвы и освобождения нашей родины». Впрочем, у этой группы была еще одна ориентация — на Токио, «могучую поддержку Квантунской армии» и «воскресение империи Чингис-хана». «Японский пантуризм — читаем в том же номере «Кавказа» — осуществляет историческую миссию в жизни азиатских народов. И эта миссия должна быть встречена с доверием и надеждой и другими томящимися в советском плену туранцами и тюрками». Любопытно, что ставку на Японию — наряду с ориентацией на Берлин — можно найти не только у «туранцев и тюрков», но и у... Донских «казачьих националистов». Отсылаем по этому вопросу любителей исторических анекдотов к журналу «Казачий Голос», органу Донских самостийников, сторонников «Донского атамана, генерала от кавалерии П. Х. Попова» (Январь-Февраль 1939 года). Если на Токио могли возлагать надежды самостийники Донские, то едва ли может вызвать удивление наличие такой ориентации — тоже в дополнение к немецкой — у украинских сепаратистов, живущих в Манчжурии. В издававшемся в Париже официальном органе «правительства» Левицкого—Прокоповича в свое время было напечатано чрезвычайно любопытное заявление «председателя украинской колонии в Манчжу-Ко», в котором говорилось: «Украинская эмиграция должна сделать все, что в ее силах, для освобождения Зеленой Украины (на языке украинских сепаратистов так именуется Приморье) и принять весьма активное участие в организации содружества народов Украинского Дальневосточного государства на основе принципов Ван-Дао» («Бюллетень бюро украинской печати», 31 Декабря 1938 года).

был утвержден германскими властями в должности председателя Украинской Национальной Рады («Свобода 25 октября»). Было бы интересно знать, каковы функции этой Рады.

*
**

Омерзительны жалобы гитлеровцев на коммунистическія насилія и вопли коммунистов о насиліях фашистских. Но не менѣе противны аппелляціи к принципу національного самоопредѣленія тѣх, кто в моменты случайной «удачи» этот принцип попирал. Поляки до сих пор не могут морально освободиться от наслѣдія «національной» политики полк. Бека. Присоединившись к Германіи для нападенія на Россію, Финляндія 1941 года освободила и россійскую демократію от тѣх морально-политических обязательств, которыя лежали на ней по отношенію к подвергшейся грубому насилію со стороны СССР Финляндіи 1940 года. Если руководители финской демократіи оправдывают захват россійской территоріи, никогда Финляндіи не принадлежавшей, стратегическими интересами Финляндіи, то они сами обрекают себя на молчаніе на случай такого измѣненія военной и политической кон'юнктуры, при котором для оправданія захвата финляндской территоріи опять будѣт пушен в ход аргумент о стратегических интересах Россіи. Примѣненіе принципа отвѣтственности — и расплаты — к междугосударственным и межнаціональным отношеніям вовсе не так нелѣпо, как это представлялось подавляющему большинству прогрессивнаго общественнаго мнѣнія в дни Клемансо и Пуанкарэ. Если нельзя строить междугосударственныя отношенія на *vae victis*, то из этого не слѣдует, что они всегда могут быть построены на «равноправіи побѣдителя и побѣжденнаго». В случаѣ пораженія Германіи этот вопрос очень остро станет по отношенію к Германіи и вѣроятно вызовет не мало споров в демократическом общественном мнѣніи всего міра.

Когда украинскіе сепаратисты, в лицѣ своих наиболѣе вліятельных групп и представителей, поставили свою политическую ставку на побѣду Гитлера, они связали судьбу украинскаго сепаратизма с этой побѣдой. Они в этом не одиноки. Помимо других россійских сепаратистских теченій в том же положеніи оказались и словацкіе клерикалы, помогшіе Гитлеру взорвать Чехословакію, и хорватскіе «ушташи», при содѣйствіи которых Муссолини аннексировал значительную часть Югославіи, и фламандскіе сепаратисты, разлагавшіе Бельгію, и эльзасскіе «автономисты», протестовавшіе против «клеветнических» обвиненій в тѣсной связи с Берлином только до появленія германских войск в Страсбургѣ. Что же? В случаѣ пораженія Гитлера опять старая волынка?

Не вышло с Гитлером — попробуем с демократией? «Мы требуем от вас свободы во имя ваших принципов и отказываем вам в ней во имя наших»? Не вышло с врагами России — будем апеллировать к чувству справедливости русского народа, к праву национального самоопределения, к традициям российского освободительного движения, к старым программам, к Рузвельту, к Социалистическому Интернационалу, к принципам демократии и социализма! В этом отношении, впрочем, верхом искусства была всегда политика даже не украинских, а грузинских сепаратистов, ухитрившихся одновременно ставить и на потребности в кавказской нефти фашистской Италии, и на принципы международного социализма. В отличие от украинских с. д., которые, как уже было указано выше, вышли из Социалистического Интернационала в 1938 году, партия Ноя Жордания оставалась представленной в нем до самого последнего момента его существования на европейском континенте.

Но если ориентация российских сепаратистов менялась в зависимости от обстоятельств времени и места, то одна черта оставалась всегда неизменной. Это вражда к России. Она была той психологической основой, которая связывала между собой все эти течения, объединяя в один пестрый и причудливый блок марксистов и погромщиков, западников и «пантуранистов», людей, говорящих от имени исторически сложившихся наций, и опереточных «ингерманландцев», свиты его величества генералов и контр-разведчиков, фанатиков и нефтяных дельцов, епископов и атеистов. Антироссийский блок не только как метод «освобождения», но и как политика «освобожденных» народов — таков лозунг, неизменно выдвигаемый наиболее влиятельными сепаратистскими группами. Речь не идет об «освобождении» данной нации, а всегда о расчленении России с перспективой окружения кольцом враждебных государств «сведенной к этнографическим предьям Московии»^{*}). Опубликованная в июне 1938 года в «Бюллетені бюро украинской печати» (№ 35) декларация Лиги «Прометей», заявляя о вражде «прометеевских» народов ко «всякой

^{*}) Из опубликованного в Парижском «Бюллетені бюро украинской печати» (Октябрь 1938 года) «Обращения пребывающего в изгнании национального украинского правительства к великим державам». Ту же мысль Ной Жордания формулировал в свое время так: «Превращение России в Великороссию — вот приговор истории над Россией».

России»**) — начиналась с заявления о том, что Лига объединяет «представителей» следующих «народов, угнетаемых Россией»: Азербейджана, Дона, Грузии, Идель-Урала, Ингерманландии, Карелии, Крыма, Коми, Кубани, Сѣвернаго Кавказа, Туркестана и Украины. В своем ослѣплении ненавистью к России, организаторы Лиги упустили из виду даже то, что ставя знак равенства, в применении принципа национального самоопределения, между Грузией и Доном, Украиной и Ингерманландией, они, быть может, для одних укрепляют притязания на независимое государственное существование донских казаков, но одновременно дают повод другим трактовать грузинский вопрос под тем же углом зрения, что и крымский. С наибольшей отчетливостью формулировал идею антироссийского блока грузинский с. д. лидер Ной Рамишвили. «Наша цель — писал он в 1927 году тому же Абесалому, которому было адресовано цитированное уже выше «директивное письмо» Жордании — отделение от России путем общего выступления этих (речь тогда шла еще только об «Украинѣ, Туркестанѣ и Кавказѣ») наций и создание между ними военного союза, как на время войны с Россией, так и послѣ нея». Эта политическая линия неизменно проводилась наиболее серьезными сепаратистскими организациями — Лигой «Прометей», «Комитетом независимости Туркестана и Украины», «Комитетом независимости Кавказа» и т. д. «Грузинская нация — писал одновременно тому же адресату Жордания — вступает в рамки национального движения Украины. С этой целью они устанавливают связь со всеми нациями и общими силами изолируют Великобританию. Установление взаимоотношений с ней явится предметом послѣдующих переговоров возстановленных государств».

**
*

Итак перед нами враждебный «всякой России» блок, связавший свою судьбу с побѣдой Гитлера. За предѣлами

**) «Прочь от Москвы — писал в 1938 году бывший редактор умеренно-либерального «Вѣстника Европы», ставший послѣ революции одним из главных теоретиков расчленения России и украинского сепаратизма М. А. Славинский — от всякой Москвы, красной и бѣлой, от всякаго режима — царскаго, большевистскаго, демократическаго, от всякаго имперскаго единства, внутренняго или вѣшняго (М. Славинский: «Национально-государственная проблема в СССР»).

его лишь весьма незначительныя группы, вліяніе и удѣльный вѣс которых в сепаратистских кругах совершенно ничтожен, да и демократическая устойчивость которых не всегда одинакова*). Таково исторически-сложившееся положеніе вещей. Можно спорить о том, мог ли сепаратизм в Россіи развиваться иначе и, в частности, была ли оріентація на Гитлера «приговором исторіи над ним». Факт тот, что эта оріентація побѣдила всѣ другія, и из этой побѣды логикой исторіи будут сдѣланы всѣ выводы. Будут они также неизбежно сдѣланы и из политики «военнаго союза, как на время войны с Россіей, так и послѣ нея». Если при этом противодѣйствіе встрѣтят и построения, такого противодѣйствія не заслуживающія, то это будет неизбежным послѣдствіем неудачно сдѣланных ставок. Можно спорить о том, при всѣх ли условіях идея грузинской независимости есть идея антироссійская. Но безспорно, что ее сдѣлали таковой в представленіи не одних только грузин грузинскіе сепаратисты — и это тоже историческій факт. Должен ли — и может ли — вопрос о независимости Польши обсуждаться в том же разрѣзѣ, как вопрос о независимости Азербейджана? Боюсь, что самая постановка такого вопроса может быть сочтена оскорбительной для польскаго патріотическаго сознанія. Но безспорный отрицательный отвѣтъ на этот вопрос является обязательным и для поляков. Независимость Польши не связана ни с «сведеніем Россіи к ея этнографическим предѣлам», ни даже с провозглашеніем независимости Идель-Урала. Общеизвѣстно, что в послѣдніе годы вопрос о самостоятельном государственном существованіи прибалтійских государств для многих россійских «имперіалистов» стоял не так, как 20 лѣтъ тому назад: давность играет в международно-правовых отношеніях не меньшую роль, чѣм в гражданско-правовых. И поэтому, когда польскіе или эстонскіе политическіе и общественные дѣятели принимают участіе в шагах, направленных к пропагандѣ идеи расчлененія Россіи, это вызывает, помимо прочих чувств, чувство недоумѣнія. Кому нужно созданіе представленія о том, что независимость Эстоніи есть обязательно идея антироссійская?

Но то же самое можно утверждать и относительно участ-

*) Утверждая это, я имѣю в виду сепаратистскія группы, дѣйствовавшія в различных странах Европы. Находясь в Америкѣ весьма недолго, я, естественно, не мог ознакомиться надлежащим образом с существующими здѣсь организаціями россійских сепаратистов разных національностей.

ников антиросійскаго блока, говорящих «от имени» націй, не создавших прочных государственных новообразований. Искусственно превращая ряд отдѣльных національных вопросов, исторически, экономически и политически совершенно разнородных, в один национальный вопрос, они крайне затрудняют, если не дѣлают совершенно невозможным, тот способ их разрѣшенія, который является наиболее безболѣзненным и который заключается в обсужденіи каждаго из них примѣнительно к интересам и чаяніям всѣх населяющих Россію народов с одной стороны и к интересам и устремленіям даннаго народа с другой. Это конкретно значит, что вопрос украинскій должен быть разрѣшен сам по себѣ, а вопрос грузинскій — тоже сам по себѣ — внѣ всякой зависимости от желанія донских самостоятельных казаков, вслѣд за Ноем Жорданіей, «вступить в рамки національнаго движенія Украины», и энтузіастов независимости Крыма лечь костями за независимую Ингерманландію.

**
*

Одно, во всяком случаѣ, может, кажется, считаться несомнѣнным. Едва ли найдется какая либо россійская демократическая группа, которая захочет и сможет дать на эти вопросы один общій отвѣт. Признаніе принципа національнаго самоопредѣленія не мѣшало французским социалистам вести самую рѣшительную борьбу с эльзасскими «автономистами». Чешскіе социалисты, признавая всегда тот же принцип, вели не менѣе ожесточенную борьбу с судетскими сепаратистами Гейнлейна и словацкими Глинки. Нѣмецкіе социалисты в теченіе всего существованія германской республики боролись с тенденціями к отдѣленію от Германіи, проявившимися в Баваріи, а сепаратистов Рейнской области иначе — и заслуженно — как агентами французской контр-развѣдки не называли. Югославскія демократическія группы до самаго конца боролись против отдѣленія Хорватіи, а бельгійскіе социалисты и демократы против отдѣленія Фламандіи. Что же? Они нарушали «безусловное право національнаго самоопредѣленія» эльзасцев, словаков, судетских нѣмцев, баварцев, фламандцев, хорватов?

Было время — в пору дѣтских болѣзней нѣкоторых теченій россійской демократіи — когда теоретически занятія позиціи предрѣшали, казалось, утвердительный отвѣт на этот вопрос. Практически, когда в 1917 году и в період

гражданской войны дѣло доходило до попыток «самоопредѣленія вплоть до отдѣленія», эти попытки неизмѣнно наталкивались на противодѣйствіе всѣхъ російскихъ демократическихъ групп и теченій. Попытки сговора с нѣкоторыми отдѣльными сепаратистами на почвѣ «безоговорочнаго признанія за каждымъ народомъ полнаго права на его самостоятельность (самостоятельное?) ни отъ кого независимое государство, организуемое в его естественно-этнографическихъ предѣлахъ», сдѣланныя В. М. Черновымъ и нѣкоторыми изъ его друзей в эмиграціи («Соціалистическая Лига Новаго Востока». См. декларацию «Къ трудящимся всѣхъ національностей», опубликованную в Октябрѣ 1927 года в «Революціонной Россіи»), не встрѣтили отклика ни среди російскихъ соціалистическихъ и демократическихъ групп, ни среди сколько нибудь вліятельныхъ сепаратистскихъ теченій.

«Національная независимость — писалъ много лѣтъ тому назадъ одинъ изъ основоположниковъ соціализма в Россіи Ф. В. Волховской (въ статьѣ «Реакціонныя иллюзіи славянства», напечатанной в 1904 году — цитирую по статьѣ В. М. Чернова «Наши исходныя позиціи в національномъ вопросѣ», «Революціонная Россія», Ноябрь 1926 года) есть только одинъ изъ видовъ независимости личной... Вотъ почему никакой послѣдовательный соціалист и демократ не можетъ относиться равнодушно къ вопросу о національной независимости. Но, какъ стремленіе къ независимости личной легко переходитъ въ подавленіе чужой личности, какъ только человекъ забываетъ болѣе высокую человѣческую заповѣдь справедливости, такъ точно исполнѣнная законная тенденція къ національной независимости теряетъ свою законность, если стремится подчинить интересы общечеловѣческіе интересамъ сохраненія національныхъ особенностей или національной обособленности. Этимъ налагается на каждаго послѣдовательнаго соціалиста и демократа нравственная обязанность зорко смотрѣть, чтобы законное стремленіе къ національной независимости не превращалось въ орудіе реакціи и несправедливости, но, напротивъ, всегда обуславливалось интересами трудящихся массъ, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ и интересы общечеловѣческаго развитія, интересы мірового процесса». В этихъ словахъ заложена весьма простая, но чрезвычайно цѣнная мысль объ ограниченіи безспорнаго права одной націи столь же безспорными правами другихъ, неизбежно вытекающая изъ признанія «національной независимости» — «однимъ изъ видовъ независимости личной». Она логически приводитъ къ необходимости при подходѣ къ тому или иному отдѣльному національному вопросу не ограничиваться ссылкой

на болѣе или менѣе ясно выраженную волю данной націи к «самоопредѣленію вплоть до отдѣленія», но обсудить и взвѣснить всю совокупность конкретных обстоятельств каждаго отдѣльнаго случая.

Тѣм болѣе, что и с этим, в аргументаціи сепаратистов коренным, вопросом о «волѣ» к отдѣленію от Россіи того или иного из составляющих ее народов дѣло в огромном большинствѣ случаев обстоит далеко не благополучно. Когда и как была выражена воля н а р о д о в Украины (въдъ Украина тоже не является территоріей, населенной одной только націей) к образованію «самостоятельнаго, ни от кого независимаго государства в его естественно-этнографических предѣлах»? Кто рѣшится защищать с точки зрѣнія самых элементарных демократических гарантій порядок провозглашенія независимости Азербейджана или Туркестана? И как обстоит дѣло с большинством народов «Прометеевскаго» списка? Когда выразили свою волю к отдѣленію от Россіи Ингерманландія, Комь, Крым, Дон, Идель Урал, Сѣверный Кавказ?

Никакими ссылками на партійныя программы не может быть обосновано какое бы то ни было содѣйствіе россійских демократов и социалистов теченіям и движеніям, соединившимся в направленный против «всякой Россіи» блок и связавшим свою судьбу с судьбой гитлеризма. Только совершенно конкретный подход к каждой из многочисленных и многообразных національных проблем Россіи может позволить разрѣшеніе каждой из них в соотвѣтствіи с принципами демократіи — принципами свободы и справедливости.

С. Соловейчик.

ТРИФОНО-ПЕЧЕНГСКИЙ МОНАСТЫРЬ

Что стало теперь с этими людьми и этими мѣстами, я не знаю... Трудно предположить, чтобы они уцѣлѣли от той новой страшной волны, которая прокатилась над их головами. Но, с другой стороны, болѣе четырех вѣков прошло над этим далеким, заброшенным и мало кому извѣстным уголком — за это долгое время люди пережили здѣсь войны, нашествія иноплеменников, разбойныя нападенія, болѣзни, голод, забвеніе — и, все-таки, выжили. Не только выжили, но и сохранили свою культуру, горячія сердца и вѣру. Быть может, та внутренняя сила, которая каким-то чудом, через вѣка испытаній, сохранила в трогательной неприкосновенности этот древній русскій мір, вынесет их и из новаго тяжкаго испытанія...

Год тому назад мнѣ пришлось побывать в этом оторванном от всего міра уголкѣ, который называется Трифоно-Печенгским монастырем — на сѣверѣ Финляндіи, в Лапландіи, близ Петсамо (Печенги). Посѣщеніе это произвело на меня неизгладимое впечатлѣніе, и мнѣ хотѣлось бы передать его другим. Чтобы сохранить свѣжесть впечатлѣнія, я просто перепису нѣсколько страниц из своего дневника, записаннаго там же, на мѣстѣ.

19-го октября, (1940) около 10 часов утра, выѣхал из лапландской деревушки Ивало, гдѣ пришлось больше мѣсяца ожидать нѣмецкое разрѣшеніе на выѣзд из Петсамо в Соединенные Штаты. К 5 часам автобус прибыл в Линахамари (морская гавань Петсамо). Были уже темныя сумерки. На пароходѣ мы нашли тепло, комфорт, теплыя постели. Было слишком темно, чтобы в этот день что-либо предпринимать, а посему все отложил до слѣдующаго утра. 20-го встал еще до разсвѣта, но не торопился, так как мнѣ сообщили, что почтовый автобус отходит в 9.30. Но он отошел в 8 часов утра, как раз когда я по приставленной лѣстницѣ, не торопясь, спускался с парохода на пристань.

Утро было сѣрое. Из низких туч сыпала рѣдкая снѣжная сухая крупа. Пришлось пойти пѣшком, надѣясь на попутный

автомобиль. Дѣйствительно, через два километра меня обогнал тяжелый грузовик, который, послѣ моей отчаянной сигнализации, остановился. Ѣдет в Парккина. Оба мѣста впереди были заняты, на автомобиль стояли тяжелыя желѣзные бочки с бензином. «Кюльмя!» (холодно) — предупредил меня шофер. Дѣйствительно, было холодно. И не только холодно. Несмотря на извилистую дорогу, автомобиль мчался очень быстро, и сидѣть на высоких желѣзных бочках было не очень уютно. Вѣтер так свистѣлъ в лицо, что трудно было дышать, и я сидѣлъ на одной из бочек, пѣтившись изо всѣх сил в край другой и стараясь не смотрѣть в глубокия рывины и канавы, куда можно было сорваться и упасть на поворотах. К счастью, до Парккина (только позднѣе я узнал, что это прежняя русская колонія Баркино!) — вѣрнѣе, до ея окраины, гдѣ автомобиль остановился, было всего лишь десять километров. Здѣсь я направился к русской церкви — звонили колокола (было воскресенье). Вошел внутрь. Служба еще не начиналась. Налѣво стояли женщины, направо — мужчины (всего не больше десяти человек). У свѣчнаго ящика стоял небольшого роста бородатый человек. — Вы говорите по русски? — Он отвѣтил мнѣ тоже по русски. Вид у него был очень скромный и сѣренькій, лицо изборождено морщинами, клочкастая бороденка. Я спросил его, как и на чем можно проѣхать в монастырь. Он указал на дом неподалеку от церкви. Переговоры об автомобильѣ привели к тому, что с меня запросили за 17 километров до монастыря и обратно (час остаться на мѣстѣ) — 150 марок. — «Пензин дорогая!» — пояснила старуха, лучше других понимавшая по русски.

Дорога к монастырю — теперь это мѣсто называется по фински Улялуостари — была от Парккина ровная, припудренная только что выпавшей крупой. Весь этот день была странная погода, присущая, повидному, этому краю. Холодный вѣтер с моря гнал низко над землей рѣдкія, сѣрыя облака, из них сыпались крупа и снѣг. В воздухѣ было от 3 до 5 градусов тепла. Снѣг нѣкоторое время держался, потом таял, набѣгавшія тучи подсыпали новый. Но кое-гдѣ в прорѣхах видно было голубое небо — даже во время снѣга. Когда набѣгали тучи, становилось темно, когда тучи проносились, вдруг проглядывало солнце и свѣтом заливало все кругом — тогда ослѣпительно блестяли бѣлые холмы и горы (тунтури — на мѣстном финском языкѣ). Природа безотрадная, кривой карликовый березняк, видны вдаль извивы

Печенги (рѣка Петсамо) — но широкій и невеселый ландшафт не лишен был величія.

Вот и монастырь. Направо — довольно большое деревянное незатѣйливое строеніе в два этажа, налево — маленькій деревянный временный барак. К деревянному строенію примыкает старинное бревенчатое зданіе (дом). На крыльцѣ строенія и в дверях барака видны финскіе солдаты. Как я позднѣ узнал, это бывшая монастырская гостинница, построенная в 1891-94 гг. на мѣстѣ древняго монастыря. Я ожидал увидѣть монастырское зданіе, но увидѣл вмѣсто него довольно простенькую деревянную церковь с двумя звонницами, неинтереснаго стиля. Сейчас же за церковью густые ряды больших деревянных высоких могильных крестов с надписями и именами монахов. Видно, что умирали здѣсь усердно. Налѣво — жалкая хибарка за забором и проволокой. Я обогнул церковь, спустился по тропинкѣ на луг, примыкающей к рѣчкѣ (позднѣ узнал, что это — рѣчка по имени Манна, впадающая здѣсь же в Печенгу) — на лугу стога сѣна, собранные по фински (на высоких шестах). Дальше шли голыя поля. Повернул назад. В замѣченной мною хибаркѣ возлѣ церкви, повидимому, кто-то живет — у двери помятый, когда то никелированный самовар. Дѣйствительно, из низкой двери вышел бородатый старик. — Здравствуйте! — привѣтствовал я его. — «Здравствуйте», — отвѣтил он. — Можно с Вами поговорить? — «Милости прошу, зайдите в ограду».

Я вошел в огороженный дворик, нѣчто вродѣ садика или огорода. С трудом вошел в дверь — так была она низка. За ней оказались темныя сѣни, похожія на чулан. — «Да Вы, кажется, совсѣм русскій будете?» — с удивленіем привѣтствовал меня старик. Я вошел к нему в дом. Домом это нельзя было назвать. Скорѣе это походило не то на чулан, не то на конуру. Простая, крытая одѣялом, койка, подушка, в углу нѣсколько икон, подслѣповатое окошечко, перед ним крошечный стол, стул, русская печка в углу. Комната была так мала, что вряд ли в ней нашлось бы мѣсто для третьяго. Мы разговорились. Я объяснил ему, кто я такой, сказал, что пріѣхал посмотреть, как они живут.

— Вы вѣдь не монах? — сказал я, не видя в его одеждѣ никаких признаков монашескаго одѣянія.

— «Как же — монах. Дьякон и регент. Только что сейчас службу кончили, собирался чайку попить. Не отопьете ли со мной? Может быть и каши солдатской отвѣдаете?»

Он говорил хорошим русским языком. От каши я отка-

зался — она стояла в мискѣ у печки (что то вродѣ гречневой, темнаго цвѣта), а предложеніе выпить чаю принял с удовольствіем. Он принес чайник уже завареннаго чая, высыпал на стол горсть сухарей из чернаго хлѣба, достал сахар из пакета и налил двѣ чашки. За чаем мы с ним и разговорились.

Родом он был из Черниговской губерніи, здѣсь живет уже 37-ой год. Служил пять лѣтъ в солдатах. Был ранен, до сих пор в ногѣ двѣ пули сидят. — «Нѣтъ, не на войнѣ. Это было в 1902 году. Служил на границѣ и пули получил от контрабандиров. Нога шибко болят. Мнѣ здѣсь, знаешь, снимок дѣлали в Сортавалѣ, когда на Валаам ѣздил. Сказали, что обязательно надо сдѣлать операцію. Только операція эта тысячу марок стоит, так уж тут, видно, и помру. Но работать работаю. Вот только что сейчас с покосом управился». — Я вспомнил о копнах сѣна. — «Занимался я раньше хлѣбопашеством. Послѣ раненія рѣшил Афон посѣтить, но тогда какая то затерка с Турціей была и на Афон я не попал. Поѣхал на Соловецкій, оттуда меня сюда сооблазили с тѣх пор тут и живу. Здѣсь и монашество принял». — Когда я затѣм попросил его выйти из дома, чтобы я мог его сфотографировать, он обрядился в монашескую одежду и превратился в монаха. Говорил он просто и добродушно. В углу возлѣ печки я замѣтил около двух десятков толстых книг в кожаных переплетах. Среди них, конечно -- Библію, -- старик с любовью и почтеніем погладил по ея корешку. Были там нѣсколько толстых томов «Добротолюбія», сочиненія Макарія Египетскаго, переводная книга Фаррара, которую как раз старик теперь и читал. Раскрыв ее наугад, прочитал: «Будучи в Афинах, Павзаній описывал, что нигдѣ не видал он столько прекрасных мраморных статуй...» Здѣсь, в старой Печенгѣ, за тридевять земель, у Студенаго моря-океана, в «землѣ жаждашей и непроходной», старик читает о чудесах великолѣпных Афин...

Отцу Леониду сейчас 66 лѣтъ. Когда я неосторожно его спросил, только ли духовныя у него книги, он с мягкой улыбкой отвѣтил: -- «уж, конечно, романов у меня нѣту».

А на мой вопрос, у всѣх ли монахов столько книг, сколько у него, он, как мнѣ показалось, с нѣкоторым удовлетвореніем сказал, что не у всѣх. Много книг, по его словам, сгорѣло. Я потом узнал, что при монастырѣ была бібліотека в 2.000 томов. Но, как оказалось, он интересуется книгами и не только духовнаго содержанія. Просил прислать ему книгу по физикѣ и астрономіи.

— «Знаешь, приходится разговаривать с людьми, объяснени обо всем просят, особенно о звѣздах, интересуются ими. У меня была одна такая книжица — очень полезная. Опять же объясняю я многое по книгам. Многие священные слова оспаривают или сомнѣваются, я должен их вразумить. Вот, говорят, по наукѣ, будто бы, не могло солнце остановиться. Однако, я это иначе объясняю. Исус Навин сказал: — остановись, солнце и луна! — А вовсе не остановись, солнце! Он всю солнечную систему остановил, а самое солнце, может быть, и продолжало на своей оси вращаться».

Не так уж, оказывается, оторван о. Леонид и от мировых событій. О побѣдѣ Германіи над Франціей слышал, знает также, что сейчас идет борьба между Германіей и Англией. — «А правда ли, мы слышали, что Германія Румыніей овладѣла?» — Когда я ему стал рассказывать об успѣхах Гитлера и шутя сказал, что, быть может, Гитлер и есть Антихрист, он отнесся к этому совершенно серьезно.

— «Навѣрное так. И тогда Гитлер всѣх побѣдит». — «Как же это Вы, о. Леонид, можете допустить побѣду зла над добром? — «А как же иначе? Если Гитлер — Антихрист, он и должен весь мір побѣдить. Это уж навѣрное. А послѣ этого настанет Второе Пришествіе».

Голос о. Леонида зазвучал почти торжественно. И он говорил с такой увѣренностью, что мнѣ показалось преступленіем оспаривать его слова.

— «Как каждый из нас навѣрное знает, что он умрет, так мы знаем, что настанет и Второе Пришествіе. Но придет оно лишь послѣ царства Антихриста. И когда придет, мы не знаем, но должны быть готовы к нему каждую минуту. Может быть, оно придет через миллион лѣт, а может быть, вот сейчас — и мы с Вами этой чашки чая допить не успѣем!»

По словам о. Леонида, большевики, занявшіе весь этот край, в февралѣ (1940 г.), всѣх монахов отвезли в Россію — к Пулоозеру и дальше, 120 километров за Мурманск. Обращались там с ними прилично, не издѣвались, позволяли служить церковную службу и держали на свободѣ — но не позволяли вступать ни в какія сношенія с мѣстным населеніем. По его словам, в Россіи он не видѣл ни одного вѣрующаго человѣка — при нем только двѣ женщины перекрестились, одна из них — молодая. Всѣх монахов послѣ мира вернули обратно в Петсамо — кромѣ настоятеля, судьба котораго осталась неизвѣстной. Говорят, что причина тому — какія то найденныя у него письма. Никакого отношенія к

политикъ настоятель, разумѣется, не имѣл. Сейчас у них вмѣсто настоятеля о. казначей, отец Іона.

У о. Леонида в его хибаркѣ я присидѣл около часа — было приятно слушать его безхитростную русскую рѣчь. Автомобиль свой я отпустил. Когда о. Леонид мнѣ сказал, что живет здѣсь уже 37-ой год, я спросил его, не тоскливо ли ему тут. Он посмотрѣл на меня с удивленіем и отвѣтил с убѣжденіем и горячо: — «Тоскливо?! Что Вы! Здѣсь чудесно!» — Тон, которым это было сказано, произвел на меня сильное впечатлѣніе. Он пояснил затѣм, что даже не успѣвает сдѣлать всего того, что надо — при этом взглянул на свои книги...

От о. Леонида мы прошли мимо церкви и бывшей монастырской гостиницы, которая теперь была занята солдатами, к старому и невзрачному домику, в котором живут остальные монахи. Около этого домика, похожего на сарай, валялись какія то поломанныя деревянныя вещи, у крыльца собирал дрова древній старик с большой сѣдой бородой — оказывается, это был самый старый из монахов, 80-ти лѣт. К нему, как мнѣ показалось, остальные относились как то пренебрежительно, он был глухой. В домикѣ остро пахло кислятиной, кругом была совершенно нищенская обстановка. Там я познакомился с о. Іоной, казначеем и старшим, замѣняющим сейчас настоятеля. Это был 68-и лѣтній монах с большой апостольской бородой, живущій здѣсь уже 46 лѣт. Родом он был из Казанской губерніи. Там же был еще и другой, немного помоложе, из Архангельской губерніи. Всего сейчас в монастырѣ числится 12 монахов, из них один находится в Парккина (Баркино). Есть один монах из Вологодской губерніи и один чуваш. Одному из монахов только 40 лѣт, но большинство в возрастѣ от 60 до 80 лѣт. Судя по путеводителю, еще в 1938 г. монахов здѣсь было всего двадцать — за два послѣдніе года умерло восемь. Нѣтъ сомнѣній, что в недалеком будущем они вымрут всѣ — финское правительство не позволяет принимать в монастырь новых монахов, не финских граждан, а финны, очевидно, в монастырь не идут и не пойдут. Монастырь этот обречен на смерть.

Впрочем, среди этих монахов есть один совсѣм молодой — ему лишь тридцать лѣт. Это — отец Мефодій. Его позвали. Молодое лицо с маленькой бородкой. По русски говорит хорошо, но, в отличіе от остальных монахов, с акцентом. Он родился в Москвѣ — отец финн, мать русская. Трех лѣт привезен сюда. Отец теперь умер, но мать была

еще жива, осталась в Россіи. По фински он говорит, как финн, и во всѣх сношеніях с финнами является переводчиком — монахи по фински и е говорят. Как финскій гражданин (всѣ монахи — финскіе граждано), был во время войны мобилизован и служил в рядах финской арміи, но в военных дѣйствіях не участвовал.

Всѣх наличных монахов (их в данный момент оказалось пятеро) сфотографировал перед их домиком. Затѣм, вмѣстѣ с о. Леонидом и о. Іоной вышел для осмотра монастыря. Впрочем, смотрѣть было почти нечего. Сейчас от всѣх монастырских строеній остались всего на всего: церковь, бывшая монастырская гостинница, занятая солдатами, домик, в котором живет о. Іона и другіе монахи, лачуга отца Леонида и, кажется, еще какой то домишко — все остальное сожжено во время войны. А было здѣсь около двадцати строеній — различныя мастерскія и пр.

По внѣшности церковь напоминает обычную русскую сельскую церковь. Часть ея (меньшая) еще сохранилась от старых времен. Внутри — свѣтло и опрятно, нарядный иконостас. В самой церкви гробница преподобнаго Трифона и еще чьи то три гробницы, в которых, по словам о. Іоны, сохранились кости и черепа. Есть старинныя иконы — среди них я замѣтил икону Смоленской Божьей Матери. О. Іона показал мнѣ все, провел даже внутрь алтаря, открыл ризницу, в которой оказалось довольно много золотых и серебрянных церковных сосудов. Гробница преподобнаго Трифона — вся из литого серебра, дар какой-то архангельской купчихи-благотворительницы. В ризницѣ о. Іона показал мнѣ под стеклянным колпаком нѣчто похожее на нѣсколько разломанных земляных или глиняных кирпичей — то были останки смѣшавшихся с землей костей 116 мучеников, погибших в 1590 году, на которых и была воздвигнута эта церковь и память которых до сих пор чтут в монастырѣ.

О. Іона находился здѣсь и во время прихода большевиков. По его словам, большевики безчинств не совершали ни над монахами, ни над церковью. Многіе приходили в церковь и ее осматривали. Сначала монахи, по совѣту совѣтскаго же командира, запечатывали двери церкви монастырской печатью, но каждый день находили печать сломанной. Однако, из драгоценных вещей у них ничего не пропало — за исключеніем шелковых платков для службы, которые хранились в ризницѣ. Шапки в церкви большевики снимали, когда видѣли, что при входѣ в церковь снимали шапки монахи.

При мнѣ в церковь пришли два молодых финских солдата, один из них в очках. Почтительно церковь осмотрѣли и ушли.

Молящихся теперь бывает очень мало. Сегодня, напр., несмотря на воскресенье, пришли только двѣ лопарскія дѣвушки из сосѣдней лопарской деревушки «Москва» (или, как здѣсь ее называют, «Москова»), о чем с нѣкоторым удовлетвореніем мнѣ повѣдал о. Леонид. Раньше служба здѣсь была три раза в сутки, но теперь совершается лишь по воскресным и праздничным дням. Повидимому, запустѣніе монастыря началось с 1914 года и затѣм, чѣм дальше, тѣм шло сильнѣе. Сейчас монастырь в полном упадкѣ. А в лучшія времена — девятидесятые годы прошлаго столѣтія, и девяностые число постоянных жителей здѣсь доходило до 200 человек, а вмѣстѣ с «трудниками», прїѣзжавшими лѣтом из Соловков по обѣтѣ потрудиться для монастыря, было их и гораздо больше. У монастыря тогда были большія угодыя, различныя мастерскія, рыбныя ловли, были коровы-холмогорки, лошади. Сейчас остались лишь три лошади. Десять коров во время войны сѣли большевики.

Кое-какія деньги — вѣроятно, очень небольшія — должно быть, у монастыря остались. Уходя из своей комнаты, о. Иона (казначей) свою дверь старательно запер на всячій замок.

Родятся здѣсь только картошка и рѣпа, ни хлѣб, ни овес не вырѣвают. Монахи покупают хлѣб (по карточкам) и все им необходимое для пропитанія (главным образом, крупу) в Парккина. Живут очень и очень скудно.

Я спросил у них, чѣм мог бы быть им полезен. О матеріальной помощи они даже не заикнулись! Просили, если это окажется возможным, прислать им книг — Мѣсячныя Минси и Требник. Один из монахов (из Архангельской губерніи) заикнулся было относительно постнаго масла для церкви, но всѣ остальные вмѣшались и разяснили ему, что надо просить лишь о том, что возможно — нельзя же им прислать масло из Америки...

На прощаніе о. Иона подарил мнѣ Службу преподобному Трифону Печенгскому на славянском языкѣ, отпечатанную в московской синодальной типографіи, матеріалы по исторіи монастыря, собранные Н. Ф. Корольковым, листки с изображеніем преподобнаго Трифона и три маленьких крестика из кипарисоваго дерева.

Тяжелое, но и сильное впечатленіе произвели на меня эти монахи. Живут они в великой скудости, запустѣніи и нищетѣ, но не только не тяготятся этой жизнью, не только

не жалуются, но ей, как будто, только радуются. На мои настойчивые вопросы никто из них не сказал, что им живется трудно или плохо, — наоборот, каждый из них увѣрял, что живут они очень хорошо, а тон, которым о. Леонид сказал, что его жизнь «чудесная», меня поразил и глубоко запал в душу. Десятки лѣтъ живут здѣсь эти люди в великом духовном и физическом трудѣ, в одиночествѣ и молитвах, в однообразной обстановкѣ, твердо каждый зная, что его ждет здѣсь могила возлѣ церкви, гдѣ они уже похоронили стольких своих предшественников. Вот люди, о которых можно сказать, что они твердо знают свое будущее. Но думают они, вѣроятно, только о своей второй жизни. Впрочем, о родинѣ помнят. Когда я их спрашивал, какова здѣсь бывает зима и бывают ли снѣжные мятели, они мнѣ отвѣчали, что «здѣсь таких снѣгов и вѣтров, какіе у нас бывают, нѣтъ».

К этому отрывку из дневника мнѣ хотѣлось бы добавить нѣсколько страниц из исторіи самого Трифоно-Печенгскаго монастыря, которую, мнѣ кажется, должны знать тѣ, кто интересуется русской исторіей и дорожит русской культурой.

В одно из утренних богослуженій на сына священника Трифона, в мѣрѣ Митрофана, жившаго в двадцатых годах шестнадцатаго столѣтія в Торжкѣ (тогда Новгородская область) сильное впечатлѣніе произвели слова антифона: «пустынным живот блаженъ есть, божественным раченіемъ воскриляющимся». И однажды, удалившись по обычаю для молитвы в пустынное мѣсто, он услышалъ голос: «иди в землю необитаемую и непутную (бездорожную), в землю жаждущую, в которой не обиталъ еще человекъ (т. е. не было еще проповѣдника слова Божія), ибо, милуя, вспомнилъ Я людей Моихъ, и любовь обрученія Моего не утратится». Какъ писалъ Филаретъ, «не легко умъ отупѣлый отъ неподвижности привычекъ, загрузѣлый отъ копоты суетвѣрій и страстей, навести на стези свѣта и истины. Еще труднѣе заставить сердце разорвать связь съ привычками, заблужденіями, съ нажитыми привязанностями и застарѣлыми пристрастіями». Но Митрофану, вѣроятно, не безъ борьбы съ собой и окружающими, это сдѣлать удалось: онъ принялъ монашество (под именемъ Трифона) и пошелъ на сѣверъ, къ берегу Сѣвернаго океана, в Кольскій присуд (Кола считается древнѣйшимъ поселеніемъ на Мурманѣ — впервые упоминается в 1264 году; основана новгородцами), гдѣ жили лопари, издавна при-

надлежавшіе Новгородской области. Монашество Трифон принял 1 февраля 1533 года — этот год и считается годом основанія печенгскаго монастыря. Очевидно, именно в этом году, в «землѣ жаждущей и непроходной», среди языческаго лопарскаго народа, в пустынном уединеніи, и построил он себѣ келію. Через три года послѣ этого вмѣстѣ с іеродіаконом Соловецкаго монастыря Феодоритом был он в Москвѣ принят царем Иваном Васильевичем. «Внимательно слушал грозный царь рассказ пустынников о крайних предѣлах его обширнаго царства, о жизни в той пустынѣ, гдѣ лѣтом свѣтит солнце в полночь, а зимой сверкают на небѣ огненные сполохи, о живущей в той землѣ дикой лопи (лопарскій народ), о чудовищѣ кит-рыбѣ и о ловлѣ ея в Студеном морѣ, об оленьих стадах и, наконец, о важности имѣть там православиую церковь, как видимый знак русскаго государства на окраинѣ, которая нерѣдко захватывается людьми датскаго короля. Мурманская окраина в то время не переставала быть спорною землею и датскія власти не переставали наѣзжать в нее для сбора дани с лопарей в пользу Датскаго короля. Московское правительство хорошо сознавало государственное значеніе монастыря. В царских указах воеводам Кольскаго острога нарочито приказывается монастырскую братію от «гонцов» Датскаго короля «и от всяких людей оберегать и в обиду никому не давать», и «им нѣмецким людям велѣно отказывать, что та земля Лопская и искони вѣчная вотчина наша Великаго Государя, а не Датскаго короля».

Но прошло немало времени, пока царь выдал на имя игумена Гурія жалованную грамоту, помѣченную 1 ноября 1556 года. В ней царь писал: «По умоленію дѣтей своих царевичей Іоанна и Феодора, пожаловали мы царскаго нашего богомольца, от Студенаго моря-океана с Мурманскаго рубежа Пресвятыя и живоначальныя Троицы Печенгскаго монастыря игумена Гурія с братіей или кто в том монастырѣ игумен, или братія будет, вмѣсто руги и вмѣсто молебных и панихидных денег, для их скудости, на пропитаніе в вотчину: морскими губами Мотоцкою, Илицкою и Урскою и Печенгскою, и Пазренскою, и Навленскою губами в морѣ, всякими рыбными ловлями, и морским выметом, коли из моря выкинет кита, или моржа, или иного какого звѣря, и морским берегом и его островами и рѣками и малыми ручейками, верховьями и топами и горными мѣстами и пожнями, лѣсами и лѣсистыми озерами и звѣриными ловлями и лопарями, которые лопари наши данные в той Мотоцкой и Печенгской губах, нынѣ суть и впредь будут, со всѣми угодыми луго-

выми и нашими, царя и великаго князя денежными оброками и со всѣми доходами и волостными кормами, чтобы там им питаться и монастырь строить; а нашим боярам Новгородским и Двинским и Усть-Кольскія волости приказным и всѣм приморским людям и корельским дѣтям, и лопарям и никому иному в ту вотчину не вступаться».

Из этой поэтической грамоты ясно видно, что московское правительство 16-го вѣка хорошо давало себѣ отчет в государственном значеніи далекаго монастыря, учитывая также и его возможную просвѣтительную роль. В 1572 году, по свидѣтельству иностранцев, в Печорском монастырѣ было 50 человекъ братіи и до 200 богомольцев; к монастырю съѣзжались богомольцы и купцы из Холмогор, Каргополя и Шуи (нынѣ большое село Арх. области). Здѣсь и скончался Трифон в 1583 г., 89-ти лѣтъ отроду. Жизнь его полна легенд. Он отличался подвижничеством («по пустыни странным теченіем, и постом и воздержаніем, и на остром каменіи лежаніем, убядил еси плоть свою»), смиреніем (он не пожелал, чтобы в царской грамотѣ было упомянуто его имя), жаждой просвѣтительства и талантом организатора («пришел еси в часть Норвегскія земли, и в послѣднихъ концѣхъ сѣверныя страны языки просвѣтил еси в бесплодной пустыни, яко древа масличная насадил еси, велію обитель создал еси, и монахов множество собрав»; «ты просвѣтил еси язычeskій народъ благовѣстіем, и во обители пречистыя Троицы чада твои возрадив, изобильно словомъ Божиимъ паче меда напитал еси, и прежде всѣхъ царства божія и правды его искати повелел еси»; «посредѣ непроходныхъ пустынь процвѣтый, яко финиз, обитель и храмы возградил еси, иннокъ множество собрав»). На его долгой подвижнической жизни, к сожалѣнію, здѣсь невозможно останавливаться. Передъ смертію онъ сказалъ собравшимся вокругъ него:

«Не скорбите братія, и не пресѣкайте добрый путь моего теченія. Заповѣдаю вамъ: любите всѣмъ сердцемъ своимъ и всею душою в Троицѣ славимаго Бога и любите друг друга; чада моя, честно и воздержанно храните ваше иночество и чуждайтесь желанія власти. Вы знаете меня от многихъ лѣтъ и вы сами видѣли, что не только моему, но и вашему требованію послужили руки мои, и всѣмъ вамъ я былъ послушникъ. Молю вас, послѣ моего исхода не скорбите, ибо таковъ удѣлъ всякаго человѣка, и если тѣло обращается в прахъ, то душа восходитъ в небесное отечество. Туда стремитесь, гдѣ нѣтъ смерти, гдѣ вѣчный свѣтъ и день единъ паче тысячъ и не любите окаяннаго міра невѣрнаго и волнуемаго,

как море-океан, и пѣнящагося волнами грѣховными». Перед самой смертью он вдруг заплакал. На вопрос, о чем он плачет, Трифон отвѣтил пророческими словами: «Будет на сію обитель тяжкое искушеніе, и многіе примут мученіе от острія меча; но не ослабѣвайте, братія, упованіем на Бога, не оставит Он жезла грѣшных на жребіи своем, ибо силен и паки обновит свою обитель». По словам современников, — «ростом он был не мал и крѣпок, но нѣсколько согбен и плѣшив, с длинною, сѣдою бородою».

Черед семь лѣтъ послѣ смерти Трифона предсказаніе его исполнилось в точности. В 1590 г., на праздник Рождества, толпа шведов (по другим данным, это были финны, под предводительством «финскаго крестьянскаго вождя Пекка Везайнен») ворвалась в монастырь и «начала умерщвлять иноков и послушников, находившихся в храмѣ, гдѣ в это время совершалась литургія. Одних разсѣкли пополам, другим отрубили руки и ноги, иных разсекли вдоль. Игумена Гурія и других священноиноков кололи оружіем, жгли на огнѣ, допытываясь у них о том, гдѣ скрыты богатства монастыря; иноки молчали, и разъяренные шведы изрубили их в куски». Об этом кровавом избіеніи есть, с одной стороны, старинный документ в норвежском государственном архивѣ (с поименным списком погибших во главѣ с игуменом Г у р і е м), с другой, в народном преданіи сохранилась поэтическая и трогательная легенда. «Пожар охватил всю обитель. Вдруг в воздухѣ над пылающим монастырем показались три бѣлоснѣжных лебедя. Разбойники стали спрашивать друг друга в смятеніи: «откуда эти лебеди? теперь зима, а их зимой никогда еще у нас не бывало». А лебеди поднимались над горѣвшим монастырем все выше и выше и вдруг разлились на небѣ в золотой круг, загорѣвшійся ярче пожара, затѣм из пламени стали вылетать одна за другой 116 бѣлых, как снѣг, птиц, ростом с чайку, только красивѣе и бѣлѣе, подниматься вверх и сливаться с золотым кругом, который разгорался и расширялся так, что стало глазам больно».

В теченіе цѣлых трех столѣтій со времени этого событія обширная могила 116 мучеников — их обожженные кости — в видѣ возвышеннаго холма на берегу рѣки Печенги, была единственным памятником древняго Печенгскаго монастыря. Одиночныя попытки поселиться на его пепелищѣ были предприняты соловецкими иноками в 1824 и 1867 гг., но кончились неудачей. В 1867 г. начата была колонизація Мурмана — на мѣстѣ Печенгскаго монастыря стали селиться выходцы

из разных мѣст Архангельской губерніи. 11 соловенских иноков в 1886 г. отправились на монастырском пароходѣ в Архангельск, оттуда в Колу и далѣе, в Малонѣмецкое становище. До Печенги оставалось 20 верст; наняли парусное судно, на котором и прибыли в Печенгскую губу — остановились у поселка «Трифонов ручей». Побывали в колоніи Баркино. На мѣстѣ монастыря нашли маленькую церковь, построенную в 1707 году. Сюда приѣзжал священник для совершения служб 1 февраля и 15 декабря в память преподобнаго Трифона. Теперь там жил лишь сторож-старик, а в другом домикѣ его теща — старушка 90 лѣт. В октябрѣ того же 1886 г., положено было здѣсь основаніе корпусу в 10 помѣщеній. Когда, в 1890 г., копали ямы для подстѣнных устоев, нашли каменный помост из плит, на котором лежали церковныя вещи — лампадка, желѣзныя скобки от подсвѣчника, древніе крючки и «слиток камня, кирпича и глины с вплавившеюся в них человѣческой кровью и костями, что было доказательством, что здѣсь были убиты 116 человекъ в церкви и сожжены вмѣстѣ с нею». (Эти слитки запекшейся крови, костей и глины и показывал мнѣ о. Іона в ризницѣ церкви). Хлопоты по расширенію земельных владѣній монастыря и его устройству почему то встрѣчали препятствія со стороны архангельскаго губернатора кн. Голицына. Настоятель монастыря іеромонах Іонафан ѣздил в Петербург хлопотать и жаловаться. Побѣдоносцев ему сказал: «умрите да живите; вам возобновленіе этого монастыря не нужно, а государству необходимо». Только в 1895 году монастырю высочайшим указом было отведено 8.070 десятин земли из казенной печенгской дачи Кольскаго уѣзда Архангельской губерніи. По распоряженію того же Побѣдоносцева было выдано «из имѣвшихся в Синодѣ сумм благотворительницы Мединцевой на устройство Трифоно-Печенгскаго монастыря 3.000 рублей» — в кассѣ монастыря было 71 р. 87 коп. и неоплаченных счетов на 7.000 рублей...

Період наибольшаго процвѣтанія Трифоно-Печенгскаго монастыря, повидимому, приходится на девятисотые годы. Из разных губерній Россіи и самых далеких углов ея (по данным 1897 г. — из 28 губерній, в том числѣ — из Сур-Даринской области, Томской и Тобольской губерній) приходили сюда богомольцы с желаніем потрудиться в Печенгѣ один-два года. Приходили сотнями. Назывались они «трудниками» и работали здѣсь — «во имя Христова, на спасеніе души своей, во славу русскому имени, на благо русскому народу». Нѣкоторые из них принимали монашество. В 1897 г. число

постоянных насельников доходило до 200 человек, в том числе монашествующих от 40 до 50 человек и мирян от 150 до 175. Монастырь имел суда и сѣти, монахи занимались рыболовством, оленеводством, скотоводством и в малой степени огородничеством. На островах разводились гагачьи гнѣзда, для монастыря и на продажу собиралось до 500 пудов морошки. Библиотека при монастырѣ имѣла свыше 2.000 томов — преимущественно духовно-нравственного и историческаго содержанія.

Так, постепенно, в теченіе столѣтій, с препятствіями, трудами и жертвами, послѣ длинной дипломатической и кровавой борьбы Россіи за эту землю с Даніей, Норвегіей и Швеціей, превращалась в культурный русскій угол «прегорчайшая пустыня» Трифона.

«Московскія Вѣдомости» в 1901 году писали: «Свѣжая сочная зелень травы, участки березоваго лѣса, красивая бѣлая церковь и раскинувшіеся вокруг новые, отлично выстроенные дома, большею частью двухэтажные, образуют очень красивый вид, не имѣющий себѣ подобнаго на всем русском побережьѣ Сѣвернаго океана. Кажется, будто перенесся градусов на десять к югу, в болѣе мягкій климат и в болѣе культурную страну. Невольно думается, что если бы триста лѣт назад военный отряд или разбойничья шайка шведов не разрушили монастыря и если бы Москва не забросила его потом, то навѣрное весь сѣверный край имѣл бы совсѣм иной вид и характер; приемники и носители идей преподобнаго Трифона сдѣлали бы для культуры и жизни многое».

Запустѣніе началось затѣм, повидимому, с 1914 года. По послѣдним данным, из 450 лапландцев, живущих в Петсамо, около 400 — лопари. Около тысячи живущих в этой округѣ — православные. Многие еще говорят на ломаном русском языкѣ и хорошо понимают русских. В 1939 году, во время совѣто-финской войны, весь этот край был разорен послѣ оккупации его совѣтскими войсками. Что произошло там теперь, во время новой войны между Финляндіей и Россіей, мы даже приблизительно не знаем...

В. Зензинов.

УБИЙСТВО ТРОЦКАГО

I

Конрад Гейден в своей биографии Гитлера рассказывает: — Однажды фюрер за столом в тѣсном кругу спросил: — «Читали ли вы «Воспоминанія» Троцкаго?»

Послышались отвѣты: — «Да! Отвратительная книга! Это мемуары сатаны!»

«Отвратительная?» — переспросил Гитлер. — «Блестящая книга! Какая у него голова! Я многому у него научился»...

Мнѣ приходилось, особенно в иностранной литературѣ и печати, читать сходные отзывы о Троцком, исходящіе от людей, которые тоже никак не могут быть причислены к его политическим или личным друзьям. Уинстон Черчилль в своей книгѣ “Great Contemporaries” пишет о нем, как о злодѣѣ, но о злодѣѣ титаническаго размѣра. «Троцкій», — пишет нынѣшній глава британскаго правительства, — «соединял в себѣ организаторскій дар Карно, холодный ум Мак-Кіавелли, жестокость Джека-Потрошителя. Как раковая опухоль, он рос, он терзал, он убивал, выполняя требованія своей природы... Он поднял бѣдных против богатых. Он поднял нищих против бѣдных. Он поднял преступников против нищих... Как вождь русской арміи, которую он возсоздал в безконечно трудных и опасных условіях, Троцкій был близок к незанятому трону Романовых... В 1922 году военные люди так высоко цѣнили его личныя заслуги и систему, что армія могла легко провозгласить его диктатором, еслибы не одно роковое препятствіе: он был еврей, он все-таки был еврей, и этого ничто измѣнить не могло».

Тут все очень преувеличено: и до «трона Романовых» Троцкомъ было далеко, (этот трон здѣсь даже вообще ни при чем), и военные люди отнюдь не так его цѣнили, и провозгласить диктатором они в 1922 году никак никого не могли, и еврейское происхожденіе Троцкаго тогда чрезвычайнаго значенія не имѣло: вѣдь свергла его коалиція, в которую входили один грузин (Сталин) и два еврея (Камнев и Зиновьев). Отзывы Гитлера и Черчилля я привожу

лишь в доказательство того, как высоко расцѣнивались врагами его дарованія.

● расцѣнкѣ со стороны поклонников и говорить не приходится: «величайшій оратор», «великій публицист», «великій организатор» и т. д. По настоящему внѣ спора находится только ораторскій талант Троцкаго. В его признаніи, кажется, сходятся всѣ писавшіе о нем и почти всѣ его слышавшіе. Приведу лишь один отзыв, — отзыв челоуѣка, совершенно посторонняго и врагам, и поклонникам, и дѣлу: В. В. Розанова. «Русскій Паскаль», как кто-то его назвал (какое, кстати будь сказано, нелѣпое преувеличеніе!), в 1906 году посѣтил залу суда, гдѣ шел процесс Совѣта рабочих депутатов, вождами котораго, как извѣстно, были Хрусталева-Носарь и молодой Троцкій (тогда обычно пользовавшійся псевдонимом Яновскаго). Повидимому Розанов о Троцком до того никогда ничего не слышал. Больших симпатій к «рабочим депутатам» у него не было. Но в статьѣ его о процессѣ есть такая фраза: «Встал и сказал нѣсколько слов Троцкій (псевдоним). Это еврей, по происхожденію крестьянин Херсонской губерніи. В то время, как Носарь что-то глухо и незамѣтно, невпечатлительно ни для кого говорил, Троцкій произнес всего нѣсколько слов, но он именно прои-з-н-е-с, а не проговорил их... Ораторы совершенно так же «рождаются» как поэты. Троцкій разрисовал свои немногія слова, точно размазал их по вниманію слушателей. И в то время, как всѣ и весь суд точно что-то шептал и шептался, — этот наполнил небольшую залу звуками, которые были слышны в послѣднем уголкѣ»...

В настоящей статьѣ, кромѣ свидѣтельских показаній, разбросанных по разным, преимущественно американским газетам, я использовал частныя сообщенія одного лица, знакомаго с Троцким и случайно находившагося в Мексико в августѣ 1940 года. Вѣроятно, будущій процесс Джексона даст новые факты, мнѣ пока неизвѣстные. Надо ли говорить, что ничего личнаго я в статью не вношу. Рѣзкіе отзывы обо мнѣ в статьях Троцкаго, разумѣется, никак не могут отразиться на моем отношеніи (особенно посмертном) к этому выдающемуся челоуѣку. Его убійство — Шекспировская трагедія. В этой мрачной драмѣ смѣшалось все, — кровь, злоба, ненависть, месть, измѣна, деньги, грязь, шантаж. Хотим ли мы этого или нѣтъ, Троцкій, как и Сталин, принадлежит исторіи, и его смертью будут, вѣроятно, вдохновляться драматурги будущих столѣтій. Нелѣпо и смѣшно было бы срав-

нивать в каком бы то ни было отношеніи это дѣло с сюжетом «Юлія Цезаря», но и к нему до нѣкоторой степени могут быть отнесены слова, которыя у Шекспира Кассій произносит над тѣлом убитаго диктатора:

“... How many ages hence
Shall this our lofty Scene be acted over
In State unborn, and Accents yet unknown!”

II

Троцкій послѣ своего изгнанія из Европы уже три года жил в Мексикѣ. В своей автобіографіи, в разных статьях, он совершенно серьезно и, повидимому, искренне возмущался тѣм, что ни одна демократическая страна его впускать не хотѣла: «планета без визы»! Он обращался к германским (веймарскаго времени), к французским, к англійским, к американским сановникам с просьбой о разрѣшеніи на в'ѣзд, ссылаясь на болѣзнь, на необходимость посовѣтоваться с врачами, на желаніе работать в бібліотеках, — ничто не помогало! В 1937 году мексиканскій живописец Діего Ривера выхлопотал для него визу в Мексику и поселил его там в своей виллѣ. По своему обыкновенію Троцкій скоро с ним поссорился, переехал в деревню Койокан под Мексико и приобрѣл там дом, с «патио», с садом. Я видѣл в «Нью-Йорк Таймс» фотографію его усадьбы. Дом неправильной постройки, с мезонином, окружен очень высокой стѣной. Вѣроятно, он был приобрѣтен именно из за этой стѣны. Новый владѣлец превратил свою усадьбу в крѣпость. В стѣнах были устроены пулеметныя гнѣзда, обыкновенная входная дверь замѣнена тяжелой, стальной, вход охранялся собственными тѣлохранителями Троцкаго. Кромѣ того, в угловой части усадьбы мексиканскія власти устроили свой полицейскій пункт, специально предназначенный для его охраны. Из дому он выѣзжал рѣдко, в автомобилѣ, при чем садился так, чтобы сквозь окна машины его не было видно: опасался обстрѣла с улицы. Его мѣропріятія по самозащитѣ не прекращались до послѣдняго дня и все усложнялись. По крайней мѣрѣ, в день убійства Троцкаго над укрѣпленіем усадьбы еще работало десять человек. Но он не чувствовал себя в безопасности и дома: каждое утро, вставая, говорил женѣ (как когда-то П. А. Столыпин): «Вот и еще счастливый день: мы еще живы».

Разумѣется, Троцкій имѣл всѣ основанія принимать мѣры предосторожности. За три мѣсяца до его убійства, 24 мая 1940

года, на его усадьбу было произведено нападеніе. В 4 часа утра к дому Троцкаго подкатили автомобили, на которых было 20 человек, переодѣтых в синіе мундиры мексиканских полицейских. Они мгновенно, без шума и без кровопролитія, справились с настоящими мексиканскими полицейскими, несшими охранную службу при домѣ, и позвонили. На дежурствѣ в эту ночь находился секретарь хозяина дома, 25-лѣтній американец Роберт Шелдон Гарт. Он отворил им дверь. Злоумышленники ворвались в дом, открыли огонь из трех пулеметов по спальням, как со двора, так и из кабинета Троцкаго, смежнаго с его спальней. Хозяева спаслись лишь потому, что бросились на пол. В спальную нападавшіе не проникли по не совѣтм поняіной причинѣ, — будто бы потому, что дверь из кабинета в спальную очень хорошо затворялась и была снабжена сложными приспособленіями. Бросив нѣсколько зажигательных бомб, которыя впрочем большого вреда не причинили, злоумышленники удалились, захватив с собой Шелдона Гарта. Через мѣсяц, ночью 24 іюня, в кухнѣ какого-то мексиканскаго дома, расположеннаго в двадцати милях от усадьбы Троцкаго, было найдено под полом, на глубинѣ двух футов, изуродованное тѣло секретаря со слѣдами тяжких побоев и трех револьверных ран. Как писала газета «Графико», "he had been killed à la Mexicana which means he had been beaten first to force him to flight so his slayers „might quiet their consciences" instead of "murdering him in cold blood".

Преступленіе это, совпавшее по времени с міровыми событіями во Франціи, почти никакого вниманія не вызвало. Газеты им не занимались. Но слѣдственные власти никак не могли понять, почему был похищен и убит Гарт. Теперь легко дать этому правдоподобное об'ясненіе, — о нем скажу дальше. Как бы то ни было, послѣ 24 мая мексиканское правительство подвергло аресту весь состав своего полицейскаго пункта при усадьбѣ, во главѣ с лейтенантом Казасом, виновным в том, что в момент нападенія он не находился при исполненіи своих служебных обязанностей.

Мнѣ говорили, что покушенію 24 мая предшествовало еще другое покушеніе, тоже сопровождавшееся будто бы жертвами. По каким-то соображеніям властей, о нем ничего сообщено не было. Ручаться, что это так, я, конечно, не могу. Но вполне очевидно было, что ведется правильная охота. Сам Троцкій не сомнѣвался в том, что его убьют, и не раз говорил это своим близким. Однако фаталистом он никогда не был. Еще в Москвѣ, постоянно нуждаясь в медицинской помощи,

Троцкий просил врачей выписывать рецепты не на его имя, а на имя подставного лица: «чтобы не отравили».

Усадьба была большая. При домѣ, около «патио», находился двор для кур: в послѣдніе годы жизни, быть может по атавизму еврейскаго колониста, или по воспоминаніям о родной Яновкѣ, Троцкий пристрастился к куроводству и ежедневно в пятом часу пополудни выходил кормить своих кур. У него вообще были замашки помѣщика. Жил он довольно широко. Как курьез отмѣчу, что по вечерам к нему иногда приходил мѣстный католическій священник и играл с ним в шахматы. Это классическая традиція французских помѣщиков: в свободное время старый маркиз играет — не в шахматы, правда, а в триктрак — со священником своего прихода. Надо думать, что койоканскій священник уж очень любил шахматную игру! Иначе поистинѣ трудно понять, зачѣм он избрал такого партнера.

Отмѣчу впрочем, что в Мексикѣ вообще было к Троцкому отнюдь не такое отношеніе, как в Европѣ. Он был лично знаком с президентом Карденасом. Послѣ убійства жена президента сдѣлала визит вдовѣ Троцкаго, а у гроба в почетном караулѣ стояли мексиканскіе генералы. Не зная Мексики, о причинах судить не могу. Быть может, было нѣкоторое удовлетвореніе по поводу того, что одна Мексика сочла возможным пріютить эту европейскую знаменитость. Возможно также, что Карденас, опытный политическій дѣлец, возлагал на знаменитаго гостя нѣкоторыя надежды, — не поможет ли дѣлу разложенія и ослабленія мѣстных сталинцев?

Надо отдать должное выдержкѣ Троцкаго: постоянно ожидая смерти, он продолжал дѣлать свое дѣло и работал очень много. Работник он был превосходный. Появляющіеся по сей день посмертныя его труды свидѣтельствуют, что он за всѣм слѣдил, читал и новыя политическія книги, и даже новыя романы, — повидимому трудился цѣлый день. В эмиграціи он был вообще в личном отношеніи на должной высотѣ. В СССР у него бывали постыдныя отреченія. Не столь постыдныя, как тѣ, что были в показаніях подсудимых на московских процессах, но все же такія, о которых он вспоминать не любил: он сам, на примѣр, дал Максиму Истмэну свѣдѣнія о завѣщаніи Ленина с тѣм, чтобы Истмэн эти свѣдѣнія (очень ему, Троцкому, выгодныя) за границей опубликовал, — и затѣм он же, под давленіем Сталина, заявил, что Истмэн все выдумал. что никакого «завѣщанія Ленина» в природѣ нѣт.

Послѣдніе годы его бурной жизни прошли в кругу мало извѣстных, в большинствѣ, кажется, очень молодых людей.

Думаю, что он мучительно скучал. Власть особенно опьяняет тѣх людей, которым она досталась случайно и болѣе или менѣе неожиданно для них самих. От вершин власти Троцкій перешел к маленьким эмигрантским дѣлам, к поискам заработка, к газетным статьям, к созданию собственных журнальчиков, к агитационной работѣ. Конечно, таковы были его нормальные занятія до революціи, но эта вторая молодость едва ли его удовлетворяла. Троцкій чувствовал себя очень усталым. В домѣ секретари и тѣлохранители между собой называли его «старик», "The Old Man", хотя он был еще не очень стар. Гладстона так начали называть лишь на восьмом десяткѣ лѣт жизни. О послѣдней его автомобильной прогулкѣ секретарь Гансен сообщает: «Старик спал гораздо больше обычного». Значит, засыпал в автомобиль всегда?

Со своими сотрудниками Троцкій, разумѣется, вел бесѣды и на политическія темы. «Я не увижу новой революціи. Это дѣло вашего поколѣнія», — сказал он Гансену. «Теперь не то, что было. Мы стары. У нас нѣтъ энергіи молодости. Становишься усталым, старѣешь. Новая революція дѣло вашего поколѣнія. Мы ея не увидим»... «Мы» здѣсь означало «я»: среди своих сверстников он, кажется, вообще сторонников и послѣдователей не имѣл.

Собственно он мог бы желать себѣ именно такого конца, какой выпал ему на долю. Уж если умирать не дождавшись новой революціи, то лучше от руки политическаго убійцы, чѣм от какой-нибудь желудочной болѣзни. Без русской революціи 1917 года Троцкій с исторической точки зрѣнія никто. Без новой міровой революціи он, перейдя все же в исторію, был бы обречен на постепенное, неизбежное, медленное изнашивание имени, — то же самое произошло с тѣми из знаменитых дѣятелей французской революціи, которые не погибли в 1793-4 гг.

Вѣроятно, в эти послѣдніе мѣсяцы жизни он с тоской вспоминал о началѣ своей карьеры; не только с той тоской, с какой о временах молодости вспоминает всякій старик. Он и в самом дѣлѣ был несчастен в Койоаканѣ. Троцкій в личном смыслѣ никак не может считаться неудачником: он добился славы и біографія его достаточно эффектна. Все же «ней неизбежно будет отсутствовать та глава, о которой больше всего мечтал этот умный, талантливый честолюбец: на п е р в о е мѣсто в исторіи революціи ему так и не удалось выйти. Троцкій, разумѣется, хотѣл быть «первым в Римѣ». Но, должно быть, немало думал о том времени, когда был первым в деревнѣ, в своей меньшевистской или полуменьшевистской

деревнѣ. «Русскій Лассаль!»... Дальше его честолюбіе тогда не шло.

С койоканскими «приближенными» он был ласков, как Наполеон со своими на островѣ святой Елены; быть может, этим образцом полусознательно и руководился. Люди, по природѣ не-картинные, имѣют особую слабость к картинности. Ему до Мексики с «приближенными» очень не везло. Всѣ они ему измѣнили, начиная от Радека, котораго он когда-то осыпал похвалами и комплиментами, кончая Демьяном Бѣдным, которому он пожаловал орден с рескриптом: «отважному кавалеристу слова». Причин для этого было много, но нѣкоторую роль, вѣрно, сыграли и его излюбленный «пафос дистанціи», и наполеоновскій тон. Как для всего, для примѣненія «пафоса дистанціи» нужно умѣніе. У Троцкаго, при отсутствіи у него чувства смѣшного, при его неумѣніи и нежеланіи считаться с людьми, пафос дистанціи вызывал раздраженіе и враждебность. Я не увѣрен, знал ли Троцкій, что в партіи его всѣ всегда терпѣть не могли. Как очень умный человекъ, как будто не мог не знать. Судя по его воспоминаніям, он не сомнѣвался в нелюбви «верхов». Быть может, думал, что за верхами есть какіе-то низы или средняки, его обожающіе? Это была фантазія. Кромѣ Іоффе, его не любил никто. Единственный человекъ, который, по собственному заявленію, «боготворил» Троцкаго, был его убійца.

Повидимому, жизнь все-же кое-чему научила мексиканскаго изгнанника. Он признал необходимость новой тактики и нашел людей преданных. Я читал номера его журнала, вышедшіе послѣ его смерти. Как бы мы ни относились к троцкизму, вѣрность сотрудников Троцкаго его памяти доставляет нѣкоторое моральное удовлетвореніе. Они, очевидно, служили ему и его идеям безкорыстно. В одной из нью-іоркских газет мнѣ случайно попалась слѣдующая замѣтка: утверждено завѣщаніе недавно убитаго Шелдона Гарта, бывшаго секретаря Троцкаго: он оставил 25 тысяч долларов своему отцу Джессу Гарту, живущему на Пятой Авеню, номер такой-то. Двадцать пять тысяч долларов, квартира на лучшей улицѣ Нью-Іорка, значит, это был состоятельный человекъ? Несчастный Шелдон Гарт, конечно, не мог знать, что его похитят, замучат и похоронят под полом кухни. Но и ему, вѣроятно, было понятно, что должность секретаря или тѣлохранителя при Троцком связана с нѣкоторой личной опасностью (может быть, недаром он и завѣщаніе составил двадцати пяти лѣтъ отроду). Эту неблагодарную службу не нуждающийся в деньгах человекъ

мог принять только по идейным соображениям и из преданности вождю.

Людей в Койаканѣ при Троцкомъ состояло немало. Имъ (ужъ во всякомъ случаѣ тѣлохранителямъ) надо было платить жалованіе. Надо было также содержать домъ. Надо было, вѣроятно, поддерживать нѣкоторыхъ троцкистовъ и ихъ изданія. Все это требовало денегъ. Между тѣмъ денегъ становилось все меньше. Я сказалъ, что онъ жилъ помѣщикомъ; но это былъ разорившійся помѣщикъ. Употребляю слово «разорившійся» не въ какомъ-либо символическомъ смыслѣ, въ томъ, что обанкротился «троцкизмъ» (этого я отнюдь не думаю), а въ прямомъ смыслѣ матеріальнаго разоренія. На краю банкротства находился не троцкизмъ, а Троцкій.

Вопросъ о деньгахъ имѣетъ значеніе для темы настоящей статьи, и я долженъ на немъ остановиться. Троцкій былъ отличнымъ журналистомъ не только по умѣнью писать интересныя, хлесткія статьи, но и по умѣнью ихъ продавать. Этимъ онъ былъ извѣстенъ еще въ дореволюціонныя времена, когда писалъ корреспонденціи въ богатой провинціальной газетѣ «Кіевская Мысль». Онъ не продешевилъ себя и въ пореволюціонномъ изгнаніи. Издательства, газеты, журналы платили ему гораздо больше, чѣмъ другимъ знаменитымъ изгнанныкамъ, русскимъ, нѣмецкимъ, итальянскимъ. Вѣроятно, изъ всѣхъ эмигрантовъ міра только Вильгельму II его воспоминанія дали больше денегъ, чѣмъ Троцкому принесла автобіографія. За одну изъ болѣе позднихъ своихъ книгъ онъ получилъ въ Соединенныхъ Штатахъ 29.000 долларовъ. Но именно эта книга не имѣла никакого успѣха. С той поры газетная и издательская цѣна Троцкаго быстро пошла на убыль. Онъ подпалъ подъ дѣйствіе общаго закона, касающагося политическихъ эмигрантовъ: интересъ къ нимъ слабѣетъ въ геометрической прогрессіи по мѣрѣ того, какъ идетъ время ихъ пребыванія въ вынужденной отставкѣ. Кромѣ того и событія въ Европѣ еще сильно убавили интереса къ отставнымъ людемъ. Наконецъ, изъ за гитлеровщины отпали одинъ за другимъ почти всѣ европейскіе «рынки» для книгъ и статей Троцкаго.

Отдаю ему и тутъ справедливость. Онъ никогда не былъ ни корыстолюбивъ, ни жаденъ, ни скупъ. Троцкій не былъ и аскетомъ: любилъ жить съ удобствомъ, любилъ хорошо одѣваться (въ свое время въ тюрьмѣ онъ «выдѣлялся элегантностью»). Но все это было безъ излишествъ и безъ любви къ деньгамъ какъ къ деньгамъ. Между тѣмъ, ему грозила, повидимому, финансовая катастрофа. Онъ ничего послѣ себя не оставилъ, кромѣ дома, оцѣненнаго въ 15-18 тысячъ пезо, бібліотеки и не очень дорогой мебели. Мнѣ говорили, что для похоронъ его друзья устроили подписку,

давшую 300 пезо. ● От 29 тысяч долларов больше ничего не оставалось. Деньги нужны были Троцкому и для себя и для дѣла; вѣрнѣе, он дѣла от себя не отдѣлял: какой же троцкизм без него, Троцкого? Без денег нельзя было имѣть дома-крѣпости и тѣлохранителей, а без крѣпости и тѣлохранителей не было ни малѣйших шансов уберечь жизнь. Таким образом матеріальная катастрофа стала бы для Троцкого катастрофой смертельной в самом буквальном смыслѣ слова. В послѣдніе мѣсяцы жизни он продал Гарвардскому университету свой архив, которым, конечно, очень дорожил и с которым ему разставаться было нелегко; продал за три тысячи долларов — сумма не очень большая, если принять во вниманіе цѣнность товара, богатство покупателя и извѣстность продавца.

О том, что издательская «цѣна» Троцкого очень понижалась, я слышал в литературном мірѣ (разных стран), гдѣ такія вещи обычно становятся точно извѣстными и гдѣ их выдумывают рѣдко. Замѣчу впрочем, что и в выходящем в Нью-Йоркѣ оффиціалном троцкистском журналѣ (ноябрь 1940 года) сообщается: «Издатели отказали ему в новом авансѣ (под книгу Троцкого о Сталинѣ. — М. А.). Койоаканскому дому грозили лишенія». Правда, объясняет это журнал тѣм, что Троцкій занятый очередной полемической работой (против оппозиціи в 4-ом Интернаціоналѣ), долго не выполнял своих обязательств в отношеніи издателей (и отказывался от хорошо оплачиваемой работы). Я все же не думаю, чтобы его послѣдняя книга оказалась best seller'ом; он уже и так сказал то, что знал о Сталинѣ. Во всяком случаѣ каждый понимает, что, напримѣр, авторам „gone with the wind” или “For whom the Bell tolls” ни один издатель ни в каких авансах не отказал бы, как долго они новую рукопись не задерживали бы.

Добавлю, что в послѣдніе годы он стал хуже писать. В ранней молодости Троцкій писал плохо. Стиль его тогда в особенности отличался банальностью (чтобы не сказать сильнѣе). Затѣм из него выработался прекрасный журналист, почти со всѣми достоинствами журналиста (кромѣ чистоты и правильности языка). Лучшій его публицистическій період: 1910-1930 годы. Позднѣе он стал слабѣть, оставаясь еще отличным полемистом. Быть может, на нем уже отразился возраст. Он был не очень стар, но в его жизни мѣсяц можно считать за год.

Разсчитывать впредь на большія денежныя поступления Троцкому не приходилось. Без денег существовать и работать было невозможно. Думаю, что в этом один из ключей к тра-

гедін, — разумѣтся, лишь один из нѣскольких. Здѣсь могут быть только догадки и предположенія.

III

Канадец Франк Джексон, он же «Жак Морнар ван ден Дрешд», будущій убійца Троцкаго, стал бывать в его домѣ приблизительно за полгода до его смерти. Так показали приближенные убитаго революціонера. Его секретарь Гансен говорит даже, что Джексон познакомился с Троцким лишь в маѣ 1940 года. Упомянутый мной выше свидѣтель говорил мнѣ, что Джексон был у Троцкаго за всю жизнь не болѣе шести раз. Допустим, что это невѣрно: бывал в домѣ полгода. Полгода знакомства еще не означают старой дружбы. Между тѣм эти же приближенные заявили слѣдователю и журналистам, что Джексон «принадлежал к самому интимному кругу дома». — «Он как будто был членом семьи», — сказал один из тѣлохранителей. Однако, по словам все тѣх же приближенных, «передвиженія Джексона всегда были в высшей степени загадочны»: так, послѣ покушенія 24 мая он надолго и неизвѣстно зачѣм уѣхал из Мексики в Соединенные Штаты. Значит, часть этого полугодія дружбы провел вдаль от Троцкаго? Значит, его передвиженія все-таки вызывали в домѣ любопытство? Значит будучи как бы «членом семьи», он не сообщал, куда и зачѣм ѣдет? Все это не очень ясно.

Подругой Джексона была американка Сильвія Агелов. Благодаря ей Джексон стал близким к Троцкому человѣком: ея сестра Рут Агелов была в 1937 году секретаршей Троцкаго.

Это, конечно, нѣкоторая квалификація: Рут была секретаршей, Сильвія — сестра Рут, Джексон — интимный друг Сильвіи. Все-же читатель согласится: квалификація не очень надежная, особенно если принять во вниманіе, какой страшной опасности подвергался Троцкій и какія мѣры предосторожности он принимал. Рекомендовал ли ему Джексона еще кто-либо? Что он знал о Джексонѣ вообще? Разумѣтся, Джексон оказался «единомышленником и поклонником». Но Троцкій мог понимать, что единомышленником и поклонником непременно себя объявил бы и подосланный враг, — пусть хотя бы и не убійца, а только шпіон. Вдобавок, кое-что в Джексонѣ само по себѣ могло бы показаться ему странным.

Это был очень высокій человѣкъ, с лицом болѣзненнаго вида, в очках, с коротко стриженными черными волосами. Я видѣл его портрет: наружность у него не очень располагающая к себѣ, но и не отталкивающая. Он хорошо владел

английским и французским языками. Это было естественно для канадца. Однако, по некоторым сообщениям, Джексон владел и русским языком. Иностранный акцент Джексона и во французском, и в английском языке мог ускользнуть от Троцкого: он сам владел этими языками не очень хорошо. Но канадец, говорящий по русски?... Впрочем, не исключена возможность, что он это обстоятельство скрывал.

Было другое обстоятельство, гораздо более важное. Франк Джексон сорил деньгами. Однажды он подарил Сильвию Агелов три тысячи долларов, при чем объяснил ей, что деньги эти получил от своей матери. Секретарям же Троцкого Джексон сообщил, что р а б о т а е т у одного нью-йоркского богача, обладающего состоянием в 60 миллионов долларов. Имени этого архимиллионера он не назвал, называл его просто «босс». Работает? В качестве кого? Джексон сказал, что нью-йоркский богач поставяет разные товары Англии и Франции. Конечно, деньги не пахнут. Но трокист, помогающий поставяать товары «воюющим империалистам»?... Кроме того, казалось бы, незачем было скрывать имя американца, поставяющего товары Англии и Франции, — тут ничего нездоровенного нет. Кроме того, самая цифра «60.000.000», казалось бы, должна была бы обратить на себя некоторое внимание: людей, обладающих таким состоянием, немного ведь даже в Соединенных Штатах. Не могла ли у Троцкого проскользнуть зловещая мысль: уж не на Лубянку ли живут и мать Джексона, и его архи-миллионер?

Мы до сих пор не знаем, какова настоящая национальность и какова настоящая фамилия «Джексона». При первом допросе после убийства он показал, что он не канадец и не Джексон, что его в действительности зовут Жак Морнар ван-ден-Дрешд, что он сын бельгийского дипломата, родился в Тегеране и учился в иезуитском коллеже имени Игнатия Лойолы, в Брюсселе, где живут его родные.

Через шесть дней после этого бельгийский посланник в Мексике, отправивший своего представителя в больницу для разговора с убийцей, довел до сведения мексиканских властей следующее: в Брюсселе есть два иезуитских коллежа, но ни один из них не носит имени Лойолы; Джексон-ван-ден-Дрешд говорит по французски не так, как говорят бельгийцы; никаких подтверждений того, что он сын дипломата нет; указанный им брюссельский адрес родных — ложен.

Я не думаю, чтобы у бельгийского посланника в Мексике мог быть сколько-нибудь значительный аппарат для расследования такого вопроса в нынешнее время, когда в Брюсселе

УБИЙСТВО ТРОЦКАГО

хозяйничают нѣмцы. Тѣм не менѣе в шесть дней обман убійцы был бельгійцами разоблачен. Едва ли можно сомнѣваться в том, что и Троцкій мог бы навести нѣкоторыя справки, которыя заставили бы его призадуматься. Тѣм не менѣе, с истинно-поразительным легкомысліем, он открыл убійцѣ двери своего дома.

Это может об'ясняться тѣм, что Троцкій плохо разбирался в людях. Однако элементарных правил осторожности он не соблюдать не мог. Еслиб Джексон не был н у ж е н , то, несмотря на свойство с бывшей секретаршей, несмотря на протекцію Сильвіи, Троцкій не пустил бы Джексона к себѣ на порог. Почему же Джексон мог казаться Троцкому полезным человѣком? Он писал, правда, какія-то статейки, но их Троцкій ни в грош не ставил. Молодой канадец был ему нужен не для статей. Оговариваюсь: еслибы у Троцкаго были серьезныя подозрѣнія, он, разумѣется, уклонился бы от знакомства с Джексонм. Но серьезных подозрѣній у него навѣрное не было. Вѣроятно, он не раз себѣ говорил, что рискует при встрѣчѣ почти с каждым человѣком: ну, что-ж, есть небольшой риск. Однако и на этот небольшой риск Троцкій мог пойти только при слѣдующем предположеніи:

Франк Джексон давал ему деньги, нужныя ему до зарѣза: нужныя для него, для койоканскаго дома, для тѣлохранителей, для существованія, для троцкизма. Троцкій, умный, хитрый, выдавшій виды человѣкъ, попался как мальчик в ловушку, разставленную ему людьми, которым навѣрное было хорошо извѣстно его матеріальное положеніе.

Повторяю, с д о с т о в ѣ р н о с т ь ю тут ничего сказать нельзя. Еслибы «канадец» на судѣ сам об'явил, что давал Троцкому большія суммы, его показанія нетрудно было бы отвести. Нетрудно было бы отбросить и свидѣтельства обратныя; вполне возможно, что Троцкій получал у него деньги с глазу на глаз и никаких «книг» не вел. Разумѣется, ничего худого тут не было бы: отчего же не брать на движеніе деньги от состоятельнаго сторонника этого движенія? Секретарь Троцкаго в статьѣ, написанной послѣ его убійства, описывая тѣ мѣры, которыя принимались по превращеніи койоканскаго дома в крѣпость, — устройство стальных дверей, электрических приспособленій, сирен, проволочных загражденій, — добавляет, что это оказалось возможным «благодаря пожертвованьям сочувствующих лиц и членов Четвертаго Интернаціонала»... Не было бы ничего удивительнаго, еслиб в числѣ «сочувствующих лиц», быть может главным из них — или даже единственным — оказался Джексон. Он, конечно,

с удовольствіем могъ принять участіе в укрѣпленіи дома Троцкаго, зная заранѣе, что стальные двери и пулеметы никакъ Троцкому не помогутъ. Онъ былъ «хорошо извѣстенъ своей щедростью», — сообщаетъ кстати тотъ же секретарь.

Какъ бы то ни было, в телеграммахъ из Мексики корреспондентовъ большихъ иностранныхъ газетъ были прямыя указанія, что «канадецъ» давалъ деньги на предпріятія Троцкаго. "New York Post"ъ говоритъ о немъ, какъ о "generous financial sympathiser". Я не думаю, чтобы онъ давалъ большія суммы. Главное, вѣроятно, сводилось къ обѣщаніямъ. Быть можетъ, и нью-іоркскій «боссъ» с капиталомъ в 60 милліоновъ долларовъ былъ выдуманъ именно для этого. Гораздо проще вѣдь было бы объявить богатымъ человѣкомъ самого себя: «имѣю состояніе и радъ его отдать для идеи». На нью-іоркскаго архимилліонера было, по моему, удобно ссылаться именно для того, чтобы меньше давать наличными и больше кормить обѣщаніями: «боссъ сейчасъ наживаетъ милліоны, какъ только я получу отъ него деньги, тогда» и т. д. Человѣка же, подающаго подобныя надежды, нельзя было не принимать дома запросто. Только такое объясненіе я могу дать этому поразительному факту: в домъ, гдѣ жилъ человѣкъ, завѣдомо подвергавшійся смертельной опасности, пустили гостя, который в сущности никому извѣстенъ не былъ и который при внимательномъ к нему отношеніи, долженъ былъ показаться подозрительнымъ.

20 августа 1940 года, в 5 час. 20 минутъ дня, Джексонъ на своемъ Бюнкѣ, незадолго до того купленномъ в Мексикѣ за 3500 пезо, подѣхалъ къ дому Троцкаго. Обычно онъ ставилъ машину перпендикулярно къ стѣнѣ дома; на этотъ разъ онъ ее поставилъ параллельно стѣнѣ, радиаторомъ в направленіи къ городу. Это должно было, очевидно, облегчить бѣгство. Но, если онъ на бѣгство надѣялся, это былъ единственный его цѣлесообразный поступокъ.

Секретарь хозяина Джозефъ Гансенъ и два тѣлохранителя, Корнель и Бенитес, работали на крышѣ: домъ, повторяю, все время укрѣплялся и перестраивался подъ личнымъ наблюденіемъ Троцкаго. Джексонъ обмѣнялся с ними нѣсколькими словами и вошелъ в «патио». В рукѣ у него былъ непромокаемый плащъ, который самъ по себѣ могъ бы вызвать подозрѣнія: погода была превосходная. Плащъ былъ совершенно необходимъ убійцѣ: при немъ находился цѣлый арсеналъ.

УБИЙСТВО ТРОЦКАГО

Троцкій кормил во дворѣ кроликов и цыплят. Джексон сообщил ему, что завтра уѣзжает с Сильвией Агелов в Нью-Йорк и хотѣл бы показать ему свою статью в передѣланном видѣ: за три дня до этого он читал Троцкому первый набросок этой статьи о спорѣ в 4-ом Интернаціоналѣ по русскому вопросу. Она у Троцкаго восторга не вызвала; он посоветовал ее передѣлать. — «Вы хотите, чтобы я ее прочел? Хорошо, пойдем в кабинет», — и теперь без восторга сказал хозяин дома.

Троцкій совершенно не интересовался литературными произведеніями «канадца». Кромѣ того, он очень неохотно допускал посѣтителей в свою рабочую комнату. Отчасти это об'яснялось осторожностью: в домѣ было правило, что хозяин никогда ни с кѣм не уединяется. Вдобавок Троцкому всегда была свойственна педантическая любовь к порядку. Черта распространенная: мы всѣ встрѣчали людей, которые страдают, если у них на письменном столѣ передвинуть карандаш или чернильницу. Отмѣчу и то, что Троцкій, вообще чувствовавший себя весьма утомленным в послѣднее время, работал весь день. Ему было не до чтенія чужих статей, да еще совершенно не интересных. Особенной любезностью и готовностью к услугам он никогда не отличался. Если Джексон к ближайшему окруженію не принадлежал, то зачѣм было тратить на него время?

Госпожа Троцкая была на балконѣ. Джексон с ней раскланялся и попросил у нея стакан воды: «в горлѣ пересохло». Они были в добрых отношеніях. «Канадец» даже раз поднес ей коробку конфет. Она вышла к ним в столовую и предложила чаю: — Мы только что пили, еще есть. — Джексон отказался: нѣтъ, стакан воды. Ей показалось, что он нервен и думает о чем-то другом. Дѣйствительно, он думал о другом.

Нѣсколько позднѣе, умирая, Троцкій сказал женѣ, что в ту секунду, когда они из столовой перешагнули в кабинет, у него вдруг скользнула мысль: «этот человек может меня убить»!... Черточка поразительная: почему же такая мысль могла хотя бы только промелькнуть? Плащ гостя? Его блѣдность? Этого все же очень мало. Значит, легкія подозрѣнія, хотя бы очень, очень легкія, у Троцкаго были и раньше? И с ними он все-таки Джексона принимал! Как же не подумать, что у него были причины принимать Джексона, даже если это было связано с нѣкоторым риском? Вѣроятно, отгонял от себя такія полумысли-получувства: вздор, вздор! друг сестры Рут, поклонник, нужный человек, — нельзя поддаваться пустым подозрѣніям: я все равно всегда рискую...

Подробности того, что произошло в кабинетъ, навсегда останутся тайной: Троцкий умер, не оставив показаній, а показанія Джексона, как уже им данныя, так и будущія, большаго довѣрія вызвать не могут. Прошло нѣсколько минут. Вдруг люди, находившіеся в домѣ, услышали страшный, дикій крик. «Ужасный крик прорѣзал тишину», — сообщает Гансен, услышавшій его на крышѣ, — «долгій крик агоніи, полувоплъ, полурыданіе»... — «До послѣдняго дня своего я не забуду е г о крика!» — показал властям сам убійца.

Всѣ бросились к кабинету, из котораго доносился шум отчаянной борьбы. Дверь распахнулась, на порогѣ столовой появился залитый кровью Троцкий. — «Вот что они со мной сдѣлали!» — прохрипѣл он. — «Он выстрѣлил в меня. Я тяжело ранен... Чувствую, это конец». Шатаясь, он сдѣлал нѣсколько шагов и упал у обѣденнаго стола.

Секретарь, тѣлохранители ворвались в кабинет. Джексон стоял там с револьвером в рукѣ. Единственный, впрочем ничтожный, шанс на спасеніе для него теперь заключался в том, чтобы открыть огонь по людям Троцкаго и пробраться к автомобилю. Так поступил бы р о б о т преступления, так поступил бы матерой преступник. «Канадец» не сдѣлал ни одного выстрѣла. У него вырвали револьвер и сильно его избили. О том, что он прокричал в эту минуту, я буду говорить дальше.

В кабинетѣ валялось орудіе преступления. Джексон не стрѣлял в Троцкаго: это Троцкому так показалось, или, быть может, он обмолвился, падая и теряя сознаніе. В дѣйствительности, убійца нанес ему нѣсколько тяжких ударов по головѣ своеобразным предметом. Когда-нибудь это орудіе будет, вѣроятно, показываться в каком-либо мексиканском музеѣ или, быть может, в русском музеѣ по исторіи революціи, как показываются сходные предметы в Парижѣ, в музеях Карнавале и Национальнаго Архива. В газетах этот предмет называли по разному: то топором, то «альпенштоком», то киркой, то молотком. Он состоял из лезвія в 7-8 дюймов, насаженнаго на рукоятку длиной в фут. Один из ударов был смертелен: лезвіе пробило череп и врѣзалось в мозг.

На полу в кабинетѣ стояла лужа крови. Трубка настольнаго телефона была, по словам одной из газет, сорвана. На стулѣ лежал плащ. В нем был обнаружен кинжал длиной в десять дюймов. Револьвер, всегда лежавшій на столѣ Троцкаго, там же на обычном мѣстѣ и находился. Не был пущен в ход и сигнал тревоги. Стул или стулья были сломаны. Стол и

УБИЙСТВО ТРОЦКАГО

последнія страницы рукописи (біографія Сталина) были залиты кровью.

По этим данным можно предположительно составить слѣдующую картину. Троцкій сѣл за письменный стол и начал читать статью Джексона. Убийца стал за его спиной. Именно это и требовалось. Признаюсь, мнѣ было бы интересно взглянуть на статью, которая писалась только для того, чтобы на минуту отвлечь вниманіе обреченнаго на смерть человѣка, — она когда нибудь тоже будет показываться в музеѣ. Судя по приблизительному расчету времени, прошла не минута, прошло гораздо больше времени. Переговаривались ли они? Не думаю: убійца должен был опасаться, что Троцкій повернет к нему голову. Между тѣм надо было незамѣтно достать из под плаща топор. «Канадец» успѣл снять и трубку телефона, — если эта подробность вѣрна. Цѣль непонятна: конечно, Троцкій бросился бы не к телефону, — тѣлохранители находились гораздо ближе полиціи; снятая с крюка трубка к тому же не мѣшает звонку. Джексон, видимо, уже плохо соображал. Быть может он — в послѣдній раз — колебался еще минуты двѣ-три: идти ли на это дѣло? не проститься ли с Троцким и не уѣхать ли мирно в Нью-Йорк, а там видно будет? Быть может, задыхаясь, обдумывал: топор или кинжал? (зачѣм захватил с собой и то и другое?). Наконец вынул топор... «Я взял его, высоко поднял, закрыл глаза и изо всей силы ударил», — показал полиціи убійца.

Каким образом Троцкій, с ужасной раной в черепѣ, с еще другими раненіями (ударов было нѣсколько), мог вырваться и выбѣжать в столовую? Зачѣм Джексон выхватил револьвер — и остался в комнатѣ, не стрѣляя? Последнее обстоятельство я могу себѣ объяснить только тѣм, что он совершенно потерял самообладаніе.

В дом примчались полиція, карета скорой помощи, врачи, слѣдственные власти. Троцкій уже терял или потерял сознаніе. Его перенесли в карету и увезли в больницу Зеленаго Креста. Поразительная подробность: в той же каретѣ в ту же больницу повезли сильно избитаго убійцу. Они и лежали там в сосѣдних палатах. Не знаю, мог ли Троцкій по дорогѣ замѣтить, кто с ним ѣдет. По словам упомянутаго выше свидѣтеля, в пути он пришел в себя и сказал: «Джексон был хорошей чекист!»... — и это были его послѣднія отчетливыя слова: затѣм он снова лишился сознанія.

Впрочем секретарь Троцкаго сообщил журналистам, что в больницѣ умирающій вызвал его к себѣ, спросил, есть ли

у него записная книжка, и продиктовал ему слѣдующее: «Я близок к смерти в результатѣ удара, нанесеннаго мнѣ политическим убійцей. Я с ним боролся, он вошел в мою комнату для разговора о французской статистикѣ!)... Он ударил меня... Пожалуйста, скажите нашим друзьям... Я увѣрен... в побѣдѣ... Четвертаго Интернаціонала... Идите вперед»...

Физическія страданія его были очень тяжелы. О моральных судить не могу. Когда-то в юности он сказал одной нашей общей знакомой: «Я знаю, что умру насильственной смертью, скорѣе всего на гильотинѣ». Почему на гильотинѣ? В Россіи этот способ казни никогда не примѣнялся. Или Троцкій и тогда мечтал об исторической роли вождя м е ж д у н а р о д н о й революціи. Он мог думать, что погибнет в Парижѣ, — но не в Мексикѣ! Погиб он от т о п о р а , — однако не от топора гильотины.

К нему были вызваны лучшіе врачи Мексико, во главѣ с ректором Национальнаго Университета, профессором Густавом Базом. Они сразу признали положеніе раненаго почти безнадежным. Из Соединенных Штатов должен был прилетѣть на аэропланѣ балтиморскій специалист по поврежденіям мозга, доктор Вальтер Дэнди. Он приѣхать не успѣл. Несмотря на двѣ сдѣланныя операции, несмотря на усилія врачей, на самый тщательный уход со стороны не отходившей от него жены, Троцкій скончался в сильных мученіях, 21 августа, в восьмом часу вечера.

Похоронен он был очень торжественно. Его адвокат Альберт Гольдман, тщетно добивавшійся разрѣшенія перевезти тѣло в Соединенные Штаты, заявил, что оно "will remain here among the Mexican people he loved and in the country he loved". Вѣроятно, г. Гольдман не знал, что это почти буквальное повтореніе слов из завѣщанія, составленнаго Наполеоном на островѣ св. Елены: император именно так говорил о своем желаніи быть похороненным на берегах Сены. Отчего же и не повторить историческую фразу? Все же Наполеон был нѣсколько болѣе связан с Франціей, чѣм Троцкій с Мексикой.

В совѣтской печати, когда-то так пресмыкавшейся перед Троцким, появилась об его убійствѣ телеграмма, состоявшая из 29 слов! Позднѣе впрочем появились и статьи. В них говорилось об «убитом измѣнникѣ и международном шпіонѣ».

*) Это не совѣм ясно: о чем же говорилось в статьѣ: о французских ли дѣлах или об отношеніи IV Интернаціонала к русскому вопросу?

V

При обыскѣ у убійцы было найдено 890 дол. и документ на французскомъ языкѣ — «декларация» — с изложеніемъ причин его дѣйствія. Я слышалъ, что в карманѣ у него оказались также два аэропланнхъ билета; но в газетахъ этого указанія я не нашелъ.

Документ сам по себѣ неинтересен. Джексон несет совершенный и очевидный вздор. Троцкій будто бы убѣждал его отправиться черезъ Шанхай на аэропланѣ в сов. Россію, заняться тамъ «саботажемъ» и убійствомъ совѣтскихъ вождей. Поэтому онъ рѣшилъ убить Троцкаго. Сходныя показанія убійца далъ и на допросѣ. Кромѣ того онъ заявилъ полиціи, что у него вышла ссора с Троцкимъ: онъ «не одобрялъ тактики 4-го Интернаціонала». Нельзя не признать, что для выраженія «неодобренія» Джексонъ избралъ довольно сильный способ. Когда же произошла эта ссора? Очевидно, не во время ихъ послѣдней встрѣчи 20 августа: не по разсѣянности же онъ привезъ в домъ Троцкаго топоръ, кинжалъ, револьверъ, да еще написалъ пророческую декларацию об убійствѣ! Значит, ссора произошла раньше? И Троцкій послѣ этого его принималъ, соглашался читать его статьи? Впрочем, не стоитъ опровергать болтовню.

Сказалъ Джексонъ еще слѣдующее. Онъ возненавидѣлъ Троцкаго также за то, что тотъ убѣждалъ его не жениться на Сильвіи Агеловъ. Это показаніе не менѣе глупо, чѣмъ предыдущія, но в психологическомъ отношеніи оно интереснѣе: почему в самомъ дѣлѣ мысль убійцы вдругъ такъ неожиданно метнулась в эту сторону? Какое дѣло могло быть Троцкому до интимной жизни Джексона? Разумѣется, къ убійству это ни малѣйшаго отношенія не имѣетъ. Однако, что-то, быть можетъ, есть за этими странными словами.

Безсвязныя показанія убійцы перемежались безстыдными заявленіями о томъ, какъ онъ любилъ Троцкаго. — «Я отдалъ бы за него свою жизнь», — с чувствомъ сказалъ Джексонъ. Быть можетъ, потерявъ самообладаніе, тяжело избитый, онъ говорилъ полиціи первое, что ему приходило в голову. Никакой идеи, никакого плана я в его показаніяхъ не вижу. Вѣрный чекистъ долженъ былъ бы во всемъ выгораживать Москву. Между тѣмъ на вопросъ слѣдователя о смерти Льва Сѣдова (сына Троцкаго) Джексонъ отвѣтилъ, что Сѣдовъ былъ убитъ Г.П.У. По совѣсти, я не думаю, чтобы его «декларация» была составлена на Лубянкѣ: для этого она слишкомъ глупа. «Саботажъ», «убійство совѣтскихъ вождей», — все это чрезмѣрно похоже на обвини-

тельный материал в московских процессах, — сходство рѣжет глаза. Вѣроятно Джексон сочинил декларацию либо самостоятельно, либо по наущенію какого-нибудь не блещущаго умом агента, в таком духѣ, в каком, по их мнѣнію, это было нужно сдѣлать.

В психологическом отношеніи важно то, что он вообще считал необходимым имѣть при себѣ декларацию. Еслибы убійца рассчитывал на бѣгство, то она была совершенно излишней. Ненужна она была и в случаѣ ареста: то же самое или что угодно другое можно было об'яснить словесно. Декларация вдобавок служила доказательством заранѣе обдуманнаго намѣренія, т. е. ухудшала положеніе убійцы. Имѣла она какой-то смысл только на случай его немедленной смерти. И дѣйствительно были всѣ основанія думать, что тѣлохранители Троцкаго тут же убьют Джексона.

Он шел почти на вѣрную гибель. Еслибы даже тѣлохранители его не убили на мѣстѣ преступленія, шансов на спасеніе Джексон имѣл очень мало. В этом смыслѣ важно знать, были ли у него дѣйствительно аэропланые билеты. Во всяком случаѣ бѣжать из далекой Мексики ему было чрезвычайно трудно. Допустим, что он убил бы Троцкаго наповал, так что тот не успѣл бы ни вскрикнуть, ни позвать на помощь. Допустим, что, совершив свое дѣло, он мог бы незамѣтно выйти из дому, сѣсть в автомобиль и уѣхать. В этом, самом лучшем для него, весьма мало вѣроятном, случаѣ, убійство было бы замѣчено много если через полчаса, скорѣе всего через нѣсколько минут послѣ его бѣгства. Разумѣется, полиція мгновенно дала бы знать на всѣ пограничные пункты, на всѣ аэродромы. Покинуть страну было бы почти невысказано. В дѣлѣ о похищеніи ген. Кутепова, в дѣлѣ убійства Рейса властям не были вначалѣ извѣстны ни имена, ни примѣты преступников. Здѣсь же в первую минуту было бы об'явлено: убил такой-то, жившій там-то, примѣты такія-то.

В связи с этим возникает вопрос: по каким же побужденіям этот человек шел почти на вѣрную гибель? В Мексикѣ, правда, нѣтъ смертной казни. Но тридцать лѣтъ каторги тоже вещь не соблазнительная, да еще при большой вѣроятности немедленной смерти на мѣстѣ преступленія.

«Чекист!» Это слово об'ясняет все, когда дѣло происходит в СССР. Но Джексон был далеко от Москвы. Чѣм могли его соблазнить? Какими деньгами можно было прельстить человека — убѣдить его пойти на смерть? Вдобавок, деньги у «канадца» были. Он и в карманѣ имѣл 890 долларов наличными. Конечно, это были чужія деньги, — но уж развѣ

УБИЙСТВО ТРОЦКАГО

так обязательно возвращать долги? Конечно, люди, «измѣнявшіе» совѣтскому правительству, иногда кончали плохо, как, напр., Игнатій Рейс. Однако и среди «измѣнников» многіе живут по сей день припѣваючи. Не всѣ так стѣснены, как Троцкій, своей извѣстностью, «планетой без визы», затрудненіями в переѣздѣ. И не для всѣх, разумѣется, Москва мобилизует свой гигантскій аппарат, и, чтобы наказать их, идет на скандал, на риск, на громадные расходы, на жертву людьми. Мелкіе агенты, не выполнившіе возложеннаго на них порученія, едва ли подвергаются за границей смертельной опасности. Во всяком случаѣ в ы п о л н и т ь такое порученіе значило подвергнуться опасности неизмѣримо большей.

«Фанатик!» Я за всю свою жизнь не встрѣчал ни одного фанатика, — такое уж очевидно было невезеніе. Но если есть учрежденіе в мірѣ, гдѣ процент фанатиков должен быть чрезвычайно мал, то это, без всякаго сомнѣнія, Г.П.У. Кромѣ того, чекист-«фанатик» никак не стал бы обвинять свое начальство в убійствѣ Льва Сѣдова.

По словам приближенных Троцкаго, Джексон, чуть оправившись послѣ избіенія, прокричал: «Они арестовали мою мать... Сильвія Агелов в этом дѣлѣ ни при чем... Нѣтъ, это не Г.П.У.... У меня нѣтъ ничего общаго с Г.П.У... Они заставили меня это сдѣлать!»...

Не знаю, совершенно точно ли были воспроизведены эти слова. На грамофонной пластинкѣ они естественно запечатлѣны не были, а люди (и помимо человѣческих страстей) могли в этой фантастической сценѣ разобрать и запомнить сказанное Джексонем не вполне вѣрно: в газетах мнѣ попадались варианты, — в общем впрочем близкіе к этому. Может быть, суд лучше выяснит значеніе этих слов, имѣющих огромное политическое и психологическое значеніе. Как бы то ни было, в смыслѣ первой фразы (она в газетах вариантов не имѣет) сомнѣваться невозможно: Джексон хочет сказать, что кто-то заставил его пойти на убійство, арестовав его мать! Кто этот «кто-то», достаточно ясно каждому непредубѣжденному чловѣку. Но как же тогда понимать слова: «Нѣтъ, это не Г.П.У.»?

В этой трагедіи расчет, обман, месть, ненависть, коварство, очевидно, дополняются ужасающей формой шантажа. Фанатиков среди чекистов нѣтъ, обѣщаніем наград нельзя заставить чловѣка идти на смерть. Этого, пожалуй, можно было добиться таким способом: «не сдѣлаешь, уьем самых близких тебѣ людей»... Весьма вѣроятно, что такіе же методы

примѣнялись для получения надлежащих показаний на московских процессах.

Конечно, среди чекистов было все же не так просто найти подходящего человекa. Настоящий чекист принял бы почетное поручение, взял бы доллары и с ними за границей исчез бы, сооблазившись благами буржуазной цивилизации. Есть 890 долларов, есть кстати и новенький автомобиль, можно начать новую жизнь, — «прошайте, товарищи, ищите себя другого дурака». — «Но твоя мать будет разстрѣляна!» — «А может, и не будет? Пригрозят, попугают и не разстрѣляют... А если и будет, то что же я могу сдѣлать? Вѣчная память»... Легко себя представить и такой внутренней діалог в душѣ матерого чекиста. Почти не сомнѣваюсь, что такіе случаи и такіе діалоги бывали.

Почти не сомнѣваюсь и в том, что Джексон не был старым, матерым чекистом. Люди его знавшіе говорят, что это очень нервный, преждевременно состарившійся человек. Его прошлое нам неизвѣстно; думаю, что радостным оно никак не было. Вел он себя тоже не так, как себя вел бы опытный преступник. Послѣ убійства он часто плакал, говорил нѣчто безсвязное и просил дать ему револьвер для самоубійства. Заслуживает внимание и то, что в первых же своих, приведенных выше, словах он объѣляет свою подругу: «Сильвія Агелов в этом дѣлѣ ни при чем»...

Судебное сдѣлствие признало, что госпожа Агелов дѣйствительно ни при чем в этом преступлении, и касаться ей в статьѣ неприятно. Что-ж дѣлать, имя ей будет безпрестанно появляться на страницах газет в дни процесса Джексона: ей неизбежно придется быть одной из важнѣйших свидѣтельниц. Будут говорить о ней всегда всѣ изслѣдователи дѣла, жертвой котораго она стала. Не останавливаясь на этой личной драмѣ, скажу только, что госпожа Агелов познакомилась с Джексонем в Парижѣ, — не знаю в точности, когда и как именно. Было ли ему велѣно сойтись с ней для того, чтобы проникнуть в дом Троцкого? Повидимому, она сама теперь так думает. Послѣ преступления, которое ее повергло в ужас и отчаяние, она на очной ставкѣ осыпала Джексона бранью и проклятьями. "She became hysterical and shouted: "You dirty murderer!" at him, accused him of being an agent of the Russian secret police and said he had made love to her to be able to assassinate Mr. Trotsky more easily. She cried that she hoped he would die a horrible death and that she never wished to see him again"... Джексон слушал ее и плакал. Очевидно, он любил ее. Если вѣрно, что при нем были най-

дены два аэропленных билета, то не рассчитывал ли он, что, в случае спасения, увезет ее с собой? Для этого надо было как-нибудь объяснить ей дело, что-нибудь придумать, — быть может, он думал, что сойдет все что угодно. Если этот человек обманул Троцкого, то не приходится особенно удивляться тому, что далась в обман госпожа Сильвия Агелов. Отмечу, что по профессии она была психолог! Училась в Колумбийском университете, специализировалась по психологии, получила master degree и занимала должность психолога в Board of Education. За это ей платили 1240 долларов в год.

Если я не считаю Джексона опытным профессиональным преступником, то из этого отнюдь не должно делать вывода, будто он мне представляется агнем, попавшим в лапы к чекистскому волку. Джексон-Морнар-ван-ден-Дрешд достаточно показал, на что он способен. Пока не доказано, что он сошелся с Сильвией Агелов специально для проникновения в дом Троцкого. Но это довольно вероятно; приданое ему, так сказать, заплатило Г.П.У.

Повидимому, он сыграл большую роль и в покушении 24 мая 1940 года. Его участие дает возможность объяснить, почему был убит Шелдон Гарт. После 24 мая следствие ломало себе голову, как мог секретарь Троцкого отворить дверь чужим людям. Можно с большой вероятностью предположить, что он отворил Джексоны. Шелдон Гарт знал его и открыл дверь потому, что «канадец» об этом его попросил, — чужим людям он двери не отворил бы. Именно поэтому и решено было убить секретаря: иначе Джексон был бы разоблачен. Почему Гарта не убили на месте? Зачем понадобилось похищение и убийство à la Mexicana? Это остается неясным по сей день, как неясно и то, почему «полицейские», находясь буквально в нескольких шагах от того места, где лежал Троцкий, не проникли в его спальную, не разыскали его и не мбили. В деле 24 мая наблюдаются те же особенности, что и в деле 20 августа. Почему Джексон 20 августа не бжал, хотя сдлал приготовления к побегу? Возможно, что и 24 мая злоумышленники растерялись. При некотором воображении можно себе представить картину дела, задыхающиеся голоса, сплнный тихий разговор: — «... Ну, а с ним-то, с Гартом что делать?...» — «Убить!...» — «Лучше увезем его!...» — «Куда?...» — Можно на нашу ферму. Там увидим!...»

После дела 24 мая Джексон уехал в Нью-Йорк. Быть может, следствие выяснит, зачем именно уехал (хоть я в этом

нѣсколько сомнѣваюсь). Там ему, по всей вѣроятности, были даны новыя инструкціи: надо дѣйствовать иначе.

Нѣтъ, Джексон не был «несчастненьким», — как будто бы называет преступников русская народная мудрость (говорю «будто-бы» потому, что сам я этого никогда не слышал). Скорѣе всего это человекъ с сильными преступными наклонностями и без больших способностей к преступленію, запутавшійся в сѣтях Г.П.У. Вѣроятно, и не очень умный человекъ. Все-таки о д н о й угрозой разстрѣлять его мать едва ли можно было добиться от него полной покорности. Должно быть, дѣйствовали и обѣщаніями: Ты тотчас убѣжишь! Убьешь и убѣжишь! Для побѣга все подготовлено. Если же арестуют, мы устроим тебѣ побѣг из тюрьмы: в Мексикѣ это легко. А если и посадят на тридцать лѣт (вѣдь смертной казни у них нѣтъ), то коммунистическая революція не за горами: ты выйдешь из тюрьмы большим человекомъ... Может быть, он на это надѣется и теперь в свои безсонныя ночи. Но послѣ первых его показаній о том, что Г.П.У. устроило убійство Льва Сѣдова, для Джексона было бы лучше, чтобы в Мексикѣ никогда не было коммунистической революціи.

УІ

Собственно Сталин мог бы совершенно спокойно об'явить в своей печати: «20 августа нашим агентам, к счастью, удалось благополучно убить Троцкаго». Ничего рѣшительно не произошло бы. Может быть, послѣдовала бы какая-нибудь скучная дипломатическая переписка, — «энергичное представленіе», «категорическій протест». Но это не очень страшно и не очень важно. Газеты покричали бы два-три дня. Может быть, даже и этого не было бы. Вот, недавно, в Румыніи убили не одного, залитаго вдобавок кровью, человекъ, а тысячи ни в чем не повинных людей, да еще многих пытали, выкалывали глаза, — и что-же? Если Сталин такого заявленія в своих газетах не помѣстил, то потому во первых, что это не принято; потому во вторых, что незачѣм вызывать скучную дипломатическую переписку, хотя бы не имѣющую никакого значенія; и потому в третьих, что совершенно ненужно об'являть: всякій здравомыслящій человекъ и без того понимает, что Троцкаго убили не по рѣшенію правленія У.М.С.А. и не по распоряженію ректора Колумбійскаго Университета. Правда, коммунистическій оффиціоз пробормотал, что убили Троцкаго дегенеративные криминальные элементы, которых

влекла к себѣ дѣятельность этого саботажника и международного шціона. Однако, пробормотал это оффиціоз как-то лѣнливо, с фальшивой горячностью, очевидно понимая, что никто этому не повѣрит, даже коммунисты (или, вѣрнѣе, всего менѣе коммунисты).

Незачѣм ставить себѣ вопрос, по чьему приказу было совершено Койоаканское убійство. Его дѣйствительно почти никто себѣ и не ставил: свободная печать всѣх стран указала, что Троцкій убит агентом Г.П.У. Гораздо важнѣе и труднѣе вопрос, по ч е м у он был убит; или, болѣе точно, почему он был убит именно в 1940 году.

Послѣ убійств генералов Кутепова и Миллера, послѣ многих сходных дѣл, устроенных Г.П.У. и Гестапо, можно считать несомнѣнным, что частный человек, как бы он ни был осторожен, какія бы мѣры по самозащитѣ он ни принимал, не имѣет возможности уберечь свою жизнь от могущественной, располагающей огромными средствами, полицейской организациі, которая поставила бы себѣ цѣлью убить его, не останавливаясь ни пред какими препятствіями. За долгіе годы изгнанія Троцкаго Г.П.У. имѣло полную возможность «из'ять» его и в Турціи, и в Норвегіи, и во Франціи. Там это было даже гораздо легче чѣм в Моксикѣ и дешевле: ближе. Там можно было бы вдобавок, вмѣсто убійства, устроить похищеніе, что во многих отношеніях было соблазнительнѣе и удобнѣе; из Мексики же похитить человека и привезти его в Москву трудно: слишком далеко.

Политбюро имѣло, конечно, полную возможность и вообще не выпускать Троцкаго из СССР. Сам Троцкій объяснял свою высылку слѣдующим образом: Сталин будто-бы хотѣл сначала его дискредитировать в народных массах, а затѣм добиться от дружественной Турціи, чтобы он, Троцкій, был выдан обратно совѣтскому правительству. Это весьма неправдоподобно. Если Сталин этого хотѣл, то почему же он этого не сдѣлал и выдачи своего врага не потребовал? Кромѣ того, едва ли Турція, вѣками соблюдавшая традицію политическаго убѣжища и считавшаяся с мнѣніем западной Европы, удовлетворила бы такое требованіе. Наконец, у Сталина не могло быть накакой увѣренности, что Троцкій не получит другой визы и не уѣдет из Турціи во Францію или в Англию. То, что он был выслан из СССР, было просто ошибкой диктатора. Сам Троцкій сообщает, что, по дошедшим до него свѣдѣніям, Сталин позднѣе считал его высылку своей крупнѣйшей ошибкой. Еслибы Троцкій в Россіи остался, он в Москвѣ на процессах давал бы такія же показанія, как Зиновьев или Крестинскій,

и кончил бы жизнь так же. Ему вообще долго везло. Если бы германское демократическое правительство удовлетворило его ходатайство о визѣ в Германію, то послѣ прихода Гитлера к власти он в лучшем случаѣ оказался бы в Дахау.

Что-ж, ошибка была сдѣлана: Сталин Троцкаго за границу выпустил. Но и за границей убить или даже похитить врага можно было в любое время: это было лишь вопросом денег, жертв и готовности идти на скандал. Тѣм не менѣе убит был Троцкій только через много лѣт. Именно в Мексикѣ одно покушеніе слѣдует за другим и, наконец послѣднее заканчивается успѣхом.

Какова была цѣль убійства? Я слышал и читал разные отвѣты. Говорили, что Сталин боялся книги, которую готовил о нем Троцкій. Это совершенный вздор. Троцкій уже не раз высказывал свое мнѣніе о Сталинѣ, никаких сенсаціонных разоблаченій он о нем сдѣлать не мог, да и трудно обвинить Сталина в большой заботѣ о том, что о нем за границей говорят и пишут: все уже о нем и сказано, и написано. Кромѣ того, книга Троцкаго кончена или почти кончена, и его убійство не помѣшает ей выйти в свѣтъ, — напротив, подогрѣет к ней интерес.

Другой отвѣт. Послѣ покушенія 24 мая адвокат Троцкаго Альберт Гольдман объявил, что в сов. Россіи распространялось открытое письмо русским рабочим, присланное туда из заграницы Троцким. В этом письмѣ он называл Сталина «Кайном», говорил об его «кровожадности» и «безопасности» во внутренней политикѣ, об его «трусости» перед империалистами в политикѣ внѣшней. Ознакомившись с этим письмом, Сталин будто бы страшно разсердился и велѣл Г.П.У. убить Троцкаго. — Обясненіе тоже не очень серьезное. Открытое письмо, которое могли, в лучшем случаѣ, прочесть из под полы нѣсколько сот рабочих, едва ли вызвало бы большую тревогу у Сталина. Упрек кому бы то ни было в «безопасности» и «кровожадности» в устах бывшаго комиссара народной обороны мог у рабочих вызвать только усмѣшку. И, вѣрно, не так уж сильно огорчило бы нынѣшняго диктатора то, что Авель-Троцкій называет его Кайном.

Третье обясненіе: личная месть. «Это простая вендетта», — писали газеты. Я не отрицаю нѣкоторой доли правды в таком обясненіи. Сталин всегда ненавидѣл Троцкаго и человек он мстительный. Все-же надо принять во вниманіе слѣдующее. Троцкій был убит задолго до германо-совѣтской войны, наглядно выяснившей полное безсмысліе и банкротство

внѣшней политики Сталина. До 22 іюня 1941 года многим, слишком многим, казалось, что Сталин идет от успѣха к успѣху. Человѣкъ по иному мстительный, вѣроятно, сказал бы себѣ: «Я способствовал тому, что в западной Европѣ вспыхнула война, которая, быть может, распространится на весь мір. Троцкій не может не понимать, что это для нас колоссальный успѣх и с его, и с моей точки зрѣнія. Наш общій учитель Ленин писал Горькому в январѣ 1913 года: «Война Австріи с Россіей была бы очень полезной для революціи (во всей восточной Европѣ) штукой, но мало вѣроятно, чтобы Франціосиф и Николаша доставили нам сіе удовольствіе». Кромѣ того моя политика дала СССР новыя огромныя территоріи, с населеніем в 20 милліонов людей. Как ни как, это подняло мой престиж в сов. Россіи. Пусть же Троцкій из своей Мексики, гдѣ им сейчас никто не интересуется побольше читает в газетах о моей дѣятельности и грызет себя от бѣшенства и зависти. Такова будет — пока — моя личная месть... Это лучше, чѣм проломить врагу череп и создать ему историческій ореол.» — Но, разумѣется, о вкусах не спорят. Возможно, что личная месть сыграла нѣкоторую роль в дѣлѣ 20 августа. Однако эта гипотеза не может об'яснить, почему Троцкій был убит в 1940 году, а не пятью или десятью годами раньше. Она не может об'яснить, почему именно теперь Г.П.У., не останавливаясь ни перед какими усиліями, жертвами, затратами, организует сначала дѣло 24 мая (20 террористов, пулеметы, зажигательныя бомбы, похищеніе и убійство Гартал), а затѣм дѣло 20 августа.

Могут об'яснить это только слѣдующим образом. До 1939 года Сталин не считал, что дѣятельность Троцкаго может быть сколько-нибудь для него опасной. Я не хочу ни переоцѣнить, ни недооцѣнить значеніе, удѣльный вѣс ІУ Интернаціонала. Он в настоящее время — одна из довольно многочисленных, русских или не-русских, организаций, враждебных ІІІ Интернаціоналу, совѣтскому правительству, Политбюро, Сталину (не стоит спорить о словах: все это приблизительно одно и то же). Конечно, Москвѣ было бы удобнѣе и пріятнѣе, еслибы ни одной из этих организаций не существовало. Но большой опасности Сталин в них не видит. Бывали моменты, когда та или иная организациія могла казаться ему опасной, — тогда против нея принимались мѣры, вплоть до похищенія или убійства ея вождя (как генерал Кутепов). Повидимому, по другим болѣе сложным и неясным причинам, то же случилось с генералом Миллером: быть может, в Москвѣ надѣялись, что его преемником станет агент Г.П.У., генерал Скоблин,

ближайший помощник Миллера. Люди, объясняющие убийство Троцкого личной мсткой, «вендеттой» Сталина, не будут, вѣроятно, отрицать, что личного элемента никак не могло быть в причинах «устранения» обоих генералов: Сталин их не знал и никаких личных счетов с ними имѣть не мог.

В 1939 году международное положение совершенно измѣнилось. Между «империалистическими державами» началась война. Впервые в Европѣ стала слагаться «конъюнктура социальной революціи». Из Желтой книги французскаго правительства видно, что так расцѣнвали положение и вполне реальные политики. Французскій посол в Берлинѣ Кулондр в своей бесѣдѣ с Гитлером 25 августа 1939 года прямо ему сказал, что побѣдителем в европейской войнѣ будет — Троцкій. Фюрер не выразил ни согласія, ни несогласія с этой мыслью. Конечно, в такой общей лапидарной формѣ она сильно преувеличена (что отчасти объясняется цѣлью бесѣды). Но доля истины в ней была, по крайней мѣрѣ в отношеніи стран побѣжденных. При удачном стеченіи обстоятельств, со слабым ІУ Интернационалом Троцкого могло бы произойти то же чудесное превращеніе, которое в 1917 году из маленькой кучки эмигрантов сдѣлало полновластное правительство величайшаго государства в мірѣ.

В моральном отношеніи Сталин и Троцкій стоили одинъ другого; оба залиты кровью одинаково густо¹⁾. Но **незачѣм**

¹⁾ В пору диктатуры Ленина, повидимому, именно Троцкій толкал совѣтское правительство на самыя жестокия и свирѣпыя меры. На это есть нераскрытый намек в одной из рѣчей Сталина (от 19 ноября 1924 года). Выступая против Троцкого, Сталин сказал: «Партія знает Ленина как прямолинейнаго революціонера. Но она знает также, что Ленин был осторожен, обострителей не любил и нерѣдко твердой рукой сдерживал чрезмѣрных террористов, в том числѣ и самого тов. Троцкого. Тов. Троцкій говорит об этом предметѣ в своей книгѣ о Ленинѣ. Но из его характеристики слѣдует, будто Ленин при всяком подходящем случаѣ провозглашал необходимость террора. Создается впечатленіе, будто Ленин был кровожаднѣйшим из всѣх кровожадных большевиков. Зачѣм понадобилось тов. Троцкому это ненужное и ни на чем не основанное сгущеніе красок?» Сталин, конечно, знал, зачѣм это «сгущеніе красок» понадобилось Троцкому. Правда, если в интересах Троцкого было взвалить главную отвѣтственность за «крайности террора» на Ленина, то в интересах Сталина было перенести ее на Троцкого. Однако должно помнить, что в ту пору, в 1924 году, Сталин еще не был полным хозяином совѣтскаго государства, коммунистической

отрицать, оба они люди идейные. Скажу больше: оба они в сущности стремились к одному и тому же: в общем масштабъ — к мировой революціи, в личном масштабъ — каждый к посту вождя и диктатора мировой революціи. Поэтому они стали друг другу конкуррентами со дня смерти или тяжелой болѣзни Ленина, который обоих их устранил, будучи кандидатом первым, единственным и общепризнанным. Глухая, потом открытая борьба за мѣсто «Ильича», началась, вѣроятно, в тот самый день, когда его разбил удар. На первое мѣсто в русской революціи могли в 1924 году выдвинуться только Сталин или Троцкій, как наиболѣе выдающіеся или, вѣрнѣе, единственные выдающіеся люди в партіи. Борьба кончилась побѣдой Сталина.

С 1939 года открывалась возможность второго раунда: борьбы за первое мѣсто в революціи общеевропейской. И опять таки других кандидатов, кромѣ них двоих, не было: в составъ коммунистических партій всѣх стран Европы нѣт людей, приближающихся по рангу, тѣм болѣе по извѣстности, к Сталину или Троцкому. В этом втором раундѣ шансы Сталина были, конечно, гораздо больше, потому, что в его руках находятся гигантскій государственный аппарат, армія и казна Россіи. Но и у Троцкаго были преимущества, которых Сталин не имѣл. Его краснорѣчіе, его знаніе иностранных языков, его лучшее знакомство с Европой, его «ореол» создавали нѣкоторые шансы и для главы ІУ Интернаціонала. В виду вновь открывшихся в 1939 году перспектив, имѣло смысл отдѣлаться от такого конкуррента. Фактических препятствій для этого было почти так же мало, как преград моральных или идейных.

Должен с сожалѣніем сказать, что нѣкоторые прогнозы Троцкаго отнюдь нельзя считать нелѣпыми и невозможными. Однако, при крайнем своем догматизмѣ, он все облекал в самоувѣренныя формулы, упрощающіе сложную истину и выдающія за правду — правдоподобную возможность. Допускаю, что и это сыграло нѣкоторую, хотя бы маленькую, роль в его смерти. Нисколько не будучи начетчиком, Сталин все же прошел ту же школу, что Троцкій, и сам немного начетчикам вѣрит. Между тѣм в партіи старых колдунов начетничества больше не осталось: всѣ они лежат в урнах крем-

партіи и печати. Он не рѣшился бы выступить с подобным утверженіем, еслибы не имѣл доказательств и свидѣтелей: ложное, голословное утверженіе Троцкій тогда мог бы еще опровергнуть публично. Он подчеркнутых мною слов Сталина не опроверг.

левской стѣны или в общей могилѣ казненных. Быть может, в Москвѣ не без нѣкотораго суевѣрія прислушивались к вѣщаніям послѣдняго колдуна: хоть враг, а это дѣло смыслит. Троцкій догматически-увѣренно говорил о неизбѣжности побѣды троцкизма, клялся всѣми святыми (вѣдь святые были общіе), что троцкизм восторжествует на будущей недѣлѣ. Что если Троцкій сам напугал Сталина? Что если в Москвѣ повѣрили — и сдѣлали свои выводы: не лучше ли раз навсегда от него освободиться?

Все остальное было дѣлом техники и техников.

М. Алданов.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

За тѣ полтора года, которые прошли со времени французской катастрофы, умерло много выдающихся русских людей. Отсутствие в Европѣ русской печати не дало возможности откликнуться на их смерть. О них не было там не только некрологов, но даже траурных объявленій. Теперь, нѣсколько запоздало, мы считаем печальным долгом помянуть их хотя бы кратким словом.

Один из замѣчательных русских людей ушел из жизни в лицѣ Вадима Викторовича Руднева, скончавшагося 19 ноября 1940 года на югѣ Франціи, в По, от операціи рака. Покойный был врач по образованію, но никогда не занимался практикой и работал только в области земско-городской медицины, да в качествѣ военного врача в прошлую войну. Жизнь свою он отдавал другому: борьбѣ за свободу, служенію народу, общественности. Таков был путь многих интеллигентов его поколѣнія. Уже в юности он участвовал в студенческом движеніи, в извѣстном Союзѣ Землячеств, был исключен из университета, сослан. Очень скоро он присоединился к Партіи с.р. и всю жизнь был преданным и вѣрным ея членом. Но партія была для него не самоцѣлью, как для иных партійных людей, а только средством служенія Россіи: он был патриотом в лучшем значеніи этого слова.

Вадим Викторович родился 5 января 1879 г. в Воронежской губерніи, но почти вся его жизнь была связана с Москвой. Там он учился, там работал и боролся, не раз безстрашно глядя в глаза опасности и смерти. В 1905 году он состоял членом московскаго комитета Партіи и во время декабрьскаго вооруженнаго возстанія был ранен. В послѣдующіе годы он был членом Организационнаго Бюро и потом Центрального Комитета Партіи, был не раз арестован и провел много лѣт в якутской ссылкѣ. О том, как его цѣнили его товарищи, можно судить по тому факту, что нѣкоторые выдающіеся члены партіи намѣчали его на роль главнаго политическаго руководителя ея, способнаго об'единить различныя ея теченія. Послѣ февральской революціи В. В. был избран

городским головой любимого им города — Москвы и на этом посту проявил выдающіяся организаторскія и политическія способности. В своей политической дѣятельности он умѣл соединять разумную умѣренность и рѣдкую в русском дѣятелѣ склонность к практическим компромиссам с твердою убѣжденностью и преданностью идеалам свободы. Так же мужественно, как в 1905 году против самодержавія, сражался он в 1917-ом против новых, злѣйших врагов демократіи и свободы — большевиков. Политическим и военным центром защиты была Городская Дума и городской голова — Руднев. Большевики побѣдили. Однако сторонникам Временнаго Правительства, под его руководством, удалось добиться почетных условий капитуляціи, и всѣ они, начиная с него самого и до юнкеров, застѣвших в Александровском Училищѣ, были отпущены на свободу. Он вышел из зданія думы послѣдним. Нѣкоторое время Вадим Викторович продолжал жить в Москвѣ, руководя еще полу-легальной тогда борьбой с новым режимом. Он был избран в Учредительное Собрание и присутствовал на единственном его засѣданіи. Но в концѣ концов он вынужден был бѣжать сначала на юг, гдѣ он продолжал борьбу как член Союза Городов и Союза Возрожденія, а оттуда, когда всѣ возможности дѣятельности были исчерпаны — за границу, в Париж.

В годы эмиграціи В. В. Руднев отдал свои недюжинныя силы двум задачам: работѣ в Земско-Городском Союзѣ и изданію «Современных Записок». На обоих этих поприщах роль его была выдающейся и работа — непрерывной и энергичной. Всѣ эти годы он был членом Исполнительн. Комитета Земско-Городского Союза, являвшагося главной организацией культурной и матерьяльной помощи русским бѣженцам и их дѣтям, своеобразным Министерством труда, социальнаго обезпеченія и народнаго образованія эмиграціи.

Но ближе чѣм эту сторону его дѣятельности нам пришлось наблюдать работу Вадима Викторовича как редактора «Современных Записок». Он был с самого начала членом той группы, которая создала этот прекрасный журнал, вѣрный лучшим традиціям русских «толстых» журналов и не знавшій себя соперников на Западѣ. Главная его задача была охраненіе и развитіе русской культуры и объединеніе ея носителей в елином широком фронтѣ, и эта задача журналом выполнялась. Он много писал в нем, особенно внимательно слѣдя за Россікой и за русской современностью. Но главная его работа была не писательская. Роль его в руководствѣ журналом была велика, особенно в послѣдніе

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

годы, когда он был секретарем редакціи и дѣлал всю техническую и административную работу по журналу.

В. В. Руднев любил журнал исключительной и, можно сказать, ревнивой любовью и вкладывал в дѣло его редактированья всѣ свои душевныя силы. Эти силы были не малыя. В эмиграціи, в ея безвоздушном пространствѣ, пропорціи измѣняются и возможности ограничены. Всѣ силы, которыя в Россіи В. В. вкладывал бы, вѣроятно, в общественную дѣятельность большого масштаба, он отдавал веденію журнала. Не было труда, не было усилій, которых ему было бы жаль для него. Он лично переписывался со всѣми авторами, обмѣниваясь иногда по поводу какой либо статьи не одним, а цѣлым рядом писем. Когда выходила очередная книга, многіе авторы дѣлились с ним своими впечатлѣніями от нея (регулярно дѣлал это покойный А. А. Кизеветтер). Эти письма и отвѣты на них В. В. разрастались иногда до размѣров небольшой статьи. Он вкладывал порой в отвѣтки направленія, но внутри-редакціонные споры все то напряженіе, которое политическій дѣятель вкладывает в парламентскую борьбу и всю фанатическую страстность, которая издавна характерна для русской интеллигенціи.

Предыдущая дѣятельность В. В. не подготовила его для роли редактора большого журнала. Он получил типичное образованіе русскаго интеллигента его времени. Но будучи очень одаренным человѣком, он за границей чрезвычайно развил и свой вкус, и свое міропониманіе. Тѣ, кто работали с ним, удивлялись правильности его сужденій даже в области художественной литературы. Журнал, в особенности русскій журнал за рубежом, является как бы сосредоточіем многочисленных духовных теченій и флюидов. Вадим Викторович постепенно дѣлался центром этой духовной лабораторіи.

Французская катастрофа глубоко потрясла В.В. физически и душевно. Ему вмѣстѣ с женой пришлось пройти пѣшком больше 500 километров, порою спасаясь от обстрѣлов итменских аэропланов, и ночуя в открытом полѣ. Но еще тяжелѣе были душевныя разочарованія. В. В. был человѣком открытаго ума и духа и он видѣл, что тяжкіе удары поставили под сомнѣніе многое из того, что составляло содержаніе его жизни. Но он был глубоко религіозен и это давало ему духовныя силы пережить случившееся без все отравляющей горечи. Он оставался чужд и рѣзкаго осужденія Франціи и французскаго народа, которые он продолжал глубоко любить. В. В. один из первых получил политическую визу в Америку, но колебался ѣхать ли? Он мечтал о том, чтобы на время за-

рыться в глухой деревнѣ, затеряться в ней и отдаться работѣ над книгой о Москвѣ в дни октябрьскаго переворота по личным воспоминаніям и матеріалам, которые он сумѣл собрать и сохранить. Судьба не позволила ему осуществить это намѣреніе, которое никто другой не сможет выполнить так, как сдѣлал бы это он. Вадим Викторович тяжело заболѣл.

Непоколебимая православная вѣра облегчила ему тяжелыя страданія послѣдних недѣль. Когда он узнал, что ему предстоит операція, он принял это извѣстіе спокойно и мужественно, но ни минуты не вѣрил в возможность своего выздоровленія. Он был полон только заботы о женѣ, вѣрной подругѣ всей его жизни, и о том, чтобы оставить в образцовом порядкѣ свои литературныя и общественныя дѣла. Проявляясь с жизнью, он подолгу сидѣл в паркѣ, любовался Пиренеями в послѣдніе теплые дни южной осени.

Таких людей единаго устремленія и непрестаннаго общественнаго служенія уже немного осталось в жизни и убыль каждаго невознаградимая потеря. Выдающаяся личность Вадима Викторовича не забудется в исторіи русской общественности.

Большія потери выпали на долю «Послѣдних Новостей». Газета П. Н. Милюкова и сама прекратила существованіе. Историк эмиграціи должен будет постоянно обращаться к этой газетѣ, просуществовавшей двадцать лѣтъ: ея комплекты так или иначе сохраняются (есть они и в Соединенных Штатах). Во Франціи не раз (порою от французов, владѣвших русским языком) приходилось слышать мнѣніе, что «Послѣднія Новости» — интереснѣйшая из всѣх выпускавшихся во Франціи газет, за исключеніем «Тан». Трудно сравнивать русскую печать с французской. Но не подлежит сомнѣнію, что «Послѣднія Новости», с разными присущими им недостатками, были газетой превосходной. Это и не могло быть иначе, если принять во вниманіе личность их редактора и подбор постоянных сотрудников. Можно только надѣяться, что «Послѣднія Новости» исчезли не навсегда и снова будут выходить в том же городѣ, под редакціей того же знаменитаго политическаго дѣятеля. Но в их «экипѣ» уже не окажется нѣскольких человек. Нѣтъ больше Н. В. Калишевича, С. Г. Сумскаго, кн. В. В. Барятинскаго.

Николай Викторович Калишевич, писавшій обычно под псевдонимом Словцова, был одним из самых дѣятельных сотрудников газеты. Он регулярно давал два раза в недѣлю длинные фельетоны о новых русских и иностранных книгах

(преимущественно исторических); писал он и небольшія статьи, отчеты о выставках, рецензіи. Довольно часто он выполнял очень трудную и отвѣтственную работу секретаря редакціи, замѣняя на этом посту А. А. Полякова, нерѣдко бывал и «выпускающим», что сопряжено было с работой до трех часов ночи. Всякую работу он выполнял с необыкновенной добросовѣстностью, но особенно любил труд, связанный с писаніемъ статей. Для него было истиннымъ наслажденіемъ прочесть новую, хорошую книгу, извлечь самое важное, рассказать о немъ читателямъ, высказать в концѣ свое мнѣніе (всегда в скромной формѣ). Это былъ человекъ, влюбленный в книгу и в культуру. Он вездѣ бывал, не пропускалъ ни одной выставки, ни одного интереснаго спектакля, отлично знал — и обожал — старый Париж, в пору своихъ отпусковъ ѣздил по Франціи, изучалъ разные ея города и восхищался: «сплошной музей!» Вѣроятно, такъ же, с еще большей любовью и усердіемъ, он изучалъ Москву и Петербург. Родился он в югозападной Россіи, в семьѣ малороссійскаго происхожденія, но родными городами для него были обѣ столицы: в нихъ прошла большая часть его жизни.

Журналист он былъ превосходный, хоть новшества в газетномъ дѣлѣ не любил. Главной его школой, послѣ кievскихъ газетъ, было «Русское Слово». Какъ всѣ сотрудники прославленной московской газеты, он восторгался ея мощью и размахомъ: редакторъ Дорошевичъ читалъ статьи т о л ь к о в набранномъ видѣ, — для него все набиралось, а он потомъ неподходящее бросалъ в корзину; сотни тысячъ золотыхъ рублей тратились на телеграммы собственныхъ корреспондентовъ, при чемъ половина тоже бросалась в корзину; тиражъ перевалилъ черезъ миллионъ и т. д. Быть можетъ, по характеру Николая Викторовича, ему из до-революціонныхъ газетъ больше подходили «Русскія Вѣдомости»: тамъ писали близкіе ему по духу люди, не гонявшіеся за новшествами, не признававшіе аршинныхъ заголовковъ, писали солидно, спокойно, безъ рѣзкостей. Н. В. былъ человекомъ довольно либеральныхъ взглядовъ, но, кажется, взгляды редакціи «Послѣднихъ Новостей» были для него слишкомъ либеральны. В группѣ ближайшихъ сотрудниковъ газеты онъ былъ самымъ «правымъ». Онъ никогда ни в какой партіи не состоялъ, ни до революціи, ни послѣ нея. Сочувствовалъ, должно быть, правымъ кадетамъ или людямъ, тѣсно примыкавшимъ справа къ партіи Народной свободы, какъ, напримѣръ, М. М. Ковалевскій, котораго онъ чрезвычайно почитал. Н. В. очень любилъ Францію, однако безпрестанная смѣна кабинетовъ, Народный фронтъ и скандалы послѣднихъ лѣтъ вызывали у него ироническое раздраженіе, —

он был человек насмѣшливый. Нѣмцев он терпѣть не мог, еще с прошлой войны, вѣроятно больше всего за «пломбированный вагон». Патриотическое чувство у него было очень развито. Когда И. А. Бунину (котораго он лично знал очень мало) была присуждена Нобелевская литературная премія, Н. В. сиял: «В первый раз присудили эту премію русскому писателю». Это для него было большой радостью.

Он страстно любил жизнь, старался и умѣл «take it easy», никогда и нигдѣ не скучал, — «помилуйте, столько интереснаго!» Новый городок в Провансѣ, еще невиданный музей, церковь двѣнадцатаго столѣтія, только что вышедшая книга «Современныхъ Записокъ» или «Русскихъ Записокъ», — стыдно скучать! Как для настоящаго журналиста-профессионала, для него радость увеличивалась оттого, что вѣдь обо всем этом можно написать интересный фельетон. В книжный магазин он приходил как гастроном в Милютины Лавки. Кстати сказать, он был гастрономом и в настоящем смыслѣ слова: любил хорошіе рестораны, дорогіе вина, не жалѣл на это денег и за столом становился особенно мил, добродушен и весел. Но и тогда разговаривал о книгах, о своих путешествіях, об Ермоловой и Савиной, о первой постановкѣ «Царя Федора Ивановича», о «Русскомъ Словѣ». Тоже как полагается настоящим журналистам, поругивал газету, в которой писал, и газетное дѣло вообще, но не промѣнялъ бы, без сомнѣнія, своей профессіи и своихъ занятій в «Послѣднихъ Новостяхъ» ни на что другое.

Н. В. Калишевич был человек еще не старый. Тучность его и апоплексическая шея вызывали порою безпокойство у друзей. — «Отчего бы не измѣрить давленіе крови? Вѣдь теперь легко понизить». Он упорно отказывался и так до послѣдняго дня давленія крови не измѣрил: — «Зачѣм? Посадят на режим, а я этого терпѣть не могу. И если буду знать, что давленіе высокое, буду волноваться. Лучше и не выяснять: умру так умру». Никто из близко знавших его людей не подозрѣвал, что у него тяжелая форма діабета. Не подозрѣвал, вѣрно, и он сам; никогда к врачам не обращался. До послѣдняго года своей жизни он работал так, как всегда, т. е. очень много. Каждую недѣлю прочитывал двѣ книги для статей (не считая книг, которыя читал помимо этого), так же много писал, так же посѣщал выставки, так же рылся в книжныхъ магазинах.

11 іюня прошлаго года появился послѣдній номер «Послѣднихъ Новостей» (нѣмцы вошли в Париж 13 іюня). Н. В. Калишевич этот номер и выпустил. Надо думать, это был

самый ужасный день в его жизни. Ужасны были событія. Не лучше были и личныя перспективы. Ему не грозила нищета: он много зарабатывал в газетѣ, не проживал своего дохода, и за двадцать лѣт труда набрались сбереженія. Но какова могла быть для Николая Викторовича жизнь без газетной работы, без ежедневных часов в редакціи, без диктовки очередного фельетона, без новых книг? Вполнѣ возможно, что событія его и погубили. Он вел себя при нѣмцах в высшей степени достойно, как и можно было ждать от этого достойнаго человѣка. Письма его к товарищам по газетѣ, уѣхавшим в «свободную зону», были спокойны, дѣловиты, полны «информации». Но в эту «свободную зону» доходили слухи, что Н. В. сразу сдал, выбившись из колен, и одряхлѣл, что по нѣмецкому Парижу бродит его тѣнь. На почвѣ діабета вдруг образовалась гангрена. Пришлось отрѣзать ногу. Он был в сознаніи и дал согласіе на ампутацію, — легко себѣ представить, чего стоило такое согласіе этому жизнерадостному человѣку, и что он пережил. Операция не помогла. Н. В. скончался.

К «штату» «Послѣднихъ Новостей» принадлежал и Соломон Гитманович Сумскій-Каплун. Он был одним из завѣдующих хроникой, но дѣлал в газетѣ и разную другую работу. Это был тоже старый опытный журналист, долго работавшій в «Кіевской Мысли», а послѣ революціи в «Дняхъ». В молодости он был дѣятельным членом социал-демократической партіи (меньшевиком) и, кажется, до послѣднихъ дней причислял себя к марксистам, хотя давно отказался от партійной работы и относился к ней скептически. Со словами «марксист», «меньшевик» почему-то связывается понятіе о чем-то сухом, опредѣленном, уравнившемся. С. Г. был прямой противоположностью всему этому. Вся его жизни была сложной, трудной и порою трагической: были в ней и попытка самоубійства, и самоубійство близкой ему женщины, и многое другое, о чем он почти никому не говорил. Это был очень замкнутый человѣкъ. Близкими к нему людьми были никак не его партійные товарищи и не товарищи по газетѣ. Одно время самым близким человѣком он считал Андрея Бѣлаго, — казалось бы, ничего общаго между ними быть не могло. Был он также, в теченіе многих лѣт, связан тѣсно с В. Ф. Ходасевичем. С. Г. был человѣкъ небогатый, но, по случайности, в берлинскій період его жизни у него оказались деньги, и он их очень скоро истратил на изданіе книг Бѣлаго, на помощь ему,

на журнал «Бесѣду», виходившій в 1923 году в Берлинѣ при участіи Горькаго, Бѣлаго и Ходасевича.

Писал С. Г. Сумскій в «Послѣдних Новостях» за своей подписью мало. Изрѣдка помѣщал фельетоны; в послѣдній год жизни, кажется, написал лишь нѣсколько статей, в частности о своих впечатлѣніях рыболова, — он вдруг пристрастился к рыбной ловлѣ и мѣсяца три подряд только о ней говорил, только мыслями о ней и жил, тратил всѣ деньги на замысловатыя, дорогія удочки и приборы. Затѣм охладѣл и к этому. Мѣсяца за три-четыре до французской катастрофы он вдруг стал писать воспоминанія — и писал их днем и ночью, отдавая им все время, свободное от газетной работы. Кончена ли эта рукопись и гдѣ она теперь находится, нам неизвѣстно. Будет крайне досадно, если она пропала: С. Г. немало видѣл на своем вѣку, в молодости он хорошо знал Ленина и Троцкаго (черта характерная для будущаго диктатора: Ленин часами убѣждал Сумскаго, тогда еще юношу, уйти от меньшевиков к большевикам!). Вѣроятно, большая часть воспоминаній С. Г-ча относилась к Бѣлому, котораго он так любил, к «Бесѣдѣ», к «Эпохѣ». У него должны были быть и интересныя письма. Писал он просто и правдиво.

С. Г. Сумскій был уже нѣсколько лѣтъ болен тяжелой, неизлечимой болѣзью, грудной жабой; у него весьма часто бывали припадки, иногда по 5-6 раз в сутки, и спасался он исключительно пилюлями тринитротолуола, которая всегда носил при себѣ. Врачи совѣтовали ему «не волноваться». Настали юнѣскіе дни 1940 года. Как социалист, сотрудник «Послѣдних Новостей», еврей, он подвергался несомнѣнной опасности. Надо было спѣшно бѣжать из Парижа. Больному небогатуму человѣку в условіях тѣх дней это было весьма нелегко. В послѣдніе годы С. Г. жил в небольшой гостинницѣ, принадлежавшей англичанину и населенной главным образом англичанами и англичанками: ее почему-то облюбовали англійскіе журналисты, сотрудники парижскаго «Дэйли Мэйль» и парижскіе корреспонденты лондонских газет. С. Г. не знал англійскаго языка, да и по французски об'яснялся не вполне свободно. Тѣм не менѣе всѣ эти англичане (в большинствѣ люди гораздо моложе его) были с ним в самой тѣсной дружбѣ: во время обостреній его болѣзни, они проводили у его постели часы, всячески его развлекали, приносили ему подарки, дѣлились с ним своими секретами, — он знал всѣ их дѣла! Так же к нему относился и весь франко-англійскій персонал гостинницы. Эти же люди его и вывезли из Парижа: н а к а н у н ѣ вступленія нѣмцев, каким-то чудом достали для него

автомобиль, усадили его и отправили в Бретань, гдѣ жила в глухой деревнѣ мать служащей отеля. Однако в пути (продолжавшемся почти двѣ недѣли) автомобиль обогнали нѣмецкія моторизованныя части. Бретань была занята почти одновременно со столицей. С. Г. вернулся в Париж. Повидимому, исполнить предписаніе врачей в эти мѣсяцы ему не удалось: он «волновался». Через нѣкоторое время он скончался от очередного припадка грудной жабы, — если не ошибаемся, в этой же гостинницѣ, ночью.

Князь Владимір Владимірович Бярятинскій не был постоянным сотрудником «Послѣднихъ Новостей». Он помѣщал в газетѣ свои рассказы, очерки, воспоминанія, — порою печатался часто, порою очень рѣдко. Он был один из старѣйших русских литераторов, но по рожденію и воспитанію относился к кругу, из котораго рѣдко выходят литераторы, да еще сотрудничающіе в лѣвых газетах. Семья Бярятинскихъ, происходящая (в 22-ом колѣнѣ) от св. Михаила Черниговскаго, одна из знатнѣйших среди Рюриковичей. Владимір Владимірович был внуком генерал-фельдмаршала, намѣстника Кавказа, князя А. И. Бярятинскаго. Он воспитывался в тѣсной дружбѣ с дѣтьми Александра III, окончил морское училище, служил нѣкоторое время в гвардейском экипажѣ, однако скоро навсегда оставил службу. Печататься он начал в 1896 году в «С. Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», затѣм перешел в другія изданія, писал (часто под псевдонимом «Baron On dit») сатирическіе очерки из великосвѣтской жизни, небольшіе рассказы и статьи о театрѣ.

Кн. Бярятинскій принадлежал к людям, о которых, скорѣе в похвалу, чѣм в укор, говорят, что они «навсегда театром отравлены». Начал он с переводов французскихъ пьес. Двѣ из них, «Изеиль» и «Гризельда» Армана Сильвестра, были поставлены в его переводѣ на сценѣ литературно-художественнаго кружка. За ними послѣдовали пьесы оригинальныя, — то историческія: «В дни Петра», «Свѣтлый Царь», то современныя: «Перебаты», «Карьера Наблоскаго», «Послѣдній Иванов», «Пляска жизни». Онѣ имѣли шумный успѣх, отчасти, быть может, из за того, что автор, принадлежавшій к высшей аристократіи, проводил в них демократическія идеи, но главным образом, конечно, благодаря своимъ сценическимъ и литературнымъ достоинствамъ. «Пляска жизни» прошла болѣе ста раз на сценѣ «Новаго Театра», которымъ руководил автор и Л. Б. Яворская, бывшая тогда его женой. В 1899 году В. В. Бярятинскій стал издавать газету либеральнаго направленія

«Съверный Курьер». Он печатал в ней статьи на общественно-политическія темы, вышедшія и отдѣльной книгой под заглавіем «Мысли и Замѣтки». Газета просуществовала недолго: вскорѣ была запрещена, несмотря на связи В. В-ча с двором или, точнѣе, с дворцом. К политикѣ впрочем душа у В. В-ча не лежала.

В эмиграціи он оказался уже немолодым человѣком, без средств. Жил сначала в Берлинѣ, потом в Парижѣ. В западной Европѣ у него оставались и свѣтскія связи, и литературныя: задолго до революціи он помѣщал в «Nouvelle Revue» свои переводы русских поэтов на французскій языкъ, — он вообще любил переводить, переводил и Шекспира. Но этих связей не хватало для того, чтобы наладить жизнь. Он никогда не жаловался, был всегда со всѣми ровен и любезен, разговаривал о своих дѣлах и занятіях почти неизмѣнно в веселом тонѣ: ну что-ж, пожил иначе, теперь живу так, не все ли равно? Однако в нем чувствовалась усталость. Кажется, в эмиграціи он не написал ничего значительнаго, — только небольшіе рассказы и воспоминанія о придворной жизни, о старом Петербургѣ. Люди, его знавшіе, цѣнили и талантливую натуру, и неизмѣнное безупречное джентльменство этого стараго барина. Умер он — в обстоятельствах нам неизвѣстных, — шестидесяти семи лѣтъ отроду.

Скончался в Парижѣ и профессор Николай Карлович Кульман, извѣстный русскій языковѣд и историк литературы. Он носил нѣмецкую фамилію, но принадлежал к семьѣ, переселившейся в Россію еще в семнадцатом вѣкѣ. Родство связывало его с мистиком Квириком Кульманом, автором «Прохладительнаго Псалтыря» («Kühl-Psalt»), сожженным в московском срубѣ в 1689 году за ересь, за предсказыванье «близкаго паденія Вавилона» и наступленія «іезулитскаго царства». У Н. К. Кульмана было много специальных работ, о которых должны судить специалисты. Очень большой популярностью пользовалась его прекрасная русская грамматика. Он имѣл репутацію отличнаго лектора, читал лекціи по русскому языку в Сорбоннѣ и дѣйствительно читал очень хорошо. В первые годы эмиграціи он занимался политической дѣятельностью, принадлежа к умѣренно-консервативному лагерю; потом фактически от политики почти отошел, был занят ученой и преподавательской работой, готовил труд о Бѣлинском. Это был очень добрый, хорошій, расположенный к людям человѣкъ, образец радушія и гостепримства. В Парижѣ у Николая Карловича и у жены его Натальи Ивановны

был «салон», хотя иностранное слово это к этим людям, русским из русских, не вполне применимо, — правильнее было бы сказать: открытый дом в старом петербургском или московском смысле. За их столом часто собирались их друзья; преимущественно это были писатели, но их известность никакого значения для хозяина не имела: он был совершенно чужд какого бы то ни было вида снобизма. Он просто любил Тэффи, Бунина, Зайцева, Шмелева, любил их творчество, любил их самих, и ему особенно приятно было устроить для них обед или ужин (всегда обильный и отличный), поговорить о прошлом, о настоящем, о чем угодно, — и особенно о книгах: Н. К. так же любил книги, как Н. В. Калишевич. Вечера на улице Буссенко сохраняются в памяти людей, посещавших этот милый дом.

Н. К. Кульман несколько лет тому назад тяжело заболел: врачи поставили страшный диагноз — рак глаза — и произвели операцию. Она оказалась сравнительно удачной. Н. К. оправился и продолжал работу, продолжал всем интересоваться, продолжал ездить на рыбную ловлю, — он был страстный рыболов, не случайный «днлеттант», как С. Г. Сумский, а человек Аксаковского типа. Однако болезнь и операция отразились на нем тяжело: все-таки это был уже не прежний человек. Умер он, по слухам, от последствий той же болезни; но больше подробных сведений об этом у нас пока нет.

В Ницце скончался на 75-ом году жизни знаменитый адвокат Оскар Осипович Грузенберг. Он родился в 1866 году, окончил курс в Киевском университете, переехал в Петербург и, хотя очень долго оставался (как еврей) помощником присяжного поверенного, очень скоро выдвинулся в первый ряд российской адвокатуры. Он обладал большим ораторским талантом, страстным темпераментом, исключительными познаниями в своей области, считался чуть ли не лучшим знатоком сенатских решений. О. О. был одним из редакторов уголовного отдела в журнале «Право» и завывал отделом уголовного суда в «Журнале С. Петербургского Юридического Общества». Он участвовал в многих громких процессах, защищал Горького, В. Г. Короленко, П. Н. Милюкова, выступал по делу о Выборжском воззвании, по делу Совета рабочих и солдатских депутатов (в пору первой революции 1905 года), был защитником Блондеса, Дашевского (студента, покушавшагося на жизнь Крушевана), вместе с В. А. Маклаковым, А. С. Зарудным, Н. П. Карабчевским и Д. Н. Григоровичем-Барским защищал в Киеве Бейлиса. Его специальностью были именно поли-

тически или связанные с политикой дѣла, составившія ему всероссійскую извѣстность и отвѣчавшія его страстному темпераменту. Этот темперамент и радикальные взгляды О. О. Грузенберга не мѣшали ему в защитительных рѣчах сохранять осторожность в интересах подзащитных, для спасенія которых он дѣлал всегда все что мог, с почти неизмѣнным успѣхом. Судьи, в частности военные, очень с ним и с его аргументацией считались.

Адвокат он был замѣчательный и в высшей степени добросовѣстный. О Плевако, о Моро-Джафери говорят, будто они никогда дѣл не изучали и почти всегда или во всяком случаѣ часто выступали «по наитію» (что, должно быть, очень преувеличено). О. О. Грузенберг дѣла своих подзащитных знал всегда досконально, во всѣх мелочах. Он умѣл, разумѣется, говорить и экспромптом, но считая это совершенно недопустимым в отношеніи подсудимаго и судей, долго готовился к защитительным рѣчам. Едва ли он мог бы имѣть в парламентѣ такой же успѣх, как в судѣ: не имѣли успѣха в парламентѣ тѣ же Моро-Джафери и Плевако; в Россіи равным успѣхом на обоих поприщах пользовался, кажется, один В. А. Маклаков. Но нѣкоторыя судебныя рѣчи О. О-ча, как, напримѣр, его рѣчь по дѣлу Бейлиса, несомнѣнно будут цитироваться, как образцовыя, в книгах по исторіи русской адвокатуры.

Послѣ февральской революціи О. О. Грузенберг был назначен сенатором. Он был также избран в Учредительное Собраніе. Когда большевики пришли к власти, он оставил Петербург, уѣхал в Одессу, затѣм в Тифлис, надолго обосновался в Ригѣ, гдѣ имѣл немалый успѣх как юрисконсульт, знаток русских законов и тонкій практик. Позднѣе он переѣхал во Францію, на Ривьеру. Здоровье его стало славать.

В Ниццѣ он написал свои чрезвычайно интересныя воспоминанія. Они посвящены главным образом русскому суду, который он очень высоко ставил. В разговорах он высказывал мнѣніе, что русскій уголовный суд (да отчасти и политическій до Шегловитова) был самым безпристрастным и лучшим в мірѣ. «Русскіе судьи всегда были и а д прокурором и защитником, относясь к ним одинаково, тогда как во многих западных странах предсѣдатель на уголовном процессѣ ведет себя так, точно в его обязанность входит помощь обвинителю». Он часами мог говорить о судѣ, о своих подзащитных, о знаменитых дѣлах, по которым ему приходилось выступать, и говорил всегда интересно, порою блестяще. Интересовался он по прежнему и политикой, и литературой, вел переписку с

П. Н. Милюковым, с В. А. Маклаковым, с редакторами «Современных Записок». Писал юридическія статьи и очерки, очень много читал. В послѣдніе два года жизни он уже почти не выходил из дому, но у себя регулярно по субботам принимал ницских друзей и знакомых. В бесѣдах с ними до конца дней проявлял свои свойства, страстность, отходчивый гнѣв, твердую вѣру в постоянное и неизмѣнное торжество Права, если не правды.

Другого виднаго своего представителя петербургская адвокатура и русская общественно-политическая жизнь потеряли в лицѣ Леонтія Моисеевича Брамсона. Он был тремя годами моложе О. О. Грузенберга, вышел из той же приблизительно среды и тоже в молодости поселился в Петербургѣ, гдѣ и прошла большая часть его жизни. На его долю извѣстность выпала с 1905 года. Он принимал очень дѣятельное участіе в Союзѣ Союзов и стал членом первой Государственной Думы (от Ковенской губерніи). Л. М. был одним из основателей Трудовой группы, игравшей немалую роль во всѣх Думах. В 1917 году, как извѣстно, Трудовая группа слилась с Народно-соціалистической партіей в Трудовую народно-соціалистическую партію. Роль Л. М. Брамсона, как одного из самых видных дѣятелей Центрального комитета, стала особенно отвѣтственной. Он в партіи был крайним лѣвым, тогда как ея глава, предсѣдатель Центрального комитета, В. А. Мякотин занимал мѣсто на правом крылѣ. Во дворцѣ гр. Шереметева, нѣсколько комнат котораго были сданы владѣльцем партійному комитету народных соціалистов, беспрестанно происходили довольно жаркія стычки. Теперь это звучит не слишком серьезно, но в ту пору у партіи н. с. были четыре представителя в правительствѣ (А. В. Пѣшехонов, А. С. Зарудный, А. А. Титов, М. В. Бернштам), и от рѣшенія Центрального комитета завистло их отозваніе. Не жертвуя своими взглядами, Л. М. Брамсон проявлял недюжинный такт и дипломатическія способности в интересах сохраненія единства дѣйствій. Для себя он ничего не домогался, ни к какому посту не стремился и никакого поста не получил, хотя в его положеніи, при поддержкѣ партіи, это было не очень трудно (А. Ф. Керенскій относился к нему с большим уваженіем). Не всякій дѣятель 1917 года мог бы сказать о себѣ то же самое. Л. М. взял на себя самую неблагодарную работу: был представителем партіи в Исполнительном комитетѣ Петербургскаго Совѣта рабочих и солдатских депутатов. Если в Шереметевском дворцѣ он был самым лѣвым, то в Смольном Институтѣ, как представитель «так назы-

ваемых соціалістов» (или «немножко-соціалістов», — так иронически толковались партійные инициалы), он считался одіозным реакціонером. Роль была нелегкая и не слишком пріятная.

Послѣ октябрьскаго переворота Л. М. Брамсон работал в Союзѣ Возрожденія, затѣм уѣхал за границу и, хотя состоял членом Заграничнаго комитета н. с. партіи, фактически почти перестал заниматься политической работой, считая ее невозможной или не имѣющей значенія в условіях эмиграціи. У него было издавна и другое занятіе. Л. М. был одним из создателей еврейскаго «Общества ремесленнаго труда» (Орт). Он всецѣло ушел в работу в этой организаціи, главой которой состоял в теченіе долгих лѣтъ, до конца своей жизни. Умер он 72 лѣтъ отроду на югѣ Франціи.

Это был человекъ исключительных душевныхъ качествъ, созданный для общественной дѣятельности и страстно ее любившій. Не гоняясь за извѣстностью, чуждаясь рекламы, проявляя полное безкорыстіе, он работал буквально цѣлый день, а иногда и часть ночи. Л. М. не был оратором в настоящем смыслѣ слова, но был отличный полемист-діалектик. Это свойство он показал и на своем процессѣ в «Народномъ судѣ» в Петербургѣ. Большевики, чрезвычайно его не любившіе, передали его «народному суду» чуть ли не первым или одним из первых. Он сам себя защищал и защищал превосходно, с большим достоинством, безпрестанно переходя в наступленіе, в частности против травившаго его в печати большевика Стеклова. Писал Л. М. Брамсон мало и неохотно. Все же ему принадлежит ряд статей по еврейскому вопросу, а также брошюра «К исторіи трудовой партіи», выдержавшая в 1917 году два изданія.

В свободной области Франціи окончил свои дни, в началѣ восьмого десятка лѣтъ жизни, замѣчательный русскій художник Филипп Андреевич Малявин. Он был одним из любимыхъ учениковъ Рѣпина, — поскольку у этого послѣдняго вообще ученики были. Как извѣстно, из Рѣпинской школы вышли также Кустодіев, Сѣров, Сомов, но всѣ они, как и Малявин, пошли своей дорогой. Сам Рѣпин, со всѣми своими недостатками величайшій из русскихъ художников, на них прочнаго вліянія не оказал. Если не ошибаемся, он именно с Малявиным связывал главные свои надежды. По мнѣнію Игоря Грабаря, на «девятомъ періодѣ» Рѣпинскаго творчества даже отразилось вліяніе этого его ученика. Как бы то ни было, с именем Малявина отчасти была связана извѣстная размолвка Рѣпина с В. В. Стасовым.

Малявинскія полотна вызвали немало шума в самом концѣ прошлаго вѣка и в началѣ настоящаго. Послѣ «Вихря» на всѣ лады повторялись слова о «сверхнатурализмѣ» молодого художника, о «преодолѣнии реализма», и даже «о новой страницѣ в исторіи русской живописи». «Бабы» назывались «буйными великаншами русской земли», «апофеозом алаго хаоса» и т. д. Дѣйствительно Малявиным были достигнуты поражающіе красочные эффекты. Еще в год созданія «Міра Искусства», он, вмѣстѣ с Врубелем, Сомовым, Стрковым, Ал. Бенуа примкнулъ к Дягилевской группѣ, къ которой Рѣпин в началѣ относился съ сочувствіемъ, какъ почти ко всѣмъ начинаніямъ молодежи. Это сочувствіе едва ли пользовалось искренней взаимностью. Однако, никто, кажется, въ «Мірѣ Искусства» не отрицалъ всерьезъ громаднаго таланта Рѣпина. По разному расцѣнивалась его сюжетная живопись, и въ ней, конечно, были вещи разной цѣнности, от огромной до средней. Но знаменитые портреты Фофанова, баронессы Искуль фон-Гильдебрандт, графини Головиной, особенно изумительный портрет Мусоргскаго, писанный Рѣпинымъ в больницѣ, законченный за нѣсколько дней до кончины создателя «Бориса», споровъ не вызывали. Передъ этими и другими шедеврами всѣ склонялись. Ученики Рѣпина были естественно менѣе безспорны. В пору ихъ появленія еще шли споры на старую тему: «что» или «какъ»? Рѣпин писалъ о «Что есть истина?» Ге: «Какъ ч т о , это вещь весьма значительная, а какъ к а к , это хламъ». Мастерства «Бабъ» никто не отрицалъ, но сторонники «что» порою недоумѣвали.

Стасов, ненавидѣвшій все связанное съ Дягилевымъ, написалъ о молодомъ Малявинѣ одну изъ своихъ «коварныхъ» статей. Она въ сущности содержала въ себѣ разнос, но называлась она «Счастливое открытіе», и были въ ней похвалы. Къ собственному изумленію Стасова, Рѣпин счелъ статью лестной и написалъ автору благодарственное письмо: онъ очень старался «вывести въ люди» Малявина. Въ свое время эта исторія вызвала много разговоровъ въ художественныхъ кругахъ Петербурга. О Малявинѣ заговорили. Его поклонники связывали съ нимъ ожиданія, быть можетъ, все-таки, сбывшіяся не въ полной мѣрѣ. Сравнительно недавно художественные критики выражали надежду, что онъ скажетъ еще новое слово, такъ какъ природнаго таланта у него для этого больше, чѣмъ нужно: однимъ новымъ словомъ «Бабъ» французскій художникъ составилъ бы себѣ большое европейское имя.

Къ несчастью, составить себѣ европейское имя иностранный художникъ, не принадлежащій къ парижской школѣ

(вѣрнѣе, к парижским школам), не может. Основательно или нѣтъ, в Парижѣ считалось аксіомой, что все остальное в современной живописи просто не существует. И не приходится себя обманывать: не создали себѣ европейскаго имени ни Сѣров, ни даже сам Рѣпин: признанія Парижа у них не было, или, быть может, было равнодушное признаніе: «да, конечно, — но это нам не интересно»...

Малявин не процвѣл в эмиграціи. Как прошли послѣдніе годы и мѣсяцы его жизни, нам неизвѣстно. Едва ли в нынѣшней обстановкѣ могли быть отклики на его кончину в какой бы то ни было печати. Вѣроятно, эти краткія строки окажутся первым на нее откликом. Но историк русской живописи, навѣрное, признает, что лучшія вещи этого выдающагося художника были украшеніем русскаго искусства 20-го столѣтія.

Р е д

ЕВРОПА И ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС

“Europe and the German question” by F. W. FOERSTER
(Seed & Ward, New York, 1941).

Автор этой чрезвычайно интересной книги, Фридрих Вильгельм Ферстер — известный немецкий пацифист, выходец из старой прусской семьи. Отец его был знаменитый астроном, и сам он в течение многих лет был профессором философии в целом ряде университетов в Германии, Австрии и Швейцарии. Еще в 90 гг. прошлого столетия он прославил себя публичным протестом против какого-то манифеста Вильгельма II, за что присужден был к нескольким месяцам тюрьмы. Вследствие этого двери германских университетов были для него закрыты, и он вынужден был перебраться в Швейцарию, где занимал кафедру философии в Цюрихе. В 1912 году он получил кафедру в венском университете. За год до мировой войны он вернулся на родину и занял кафедру философии в Мюнхене.

С юных лет Ферстер был ярким противником прусского милитаризма и пан-германизма. В 1916 г. он в статье резко клеймил хищническую завоевательную политику Германии. Это вызвало против него сильнейшее негодование профессоров чуть ли не всей Германии; он вынужден был вновь эмигрировать в Швейцарию. Ферстер тогда уже был известен как автор книг по политическим наукам, философии, педагогике и социологии. Некоторые из его работ переведены на многие языки и имели значительный успех.

В Германию Ферстер опять вернулся лишь через несколько лет после окончания войны. После довольно продолжительной лекционной поездки по странам, он заявил, что дух прусского милитаризма не только не исчез в республиканской Германии, но, наоборот, с падением монархии еще более укрепился. Всюду, где Ферстер на собраниях упоминал лишь об ответственности Германии за войну, его прерывали криками негодования и даже открыто грозили убить. Он опять оставил Германию, побывал в Париже и Лондоне, беседовал там с разными государственными деятелями и влиятельнейшими представителями партий и предупреждал их, что Германия

вновь вооружается, что германскіе милитаристы и имперіалисты не сложили оружія, а, наоборот, усиленно готовятся к тому дню, когда будут в состояніи сначала свергнуть демократическое правительство, а потом, вооружившись, начать войну с цѣлью утверженія нѣмецкаго господства над всѣм міром. Никто из французских и англійских государственных дѣятелей не принял в серьезъ предупрежденій Ферстера. Он вновь поселился в Швейцаріи, гдѣ редактировал журнал «Menschheit» («Человѣчество»). В 1928 году, за пять лѣт до прихода Гитлера к власти нѣмецкіе милитаристы добились от республиканскаго правительства, чтобы газета Ферстера была запрещена в Германіи.

Первыя двѣ трети книги представляют собой обзор экономического, политическаго и духовнаго развитія нѣмецкаго народа за послѣднія сто лѣт. Автор подробно останавливается на возникновеніи и развитіи прусскаго милитаризма и на той роли, которую Германія играла в Европѣ в течение послѣдних 80 лѣт. В послѣдней части книги, написанной специально для англійскаго изданія, Ферстер показывает, как то, что случилось в послѣдніе годы, подтвердило все, что он предсказывал еще много лѣт тому назад.

Много мѣста в книгѣ Ферстера удѣлено вопросу о том, кто является главным виновником возникновенія предыдущей мировой войны. На эту тему, как извѣстно, написаны десятки книг на разных языках. На основаніи тщательнаго изученія главным образом официальных германских документов и мемуаров нѣмецких государственных дѣятелей и вождей германской арміи, Ферстер приходит к заключенію, что ни одно другое правительство в Европѣ, кромѣ германскаго, в 1914 г. не желало войны и что правящая клика Германіи сознательно войну спровоцировала. Ферстер цитирует переписку между начальником германскаго генеральнаго штаба фон Мольтке и начальником австро-венгерскаго генеральнаго штаба фон Гецендорфом, из которой ясно видно, что ультиматум, пред'явленный Австріей лѣтом 1914 г. Сербіи, был лишь предлогом для того, чтобы вызвать войну с Россіей. Еще за пять лѣт до убійства австрійскаго кронпринца в Сараевѣ, а именно, 21-го января 1909 г., Мольтке писал Гецендорфу: «Мое мнѣніе таково, что занятіе австрійцами Сербіи может повести к активному вмѣшательству Россіи, и это послужило бы основаніем для Германіи объявить войну Россіи». Через мѣсяц послѣ этого, 24-го февраля 1909 г., Мольтке пишет, что даже такое русское правительство, которое было бы принципиально против войны,

вынуждено было бы русским народом вмѣшаться, еслибы австрійцы заняли Сербію. Уже тогда Австрія пыталась спровоцировать войну на Балканах с цѣлью втянуть Россію в войну. Но, к величайшему огорченію германских милитаристов, русское правительство повліяло на Сербію, чтобы она удовлетворила австро-венгерскія требованія. Мольтке тогда писал Гецендорфу: «В этом частном письмѣ могу сказать, что я, как и Вы, огорчен тѣм, что пропущен такой удобный случай (начать войну — Д. Ш.), который, возможно, не повторится».

В іюль 1914 г., однако, такой случай вновь представился, и на этот раз германскіе милитаристы позаботились о том, чтоб он не был упущен. Они повліяли на австро-венгерское правительство, чтобы оно отправило Сербіи совершенно неприемлемый ультиматум. Граф Берхтольд, сейчас же послѣ отправки ультиматума, писал императору Францу-Иосифу: «Содержаніе ноты, которую мы сегодня рѣшили отправить Сербіи, таково, что мы должны считаться с возможностью войны. Если же Сербія, несмотря ни на что, все-таки уступила бы, то этим не только сербское королевство было бы чрезвычайно унижено, но и престижу Россіи на Балканах был бы нанесен роковой удар».

Еслибы союзники (Россія, Франція и Англія) в 1914 г. дѣйствительно хотѣли войны, — говорит Ферстер, — они посоветовали бы Сербіи держаться твердо и не отвѣчать на австрійскій документ. На самом дѣлѣ тогда Англія, Франція и Россія всѣми силами старались уладить конфликт между Австро-Венгріей и Сербіей. В промежуткѣ между 24 и 31 іюля англійскій министр иностранных дѣл сэр Эдуард Грей сдѣлал Австріи не менѣе восьми предложеній для мирнаго разрѣшенія конфликта. Французскій посол в Берлинѣ Камбон сдѣлал три таких предложенія; русскій министр иностранных дѣл Сазонов столько же. Сам Николай II телеграфировал Вильгельму: «В этот серьезный момент я прошу тебя помочь мнѣ... избѣжать такой катастрофы, как европейская война. Я прошу тебя во имя нашей старой дружбы сдѣлать все, что в твоей власти, дабы удержать твоего союзника, и не дать ему зайти слишком далеко».

Сам Вильгельм II вынужден был признать, что сербскій отвѣтъ на ультиматум удовлетворителен. Но германскіе милитаристы и крупные промышленники желали как можно скорѣе разрѣшить всѣ спорные вопросы Европы силою оружія, до того, как Россія и Франція будут готовы к войнѣ. 29-го іюня 1914 г. генерал Венингер, глава баварской арміи, сообщил из

Берлина своему правительству в Мюнхенѣ: «Военный министр вмѣстѣ с генеральным штабом оказывают давленіе, чтобы были приняты военныя мѣры в соотвѣтствіи с напряженным политическим положеніем и опасностью войны. Начальник Генеральнаго Штаба склонен идти еще дальше. Он употребляет все свое вліяніе для того, чтобы удобный момент для нанесенія рѣшительнаго удара не был упущен. Он указывает, что военное положеніе Франціи теперь очень тяжелое, что Россія далеко не сильна и это знает. Вдобавок, и время года теперь самое удобное. Большая часть урожая уже собрана, и обученіе рекрутов этого года уже закончено.»

Германское правительство и германофильскіе историки предыдущей войны старались внушить міру, что об'явленіе Германіей войны Россіи явилось отвѣтом на русскую мобилизацію. Ферстер же, на основаніи официальных германских и австрійских документов, устанавливает, что русская мобилизація была для нѣмцев только предлогом. Еслибы Россія мобилизаціи не об'явила, нѣмцы нашли бы другой повод начать войну. Не кто иной как германскій военный аташе в Петербургѣ на слѣдующій день послѣ об'явленія мобилизаціи в Россіи в донесеніи своему правительству писал: «Мое впечатлѣніе таково, что мобилизація продиктована страхом перед грядущими событіями, что она не преслѣдует агрессивных цѣлей и что они (русскіе правительственные круги, — Д. Ш.) сами испугались того, что сдѣлали».

Германское правительство скрыло от рейхстага донесеніе своего военного агента в Петербургѣ.

30 іюля 1914 г. Сазонов передал германскому послу в Петербургѣ ноту, в которой было сказано: «Если Австрія согласится с тѣм, что ея конфликт с Сербіей — дѣло, касающееся всей Европы, и заявит, что готова устранить из ультиматума требованія, несовмѣстимыя с правами Сербіи, как самостоятельнаго государства, то Россія обязуется приостановить мобилизацію».

Германское правительство предложенія Сазонова не приняло. И самым лучшим доказательством того, что оно сдѣлало это «с нечистой совѣстью», — говорит Ферстер, — является тот факт, что в «Бѣлой Книгѣ», выпущенной германским правительством, эта нота, как и телеграмма Николая II, в которой он просил передать конфликт на разрѣшеніе Гаагскаго Трибунала, не опубликованы.

Ферстер приводит слѣдующія знаменательныя слова из мемуаров адмирала фон Тирпица: Если нѣмецкій народ когда-нибудь узнает правду (о той войнѣ — Д. Ш.), то это будет

очень плохо». Но виновники войны и их защитники сдѣлали все возможное, чтобы не допустить, чтобы нѣмецкій народ узнал правду. Это им удалось.

Ферстер разбивает всѣ аргументы англійских и американских пацифистов, которые в течение 20 лѣтъ пытались представить Германію как глубоко обиженную страну, как жертву безжалостных имперіалистов Франціи и Англїи. Он, между прочим, приводит слѣдующій характерный разговор между французским послом в Берлинѣ Камбоном, и германским министром иностранных дѣл фон Яговым, происходившій накануне міровой войны:

«Могу ли я говорить с вами как человек с человеком?» — спросил Камбон. Фон Ягов согласился. Камбон тогда сказал: «Ваше твердое рѣшеніе начать теперь войну чрезвычайно неразумно. Вы ничего не можете выиграть, а потерять вы рискуете многое. Франція в состояніи защищаться гораздо лучше, чѣм вы думаете, и вы можете быть увѣрены, что Англія не совершит во второй раз той серьезной ошибки, которую она совершила в 1870 г., и не позволит побѣдить нас. Я один из десяти европейцев, наиболѣе знакомых с международным положеніем. Я убѣжден, что, как по матеріальным, так и по моральным соображеніям, Англія вынуждена будет вмѣшаться и что она без колебаній придет нам на помощь. Подумали ли вы о печальных результатах того, что вы собираетесь дѣлать? Вам придется одним, без единого союзника, за исключеніем насквозь прогнившей Имперїи (Австро-Венгріи — Д. Ш.) бороться со всей Европой».

Фон Ягов, выслушав своего собесѣдника с легкой ироніей, отвѣтил: «У вас ваши источники освѣдомленія. Мы имѣем свои собственные, и они рисуют нам совѣм другую картину. Мы абсолютно убѣждены, что Англія останется нейтральной».

Ферстер подробно описывает, как нѣмцы сознательно разрушили богатѣйшія части Франціи и как жестоко они обращались с бельгійским и с другими народами оккупированных ими стран. В 1918 г. один швейцарец в бесѣдѣ с видным представителем Германіи указал ему, что жестокость, проявленная нѣмцами во Франціи и в Бельгїи, вызывает глубокое возмущеніе во всем мірѣ. «Что вы сдѣлаете в том случаѣ, — спросил швейцарец, — если вы войну проиграете?» «Мы тогда во всем мірѣ организуем симпатію к нам», — отвѣтил нѣмец. Это нѣмцы с большим успѣхом и сдѣлали. «Их варварство — пишет Ферстер, — было разсчитано на гуманность других народов».

Ферстер устанавливает, что в 1917 г. Германія имѣла

полную возможность заключить почетный справедливый мир, но все немецкие партии, за исключением социалистов, и слышать не хотели о том, чтобы вернуть большую часть территорий, захваченных германской армией. В январе 1918 г. перед германским наступлением на западном фронте, президент Вильсон сделал последнюю попытку побудить Германию пойти на справедливый демократический мир. Германия на предложение Вильсона ответила грабительским Брест-Литовским миром. Послѣ Брест-Литовска версальский мир не мог быть «вильсоновским» миром. Вильсон, по мнению Ферстера, совершил роковую ошибку тем, что он в 1918 г., когда немцы отвергли его предложение о заключении демократического мира, не взял обратно свои 14 пунктов. Когда Германия была побеждена, Вильсон должен был сказать немцам: «Мои 14 пунктов больше не действительны. Теперь вы должны принять тот мир, который вы уготовили для других и который является единственным миром, доступным вашему пониманию». Немецкие националисты не могли бы тогда выступить с лживым обвинением по адресу Вильсона в том, что он нарушил обещание, и условия мира тогда соответствовали бы понятиям виновников войны. Версальский договор был одновременно и слишком суровым, и слишком мягким. Он был результатом компромисса между двумя противоположными течениями, представленными на мирной конференции. Вильсон представлял одно течение, Клемансо другое. Не победили ни тот, ни другой. В этом была слабость договора. Репарации, наложенные на Германию, были вполне справедливы, но с финансовой точки зрения не выполнимы. Кроме того, не были приняты надлежащие меры, чтобы Германия соблюдала договор. Победители, по словам Ферстера, не поняли, что «львов невозможно держать в бумажной клетке». Германия чуть ли не тотчас послѣ подписания мира начала вооружаться; одновременно ее агенты в других странах повели усиленную пропаганду разоружения. «Лиса проповѣдывала гусям, гуси вѣрили всему, что она говорила». Политика Лиги Наций привела к «разоружению полиции и вооружению бандитов». Этой страшной психологической ошибки до сих пор многие не поняли. Ферстер несогласен с теми, которые утверждают, что, если бы союзники пошли навстрѣчу требованиям демократической Германии, то немецкий народ не пошел бы за Гитлером. Так говорить могут, по его словам, только люди не знающие немецкого народа. Никакие уступки союзников демократической Германии не удовлетворили бы волчий аппетиты немецких националистов и не заставили бы их отказаться от своих ко-

нечных цѣлей. Германскіе націоналисты всѣх мастей твердо рѣшили рискнуть тоталитарной войной в надеждѣ достигнуть полнаго господства Германіи над Европой. Что в том, что большинство нѣмецкаго народа, по словам нѣмецких соціалистов, миролюбиво, если динамическое, вѣчно-безпокойное меньшинство всегда навязывает свою волю большинству? Нѣмецкій народ до того миролюбив, что никогда не оказывал ни малѣйшаго сопротивленія дурным пастырям. Приходится удивляться тому, — говорит Ферстер, — что люди до сих пор могут проводить рѣзкую грань между Гитлером и большинством нѣмецкаго народа; точно нѣмецкій народ имѣет привилегію совершать преступленія и потом возлагать отвѣтственность за них на своих бывших вождей.

Германскій вопрос может быть разрѣшен только тогда, когда военная мощь Германіи будет окончательно сокрушена, воинственное меньшинство нѣмецкаго народа разоружено, а вся Германія поставлена под строгій международный контроль, по крайней мѣрѣ, на ближайшія 20 лѣт. Побѣжденной и освобожденной от нацизма Германіи должна быть предоставлена полнѣйшая политическая и духовная свобода. Но Германія должна на ближайшія 20 лѣт быть лишена права политическаго самоопредѣленія. Только таким образом можно будет перевоспитать нѣмецкій народ и защитить мир. Ферстер вѣрующій католик. Он убѣжден, что германскій вопрос может быть разрѣшен только тогда, когда нѣмецкій народ вернется к истинному христіанству. «Нѣмецкій народ, — говорит он в заключеніе книги, — не может помириться с Европой до тѣх пор, пока не помирится с правдой».

Таково в общем содержаніе книги Ферстера. Не всѣ главы книги одинаково цѣнны. Историческая часть книги наиболѣе документирована и очень убѣдительна. Гераздо слабѣе тѣ главы, в которых автор пытается объяснить духовныя причины гитлеризма. С нѣкоторыми выводами автора, вѣроятно, не согласятся и многіе не-нѣмцы. Но в общем книга Ферстера одна из самых искренних и содержательных анти-нацистских книг, вышедших до сих пор на англійском языкѣ.

Д. Шуб.

БИБЛИОГРАФІЯ И ЗАМѢТКИ *)

Н. Н. СЕРГѢВСКІЙ. «Г и ш п а н с к а я з а т ѣ я». Историческій роман. Издательство «Русская книга в Америкѣ». Нью Йорк, 1941 год.

Н. Н. Сергѣевскій, автор романов, повѣстей и рассказов, печатавшихся в Россіи еще с 1898 года, и драматических произведеній, ставившихся в петербургских и московских театрах, выпустил в Соединенных Штатах свой новый роман. Это едва ли не первая книга, вышедшая в Америкѣ на русском языкѣ за послѣдніе два-три года, или во всяком случаѣ одна из очень немногих. К несчастью, высокій курс доллара, дороговизна американских типографій и бумаги, дѣлали всякую выходившую в Соединенных Штатах книгу почти недоступной европейским читателям, на которых в первую очередь приходилось рассчитывать русскому издателю. Теперь, пожалуй, можно сказать, что это затрудненіе отпало; к несчастью «отпал» весь европейскій рынок вообще. Издатели впредь должны рассчитывать почти исключительно на продажу в Америкѣ. Для пониженія стоимости книги «Русская Книга» напечатала «Гишпанскую затѣю» в Китаѣ, и, как указывает само издательство, технических несовершенств оказалось много (список опечаток занимает восемь страниц!). Но, разумѣется, в нынѣшних условіях издательство имѣет всѣ права на синсхождение. Больше того: его инициативу надо всячески привѣтствовать. При налаженной работѣ технических трудности отпадут.

Вполнѣ удачным надо признать и выбор первой книги. «Гишпанская затѣя» в высшей степени интересный и занимательный роман. Быть может, правильнѣе было бы отнести его к роду «biographie romanesque»: в книгѣ увлекательно рассказана жизнь дѣй-

*) Из за технических трудностей, связанных с выпуском первой книги журнала, не удалось включить в ея библиографической отдѣл рецензій о книгах Евг. Лайонса («Красная Декада»), Шайрера («Берлинскій Дневник»), В. В. Набокова («Подлинная жизнь Себастьяна Найта»), Хеммингвея, Л. А. Коварской («Родные писатели»), Анри Роллена и «The Russian Review». Эти рецензій появятся (с другими) во второй книгѣ.

Р е д .

ствительнаго камергера Н. П. Резанова, отправленнаго Александром I в качествѣ перваго русскаго посла в Японію, не добившагося пропуска в эту страну и совершившаго путешествіе в Калифорнію. Его странная, частью романтическія, приключенія уже дали в свое время тему для книги одной американской писательницы. Н. Н. Сергѣевскій основательно изучил не слишком богатую, но мало доступную историческую и мемуарную литературу, относящуюся к жизни и путешествію Резанова, и рассказал о них, как опытный романист, воспитавшійся на старых, хороших образцах. А так как тема необыкновенно интересна, то и от книги трудно оторваться. Написана она очень просто, без претензій, хорошим языком. Нѣсколько удивляет в стилистическом отношеніи двойственность приѣмов. С одной стороны, в тѣх главах книги, в которых дѣйствіе происходит в прежней, испанской Калифорніи, дѣйствующія лица вставляют в рѣчь много испанских слов (автор даже дал в концѣ книги перевод немалаго числа испанских выраженій). С другой же стороны разговоры невѣсты Резанова, испанки Кончи, с синьором Аргвеліо, ея отцом, автор передает чуть ли не языком пьес Островскаго: «Ну, дочка, спасибо. Уважила старика отца! За всю за нашу любовь вон какую тонкую арифметику подвела». Рядом с разными «*rarasito mio*», такія фразы производят странное впечатлѣніе. Правда, в подобных случаях вообще трудно найти удачный стилистическій выход. Но выход, избранный автором романа, тут признать удачным нельзя.

Книга Н. Н. Сергѣевского была в 1939 году принята редакціей «Современных Записок» и должна была печататься с прошлаго года. Из за французской катастрофы журнал прекратил существованіе. Автор выпустил «Гншпанскую Затѣю» в самых невыгодных по времени условіях. В нормальной обстановкѣ, в Россіи, его книга несомнѣнно имѣла бы немалый успѣх. Ея опыт покажет, может ли вообще теперь надѣяться на распространеніе интереснаго романа, выходящій на русскомъ языкѣ.

N.

WLADIMIR N. IPATIEFF Meeting Chicago Section, American Chemical Society, p. 139

Книга эта представляет собой отчет о чествованіи проф. В. Н. Ипатьева по случаю его юбилея. Знаменитый русскій химик теперь профессор Норвѣстернскаго университета, который пожаловал ему степень доктора honoris cause. Одновременно В. Н. Ипатьев состоит директоромъ отдѣла химическихъ изысканій при «Юниверсал Ойл Продактс Компани». Устроил его чествованіе чикагскій отдѣл Американскаго Химическаго Общества.

Как всѣмъ извѣстно, проф. Ипатьев имѣетъ за собой научную карьеру, совершенно исключительную по блеску. 20 лѣтъ отроду он окончил Михайловское артиллерійское училище, затѣм Михайловскую артиллерійскую академію, специализировался по химіи и стал профессором названной академіи. Его изслѣдованія в области органической химіи и катализа создали ему всероссійскую, затѣм міровую извѣстность. Академія Наукъ избрала его своимъ членомъ. Он имѣетъ степень доктора Страсбургскаго и Мюнхенскаго университетовъ, былъ избран членомъ Геттингенской Академіи, почетным членомъ германскаго химическаго общества и т. д. В пору войны 1914-18 годовъ онъ былъ назначенъ предсѣдателемъ Химическаго комитета и фактически руководилъ всей оборонной химической промышленностью Россіи; в этой области его заслуги такъ же велики, какъ в области чистой науки. Проф. Ипатьевъ получилъ малую и большую преміи имени Бутлерова, французскую медаль имени Бертелло, командорскій крестъ Почетнаго легіона. Послѣ революціи онъ основалъ Институтъ высокихъ давленій и какъ могъ служилъ и дальше русской наукѣ в создавшихся для нея новыхъ условіяхъ. Все-же условія эти оказались таковы, что проф. Ипатьевъ, выѣхавъ за границу, предпочелъ в СССР не возвращаться. Совѣтское правительство и, в частности, бывшій полпредъ Трояновскій, в свое время состоявшій слушателемъ В. Н. Ипатьева, всячески воздѣйствовали на знаменитаго ученаго, чтобы заставить его вернуться. Однако это имъ не удалось. В результатѣ проф. Ипатьевъ былъ исключенъ изъ Академіи и объявленъ измѣнникомъ. Надо думать, что именно теперь этотъ «измѣнникъ» могъ бы родниѣ пригодиться, какъ пригодился ей в 1915 году.

Чествованіе юбиляра сошло съ огромнымъ успѣхомъ, наглядно показавшимъ то уваженіе, какимъ онъ пользуется в ученомъ мірѣ. Поздравительныя телеграммы были получены со всѣхъ концовъ земли, от извѣстнѣйшихъ ученыхъ Америки и Европы, в том числѣ от прославленнаго французскаго химика Сабатье, Нобелевскаго лауреата, работавшаго в той же области катализа, что и проф. Ипатьевъ: ихъ имена в учебникахъ химіи постоянно сопровождаютъ друг друга (В. Н. Ипатьевъ началъ свои замѣчательныя изслѣдованія в этой области одновременно съ Сабатье).

В книгѣ приведены рѣчи выступавшихъ ораторовъ и отвѣтная рѣчь юбиляра, который нѣсколько лѣтъ тому назадъ пріѣхалъ в Америку, не говоря ни слова по англійски; онъ изучилъ этотъ языкъ, работая по вечерамъ дома, послѣ дня, проведеннаго в лабораторіи. Перегруженность научной работой не помѣшала профессору Ипатьеву заниматься и другими трудами. Онъ недавно закончилъ свою автобіографію, посвященную «неизвѣстному химику». Она появится в 1942 году на англійскомъ языкѣ.

Л.

БИБЛІОГРАФІЯ ІІ ЗАМЪТКИ

PAUL BIRDSALL "Versailles Twenty Years After".—Reynal & Hitchcock. 1941

DAVID LOTH "Woodrow Wilson. The Fifteenth Point".—Lippincott Company. 1941

Названныя книги интересны не только по злободневности сюжета: говоря о сравнительно отдаленном прошлом, онѣ задѣвают самые острые вопросы и чувства, волнующіе современников; онѣ интересны и как яркій показатель перемѣны общественных настроеній и оцѣнок в Соединенных Штатах. Лот привносит и новый, неопубликованный раньше матеріал — из переписки Вудро Вильсона, к которой автор получил доступ с разрѣшенія вдовы президента.

Почти два десятилѣтія признаком хорошаго тона и передовых идей считалась, и в Европѣ, и в Америкѣ, безоговорочная критика версальскаго договора и связанной с ним формально Лиги Націй. Научно-историческим обыкновением стало изяснять всѣ бѣды, обрушившіяся на человечество послѣ первой міровой войны, злополучным версальским миром; и обыкновением морально-политическим стало возлагать вину за неудачу и провал Лиги на главнаго ея идеолога и вдохновителя, президента Вильсона. С легкой руки англійских авторов, от экономиста Кейнса до дипломата Харольда Никольсона, — не говоря уже, конечно, о нѣмецких или большевистских публицистах, — установился своего рода штамп для изображенія «американскаго пророка», как прекраснодушнаго и краснорѣчнаго сектанта-проповѣдника, влюбленнаго в классическій англійскій парламентаризм по Бэдждоту, близорукаго и далекаго от реальности мечтателя.

Извѣстна бутуда Клемансо: «Что подѣлали бы вы, еслибы, как я, очутились между Иисусом Христом одесную и Иудой Искаріотом ошую?!» Приблизительно так же отзывался о Вильсонѣ и «Иуда Искаріот»-Ллойд Джордж: «когда Вильсон выдвинул Лигу Націй, он заявил, — у Христа была идея, но не было практической формы, я же, Вильсон, теперь изготовил окончательный план»... — Личная неприязнь и раздраженіе, которые питали взаимно друг к другу всѣ трое главных устроителей мира не совсѣм все же застили свѣтъ Ллойд Джорджу. И когда ему случилось проводить сравнительную оцѣнку, он замѣтил: «Клемансо вряд ли войдет в исторію как великій человек. Ему недоставало воображенія, и его взгляды были ограничены давлением непосредственных претензій Франціи... Вильсон болѣе крупный человек. У него было большое воображеніе. Он видѣл недопустимость длящихся международных раздоров» (См. «Интимный дневник» близкаго к Ллойд Джорджу лорда Ридделя за время 1918—1923 г.).

И это вѣрно! «Вильсонизм» оказался шире Вильсона и пережил

его. Неудача, постигшая дѣло Вудро Вильсона и преждевременно сведшая его в могилу, не сняла с очереди дня проблем, выдвинутых не им одним, но страстиѣе и энергичнѣе другихъ защищавшихся именно Вильсоном. И по сей день люди не перестают дѣлаться на лагери в зависимости от того, стоят ли они з а или п р о т и в «вильсонизма».

«Нейтралитетъ долѣе неосуществимъ и нежелателен, когда в спор вовлечены миръ всего міра и его свобода». Этой цитатой из Вильсона начинается книга Лота. Эти слова почти буквально совпадаютъ с тѣм, что говорилось только что в связи с законодательной отмѣной фикціи нейтралитета. На полной аналогіи между нынѣшнимъ положеніемъ в Соединенныхъ Штатахъ и положеніемъ в 1917-1918 гг. наставляетъ и второй авторъ, Бердсол. Оба они подчеркиваютъ воскрешеніе версальскихъ проблемъ и урок, который долженъ быть извлеченъ изъ пережитой трагедіи. В отличіе, однако, от того, что утверждалось раньше, отвѣтственность за происшедшее теперь уже снимается с идеалиста-провидца и возлагается на его противниковъ и, в общемъ видѣ, — на ограниченный и близорукий изоляціонизм, который, убѣгая отъ событій, думаетъ ихъ тѣмъ самымъ устранить.

«Курьезная логика привела къ тому, что неизбѣжный европейскій хаос, вытекшій изъ американской изоляціи, былъ использованъ для послѣдующаго обоснованія изоляціонистскаго вывода... Полнѣйшее искаженіе роли Соединенныхъ Штатовъ в первой міровой войнѣ и в Версалѣ способствовало кристаллизаціи мощнаго изоляціонистскаго чувства, которое угрожаетъ параличемъ американской иностранной политикѣ в нынѣшнемъ все возрастающемъ критическомъ положеніи міра». Проф. Бердсолъ устанавливаетъ не умозрительно, а на основаніи эмпирическихъ фактовъ и данныхъ, разработка конхъ отняла у него шесть лѣтъ, что, вопреки ходячему представленію, реалистичной была позиція Вильсона, а внѣжизненной романтикой оказалась политика его нераскайанныхъ протвнниковъ, руководившихся якобы практическими цѣлями.

Авторъ трактуетъ свою тему исторически, в свѣтѣ послѣдующихъ событій в ихъ 20-лѣтнемъ развитіи, но безъ минно-объективнаго или наукообразнаго безразличія и безстрастія. Онъ не скрываетъ своего отношенія къ предмету: онъ опредѣленно з а «вильсоновскія начала в устройствѣ новаго міра» и онъ п р о т и в «принциповъ реакціоннаго націонализма». Бердсолъ отнюдь не защищаетъ всего версальскаго договора. Онъ только подчеркиваетъ, что почти всѣ отрицательныя его стороны вызваны были отходомъ мирной конференціи отъ вильсоновскихъ принциповъ и, главное, отказомъ Соединенныхъ Штатовъ отъ активнаго участія в организаціи новаго порядка.

И, в самомъ дѣлѣ, надо только вспомнить, что Вильсону пришлось спорить и бороться не только с Клемансо и Ллойд Джорджемъ,

но и с ближайшими своими помощниками и совѣтниками на конференціи — с собственным государственным секретарем Лансингом и своим другом и наперсником полковником Хаузом, не говоря уже об ожесточенных атаках, которым его систематически подвергали личные и политическіе недруги и враги в сенатѣ. Версальскій мир — результат безчисленнаго множества компромиссов, к которым пришли в итогъ внутренних и внѣшних взаимных уступок на конференціи и за ея кулисами. Тот факт, что в конечном счетѣ версальскій трактат все же одобрили и подписали и Вильсон с Лансингом, и японцы, Сайонджи и Макино; и наиболѣе arrogantный из миротворцев, понынѣ здравствующій австралійскій премьер Хьюз, и прославленный социалистическій лидер покойный Вандервельде, тогда министр юстиціи Бельгии, и Клемансо, и Ллойд Джордж, и Дмовскій, и Бенеш и т. д., — должен был бы имѣть как будто самыя положительныя послѣдствія. Случилось, однако, обратное. У трактата и Лиги Націй было несчетное множество врагов справа и слѣва. У них почти не оказалось беззавѣтных друзей и защитников. Никто не претендовал на духовное отцовство. Всѣ утверждали, что договор полностью их не удовлетворяет. И связанность договора с учрежденіем Лиги Націй компрометтировала, по одному мнѣнію, — Лигу Націй; по мнѣнію сторонников священнаго національнаго эгонизма, — всю версальскую систему.

Отказавшись войти в Лигу Націй, Соединенные Штаты оставили с глазу на глаз, как извѣстно, Британію с Франціей, видѣвшія — Британія во Франціи — потенциальнаго агрессора и, обратно, — Франція в Британіи — вѣроломнаго отступника от спаяннаго общей кровью союза. Это англо-французское соперничество в отсутствіи Соединенных Штатов и опредѣлило собою приход к власти Гитлера и вторую мировую войну. Этот вывод полностью реабилитирует президента Вильсона.

Вильсон потерпѣлъ неудачу, к а к п о л и т и к , — не сумѣвъ проманеврировать в партійно-политических водах и зарослях; но оказался исторически оправдан как г о с у д а р с т в е н н ы й д ѣ я т е л ь , с широким кругозором и дальним прицѣлом. Вильсон видѣлъ многое лучше и раньше других, — в частности, раньше большинства своих сограждан. В силу этого он раздѣлил судьбу всѣх тѣх, кто до него извѣстен в исторіи, как «слишком раннія предтечи слишком медленной весны». Вильсон лично и его дѣло потерпѣли крушеніе. Но заданіе, им поставленное, осталось, и нынѣшніе событія трагически подчеркивают необходимость разрѣшить это заданіе в духѣ и направленіи, предудказанном Вильсоном.

Повышенный интерес к личности Вильсона — показатель психологическаго возвращенія к его идеям.

ANATOLE de MONZIE. *Ci-devant*. Flammarion, 1941

Автор этой книги был одним из главных украшений так называемой «мюнхенской» группы французских политических дѣятелей. Это не помѣшало ему ранѣе быть «другом Москвы», — де Монзи написал о совѣтской Россіи двѣ книги средней величины и средняго достоинства. Ненавидя Поля Рейно, он был членом его кабинета. Теперь он отводит душу, громя бывшего своего шефа, который, как извѣстно, сидит в тюрьмѣ. В чем собственно он обвиняет Поля Рейно, понять трудно. В записи дневника Монзи от 29 марта 1940 года, автор с ужасом сообщает, что Рейно подписал в Лондонѣ обязательство Франціи не заключать сепаратнаго мира с нѣмцами. Будем надѣяться, что эти строки, выражающія ужас автора по случаю столь тяжкаго преступленія главы правительства, были дѣйствительно записаны им в тетрадь именно 29 марта, а не добавлены нѣсколько позднѣе, послѣ катастрофы, в угоду побѣдителям, внутренним и внѣшним. Добавим кстатн, что, если вѣрить автору (это нисколько не обязательно), преступленіе Поля Рейно вызвало еще большій ужас и негодованіе у Даладье, который вечером, того же 29 марта сказал: «Монзи, я ужасаюсь при мысли обо всем том, на что, в ущерб интересам нашей родины, способен согласиться этот человек» (Рейно). — Однако, ни Даладье, ни де Монзи в отставку тогда не вышли. Никто и не подозрѣвал, что они в ту пору подумывали о сепаратном мирѣ или, по крайней мѣрѣ, считали таковой допустимым.

Де Монзи — политическій дѣятель с большими возможностями на всѣ стороны. Особенно блестящей карьеры он в политикѣ не сдѣлал. В кабинетѣ Даладье он занимал не слишком видный пост министра общественных работ. Из записей его дневника должно сдѣлать вывод, что на этом посту он — и, повидимому, во всем кабинетѣ он один — проявил огромную энергію и государственныя способности. Впрочем, вполне возможно, что в мирѣ III республики такой человек, как он, стал бы и главой правительства. — эту должность часто занимали люди ничѣм не лучше и не хуже его. Помѣшали ему міровыя событія и перемѣна строя. Отношеніе к ним автора книги не так просто выяснить из его дневника. Приведем нѣсколько записей почти наудачу:

3 0 м а р т а 1 9 4 0 г. «Меня посѣтил маршал Петэн... Маршал колеблется, вернуться ли ему в Мадрид: он подумывает как бы о двойной жизни — двѣ недѣли в Сан-Себастьянѣ, двѣ недѣли в Парижѣ. Я почтительно возражаю, так как такой план повлек бы за собой усталость и так как частичное усиліе было бы недостаточным. Однако не слѣдовало бы, чтобы испанская миссія (Петэна) слишком затянулась: во Франціи становится все болѣе необходимым присутствіе величайшаго вождя... Вставая, маршал

сказал мнѣ: «Во второй половинѣ мая я им понадобится»... Выходя, маршал замѣтил Шатэну: «Я согласен с Монзи во всем»... 14 а п р ѣ л я 1940 г о д а. «Я посѣтил по приглашенію адмирала Дарлана, главную квартиру флота. Меня успокоил прекрасный, спокойный порядок этой главной квартиры. Это как бы студія побѣды. В улыбкѣ адмирала — вызов судьбѣ»... 31 я н в а р я 1939 г. «Рѣчь канцлера Гитлера, которую я читаю и перечитываю, кажется мнѣ очень подходящей для подготовки расширенного и слѣдовательно исправленного Мюнхена. Он сказал: «Война не платит». Великолѣпное признаніе!»... Есть и записъ со ссылкой на авторитетное заявленіе нѣкоего господина, обозначеннаго, в видѣ исключения, лишь инициалами: «Б. С., разумно меня освѣдомляющій, рекомендует мнѣ не смѣшивать Квислинга с Куусиненом: этот Квислинг не ма-рионетка и не лакей, а серьезный человек, способный руководить в Норвегіи настоящимъ правительствомъ».

Такія записи в книгѣ, вышедшей во Франціи в 1941 году, понятны и объясненій не требуют. Менѣе понятна слѣдующая записъ: 4 і ю л я 1939 г. «Генерал Вейган, предѣдательствовавшій в Лиллѣ на официальном конкурсѣ конского спорта, в слѣдующихъ выраженіяхъ восхвалял французскую армію, ея мощь и командный состав: «Вы спрашиваете меня, что я думаю о французской арміи. Отвѣчаю откровенно, с единственной заботой о правдѣ, и это нисколько меня не стѣсняет. Я думаю, что французская армія теперь лучше, чѣм была в какой бы то ни было період своей исторіи: у нея первоклассное вооруженіе, отличныя фортификаціи, превосходный дух, замѣчательное верховное командованіе. Никто у нас войны не желает, но я утверждаю, что если нас заставят одержать новую побѣду, то мы ее и одержим». — «Вот утвержденія», — добавляет от себя де Монзи, — «которыя в устах такого вождя усилят воинственное настроеніе». Правда, автор книги вскользь упоминает в другом мѣстѣ, что генерал Вейган очень его не любит. Все же нам трудно допустить, что французскій политическій дѣятель, в патриотизмѣ котораго мы не имѣем основаній сомнѣваться, привел эту выдержку из старой рѣчи Вейгана в цѣлях издѣвательства, или для сведенія личныхъ счетовъ.

При всей своей гибкости г. де Монзи — человекъ с темпераментом, и. быть может, не у дѣл он оказался теперь не случайнымъ. Заключительная часть его книги состоит главнымъ образомъ из афоризмовъ, в которыхъ можно усмотрѣть и нѣкоторую оппозиционность. Нас даже удивляет, что эта книга могла появиться в свѣтѣ. В ней много интересныхъ цитат. С литературной точки зрѣнія, это единственное что в ней интересно.

ВЫСТАВКИ В НЬЮ-ІОРКѢ

Слѣдует отмѣтить большое количество выставок, которыя во время осеняго сезона в Нью-Іоркѣ были посвящены французскому искусству. В этом несомнѣнно сыграла роль выставка французских мастеров, организованная прошлой зимой музеем Метрополитэн. Французское искусство, в особенности конца XIX-го вѣка и начала XX-го, было представлено на ней в большой полнотѣ. В Америкѣ вообще, наблюдается все возрастающій интерес к искусству и к художественному образованію, а так как все современное искусство идет по стопам великих французских мастеров, то и спрос на них очень велик. Имѣется еще причина: в Европу больше ѣздить нельзя, молодым художникам больше негдѣ впитывать в себя дух парижских ателье, — поэтому выставки отчасти должны, — и могут, — заполнить этот пробѣл.

В октябрѣ на 57-ой улицѣ чуть ли не всѣ галлерей пострѣли плакатами с хорошо знакомыми именами импрессионистов и пуантилистов; одновременно повсюду можно было видѣть и Пикассо, и Матисса, и др. Но наиболѣе интересная выставка была устроена галлереей М. Гарримэн, которой пришла удачная мысль собрать картины всей группы художников «Les Fauves» и показать вмѣстѣ представителей этого теченія. Эти художники, скандализировавшіе в 1906 году едва привыкнувшій к импрессионизму Париж, раскольники среди новых теченій XX-го вѣка, бунтари, пошедшіе против всѣх признанных авторитетов, открывшіе дорогу кубизму и сюрреализму, были представлены каждый нѣсколькими цѣнными произведеніями. Надо отдать должное галлерееѣ, так искусно сумѣвшей найти и подобрать произведенія Дерэна, Маркэ, Ван-Донгена, Рауля Люфи, Фриза и Брака. Лучшим среди них была, вся в лиловых тонах, картина собора Богоматери в Парижѣ Анри Матисса.

Не забыты Нью-Іорком и художники других національностей. В «Музеѣ Современнаго Искусства», ведущемся с большим умѣнием и любовью, были выставлены в октябрѣ произведенія знаменитаго нѣмецкаго художника и каррикатуриста Георга Гроз. Этот художник, идущій по стопам итальянских футуристов, бесспорно один из самых крупных сатириков нашего вѣка, живо интересующійся соціальной стороной живописи, был представлен пятьюдесятью полотнами. Его «Послѣдній батальон», с жутким изображеніем «послѣдних мопикан», движущихся в мутную даль из тяжелаго прошлаго, картина потрясающая.

Тот же музей организовал выставку, посвященную Айседорѣ Лункан. Геніальная «плясунья», как ее называли русскіе критики в пору ея пребыванія в Россіи в 1908 году, авантюристка по духу, Лункан, которая сама о себѣ говорила, что жизнь ея должна была

бы бытъ описана Сервантесом или Казановой, Дункан, над которой так злобно подшутила судьба, дав ей в мужья Сергѣя Есенина, проходит перед нашими глазами в серіи эскизов Родэна, Сегонзака, Бурделя, Хозе Клара и американца Уалковича. Лучше других рисунки Родэна. Нас, русских, привлекает карандашный набросок Л. Бакста. Кромѣ рисунков выставлены были великолѣпныя фотографіи артистки, работы Гента и Стейхена. Особенно интересна біографическая часть выставки, представленная, правда, всего лишь нѣсколькими экспонатами (среди них — интересная фотографія Айседоры рядом с Есениным). Рѣдкій вкус, с которым была отдѣлана зала выставки, дѣлает музеею большую честь.

«Музей Современного Искусства» недавно показал также своим посѣтителям результаты оригинальнаго фотографическаго конкурса «Image of freedom». Со всѣх концов Соединенных Штатов прибыли снимки, которые должны были дать представление об абстрактном пониманіи «идеи свободы» американцами. Для одних, оказалось, это спокойная семейная жизнь, для других — право собраній (фотографія Сигеля, изображающая толпу «без конца, без края»), для третьих — право продавать кошерное мясо и т. д. Из присланных фотографій было отобрано 95, из которых большинство получили преміи. В совокупности фотографіи интересны, и музей справедливо гордится замыслом этой выставки.

Слѣдует отмѣтить еще выставку в галлерей Бухгольца, показавшей двадцать пять очень занимательных картин Оскара Кокошки. Выдѣляются его портреты. В 1938 году картины Кокошки, «современнаго дегенерата», по выраженію Гитлера, были изъаты из всѣх нѣмецких музеев, и судьба многих из них неизвѣстна. Сам художник бѣжал сначала в Чехословакію, затѣм во Францію и, наконец, перекочевал в Англию, гдѣ обосновался и продолжает свои драматическія изысканія в живописи.

Вѣра Коварская.

ОСТАВШИЕСЯ В ЕВРОПѢ

Мы предполагаем, что читателям «Новаго Журнала» будет интересна хотя бы самая краткая справка о русских политических дѣятелях, писателях, ученых, художниках, оставшихся в Европѣ. К сожалѣнію, свѣдѣнія о них доходят рѣдко, обычно косвенным путем, и почти ни с кѣм непосредственно снестись не пришлось.

Послѣ перемирія, раздѣлившаго Францію на двѣ части, в занятую нѣмцами области, преимущественно в Парижѣ, осталось большинство старших русских писателей: Б. К. Зайцев, А. М. Ремизов, И. С. Шмелев, К. Д. Бальмонт, П. П. Муратов, А. А. Плещеев, А. Н. Бенуа, и многіе из болѣе молодых, как Б. Темиряев, Г. Песков, Н. Н. Берберова, Г. И. Газданов, Н. А. Оцуп, В. В. Смоленскій, худ.

Н. Гончарова, П. Ларіонов, и др. По другую сторону демаркаціонной линіи оказались Н. А. Тэффи, И. А. Бунин, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, М. А. Осоргин, Г. Д. Адамович, А. Ф. Даманская, Г. В. Иванов, И. Г. Одоевцева, Р. Гуль, Г. Н. Кузнецова, Л. Ф. Зуров, Д. Кнут, В. Яновскій, Л. Червинская, А. П. Ладинскій. 77-лѣтній Д. С. Мережковский позднѣ вернулся из Біаррица в Париж — и там, как извѣстно, скончался в началѣ декабря 1941 г. Вернулась в Париж также Н. А. Тэффи. Из живущих в южной Франціи писателей нѣкоторые — но очень немногіе — имѣют шансы выѣхать в С. Штаты.

Всѣ названные выше беллетристы, поэты, художники живут в очень тяжелых матеріальных условіях. Разумѣется, во Франціи не осталось таких органов печати, в которых они могли бы работать. Многіе из них продолжают писать «для себя», в надеждѣ на лучшія времена. Так, по слухам, Б. К. Зайцев работает над своим прекрасным романом «Путешествіе Глѣба».

Из политических дѣятелей, публицистов, ученых в свободной зонѣ оказались послѣ катастрофы П. Н. Мнлюков, продолжающій, как всегда, очень много и продуктивно работать, Н. А. Бердяев, застигнутый катастрофой в Аркашонѣ, гдѣ он заканчивал новую философскую книгу, И. В. Гессен, Б. М. Вышеславцев, К. К. Грюнвальд, А. В. Тыркова, А. П. Шполянскій, Я. М. Цвибак, А. М. Михельсон, Л. Сабанѣев, Н. С. Долгополов, А. А. Поляков, Я. Б. Полонскій, Е. Б. Ратнер, Е. Ф. Роговскій, Я. Л. Рубинштейн, А. П. Марков, В. А. Агафонов, С. Мако. В оккупированной Франціи находятся В. А. Маклаков, гр. В. Н. Коковцев, ген. А. И. Деникин, С. П. Мельгунов, И. Г. Церетели, И. И. Бунаков, о. Сергій Булгаков, Д. М. Одинец, Е. Юрьевскій, бар. Б. Э. Нольдэ, В. В. Вырубов, А. В. Карташев, Н. К. Волков, В. А. Могилевскій, М. М. Тер-Погосян, А. С. Альперин, А. А. Титов, П. Н. Переверзев.

Еще меньше свѣдѣній доходит о русских, живших внѣ Франціи. В Швейцаріи находятся Е. Д. Кускова, С. Н. Прокопович, А. Головина, А. Штейгер, в Чехословакии — кн. П. Долгоруков; в Португаліи — Ю. Сазонова; в Югославіи П. Б. Струве, Н. Н. Алексѣев; в Германіи — Ф. А. Степун. Ничего неизвѣстно о П. М. Пильском, Г. А. Ландау, В. Б. Станкевичѣ, Н. В. Волковыском, А. И. Каминка.

Z.

«РУССКІИ РАДИОЧАС»

В Чикаго наш соотечественник И. Я. Воронко образовал независимый «русскій час» при радиостанціи WEDC (1240 к., 243,8 м.).
RUSSIAN AMERICAN BROADCASTING CO. —

1430 North Damen Ave., Chicago Ill. Phone HUMBoldt 8523.
Передача по воскресеньям 9—10 утра ц. вр. И. Я. Воронко любезно согласился оповѣщать слушателей о «Новом Журналѣ». Редакція считает своим долгом выразить ему за это самую искреннюю признательность.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в
три мѣсяца.

•

Цѣна книги по предварительной подпискѣ — 1 долл.
50 центов; цѣна трех книг — 4 доллара. В розничной
продажѣ книга стоит 2 доллара.

•

Адрес редакціи:

M. ZETLIN, 112 WEST 72nd ST., N. Y. C.

Там же принимаются подписка и об'явленія.

